

ISSN 0130-7673

НОВОЫЙ МИР

|| 6 ||

НОВОЫЙ МИР

|| 1989 ||

6



1989



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 6

Июнь, 1989 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ГРИГОРИЙ МЕДВЕДЕВ — Чернобыльская тетрадь. Вступительное слово — С. Залыгин, А. Сахаров	3
МАРЛЕНА РАХЛИНА — Во имя лада, стихи	109
АНАТОЛИЙ КИМ — Отец-Лес, роман-притча. Окончание	111
ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ — И страшный Стикс, и будничная Припять, стихи	146
ЛЕОНИД ГАБЫШЕВ — Одял, или Воздух свободы. Предисловие А. Би- това	149
ГЕОРГИЙ ИВАНОВ — Стихи разных лет. Публикация Е. Витковского	238

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. НЕПОМНЯЩИЙ — Дар. Заметки о духовной биографии Пушкина	241
---	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	261
Андрей Василевский. Разорение. II.	
<i>Политика и наука</i>	265
Б. Равдин. За пределом человеческого.	

(См на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВИКТОР КОЖЕВНИКОВ — Имела ли место «рассеянность»? 268

КОРОТКО О КНИГАХ:

Александр Носов. — Владимир Сергеевич Соловьев. Сочинения
в двух томах. ✦

Сергей Яковлев. — Реабилитирован посмертно. Выпуск первый 270

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 272



ГРИГОРИЙ МЕДВЕДЕВ



ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТЕТРАДЬ

Нельзя устранить катастрофы, не зная их причин и всех причинных обстоятельств. Теперь это уже всем ясно, теперь это один из важнейших принципов перестройки и современного нашего существования.

И если мы не хотим изменить своим принципам и самим себе — исключений здесь не должно быть. Ни одного.

Возможность одного-двух, ну, может быть, трех исключений — это ведь и в самом деле успокоительно для общества, но чем может обернуться для него такое успокоение в будущем? Может быть, в самом ближайшем будущем. Ничем иным, как повторением катастрофы. Пусть это будет другой ее вариант, но он будет.

Путь здесь один: самое тщательное исследование всех деталей и подробностей чернобыльской катастрофы, так как отнюдь не исключено, что любая из упущенных сегодня деталей ее когда-нибудь станет главной причиной следующего и следующего бедствия.

Именно такого рода соображения поставили редакцию перед необходимостью опубликовать документальную повесть Г. У. Медведева, пусть в чем-то и негелликатную, ущемляющую чье-то самолюбие, а может быть, даже и достоинство, вскрывающую ту неприглядную обстановку, «неприглядность» которой нам предстоит и предстоит еще анализировать, даже если к такому анализу у нас не лежит сердце. Впрочем, почему не лежит, если речь идет о будущем наших детей и внуков?

Да, есть веления сердца, есть веления ума, но есть суровые веления и ума и сердца.

С. ЗАЛЫГИН.

«Чернобыльская тетрадь» Г. У. Медведева — компетентный и бесстрашно-правдивый рассказ о происшедшей более трех лет назад трагедии, которая продолжает волновать миллионы людей. Быть может, впервые мы имеем такое полное свидетельство из первых рук, свободное от умолчаний и ведомственной «дипломатии». Автор — специалист-атомщик, работавший одно время на Чернобыльской АЭС и хорошо ее знающий, лично знакомый со всеми основными участниками событий. По служебному положению он присутствовал на многих ответственных совещаниях по атомному строительству. Сразу после аварии Медведев был командирован в Чернобыль и имел возможность многое узнать по свежим следам, увидеть своими глазами. Он приводит много технических подробностей, необходимых для понимания механизма возникновения аварии, раскрывает тайны бюрократических отношений, рассказывает о научных и конструкторских просчетах, о пагубном начальственном, командном нажиме, о принесящих огромный вред нарушениях гласности до аварии и в чрезвычайной ситуации после нее. Центральное место в повести — хроникальное описание событий в Чернобыле в трагические дни апреля и мая 1986 года. Автор показывает поведение и роль многочисленных участников драмы, живых, реальных

людей с их недостатками и достоинствами, сомнениями, слабостью, заблуждениями и героизмом рядом с выходящим из-под контроля атомным чудовищем. Об этом нельзя читать без глубочайшего волнения. Мы знали о подвиге пожарников. Автор рассказывает о героизме электриков, турбинистов, операторов и других работников станции, предотвративших дальнейшее увеличение масштабов аварии.

Все, что касается чернобыльской катастрофы, ее причин и последствий, должно стать достоянием гласности. Нужна полная, неприкрытая правда. Люди должны иметь возможность сами составить мнение о том, что столь прямо касается жизни и здоровья каждого из нас и наших потомков, иметь право на участие в принятии ключевых решений, определяющих судьбу страны и планеты. Должна ли вообще развиваться ядерная энергетика? Если да, то допустимо ли строительство расположенных на поверхности земли реакторов (даже значительно более безопасных, чем чернобыльский) или все они должны быть загнаны под землю? Это все вопросы, решение которых не может быть передано только специалистам, тем более ведомствам с их узкотехническим, предвзятым и часто не бескорыстным подходом, с их круговой порукой и взаимосвязанностью (то же относится и ко многим другим важнейшим вопросам экологического, экономического и социального характера). Лично я убежден, что ядерная энергетика необходима человечеству и должна развиваться, но только в условиях практически полной безопасности, что реально требует размещения реакторов под землей. Нужен международный закон, запрещающий наземное расположение реакторов. Медлить нельзя.

Академик А. САХАРОВ.

1

«**Г**ибель экипажа «Челленджера» и авария на Чернобыльской атомной станции... усилили тревогу, жестоко напомнили, что люди еще только осваиваются с теми фантастическими могучими силами, которые сами же вызвали к жизни, еще только учатся ставить их на службу прогрессу», — сказал Михаил Сергеевич Горбачев в своем выступлении по Центральному телевидению 18 августа 1986 года.

Такая предельно трезвая оценка мирному атому дана впервые за тридцать пять лет развития атомной энергетики в СССР. Долгие годы наши ученые в печати, по радио и телевидению сообщали нам нечто прямо противоположное. Мирный атом преподносился широким кругам общественности как чуть ли не панацея, как верх подлинной безопасности, экологической чистоты и надежности. Дело доходило почти до восторга, когда речь шла о безопасности атомных электростанций.

«АЭС — это дневные звезды! — восклицал в 1980 году в журнале «Огонек» академик М. А. Стырикович. — Мы усеем ими всю нашу землю. Совершенно безопасны!»

Землю усеяли...

«Атомные реакторы — это обычные топки, а операторы, ими управляющие, — это кочегары», — популярно разъяснял широкому читателю заместитель председателя Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР Н. М. Синев. Это была во всех отношениях удобная позиция. Во-первых, успокаивалось общественное мнение, во-вторых, оплату труда на АЭС можно было приравнять к оплате на тепловых станциях, а в ряде случаев сделать ее даже ниже.

«Отходы атомной энергетики, потенциально весьма опасные, настолько компактны, что их можно хранить в местах, изолированных от внешней среды», — писал 25 июня 1984 года в «Правде» директор Физико-энергетического института О. Казачковский. Заметим, что когда грохнул чернобыльский взрыв, таких мест, куда можно было бы выгрузить отработанное ядерное топливо, не оказалось, и хранилище пришлось строить рядом с аварийным блоком в условиях жестких радиационных полей, переобучая строителей и монтажников.

«Мы живем в атомной эре. АЭС оказались удобными и надежными в эксплуатации. Атомные реакторы готовятся принять на себя теплофикацию городов...» — писал О. Казачковский в том же номере «Правды». На замечание, что расширенное строительство АЭС в пригородных зонах может встревожить население, академик А. Шейдлин реагировал в «Литературной газете»: «Тут много от эмоций. Атомные электростанции нашей страны совершенно безопасны для населения окрестных районов. Никакого повода для беспокойства просто не существует».

Особую лепту в пропаганду безопасности АЭС внес председатель Государственного комитета по использованию атомной энергии А. Петросьянц: «...АЭС полностью независимы от источников сырья (урановых рудников) благодаря компактности ядерного горючего и продолжительности его использования. АЭС весьма перспективны в отношении использования мощных энергоблоков... АЭС как производители энергии являются чистыми источниками энергии, не увеличивающими загрязненность окружающей среды». И далее: «Все еще бытующий некоторый скептицизм и недоверие к атомным электростанциям вызваны преувеличенной боязнью радиационной опасности для обслуживающего персонала станции и, главное, для населения, проживающего в районе ее расположения... Эксплуатация АЭС в СССР и за рубежом, в том числе в США, Англии, во Франции, в Канаде, Италии, Японии, ГДР, ФРГ, показывает полную безопасность их работы при соблюдении установленных режимов и необходимых правил. Более того, можно поспорить, какие электростанции более вредны для организма человека и окружающей среды — атомные или работающие на угле...»¹

А. Петросьянц умолчал, что тепловые электростанции могут работать не только на угле и нефти (кстати, эти загрязнения носят локальный и отнюдь не угрожающий характер), но и на газообразном топливе, которое добывается в СССР в огромных количествах и, как известно, транспортируется и в Западную Европу. Перевод тепловых станций европейской части нашей страны на газообразное топливо мог бы полностью исклЮчить проблему загрязнения среды обитания золой и серным ангидридом. Однако А. Петросьянц и эту проблему поставил с ног на голову, посвятив целую главу загрязнению среды от станций, работающих на угле, и умолчав о конечно же известных ему фактах радиоактивных выбросов от АЭС. Сделано это ради оптимистического вывода: «Приведенные выше данные о благоприятной радиационной обстановке в районах расположения Нововоронежской и Белоярской атомных станций типичны для всех АЭС Советского Союза. Такая же благоприятная радиационная обстановка характерна и для атомных электростанций других стран...»

Между тем А. Петросьянц не мог не знать, что весь период эксплуатации начиная с 1964 года первый двухконтурный блок Белоярской АЭС постоянно выходил из строя: «козлили» топливные урановые сборки, ремонт которых проводился в условиях сильного переоблучения эксплуатационного персонала. Длилась эта радиоактивная история почти без перерыва пятнадцать лет. Кстати сказать, на втором, уже одноконтурном, блоке той же станции в 1977 году расплавились 50 процентов топливных сборок атомного реактора. Ремонт продолжался около года. Персонал Белоярской АЭС довольно быстро переоблучили, и пришлось для использования в грязных ремонтных работах командировать людей с других атомных электростанций. Не мог не знать он и о том, что в городе Мелекесе Ульяновской области высокоактивные отходы закачиваются в глубинные скважины под землю, что английские атомные реакторы в Виндскейле,

¹ А. Петросьянц. От научного поиска к атомной промышленности. М. Атомиздат. 1972, стр. 73.

Уинфрите и в Доунри сбрасывают радиоактивные воды в Ирландское море с 50-х годов по настоящее время. Перечень подобных фактов можно было бы умножить.

Не желая преждевременно подводить итог, скажу только, что именно А. Петросьянц на пресс-конференции в Москве 6 мая 1986 года, комментируя чернобыльскую трагедию, произнес поразившие многих слова: «Наука требует жертв». Этого забывать нельзя.

Но продолжим.

Из воспоминаний члена-корреспондента Академии наук СССР В. С. Емельянова, заместителя директора Научно-исследовательского института энергетической технологии:

«Противники развития ядерной энергетики за рубежом и в нашей стране иногда одерживают «успехи» в борьбе с новым. Наиболее известным из них является запрет на пуск атомной станции в Австрии, принятый после шумной антиатомной кампании. Эту АЭС западные журналисты уже успели окрестить «мавзолеем стоимостью в один миллиард долларов». (Тут, уместно сказать, Емельянов опустил одну деталь: население Австрии добровольно оплатило взносами стоимость АЭС, внеся деньги в казну, после чего правительство, расплатившись с фирмами, законсервировало станцию. — Г. М.) Развитие ядерной энергетики в нашей стране тоже проходило не без преодоления трудностей,— признает В. С. Емельянов.— В конце пятидесятых годов сторонники традиционной энергетики подготовили и почти провели в жизнь решение ЦК КПСС и СМ СССР о приостановке строительства Нововоронежской АЭС и сооружении вместо нее обычной ТЭЦ. Главная аргументация—неэкономичность АЭС в те времена. Курчатов, узнав об этом, отложил все дела, поехал в Кремль, добился созыва нового совещания руководящих работников и в острой дискуссии с маловеерами добился подтверждения прежних решений о строительстве АЭС. Один из секретарей ЦК КПСС спросил его тогда: «А что мы будем иметь?» Курчатов ответил: «Ничего! Лет тридцать это будет дорогостоящий эксперимент». И все-таки добился своего. Недаром многие из нас называли Игоря Васильевича «атомным реактором», «человеком-танком» и даже «бомбой»...»²

Пора сказать, что оптимистические прогнозы и заверения ученых никогда не разделяли эксплуатационники атомных электростанций, то есть те, кто имел дело с мирным атомом непосредственно ежедневно на своем рабочем месте, а не в уютной тиши кабинетов и лабораторий.

В те годы информация об авариях и неполадках на АЭС всячески процеживалась на министерском сите осторожности; гласности предавалось лишь то, что сочли нужным опубликовать в верхах. Хорошо помню этапное событие тех лет — аварию на американской АЭС «Тримайл-Айленд» 28 марта 1979 года, нанесшую первый серьезный удар по атомной энергетике и развеявшую иллюзию безопасности АЭС. В то время я работал начальником отдела в объединении Союзатомэнерго Минэнерго СССР и помню реакцию свою и коллег на это печальное событие. Проработав многие годы на монтаже, ремонте и эксплуатации АЭС, мы доподлинно знали степень надежности их, которую можно сформулировать коротко: на лезвии, на волоске от аварии или катастрофы... Но ни я, ни те, кто работал раньше на эксплуатации атомных станций, полной информации об этой аварии не имели. Подробно о событиях в Пенсильвании было сказано лишь в «Информационном листке» для внутреннего употребления.

Спрашивается: зачем было возводить в секрет известную всему миру аварию? Ведь своевременный учет отрицательного опыта есть

² Ю. Сивинцев. И. В. Курчатов и ядерная энергетика. М. Атомиздат. 1980, стр. 25.

гарантия неповторения подобного в будущем. Но так было заведено: отрицательная информация — только для высшего руководства, а в нижние этажи — урезанные сведения, не противоречащие официальной установке о полной безопасности АЭС. Трезвые голоса воспринимались как покушение на авторитет науки. Еще в 1974 году на общем годичном собрании Академии наук СССР академик А. П. Александров сказал: «Нас обвиняют, что атомная энергетика опасна и чревата радиоактивным загрязнением окружающей среды... А как же, товарищи, если случится ядерная война? Какое загрязнение тогда будет?»

Удивительная логика! Не правда ли?

Правда, через десять лет на партактиве Минэнерго СССР (за год до Чернобыля) А. П. Александров признал: «Нас, товарищи, еще бог милует, что не произошла у нас Пенсильвания. Да, да...»

В предчувствии беды академику не откажешь. Оснований для предчувствий хватало: мощности атомной энергетики невиданно возросли, ажиотаж престижности был раздут до небес, а ответственность атомщиков, можно сказать, шла на убыль. Да и откуда ей было взяться, ответственности, если на АЭС, оказывается, все так просто и безопасно... В те же примерно годы начал меняться и кадровый корпус эксплуатационников АЭС при резко возросшем дефиците атомных операторов. Если раньше туда шли работать в основном энтузиасты атомной энергетики, глубоко полюбившие это дело, то теперь хлынул народ случайный. В первую голову привлекали не деньги, а престижность. Все вроде уже есть у человека, заработал на другом поприще, вот только еще не атомщик. И — прочь с дороги, специалисты! Уступай место у руководящего атомного пирога своякам и кумовьям!

Ну да ладно, к этому еще вернемся. А теперь о Пенсильвании, предтече Чернобыля. Привожу выдержки из американского журнала «Нуклер ньюс» от 6 апреля 1979 года:

«...28 марта 1979 года рано утром произошла крупная авария реакторного блока № 2 мощностью 880 МВт (электрических) на АЭС «Тримайл-Айленд», расположенной в двадцати километрах от города Гаррисберга (штат Пенсильвания) и принадлежавшей компании «Метрополитен Эдисон»... Блок № 2 на АЭС «Тримайл-Айленд», как оказалось, не был оснащен дополнительной системой обеспечения безопасности, хотя подобные системы на некоторых блоках этой АЭС имеются...»

По словам министра энергетики Шлесинджера, радиоактивное заражение местности вокруг АЭС «крайне ограничено» по величине и масштабам и у населения нет никаких оснований для беспокойства. А между тем только за 31 марта и 1 апреля из 200 тысяч человек, проживающих в радиусе тридцати пяти километров от станции, около 80 тысяч покинули свои дома. Люди отказывались верить представителям компании «Метрополитен Эдисон», пытавшимся убедить, что ничего страшного не произошло. По распоряжению губернатора штата был составлен план срочной эвакуации всего населения округа. В районе местонахождения АЭС было закрыто семь школ. Губернатор приказал эвакуировать всех беременных женщин и детей дошкольного возраста, проживающих в радиусе восьми километров от станции, и рекомендовал не выходить на улицу населению, проживающему в радиусе шестнадцати километров. Эти действия были предприняты по указанию председателя НРК Дж. Хендри после того, как была обнаружена утечка радиоактивных газов в атмосферу. Наиболее критическая ситуация сложилась 30—31 марта и 1 апреля, когда в корпусе реактора образовался огромный пузырь водорода, что грозило взрывом оболочки реактора; в таком случае вся окружающая местность подверглась бы сильнейшему радиоактивному заражению...

Из описания аварии.

...Первые признаки аварии были обнаружены в 4 часа утра, когда по неизвестным причинам прекратилась подача питательной воды основными насосами в парогенератор. Все три аварийных насоса уже две недели находились в ремонте, что было грубейшим нарушением правил эксплуатации АЭС.

В результате парогенератор не мог отводить от первого контура тепло, вырабатываемое реактором. Автоматически отключилась турбина. В первом контуре реакторного блока резко возросли температура и давление воды. Через предохранительный клапан смесь перегретой воды с паром начала сбрасываться в специальный резервуар (барбатер), однако после того, как давление воды снизилось до нормального уровня, клапан не сел на место, вследствие чего давление в барбатере также повысилось сверх допустимого. Аварийная мембрана на барбатере разрушилась, и около 370 кубометров горячей радиоактивной воды вылилось на пол.

Автоматически включились дренажные насосы, персонал должен был немедленно отключить их, чтобы вся радиоактивная вода осталась внутри защитной оболочки, однако этого сделано не было. Вода залила пол слоем в несколько дюймов, начала испаряться, и радиоактивные газы вместе с паром проникли в атмосферу, что явилось одной из главных причин последующего радиоактивного заражения местности.

В момент открытия предохранительного клапана сработала система аварийной защиты реактора со сбросом стержней-поглотителей, в результате чего цепная реакция прекратилась и реактор был практически остановлен. Процесс деления ядер урана в топливных стержнях прекратился, однако продолжался ядерный распад осколков... Предохранительный клапан оставался открытым, уровень воды в корпусе реактора снижался, температура быстро возрастала. По-видимому, это привело к образованию пароводяной смеси, в результате чего произошел срыв главных циркуляционных насосов, и они остановились.

Как только давление упало, автоматически сработала система аварийного расхолаживания активной зоны, и топливные сборки начали охлаждаться. Это произошло через две минуты после начала аварии. (Здесь ситуация похожа на чернобыльскую за двадцать секунд до взрыва. Но в Чернобыле система аварийного охлаждения активной зоны была отключена персоналом заблаговременно.— Г. М.)

Вода по-прежнему испарялась из реактора. Предохранительный клапан, по-видимому, заклинило, операторам не удалось закрыть его с помощью дистанционного управления. Уровень воды в реакторе упал, и одна треть активной зоны оказалась без охлаждения. Защитные циркониевые оболочки топливных стержней начали трескаться и крошиться. Из поврежденных тепловыделяющих элементов начали выходить высокоактивные продукты деления. Вода первого контура стала более радиоактивной. Температура внутри корпуса реактора превысила четыреста градусов, и указатели на пульте управления зашкалили. ЭВМ, следившая за температурой в активной зоне, начала выдавать сплошные вопросительные знаки и выдавала их в течение последующих одиннадцати часов...

В ночь с 28 на 29 марта в верхней части корпуса реактора начал образовываться газовый пузырь. Активная зона разогрелась до такой степени, что из-за химических свойств циркониевой оболочки стержней произошло расщепление молекул воды на водород и кислород. Пузырь объемом около 30 метров кубических, состоявший главным образом из водорода и радиоактивных газов—криптона, аргона, ксенона и других,— сильно препятствовал циркуляции охлаждающей

воды, поскольку давление в реакторе значительно возросло. Но главная опасность заключалась в том, что смесь водорода и кислорода могла в любой момент взорваться (то, что произошло в Чернобыле.— Г. М.). Сила взрыва была бы эквивалентна взрыву трех тонн тринитротолуола, что привело бы к неминуемому разрушению корпуса реактора. В другом случае смесь водорода и кислорода могла проникнуть из реактора наружу и скопилась бы под куполом защитной оболочки. Если бы она взорвалась там, все радиоактивные продукты деления попали бы в атмосферу (что произошло в Чернобыле.— Г. М.). Уровень радиации внутри защитной оболочки достиг к тому времени 30 000 бэр в час, что в 600 раз превышало смертельную дозу. Кроме того, если бы пузырь продолжал увеличиваться, он постепенно вытеснил бы из корпуса реактора всю охлаждающую воду и тогда температура поднялась бы настолько, что расплавился бы уран (что произошло в Чернобыле.— Г. М.).

В ночь на 30 марта объем пузыря уменьшился на 20 процентов, а 2 апреля он составлял всего лишь 1,4 метра кубического. Чтобы окончательно ликвидировать пузырь и устранить опасность взрыва, техники применили метод так называемой дегазации воды...

...1 апреля электростанцию посетил президент Картер. Он обратился к населению с просьбой «спокойно и точно» соблюдать все правила эвакуации, если в этом возникнет необходимость.

Выступая 5 апреля с речью, посвященной проблемам энергетики, президент Картер подробно остановился на таких альтернативных методах, как использование солнечной энергии, переработка битуминозных сланцев, газификация угля и т. п., но совершенно не упомянул о ядерной энергии, будь то расщепление атомного ядра или управляемый термоядерный синтез.

Многие сенаторы заявляют, что авария может повлечь за собой «мучительную переоценку» отношения к ядерной энергетике, однако, по их словам, страна вынуждена будет и далее производить электроэнергию на АЭС, так как иного выхода для США не существует. Двойственная позиция сенаторов в этом вопросе наглядно свидетельствует о том затруднительном положении, в котором очутилось правительство США после аварии...»

Окинем взором минувшее тридцатипятилетие с начала 50-х годов: так ли случайны были Пенсильвания и Чернобыль, случались ли за минувшие тридцать пять лет аварии на АЭС в США и СССР, которые могли бы послужить уроком и предостеречь людей от облегченного подхода к этой сложнейшей проблеме современности?

Заглянем в историю развития атомной энергетики и убедимся, что аварии на ядерных реакторах начались фактически сразу же после их появления.

В Соединенных Штатах Америки

1951 год. Детройт. Авария исследовательского реактора. Перегрев расщепляемого материала в результате превышения допустимой температуры. Загрязнение воздуха радиоактивными газами.

24 июня 1959 года. Расплав части топливных элементов в результате выхода из строя системы охлаждения на экспериментальном энергетическом реакторе в Санта-Сюзане, штат Калифорния.

3 января 1961 года. Взрыв пара на экспериментальном реакторе около Айдахо-Фолс, штат Айдахо. Погибли трое.

5 октября 1966 года. Частичное расплавление активной зоны в результате выхода из строя системы охлаждения на реакторе «Энрико Ферми» неподалеку от Детройта.

19 ноября 1971 года. Почти 200 тысяч литров загрязненной радиоактивными веществами воды из переполненного хранилища отходов реактора в Монтжелло, штат Миннесота, вытекло в реку Миссисипи.

28 марта 1979 года. Расплавление активной зоны из-за потери охлаждения реактора на АЭС «Тримайл-Айленд». Выброс радиоактивных газов в атмосферу и жидких радиоактивных отходов в реку Сукуахана. Эвакуация населения из зоны бедствия.

7 августа 1979 года. Около тысячи человек получили дозу облучения в шесть раз выше нормы в результате выброса высокообогащенного урана с завода по производству ядерного топлива возле города Эрвинга, штат Теннесси.

25 января 1982 года. В результате разрыва трубы парогенератора на реакторе «Джина» близ Рочестера произошел выброс радиоактивного пара в атмосферу.

30 января 1982 года. Чрезвычайное положение введено на атомной электростанции близ города Онтарио, штат Нью-Йорк. В результате аварии в системе охлаждения реактора произошла утечка радиоактивных веществ в атмосферу.

28 февраля 1985 года. На АЭС «Самер-Плант» преждевременно достигнута критичность. То есть имел место неуправляемый ядерный разгон.

19 мая 1985 года. На АЭС «Индиан-Пойнт-2» близ Нью-Йорка, принадлежащей компании «Консолидэйтед Эдисон», произошла утечка радиоактивной воды. Авария возникла из-за неисправности в клапане и привела к утечке нескольких сотен галлонов, в том числе за пределы АЭС.

1986 год. Уэбберс-Фолс. Взрыв резервуара с радиоактивным газом на заводе обогащения урана. Один человек погиб. Восемь ранено.

В Советском Союзе

7 мая 1966 года. Разгон на мгновенных нейтронах на АЭС с кипящим ядерным реактором в городе Мелекессе. Облучились дозиметрист и начальник смены АЭС. Реактор погасили, сбросив в него два мешка борной кислоты.

1964—1979 годы. На протяжении пятнадцати лет неоднократное разрушение (пережог) топливных сборок активной зоны на первом блоке Белоярской АЭС. Ремонты активной зоны сопровождались переоблучением эксплуатационного персонала.

7 января 1974 года. Взрыв железобетонного газгольдера выдержки радиоактивных газов на первом блоке Ленинградской АЭС. Жертв не было.

6 февраля 1974 года. Разрыв промежуточного контура на первом блоке Ленинградской АЭС в результате вскипания воды с последующими гидроударами. Погибли трое. Высокоактивные воды с пульпой фильтропорошка были сброшены во внешнюю среду.

Октябрь 1975 года. На первом блоке Ленинградской АЭС частичное разрушение активной зоны («локальный козел»). Реактор был остановлен и через сутки продут аварийным расходом азота в атмосферу через вентиляционную трубу. Во внешнюю среду было выброшено около 1,5 миллиона кюри высокоактивных радионуклидов.

1977 год. Расплавление половины топливныхборок активной зоны на втором блоке Белоярской АЭС. Ремонт с переоблучением персонала АЭС длился около года.

31 декабря 1978 года. Сгорел второй блок Белоярской АЭС. Пожар возник от падения плиты перекрытия машинного зала на маслобак турбины. Выгорел весь контрольный кабель. Реактор оказался без

контроля. При организации подачи аварийной охлаждающей воды в реактор переоблучились восемь человек.

Сентябрь 1982 года. Разрушение центральной топливной сборки на первом блоке Чернобыльской АЭС из-за ошибочных действий эксплуатационного персонала. Выброс радиоактивности на промышленную зону и город Припять, а также переоблучение ремонтного персонала во время ликвидации «малого козла».

Октябрь 1982 года. Взрыв генератора на первом блоке Армянской АЭС. Машинный зал сгорел. Большая часть оперативного персонала в панике покинула станцию, оставив реактор без надзора. Прибывшая самолетом с Кольской АЭС оперативная группа помогла оставшимся на месте операторам спасти реактор.

27 июня 1985 года. Авария на первом блоке Балаковской АЭС. При проведении пусконаладочных работ вырвало предохранительный клапан, и трехсотградусный пар стал поступать в помещение, где работали люди. Погибли четырнадцать человек. Авария произошла в результате необычайной спешки и нервозности из-за ошибочных действий малоопытного оперативного персонала.

Все аварии на АЭС в СССР остались вне гласности, за исключением аварий на первых блоках Армянской и Чернобыльской АЭС в 1982 году, о которых вскользь было упомянуто в передовой «Правды» уже после избрания Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андропова. Кроме того, косвенное упоминание об аварии на первом блоке Ленинградской АЭС имело место в марте 1976 года на партактиве Минэнерго СССР, где выступил Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин. Он, в частности, сказал тогда, что правительства Швеции и Финляндии сделали правительству СССР запрос относительно повышения радиоактивности над их странами.

Положение, когда аварии на атомных станциях скрывались от общественности, стало нормой при министре энергетики и электрификации СССР П. С. Непорожном. Аварии скрывались не только от общественности и правительства, но и от работников АЭС страны, что особенно опасно, ибо отсутствие информации о негативном опыте всегда чревато непредсказуемым. Преемник Непорожного на посту министра А. И. Майорец, человек в энергетических, особенно в атомных, вопросах не до конца компетентный, продолжил традицию умолчания. Уже через полгода после вступления в должность он наложил запрет на открытое опубликование в печати, в передачах по радио и телевидению сведений о неблагоприятных результатах экологического воздействия на обслуживающий персонал и население, а также на окружающую среду энергетических объектов (воздействие электромагнитных полей, облучение, загрязнение атмосферы, водоемов и земли).

Сомнительную нравственную позицию А. И. Майорец заложил в основу своей деятельности с первых месяцев работы в новом министерстве. Он действовал в рамках давно отлаженной системы. Еще Сократ сказал: «Каждый мудр в том, что хорошо знает». Обезопасив себя, А. И. Майорец первым делом ликвидировал в Минэнерго СССР Главниипроект — главк, ведавший проектированием и научно-исследовательскими работами, — пустив этот важный сектор инженерной и научной деятельности на самотек. Далее. За счет сокращения ремонтов оборудования электростанций он повысил коэффициент использования установленной мощности, тем самым снизив резерв различных мощностей на электростанциях страны и резко увеличив риск крупной аварии.

Заместитель Председателя Совета Министров СССР Б. Е. Щербина. Опытный администратор, беспощадно требовательный, автоматически перенесший в энергетику методы управления из газовой про-

мышленности, где он долгое время был министром, Щербина обладает поистине жесткой хваткой, навязывая строителям АЭС свои сроки пуска энергоблоков, а спустя время обвиняет их же в срыве «принятых обязательств».

Помню, 20 февраля 1986 года на совещании в Кремле директоров АЭС и начальников атомных строек сложился своеобразный регламент: не более двух минут говорил отчитывавшийся директор или начальник стройки и как минимум тридцать пять — сорок минут прерывавший их Щербина.

Наиболее интересным было выступление начальника управления строительства Запорожской АЭС Р. Г. Хеноха, который набрался мужества и густым басом (бас на таком совещании расценивался как бестактность) заявил, что третий блок Запорожской АЭС будет пущен в лучшем случае не ранее августа 1986 года (реальный пуск состоялся 30 декабря 1986 года) из-за поздней поставки оборудования и неготовности вычислительного комплекса, к монтажу которого только приступили. «Видали, какой герой! — возмутился Щербина. — Он назначает свои собственные сроки! — И взметнул голос до крика: — Кто дал вам право, товарищ Хенох, устанавливать свои сроки взамен правительственных?» «Сроки диктует технология производства работ», — упрямылся начальник стройки. «Бросьте! Не заводите рака за камень! Правительственный срок — май 1986 года. Извольте пускать в мае!» «Но только в конце мая завершат поставку специальной арматуры», — парировал Хенох. «Поставляйте раньше! — И Щербина обратился к сидевшему рядом Майорцу: — Заметьте, Анатолий Иванович, ваши начальники строек прикрываются отсутствием оборудования и срывают сроки...» «Мы это пресечем, Борис Евдокимович», — обещал Майорец. «Непонятно, как без оборудования можно строить и пускать атомную станцию... Ведь оборудование поставляю не я, а промышленность через заказчика», — пробурчал Хенох и, удрученный, сел. Уже после совещания, в фойе Кремлевского Дворца, он сказал мне: «В этом вся наша национальная трагедия. Лжем сами и учим лгать подчиненных. До добра это не доведет». Разговор был, напомним, за два месяца до чернобыльской катастрофы.

В апреле 1983 года я написал статью о ползучем планировании в атомном энергетическом строительстве и предложил ее в одну из центральных газет. Статья не была принята. Приведу краткую выдержку:

«В чем же причины нереальности планирования в атомостроительной отрасли и стойких, десятилетиями продолжающихся срывов? Их три:

1. Некомпетентность работников, осуществляющих планирование вводов энерго мощностей и управление атомостроительной отраслью.
2. Нереальность и, как следствие, ползучесть планирования, вызванные некомпетентностью оценок.
3. Неготовность машиностроительных министерств к производству в должном количестве и надлежащего качества оборудования для атомных станций...»

Факт, что компетентность имеет непосредственное отношение как к качеству и реальности плана, так и к безопасности атомных станций, более чем очевиден, но, к сожалению, об этом приходится снова и снова напоминать. Ведь многие руководящие должности в атомной отрасли заняты не по праву.

Так, центральный аппарат Минэнерго СССР, включая министра и ряд его заместителей, был некомпетентен в атомной специфике. Атомным направлением в энергетическом строительстве руководил заместитель министра А. Н. Семенов, четыре года назад

поставленный на это сложное дело, будучи по образованию и многолетнему опыту работы строителем гидростанций. (В январе 1987 года он был отстранен от руководства ходом строительства атомных станций по итогам 1986 года за срыв ввода энергомошностей.)

Не лучшим образом обстояло дело и в ведомстве, которое в канун катастрофы осуществляло руководство эксплуатацией действующих атомных электростанций (сокращенно — ВПО Союзатомэнерго). Начальником его был Г. А. Веретенников, на эксплуатации АЭС никогда не работавший. Атомной технологии он не знал и после пятнадцатилетней работы в Госплане СССР решил пойти на живое дело. (В июле 1986 года он был исключен из партии и снят с работы.)

Уже после чернобыльской аварии, в июле 1986 года, Б. Е. Щербина с трибуны расширенной коллегии Минэнерго СССР воскликнул, обращаясь к сидящим в зале энергетикам: «Вы все эти годы шли к Чернобылю!» Если это так, то следует добавить, что вся атмосфера в атомной энергетике ускорила это шествие.

Считаю необходимым познакомить читателя с выдержками из статьи Ф. Олдса «О двух подходах к ядерной энергетике», опубликованной в журнале «Павер энжиниринг» еще в октябре 1979 года:

«В то время как страны — члены Организации экономического сотрудничества и развития (СЭСР) сталкиваются с многочисленными затруднениями в ходе реализации своих ядерных программ, страны — члены СЭВ приступили к выполнению совместного плана, который предусматривает увеличение установленной мощности АЭС к 1990 году на 150 000 МВт (это более чем одна треть современной мощности всех АЭС на земном шаре)...

Академия наук СССР — этого, впрочем, следовало ожидать — заверяет широкую общественность, что советские ядерные реакторы являются абсолютно надежными и что последствия аварии на АЭС «Тримайл-Айленд» чрезмерно драматизированы в зарубежной печати. Выдающийся советский ученый-атомщик А. П. Александров, президент Академии наук и директор Института атомной энергии имени И. В. Курчатова, недавно дал интервью лондонскому корреспонденту газеты «Вашингтон стар»... Он убежден, что мировые запасы нефти и газа иссякнут через тридцать — пятьдесят лет, поэтому необходимо строить АЭС во всех частях света, иначе неизбежно возникнут военные конфликты из-за обладания остатками минерального топлива. Он считает, что эти вооруженные столкновения произойдут только между капиталистическими странами, так как СССР будет к тому времени в изобилии обеспечен энергией атома.

Организации СЭСР и СЭВ действуют в противоположных направлениях.

СЭВ делает основной упор на развитие атомной энергетике и не придает большого значения перспективам использования солнечной энергии и другим вариантам постепенного перехода к альтернативным источникам энергоснабжения...

США на протяжении многих лет лидировали среди стран — членов СЭСР и в области практического использования ядерной энергии, и по объему ассигнований на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Но затем это положение довольно быстро изменилось, и теперь развитие ядерной энергетике рассматривается в США не как приоритетная задача государственной важности, а всего лишь как крайнее средство решения энергетической проблемы. Главное внимание при обсуждении любого законопроекта, относящегося к энергетике, уделяется защите окружающей среды. Таким образом, ведущие страны — члены СЭСР и СЭВ занимают диаметрально противоположные позиции по отношению к развитию ядерной энергетике...»

Позиции, конечно, не диаметрально противоположные, особенно в вопросах, касающихся повышения безопасности АЭС. Ф. Олдс здесь допускает неточность, обе стороны уделяют максимум внимания этому вопросу. Но есть и бесспорные различия в оценках проблемы развития ядерной энергетики:

чрезмерная критика и явное завышение опасности атомных станций в США,

в течение трех с половиной десятилетий полное отсутствие критики и явно занижаемая опасность АЭС для персонала и окружающей среды в СССР.

Удивителен явно выраженный конформизм нашей общественности, безоглядно верившей академикам. Не потому ли громом среди ясного неба свалился на нас и многих так перепахал Чернобыль?

Перепахал, да не всех. К сожалению, конформизма и легковерия не убавилось. Что ж, верить легче, чем подвергать трезвому сомнению. Поначалу меньше хлопот...

На состоявшейся 4 ноября 1986 года в Бухаресте 41-й сессии СЭВ, отмечая отсутствие альтернативы атомной энергетике, Председатель Совета Министров СССР, в частности, сказал:

«Трагедия в Чернобыле не только не перечеркнула перспективы ядерной энергетики в сотрудничестве, но, напротив, поставив в центр внимания вопросы обеспечения большей безопасности, укрепляет ее значение как единственного источника, гарантирующего надежное энергообеспечение на будущее... Социалистические страны еще более активно включаются в международное сотрудничество в этой области, исходя из предложений, внесенных нами в МАГАТЭ... Кроме того, мы будем строить атомные станции теплоснабжения, экономя ценное и дефицитное органическое топливо — газ и мазут».

Энергичная постановка вопроса о развитии атомной энергетики заставляет еще и еще раз вдуматься, взглядеться в чернобыльский урок, в причины, существо и последствия пережитой всеми нами, всем человечеством катастрофы на ядерной станции в украинском Полесье.

Попробуем это сделать. Проследим день за днем, час за часом, как развивались события в предаварийные и аварийные дни и ночи.

2

25 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА

В канун катастрофы я работал заместителем начальника главного производственного управления Минэнерго СССР по строительству атомных электростанций.

25 апреля 1986 года в 16 часов 50 минут вечера (за восемь с половиной часов до взрыва) самолетом «ИЛ-86» возвращался из Симферополя в Москву после инспекции строительно-монтажных работ на Крымской АЭС. Не припомню каких-нибудь предчувствий, беспокойства. При взлете и посадке, правда, сильно чадило керосином. В полете же воздух был идеально чистым. И только слегка раздражало непрерывное тарыхтение плохо отрегулированного лифта, возившего вверх-вниз стюардесс и стюардов с прохладительными напитками. В их действиях было много сутолоки, казалось, они делали лишнюю работу.

Летели над Украиной, утопающей в цветущих садах. Пройдет каких-нибудь семь-восемь часов, и наступит для этой земли новая эра, эра беды и ядерной грязи. А пока я смотрел через иллюминатор на землю. В синеватой дымке внизу проплыл Харьков. Помню, пожалел, что Киев остался в стороне. Там, в ста тридцати километрах от

Киева, в 70-е годы я работал заместителем главного инженера на первом энергоблоке Чернобыльской АЭС, жил в Припяти на улице Ленина, в 1-м микрорайоне (наиболее подвергшемся радиоактивному заражению после взрыва).

Чернобыльская АЭС расположена на востоке большого региона, именуемого белорусско-украинским Полесьем, на берегу реки Припяти, впадающей в Днепр. Места в основном равнинные, с относительно плоским рельефом, с очень небольшим уклоном поверхности в сторону реки и ее притоков. Общая длина Припяти до впадения в Днепр — 748 километров. Площадь водосбора у створа атомной станции — 106 тысяч квадратных километров. Именно с этой площади радиоактивность будет уходить в грунт, а также смываться дождями и талыми водами...

Хороша река Припять! Вода в ней коричневая, видимо, потому, что вытекает из торфяных полесских болот, течение мощное, быстрое, во время купания сильно сносит. Кожу после купания стягивает, потрешь ее рукой — поскрипывает. Много поплавал я в этой воде и погреб на академических лодках. Перестанешь грести, зачерпнешь рукой терпкой коричневатой воды, и кожу сразу стянет от болотных кислот (которые впоследствии, после взрыва реактора и радиоактивного выброса, станут хорошими коагулянтами — носителями радиоактивных частиц и осколков деления).

Но вернемся к характеристике местности. Это немаловажно. Водоносный горизонт, который используется здесь для хозяйственного водоснабжения, залегает на глубине десять — пятнадцать метров относительно уровня реки Припяти и отделен от четвертичных отложений почти непроницаемыми глинистыми мергелями³. Это означает, что радиоактивность, достигнув этой глубины, будет разноситься грунтовыми водами...

В Полесье плотность населения небольшая, до начала строительства Чернобыльской атомной станции — примерно семьдесят человек на квадратный километр. В канун катастрофы в тридцатикиллометровой зоне вокруг атомной электростанции проживало уже около 110 тысяч человек, из которых почти половина — в Припяти, к западу от трехкилометровой санитарной зоны АЭС, и 13 тысяч — в районном центре Чернобыле, в восемнадцати километрах к юго-востоку.

Я часто вспоминал Припять, городок атомных энергетиков. Он при мне строился почти с нуля. Когда я уезжал в Москву, было уже заселено три микрорайона. Городок уютный, удобный для жизни и очень чистый. Часто можно было слышать от приезжих: «Какая прелесть Припять!» Сюда стремились и приезжали на постоянное место жительства многие отставники. Порою с трудом через правительственные учреждения и даже суд добивались права жить в этом райском уголке, сочетавшем прекрасную природу и удачные градостроительные находки.

Совсем недавно, 25 марта 1986 года, я проверял ход работ на строящемся пятом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Все та же свежесть чистого пьянящего воздуха, все те же тишина и уют теперь уже не поселка, а города с пятидесятитысячным населением...

Киев и Чернобыльская АЭС остались северо-западнее трассы полета. Воспоминания отошли, реальностью стал огромный салон авиалайнера. Два прохода, три ряда полупустых кресел. Ощущение — будто находишься в большущем амбаре. Если крикнуть — аукнется. Рядом постоянный грохот и таракхтенье спящего туда-сюда лифта, кажется, что не в самолете летишь, а едешь в огромном пустопорожнем гарантасе по голубой булыжной дороге. И в багажнике гремят бидоны из-под молока.

³ Мергель — осадочная горная порода, состоящая из глины и известняка.

Домой из аэропорта Внуково добрался я к девяти вечера. За пять часов до взрыва.

В этот день, 25 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС готовились к остановке четвертого энергоблока на планово-предупредительный ремонт.

Во время остановки блока по утвержденной главным инженером Н. М. Фоминым программе предполагалось провести испытания с отключенными защитами реактора в режиме полного обесточивания оборудования АЭС. Для выработки электроэнергии предполагалось использовать механическую энергию выбега ротора турбогенератора (вращение по инерции). Кстати, проведение подобного опыта предлагалось многим атомным электростанциям, но из-за рискованности эксперимента все отказывались. Руководство Чернобыльской АЭС согласилось.

В чем суть эксперимента и зачем он понадобился?

Дело в том, что если атомная станция окажется вдруг обесточенной, то, естественно, останавливаются все механизмы, в том числе и насосы, прокачивающие охлаждающую воду через активную зону атомного реактора. В результате происходит расплавление активной зоны, что равносильно максимальной проектной аварии. Использование любых возможных источников электроэнергии в таких случаях и предусматривает эксперимент с выбегом ротора турбогенератора. Ведь пока вращается ротор генератора, вырабатывается электроэнергия. Ее можно и должно использовать в критических случаях. Режим выбега — одна из подсистем при максимальной проектной аварии (МПА).

Подобные испытания, но с действующими защитами реактора проводились и раньше на Чернобыльской АЭС и на других атомных станциях. И все проходило успешно. Мне также приходилось принимать в них участие.

Обычно программы таких работ готовят заранее, согласуют с главным конструктором реактора, генеральным проектировщиком электростанции, Госатомэнергонадзором. Программа обязательно предусматривает в этих случаях резервное электроснабжение на время проведения эксперимента. То есть обесточивание электростанции во время испытаний только подразумевается, а не происходит на самом деле. При надлежащем порядке выполнения работ и дополнительных мерах безопасности такие испытания на работающей АЭС не запрещались.

Тут же следует подчеркнуть, что испытания с выбегом ротора генератора позволительно проводить только после глушения реактора, то есть с момента нажатия кнопки АЗ (аварийной защиты) и входа в активную зону поглощающих стержней. Реактор перед этим должен находиться в стабильном, управляемом режиме, имея регламентный запас реактивности.

Несколько необходимых пояснений для широкого читателя.

Упрощенно активная зона реактора РБМК⁴ представляет собой цилиндр диаметром четырнадцать метров и высотой семь метров. Внутри этот цилиндр заполнен ядерным топливом и графитом. С торцевой стороны цилиндр активной зоны равномерно пронизан сквозными отверстиями (трубами), в которых перемещаются стержни регулирования, поглощающие нейтроны. Если все стержни внизу (то есть в пределах активной зоны), реактор заглушен. По мере извлечения стержней начинается цепная реакция деления ядер, и мощность реактора растет. Чем выше извлечены стержни, тем больше мощность реактора.

⁴ РБМК — реактор большой мощности канальный.

Когда реактор загружен свежим топливом, его запас реактивности (упрощенно — способность к росту нейтронной мощности) превышает способность поглощающих стержней заглушить реакцию. В этом случае извлекается часть топлива (кассеты) и на их место вставляются неподвижные поглощающие стержни (их называют дополнительными поглотителями — ДП) как бы на помощь подвижным стержням. По мере выгорания урана эти дополнительные поглотители извлекаются и на их место устанавливается ядерное топливо.

Однако остается непреложным правило: по мере выгорания топлива число погруженных в активную зону поглощающих стержней не должно быть менее двадцати восьми—тридцати штук (после чернобыльской аварии это число увеличено до семидесяти двух), поскольку в любой момент может возникнуть ситуация, когда способность топлива к росту мощности окажется большей, чем поглощающая способность стержней регулирования.

Эти двадцать восемь—тридцать стержней, находящиеся в зоне высокой эффективности, и составляют оперативный запас реактивности. Иными словами, на всех этапах эксплуатации реактора его способность к разгону не должна превышать способности поглощающих стержней заглушить реактор.

Возникает вопрос: почему прежние испытания такого рода, в том числе и в Чернобыле, обходились без ЧП? Ответ простой: реактор находился в стабильном, управляемом состоянии, весь комплекс защит оставался в работе.

Программа, утвержденная главным инженером Чернобыльской АЭС Н. М. Фоминым, не соответствовала ни одному из перечисленных требований.

Раздел о мерах безопасности был составлен чисто формально, дополнительных мер предусмотрено не было, больше того — программой предписывалось отключение САОР (системы аварийного охлаждения реактора), а это означало, что в течение всего периода испытаний — около четырех часов — безопасность реактора будет существенно снижена. Кроме того, как это будет видно из дальнейшего, работники АЭС допускали отклонения и от самой программы, создавая дополнительные условия для аварийной ситуации.

Операторы не представляли также в полной мере, что реактор типа РБМК обладает серией положительных эффектов реактивности, которые в отдельных случаях срабатывают одновременно, приводя к так называемому положительному останову, то есть к взрыву, когда способность реактора к разгону намного превышает способность средств защиты к его глушению. Этот мгновенный мощностной эффект и сыграл свою роковую роль...

Но вернемся к программе испытаний. Попытаемся понять, почему она оказалась не согласованной с вышестоящими организациями, с теми, кто несет, как и руководство атомной станции, ответственность за ядерную безопасность не только самой АЭС, но и государства.

В январе 1986 года директор АЭС В. П. Брюханов направил программу испытаний для согласования генеральному проектировщику в Гидропроект и в Госатомэнергонадзор. Ответа не последовало. Ни дирекцию Чернобыльской АЭС, ни эксплуатационное объединение Союзатомэнерго это не обеспокоило. Не обеспокоило это и Гидропроект и Госатомэнергонадзор.

Тут уж вроде можно позволить себе далеко идущие выводы: ответственность во всех этих государственных учреждениях достигла такой степени, что они сочли возможным отмолчаться, не применив никаких санкций, хотя и генеральный проектировщик, и генеральный заказчик (ВПО Союзатомэнерго), и Госатомэнергонадзор наделены такими правами, более того, это их прямая обязанность. Но

в этих организациях есть конкретные ответственные люди. Кто же они?

В Гидропроекте — генпроектанте Чернобыльской АЭС — за безопасность атомных станций отвечал В. С. Конвиз. Это опытный проектировщик гидростанций, кандидат технических наук по гидротехническим сооружениям. Долгие годы (с 1972-го по 1982-й) — руководитель сектора проектирования АЭС, с 1983 года — ответственный за безопасность АЭС. Взявшись в 70-е годы за проектирование атомных станций, Конвиз вряд ли имел основательное понятие о том, что такое атомный реактор, привлекал к работе в основном специалистов по проектированию гидросооружений. Тут, пожалуй, все ясно. Такой человек не мог предвидеть возможности катастрофы, заложенной в программе да и в самом реакторе.

В Союзатомэнерго — объединении Министерства энергетики и электрификации СССР, эксплуатирующем АЭС и фактически отвечающем за все действия эксплуатационного персонала, — руководителем был Г. А. Веретенников, человек, никогда не имевший дела с эксплуатацией АЭС. С 1970 по 1982 год он работал в Госплане СССР, планировал поставки оборудования для атомных станций. Дело по разным причинам шло плохо, из года в год оборудование поставлялось лишь наполовину. Веретенников часто болел, у него была, как говорили, «слабая голова», спазмировали сосуды мозга. Но внутренняя установка на занятие высокой должности была в нем, видимо, сильно развита. В 1982 году он занял освободившуюся совмещенную должность заместителя министра — начальника объединения Союзатомэнерго. Она оказалась ему не по силам, снова начались спазмы сосудов мозга, обмороки, кремлевская больница. Один из старых работников Главатомэнерго, Ю. Измайлов, заметил по этому поводу: «При Веретенникове отыскать атомщика в главке, знающего толк в реакторах и ядерной физике, стало почти невозможно. Зато раздулись бухгалтерия, отдел снабжения и плановый отдел...» В 1984 году должность-приставку замминистра сократили, и Веретенников стал просто начальником объединения Союзатомэнерго. Обмороки у него участились, и он надолго слег в больницу.

Начальник производственного отдела Союзатомэнерго Е. С. Иванов так оправдывал незадолго до Чернобыля участвовавшие аварийные ситуации на атомных станциях: «Ни одна АЭС не выполняет до конца технологический регламент. Да это и невозможно. Практика эксплуатации постоянно вносит свои коррективы...»

Только ядерная катастрофа в Чернобыле вышвырнула Веретенникова из партии и из кресла начальника Союзатомэнерго.

В Госатомэнергонадзоре собрался довольно грамотный и опытный народ во главе с председателем комитета Е. В. Куловым, физиком-ядерщиком, долгое время работавшим на атомных реакторах Минсредмаша. Но как ни странно, и Кулов оставил сырую программу испытаний из Чернобыля без внимания. Почему? Ведь положением о Госатомэнергонадзоре, утвержденным постановлением Совета Министров СССР № 409 от 4 мая 1984 года, предусматривалось, что главной задачей комитета является «государственный надзор за соблюдением всеми министерствами, ведомствами, предприятиями, организациями, учреждениями и должностными лицами установленных правил, норм и инструкций по ядерной и технической безопасности при проектировании, сооружении и эксплуатации объектов атомной энергетики».

Комитету дано также право (в частности, в пункте «ж») «применять ответственные меры, вплоть до приостановки работы объектов атомной энергетики, при несоблюдении правил и норм безопасности, обнаружении дефектов оборудования, недостаточной компетентности персонала, а также в других случаях, когда создается угроза эксплуатации этих объектов...».

Помнится, на одном из совещаний в 1984 году Е. В. Кулов, только что назначенный председателем Госатомэнергонадзора, так разъяснил атомным энергетикам свои функции: «Не думайте, что я буду за вас работать. Образно говоря, я милиционер. Мое дело — запрещать, отменять неправильные ваши действия». К сожалению, и как «милиционер» Е. В. Кулов в случае с Чернобылем не сработал.

Что же помешало ему приостановить работы на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС? Ведь программа испытаний не выдерживала критики. А Гидропроект и Союзатомэнерго что помешало?

Никто не отреагировал, будто створились. В чем же тут дело? А дело в заговоре умолчания. Нет гласности — нет уроков. Стало быть, и аварий не было. Все безопасно, все надежно. Но не зря Абуталиб сказал: кто выстрелит по прошлому из пистолета, по тому будущее выстрелит из пушки. Я бы перефразировал специально для атомных энергетиков: по тому будущее ударит взрывом атомного реактора. Ядерной катастрофой.

Тут необходимо добавить еще одну деталь, о которой не было речи ни в одном из технических отчетов о происшедшем. Вот эта деталь: режим с выбегом ротора генератора при выведенной практически из работы аварийной защите планировался заранее и не только был отражен в программе испытаний, но и подготовлен технически. За две недели до эксперимента на панели блочного щита управления четвертого энергоблока была врезана кнопка МПА (максимальной проектной аварии), сигнал которой завели лишь во вторичные электроцепи, но без контрольно-измерительных приборов и насосной части. То есть сигнал этой кнопки был чисто имитационный.

Еще раз поясним широкому читателю: при срабатывании аварийной защиты (АЗ) все двести одиннадцать штук поглощающих стержней падают вниз, врубается охлаждающая вода, включаются аварийные насосы и разворачиваются дизель-генераторы надежного электропитания. Включаются также насосы аварийной подачи воды из баков чистого конденсата и насосы, подающие воду из бассейна-барбатера в реактор. То есть средств защиты более чем достаточно, если они работают в нужный момент.

Так вот, все эти защиты и надо было завести на кнопку МПА. Но они, к сожалению, были выведены из работы — поскольку операторы опасались теплового удара по реактору, то есть поступления холодной воды в горячий реактор. Эта хилая мысль, видимо, загипнотизировала и руководство АЭС (Брюханова, Фомина, Дятлова) и вышестоящие организации в Москве. Таким образом, была нарушена святая святых атомной технологии: ведь если максимальная проектная авария была предусмотрена на проекте, значит, она могла произойти в любой момент. И кто же давал в таком случае право лишать реактор всех предписанных правилами ядерной безопасности защит? Никто не давал. Сами себе разрешили...

Но, спрашивается, почему безответственность Госатомэнергонадзора, Гидропроекта и Союзатомэнерго не насторожила директора Чернобыльской АЭС Брюханова и главного инженера Фомина? Ведь по несогласованной программе работать нельзя. Что это за люди, что за специалисты? Коротко расскажу о них.

Познакомился я с Виктором Петровичем Брюхановым зимой 1971 года, приехав на площадку строительства АЭС в поселок Припятъ прямо из московской клиники, где лечился по поводу лучевой болезни. Чувствовал я себя еще плохо, но ходить мог и решил, что, работая, приду в норму быстрее. Дал подписку, что покидаю клинику по собственному желанию, сел в поезд и утром уже был в Киеве. Оттуда на такси за два часа домчался до Припяти.

Лечился я в той самой 6-й московской клинике, куда через пятнадцать лет привезут смертельно облученных пожарников и эксплу-

атационников, пострадавших при ядерной катастрофе четвертого энергоблока...

А тогда, в начале 70-х, на месте будущей АЭС еще ничего не было. Рыли котлован под главный корпус. Вокруг — редкий молодой сосняк, как нигде в другом месте пьянящий воздух. Песчаные холмы, поросшие низкорослым лесом, проплешины чистого желтого песка на фоне темно-зеленого мха. Снега нет. Кое-где пригретая солнцем зеленая трава. Тишина и первозданность.

«Бросовые земли,— сказал таксист,— но древние. Здесь, в Чернобыле, князь Святослав невесту себе выбирал. Норовистая, говорят, была невеста. Более тысячи лет этому маленькому городку. А ведь выстоял, не умер...»

Зимний день в поселке Припять был солнечный и теплый. Так здесь часто бывало — вроде зима, а все время весной пахнет. Таксист остановился возле длинного барака, в котором расположились дирекция и управление строительства.

Я вошел в барак. Пол прогибался и скрипел под ногами. Вот и кабинет директора — комнатенка в шесть квадратных метров. Брюханов встал навстречу, маленького роста, сильно кудрявый, темноволосый, с морщинистым загорелым лицом, смущенно улыбаясь, пожал мне руку. Позднее первое впечатление мягкости характера, покладистости подтвердилось, но открылось в нем и другое, в частности стремление из-за недостатка знания людей окружать себя многоопытными в житейском смысле, но порою не всегда чисто плотными работниками. Ведь тогда Брюханов был совсем молодой — тридцати шести лет от роду. По профессии и опыту работы он турбинист. С отличиями окончил Энергетический институт, выдвинулся на Славянской ГРЭС (угольной станции), где хорошо проявил себя на пуске блока. Домой не уходил сутками, работал оперативно и грамотно. И вообще, я позже узнал, трудясь с ним бок о бок несколько лет: инженер он хороший, сметливый, работоспособный. Но вот беда — не атомщик. Тем не менее курирующий Славянскую ГРЭС замминистра из Минэнерго Украины заметил Брюханова и выдвинул директором на Чернобыль.

Главный инженер Михаил Петрович Алексеев приехал в Припять с Белярской АЭС, где работал заместителем главного инженера по третьему строящемуся блоку, который чистился пока только на бумаге. Опыта атомной эксплуатации Алексеев не имел и до Белярки двадцать лет трудился на тепловых станциях. Как вскоре выяснилось, рвался в Москву, куда месяца через три после начала моей работы на АЭС и уехал... После чернобыльской катастрофы зампреду Госатомэнергонадзора М. П. Алексееву объявили строгий партийный выговор с занесением в учетную карточку. Его начальника по московской работе председателя Госатомэнергонадзора Е. В. Кулова настигла более суровая кара, его сняли с работы и исключили из партии. Такая же кара настигла Брюханова.

Но это случилось через пятнадцать лет. А привела к этому, на мой взгляд, в числе прочего кадровая политика на АЭС. С первых же месяцев (до Чернобыля я много лет был начальником смены на другой АЭС), формируя персонал цехов и служб, я предлагал Брюханову людей с многолетним опытом работы на атомных станциях. Как правило, Брюханов прямо не отказывал, но исподволь проводил на эти должности работников тепловых станций. По его мнению, на АЭС должны работать опытные станционники, хорошо знающие мощные турбинные системы, распредустройства и линии выдачи мощности. С большим трудом, через голову Брюханова заручившись поддержкой Главатомэнерго, удалось тогда укомплектовать реакторный и спецхимический цехи нужными специалистами. Брюханов комплектовал турбинистов и электриков. В конце 1972 года на Чернобыльскую АЭС пришли Н. М. Фомин и Т. Г. Плохий. Первого Брюханов предложил на должность начальника электроцеха, второго — на должность

заместителя начальника турбинного цеха. Оба эти человека — прямые кандидатуры Брюханова. Фомин, электрик по опыту работы и образованию, был выдвинут на Чернобыльскую станцию с Запорожской ГРЭС (тепловая станция), до которой работал в полтавских энергосетях. Называю эти две фамилии, ибо с ними через пятнадцать лет будут связаны крупнейшие аварии в Балакове и Чернобыле.

Как заместитель главного инженера по эксплуатации, я беседовал с Фоминым: атомная станция — предприятие радиоактивное и чрезвычайно сложное, крепко ли он подумал, оставив электроцех Запорожской ГРЭС? У Фомина неотразная белозубая улыбка. Похоже, он знает это и улыбается к месту и не к месту. Он ответил мне тогда, что АЭС — дело престижное и суперсовременное. Довольно приятный напористый баритон перемежался у него в минуты волнения альтовыми нотками. Квадратная угловатая фигура, наркотический блеск темных глаз. В работе четок, исполнительен, требователен, импульсивен. Честолюбив, злопамятен. Чувствовалось, что внутренне он всегда сжат, как пружина, и готов для прыжка. Рассказываю о нем так подробно потому, что ему предстояло стать своеобразным атомным Геростратом, личностью в некотором роде исторической, с именем которой начиная с 26 апреля 1986 года будет связываться одна из страшнейших ядерных катастроф на АЭС.

Тарас Григорьевич Плохий, напротив, вял, обстоятелен, типичный флегматик, но дотошен, упорен, работающ. О нем по первому впечатлению можно было бы сказать: туха, размазня, — если бы не его методичность и упорство в работе. К тому же многое скрадывала его близость к Брюханову (вместе работали на Славянской ГРЭС), в свете этой дружбы он казался более значительным и энергичным.

Брюханов активно продвигал Плохия и Фомина в руководящий эшелон Чернобыльской АЭС. Впереди шел Плохий — он стал заместителем главного инженера по эксплуатации, затем главным инженером. По предложению Брюханова был выдвинут главным инженером на строящуюся Балаковскую АЭС, станцию с водо-водяным реактором, проекта которой он не знал, а в итоге в июне 1985 года во время пуска наладочных работ из-за халатности эксплуатационного персонала и грубого нарушения технологического регламента произошла авария, при которой погибли, живьем сварились четырнадцать человек. Трупы из кольцевых помещений вокруг шахты реактора вытаскивали к аварийному шлюзу и складывали к ногам бледного как смерть некомпетентного главного инженера.

А тем временем на Чернобыльской АЭС Фомин семимильными шагами прошел должность заместителя главного инженера по монтажу и эксплуатации и заменил Плохия на посту главного инженера. Тут следует отметить, что Минэнерго СССР не поддерживало кандидатуру Фомина, на эту должность предлагался В. К. Бронников, опытный реакторщик. Но Бронникова не согласовывал Киев, называя его обыкновенным технарем. Мол, Фомин — жесткий, требовательный руководитель, хотим его. И Москва уступила. Фомина согласовали в отделе ЦК КПСС, и дело было решено. Цена этой уступки известна.

Тут бы впору остановиться, осмотреться, задуматься над балаковским опытом, усилить ответственность и осторожность, но...

В конце 1985 года Фомин попадает в автокатастрофу и ломает позвоночник. Длительный паралич, крушение надежд. Но могучий организм справился с недугом, и Фомин вышел на работу 25 марта 1986 года, за месяц до чернобыльского взрыва. Я был в Припяти как раз в это время с инспекцией строящегося пятого энергоблока; дела шли неважно, ход работ сдерживался нехваткой проектной документации и технологического оборудования. Видел Фомина на совещании, которое мы собрали специально по пятому энергоблоку. Он здорово сдал. Во всем облике его была какая-то заторможенность, печаль перенесенных страданий. Я поделился опасениями с Брюхано-

вым, он успокоил: «Ничего страшного, в работе скорее дойдет до нормы...»

Мы разговорились, Брюханов пожаловался, что на Чернобыльской АЭС много течей, не держит арматура, текут дренажи и воздушники. Общий расход течей почти постоянно составляет около 50 кубометров радиоактивной воды в час. Еле успевают перерабатывать на выпарных установках. Много радиоактивной грязи. Сказал, что ощущает сильную усталость и хотел бы уйти куда-нибудь на другую работу...

Он недавно вернулся из Москвы с XXVII съезда КПСС, на котором был делегатом.

Так что же происходило на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в канун катастрофы?

В 1 час 00 минут ночи 25 апреля 1986 года оперативный персонал приступил к снижению мощности реактора № 4, работавшего на номинальных параметрах.

В 13 часов 05 минут того же дня турбогенератор № 7 был отключен от сети. Электропитание собственных нужд блока (четыре главных циркуляционных насоса, два питательных электронасоса и др.) было переведено на шины оставшегося в работе турбогенератора № 8.

В 14 часов 00 минут в соответствии с программой эксперимента была отключена система аварийного охлаждения реактора (САОР) — одна из грубейших и роковых ошибок Фомина. Нужно еще раз подчеркнуть, что сделано это было сознательно, чтобы исключить возможный тепловой удар при поступлении холодной воды из емкостей системы аварийного охлаждения в горячий реактор.

А ведь эти 350 кубометров аварийной воды из емкостей САОР, когда начался разгон на мгновенных нейтронах, когда сорвали главные циркуляционные насосы и реактор остался без охлаждения, возможно, могли бы спасти положение и погасить паровой эффект реактивности, самый весомый из всех...

Трудно сейчас предположить, какие резоны двигали Фоминым в те роковые часы, но отключить систему аварийного охлаждения реактора, которая в критические секунды резко могла бы снизить паросодержание в активной зоне и, быть может, спасти от взрыва, мог только человек, совершенно не понимающий нейтронно-физических процессов в атомном реакторе или по меньшей мере крайне самонадеянный.

Итак, это было сделано, и сделано, как мы уже знаем, сознательно. Видимо, гипнозу самонадеянности, идущей вразрез с законами ядерной физики, поддались и заместитель главного инженера по эксплуатации А. С. Дятлов и весь персонал службы управления четвертого энергоблока. В противном случае хотя бы кто-нибудь один должен был в момент отключения САОР опомниться и сказать: «Отставить! Что творите, братцы?!» Но никто не опомнился, никто не крикнул. САОР была спокойно отключена, задвижки на линии подачи воды в реактор заранее обесточены и закрыты на замок, чтобы в случае надобности не открыть их даже вручную. А то сдуру и открыть могут, и 350 кубометров холодной воды ударят по раскаленному реактору.

Но ведь в случае максимальной проектной аварии в активную зону все равно пойдет холодная вода! Здесь из двух зол нужно было выбирать меньшее: лучше подать холодную воду в горячий реактор, нежели оставить раскаленную активную зону без воды. Ведь вода из системы аварийного охлаждения поступает как раз тогда, когда ей надо поступить, и тепловой удар тут несоизмерим со взрывом.

Психологически вопрос очень сложный. Ну конечно же, конформизм операторов, отвыкших самостоятельно думать, халатность и

разгильдяйство, которые в службе управления АЭС стали нормой. Еще — неуважение к атомному реактору, который воспринимался эксплуатационниками чуть ли не как тульский самовар, может, малость посложнее. Забвение золотого правила работников взрывоопасных производств: «Помни! Неверные действия — взрыв!» Был тут и электротехнический крен в мышлении, ведь главный инженер — электрик, к тому же после тяжелой спинномозговой травмы. Бесспорен и недосмотр медсанчасти Чернобыльской АЭС, которая должна зорко следить за здоровьем и работоспособностью атомных операторов, а также руководства АЭС и отстранять их от дела в случае необходимости.

И тут снова надо вспомнить, что аварийное охлаждение было выведено из работы сознательно, чтобы избежать теплового удара по реактору при нажатии кнопки МПА. Стало быть, Дятлов и операторы были уверены, что реактор не подведет. Именно здесь начинаешь понимать, что эксплуатационники не представляли до конца физики реактора, не предвидели крайнего развития ситуации. Думаю, что сравнительно успешная работа АЭС в течение десяти лет также способствовала размагничиванию людей. И даже серьезный сигнал с того света — частичное расплавление активной зоны на первом энергоблоке Чернобыльской АЭС в сентябре 1982 года — не послужил уроком. Раз уж начальство помалкивает, нам сам бог велел. Информация на уровне слухов, без отрезвляющего анализа негативного опыта.

Но продолжим. По требованию диспетчера Киевэнерго в 14 часов 00 минут вывод блока из работы был задержан. Эксплуатация четвертого энергоблока в это время продолжалась с отключенной системой аварийного охлаждения реактора — грубейшее нарушение технологического регламента, хотя формальный повод был — наличие кнопки МПА.

В 23 часа 10 минут (начальником смены четвертого энергоблока в это время был Трегуб) снижение мощности было продолжено.

В 24 часа 00 минут Трегуб сдал смену Александру Акимову, а старший инженер управления реактором (сокращенно — СИУР) сдал смену Леониду Топтунову.

Тут возникает вопрос: а если бы эксперимент проводился раньше, в смену Трегуба, произошел бы взрыв реактора? Думаю, что нет. Реактор находился в стабильном, управляемом состоянии. Но опыт мог завершиться взрывом и в этой вахте, если бы при отключении системы локального автоматического регулирования реактора (сокращенно — ЛАР) СИУР Трегуба допустил ту же ошибку, что и Топтунов, а допустив ее, стал бы подниматься из «йодной ямы»...

Но события развивались так, как запрограммировала судьба. И кажущаяся отсрочка, которую дал нам диспетчер Киевэнерго, сдвинув испытания с 14 часов 25 апреля на 1 час 23 минуты 26 апреля, оказалась на самом деле лишь прямым путем к взрыву.

В соответствии с программой испытаний выбег ротора генератора предполагалось произвести при мощности реактора 700—1000 МВт. Тут следует подчеркнуть, что такой выбег следовало производить в момент глушения реактора, ибо при максимальной проектной аварии аварийная защита реактора (АЗ) по пяти аварийным уставкам падает вниз и глушит аппарат. Но был выбран другой, катастрофически опасный путь — продолжить эксперимент при работающем реакторе. Почему был выбран такой опасный режим, остается загадкой. Можно только предположить, что Фомин желал чистого опыта.

Дальше произошло вот что. Надо пояснить, что поглощающими стержнями можно управлять всеми сразу или по частям, группами. В ряде режимов эксплуатации реактора возникает необходимость пере-

ключать или отключать управление локальными группами. При отключении одной из таких локальных систем, что предусмотрено регламентом эксплуатации атомного реактора на малой мощности, СИУР Леонид Топтунов не смог достаточно быстро устранить появившийся разбаланс в системе регулирования (в ее измерительной части). В результате этого мощность реактора упала до величины ниже 30 МВт тепловых. Началось отравление реактора продуктами распада. Это было начало конца...

Тут пора познакомиться с заместителем главного инженера по эксплуатации второй очереди Чернобыльской АЭС Анатолием Степановичем Дятловым.

Худощавый, с гладко зачесанной, серой от седины шевелюрой и уклончивыми, глубоко запавшими тусклыми глазами, Дятлов появился на атомной станции в середине 1973 года. До этого заведовал физлабораторией на одном из предприятий Дальнего Востока, занимался небольшими корабельными атомными установками. На АЭС никогда не работал. Тепловых схем станции и уран-графитовых реакторов не знал. «Как будете работать? — спросил я его. — Объект для вас новый». «Выучим, — сказал он как-то натужно, — задвижки там, трубопроводы... Это проще, чем физика реактора...» Казалось, он с трудом выдавливал слова, разделяя их долгими паузами. Характер в нем ощущался тяжелый, а в нашем деле это немаловажно.

Я сказал Брюханову, что принимать Дятлова на должность начальника реакторного цеха нельзя. Управлять операторами ему будет трудно не только в силу характера (искусством общения он явно не владел), но и по опыту предшествующей работы: чистый физик, атомной технологии не знает. Через день вышел приказ о назначении Дятлова заместителем начальника реакторного цеха. Брюханов прислушался к моему мнению, назначил Дятлова на должность пониже, однако направление — реакторный цех — осталось. После моего отъезда из Чернобыля Брюханов двинул Дятлова в начальники реакторного цеха, а затем сделал заместителем главного инженера по эксплуатации второй очереди атомной станции.

Приведу характеристики, данные Дятлову его подчиненными, проработавшими с ним бок о бок много лет.

Давлетбаев Разим Ильгамович, заместитель начальника турбинного цеха четвертого блока: «Дятлов — человек непростой, тяжелый характер, персонал по мелочам не дергал, копил замечания (злопамятен) и потом отчитывал сразу за несколько проступков или ошибок. Упрямый, нудный, не держит слова...»

Смагин Виктор Григорьевич, начальник смены четвертого блока: «Дятлов — человек тяжелый, замедленный. Подчиненным обычно говорил: «Я сразу не наказываю. Я обдумываю проступок подчиненного не менее суток и, когда уже не остается в душе осадка, принимаю решение...» Костяк физиков-управленцев собрал с Дальнего Востока, где сам работал начальником физлаборатории. Орлов, Ситников (оба погибли) тоже оттуда. И многие другие друзья-товарищи по прежней работе. Общая тенденция на Чернобыльской АЭС до взрыва — дрючить оперативный персонал смен, шадить и поощрять дневной (неоперативный) персонал цехов. Обычно больше аварий было в турбинном зале, меньше — в реакторном отделении. Отсюда размагниченное отношение к реактору. Мол, надежный, безопасный...»

Так вот, способен ли был Дятлов к мгновенной, единственно правильной оценке ситуации в момент ее перехода в аварию? Думаю, нет. Более того, в нем, видимо, не были в достаточной степени развиты необходимая осторожность и чувство опасности, столь нужные руководителю атомных операторов. Зато неуважения к операторам и технологическому регламенту хоть отбавляй...

Именно эти качества развернулись в Дятлове в полную силу, когда при отключении системы локального автоматического регулирования старший инженер управления реактором Леонид Топтунов не сумел удержать реактор на мощности 1500 МВт и провалил ее до 30 МВт тепловых.

При такой малой мощности начинается интенсивное отравление реактора продуктами распада (ксенон, йод). Восстановить параметры становится очень трудно или даже невозможно. Стало ясно: эксперимент с выбегом ротора срывается. Это сразу поняли все атомные операторы, в том числе Леонид Топтунов и начальник смены блока Александр Акимов. Понял это и заместитель главного инженера по эксплуатации Анатолий Дятлов. Ситуация создалась довольно-таки драматическая. Обычно замедленный Дятлов забегал вокруг панелей пульта операторов. Сильный тихий голос его обрел гневное металлическое звучание: «Японские караси! Не умеете! Бездарно провалились! Срываете эксперимент!»

Его можно было понять. Реактор отравляется, надо или немедленно поднимать мощность, или ждать сутки, пока он разотравится... Вот и надо было ждать. Ах, Дятлов, Дятлов... Не учел ты, как быстро идет отравление. Остановись, безумный... Может, и минет человечество чернобыльская катастрофа...

Но он не желал останавливаться. Метал грома, носился по помещению блочного щита управления и терял драгоценные минуты.

Старший инженер управления реактором Леонид Топтунов и начальник смены блока Акимов задумались, и было над чем. Падение мощности до столь низких значений произошло с уровня 1500 МВт, то есть с пятидесятипроцентной величины. Оперативный запас реактивности при этом составлял двадцать восемь стержней (то есть двадцать восемь стержней были погружены в активную зону). Восстановление параметров еще было возможно... Время шло, реактор отравлялся. Топтунову было ясно, что подняться до прежнего уровня мощности ему вряд ли удастся, а если и удастся, то с резким уменьшением числа погруженных в зону стержней, что требовало немедленной остановки реактора. Стало быть... Топтунов принял единственно правильное решение. «Я подниматься не буду!» — твердо сказал Топтунов. Акимов поддержал его. Оба изложили свои опасения Дятлову. «Что ты брешешь, японский карась! — накинулся Дятлов на Топтунова. — После падения с восьмидесяти процентов по регламенту разрешается подъем через сутки, а ты упал с пятидесяти процентов! Регламент не запрещает. А не будете подниматься, Трегуб поднимется...» Это была уже психическая атака: Трегуб — начальник смены блока, сдавший смену Акимову и оставшийся посмотреть, как идут испытания, был рядом. Неизвестно, правда, согласился ли бы он поднимать мощность. Но Дятлов рассчитал правильно: Леонид Топтунов испугался окрика, изменил профессиональному чутью. Молод, конечно, всего двадцать шесть лет от роду, неопытен. Эх, Топтунов, Топтунов...

Но он уже прикидывал: «Оперативный запас реактивности двадцать восемь стержней... Чтобы компенсировать отравление, придется подвыдернуть еще пять — семь стержней из группы запаса... Может, проскочу... Ослушаюсь — уволят...» (Топтунов рассказал об этом в припятской медсанчасти незадолго до отправки в Москву.)

Леонид Топтунов начал подъем мощности, тем самым подписав смертный приговор себе и многим своим товарищам. Под этим символическим приговором четко видны также подписи Дятлова и Фомина. Разборчиво видна подпись Брюханова и многих других более высокопоставленных товарищей...

И все же справедливости ради надо сказать, что смертный приговор был предопределен в некоторой степени и самой конструкци-

ей РБМК. Нужно было только обеспечить стечение обстоятельств, при которых возможен взрыв. И это было сделано...

Но мы забегаем вперед. Было, было еще время одуматься. Но Топтунов продолжал поднимать мощность реактора. Только к 1 часу 00 минутам 26 апреля 1986 года ее удалось стабилизировать на уровне 200 МВт тепловых. Отравление реактора продуктами распада продолжалось, дальше поднимать мощность было нельзя из-за малого оперативного запаса реактивности — он к тому моменту был гораздо ниже регламентного. (По отчету СССР в МАГАТЭ, запас реактивности составлял шесть — восемь стержней, по заявлению умирающего Топтунова, который смотрел распечатку машины «Скала» за семь минут до взрыва, — восемнадцать стержней. Тут нет противоречия. Отчет составлялся по материалам, доставленным с аварийного блока, и что-то могло быть утеряно.)

Для реактора типа РБМК, как я уже говорил, запас реактивности — тридцать стержней. Реактор стал малоуправляемым из-за того, что Топтунов, выходя из «йодной ямы», извлек несколько стержней из группы неприкосновенного запаса. То есть способность реактора к разгону превышала теперь способность имеющихся защит заглушить аппарат. И все же испытания решено было продолжить. Слишком прочна была внутренняя установка на успех. Надежда, что не подведет и на этот раз выручит реактор. Основным мотивом в поведении персонала было стремление быстрее закончить испытания: «Еще поднажмем, и дело сделано. Веселей, парни!..»

До взрыва оставалось двадцать четыре минуты...

Подытожим грубейшие нарушения, как заложенные в программу, так и допущенные в процессе подготовки и проведения эксперимента:

стремясь выйти из «йодной ямы», значительно снизили оперативный запас реактивности, сделав аварийную защиту реактора неэффективной;

ошибочно отключили систему ЛАР (локальное автоматическое регулирование), что привело к недопустимому провалу мощности;

подключили к реактору все восемь главных циркуляционных насосов (ГЦН) с аварийным превышением расходов, что сделало температуру теплоносителя близкой к температуре насыщения;

намереваясь при необходимости повторить эксперимент с обесточиванием, заблокировали защиту реактора по многим параметрам (по сигналу остановки при отключении двух турбин, по уровню воды и давлению пара в барабанах-сепараторах, по тепловым параметрам);

отключили также систему защиты от максимальной проектной аварии (стремясь избежать ложного срабатывания САОР во время проведения испытаний);

наконец, заблокировали оба аварийных дизель-генератора, а также рабочий и пускорезервный трансформаторы, отключили блок от источников аварийного электропитания и от энергосистемы. Стремясь провести «чистый опыт», фактически завершили цепь предпосылок для предельной ядерной катастрофы.

Все перечисленное обрело еще более зловещую окраску на фоне ряда неблагоприятных нейтронно-физических коэффициентов реактора типа РБМК и порочной конструкции поглощающих стержней системы управления защитой.

Дело в том, что при высоте активной зоны, равной семи метрам, поглощающая часть стержня имела длину пять метров, а ниже и выше находились метровой длины полые участки. Нижний же концевик поглощающего стержня, уходящий при полном погружении ниже активной зоны, заполнен графитом. При такой конструкции стержни

регулирования входят в активную зону реактора вначале нижним графитовым концевиком, затем в зону попадает пустотелый метровой участок и только после этого — поглощающая часть. Всего на чернобыльском четвертом энергоблоке двести одиннадцать поглощающих стержней. По данным отчета СССР МАГАТЭ, двести пять стержней находились в крайнем верхнем положении; по свидетельству Топтунова, сверху находилось сто девяносто три стержня. Одновременное введение такого количества стержней в активную зону дает в первый момент положительный всплеск реактивности, поскольку в зону вначале входят графитовые концевики (длина пять метров) и пустотелые участки метровой длины. Всплеск реактивности при стабильном, управляемом реакторе не страшен, однако при совпадении неблагоприятных факторов эта добавка может оказаться роковой, ибо потянет за собой неуправляемый разгон.

Знали об этом операторы или находились в святом неведении? Думаю, что знали, во всяком случае обязаны были знать, СИУР Леонид Топтунов в особенности. Но он молодой специалист, знания не вошли еще в плоть и кровь...

А вот начальник смены блока Александр Акимов мог и не знать, потому что СИУРом никогда не работал. Реактор, конечно, изучал, сдавал экзамены на рабочее место, но всякие тонкости в конструкции поглощающего стержня могли пройти мимо сознания оператора, ибо напрямую не связывались с опасностью для жизни. А ведь именно в этой конструкции и притаились до времени смерть и ужас чернобыльской ядерной катастрофы.

Думаю также, что вчерне конструкцию стержня представляли Брюханов, Фомин и Дятлов, не говоря уж о конструкторах-разработчиках реактора, однако не думали, что будущий взрыв спрятались в каких-то концевых участках поглощающих стержней, которые являются наиглавнейшей системой защиты ядерного реактора. Убило то, что должно было защитить, потому и не ждали отсюда смерти...

Но ведь конструировать реакторы надо так, чтобы они при непредвиденных разгонах самозатухали. Это правило — святая святых конструирования ядерных управляемых устройств. И надо сказать, что водо-водяной реактор типа нововоронежского отвечает этим требованиям.

Тут необходимо еще одно короткое пояснение. Атомным реактором возможно управлять только благодаря доле запаздывающих нейтронов, которая обозначается греческой буквой β (бета). По правилам ядерной безопасности скорость увеличения мощности реактора не должна превышать $0,0065 \beta$ за 60 секунд. Если доля запаздывающих нейтронов — $0,5 \beta$, начинается разгон на мгновенных нейтронах. Нарушения регламента и защит реактора, о которых я говорил выше, грозили высвобождением реактивности, равной по меньшей мере 5β , что означало фатальный взрывной разгон.

Представляли всю эту цепочку Брюханов, Фомин, Дятлов, Акимов, Топтунов? Первые два наверняка не представляли. Трое других теоретически должны были знать, практически, думаю, нет. Акимов вплоть до самой смерти 11 мая 1986 года повторял, пока мог говорить, одну мучившую его мысль: «Я все делал правильно. Не понимаю, почему так произошло».

Все это говорит еще и о том, что противоаварийные тренировки на АЭС, теоретическая и практическая подготовка персонала велись в основном в пределах примитивного управленческого алгоритма. Как же докатились до такой размагничности, до такой преступной халатности? Кто и когда заложил в программу нашей судьбы возможность ядерной катастрофы в украинском Полесье? И почему именно уран-графитовый реактор был выбран к установке в ста тридцати километрах от Киева? Уже пятнадцать лет назад у многих возникали сомнения по этому поводу.

Как-то мы с Брюхановым поехали на «газике» в Киев по вызову тогдашнего министра энергетики Украинской ССР А. Н. Макухина. Сам Макухин по образованию и опыту работы теплоэнергетик. По дороге в Киев Брюханов сказал: «Не возражаешь, если выкроим часок-другой, прочтешь министру и его замам лекцию об атомной энергетике, о конструкции ядерного реактора? Постарайся популярнее, а то они, как и я, в атомных станциях не все понимают...»

Министр энергетики Украинской ССР Алексей Наумович Макухин держался очень начальственно. Говорил отрывисто. Я рассказал об устройстве чернобыльского реактора, о компоновке атомной станции и об особенностях АЭС данного типа. Помню, Макухин спросил: «На ваш взгляд, реактор выбран удачно или...? Я имею в виду — рядом все же Киев...» Я ответил, что для Чернобыльской АЭС, на мой взгляд, больше подошел бы не уран-графитовый, а водо-водяной реактор нововоронежского типа. Двухконтурная станция чище, меньше протяженность трубопроводных коммуникаций, меньше активность выбросов. Словом, безопасней. «Вы читали статью академика Доллежала в «Коммунисте»? Он не советует выдвигать реакторы типа РБМК в европейскую часть страны, но вот что-то неотчетливо аргументирует...» — «Ну что я могу сказать... Доллежал прав, выдвигать не стоит. У этих реакторов большой сибирский опыт работы, они там зарекомендовали себя, если можно так выразиться, с грязной стороны. Это серьезный аргумент...» «А почему Доллежал не проявил настойчивость в отстаивании своей позиции?» — строго спросил Макухин. «Не знаю, Алексей Наумович, — я развел руками, — видимо, нашлись силы помощнее академика Доллежала». «Какие у чернобыльского реактора проектные выбросы?» — уже озабоченно поинтересовался министр. «До четырех тысяч кюри в сутки». — «А у нововоронежского?» — «До ста кюри. Разница существенная». — «Но ведь академики... Применение этого реактора утверждено Совмином. Анатолий Петрович Александров хвалит этот реактор как наиболее безопасный и экономичный. Вы сгустили краски. Но ничего, освоим... Эксплуатационникам предстоит организовать дело так, чтобы наш первый украинский реактор был чище и безопасней нововоронежского!»

В 1982 году А. Н. Макухин был переведен в центральный аппарат Минэнерго СССР на должность первого заместителя министра по эксплуатации электростанций и сетей. 14 августа 1986 года уже по итогам чернобыльской катастрофы решением Комитета партийного контроля при ЦК КПСС «за непринятие должных мер по повышению надежности эксплуатации Чернобыльской АЭС» первому заместителю министра энергетики и электрификации СССР А. Н. Макухину был объявлен строгий партийный выговор.

А ведь тогда, в 1972 году, еще можно было сменить тип чернобыльского реактора на водо-водяной и тем самым резко уменьшить вероятность того, что случилось в апреле 1986 года. И слово министра энергетики УССР было бы здесь не последним.

Еще один характерный эпизод. В декабре 1979 года, уже работая в Москве, мы выехали с инспекционной поездкой на Чернобыльскую АЭС. На совещании атомостроителей выступил тогдашний первый секретарь Киевского обкома КПУ Владимир Михайлович Цибулько. Его обожженное лицо со следами келоидных рубцов (во время войны он был танкистом и горел в танке) густо покраснело, он смотрел в пространство перед собой и говорил тоном человека, не привыкшего к возражениям. Но в голосе проскакивали и отеческие нотки, нотки заботы и доброго напутствия: «Посмотрите, товарищи, какой прекрасный город Припять, глаз радуется! Вы говорите: четыре энергоблока. А я скажу так: мало! Я бы построил здесь восемь, двенадцать, а то и все двадцать атомных энергоблоков!.. А что?! И город вымахнет до ста тысяч человек. Не город, а сказка... Вы имеете пре-

красный обкатанный коллектив атомных строителей и монтажников. Чем открывать площадку на новом месте, давайте строить здесь...»

Во время одной из пауз я вклинился и сказал, что чрезмерное скопление атомных активных зон весьма чревато, ибо снижает ядерную безопасность государства как в случае военного конфликта и нападения на атомные станции, так и в случае предельной ядерной аварии... Реплика моя осталась незамеченной, зато предложение товарища Цибулько было воспринято с энтузиазмом, как директивное указание. Вскоре началось строительство третьей очереди Чернобыльской АЭС, приступили к проектированию четвертой...

Однако 26 апреля 1986 года было не за горами, и взрыв атомного реактора четвертого энергоблока одним махом вырубил из единой энергосистемы страны 4 миллиона киловатт и прекратил строительство пятого энергоблока, ввод которого был реален в 1986 году.

Теперь представим, что мечта В. М. Цибулько сбылась. Если бы это случилось, то 26 апреля 1986 года все двенадцать энергоблоков были бы выбиты из энергосистемы на длительный срок, обезлюдел бы город со сотысячным населением и ущерб государству исчислялся бы не восемью, а как минимум двадцатью миллиардами рублей.

Следует также упомянуть, что энергоблок № 4, спроектированный Гидропроектом с расположением взрывоопасного прочноплотного бокса и бассейна-барбатера под атомным реактором, вызвал в свое время категорические возражения экспертной комиссии. Будучи председателем этой комиссии, я выступал против такой компоновки и предлагал убрать взрывоопасное устройство из-под реактора⁵. Однако мнение экспертизы было проигнорировано. Как показала жизнь, взрыв произошел и в самом реакторе и в прочноплотном боксе...

3

26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА

Вечером 25 апреля, вернувшись из командировки на Крымскую АЭС, я просмотрел свои записи, протоколы совещаний, в том числе конспект заседания бюро Крымского обкома КПСС, в работе которого принимал участие.

Перед заседанием бюро обкома я беседовал с заведующим промышленным отделом обкома В. В. Курашиком и секретарем обкома по промышленности В. И. Пигаревым. Меня удивило тогда, что оба обеспокоены одним: не опрометчиво ли строительство атомной станции в Крыму, в курортной здравнице страны, неужели нет других мест в Советском Союзе? «Есть. Есть много бросовых и малозаселенных или вообще не заселенных земель, где можно было бы строить атомные станции». — «Так почему же?.. Кто принимает решение?» — «Министр энергетики, Госплан СССР. А проектирует распределение мощностей по территории страны Электросетьпроект, сообразуясь с потребностями в энергии в том или ином районе». — «Но ведь мы тянем на тысячи километров линии электропередач из Сибири в европейскую часть страны, неужели...» — «Да, вы правы». — «Значит, в Крыму можно не строить?» — «Можно». «И нужно...» — Пигарев невесело улыбнулся. — «Но будем строить, — уже деловито поправился секретарь обкома. — Об этом поговорим сегодня на бюро со всей принципиальностью. Строители и дирекция работают вяло, срывают показатели. Такое положение терпеть дальше нельзя. — Пигарев просительно посмотрел на меня. — Обрисуйте мне, как в действительности обстоят дела на стройке, чтобы я мог поубедительней выступить на бюро обкома».

Я проанализировал ситуацию. Секретарь выступил убедительно.

⁵ Подробнее об этом см: Г. Медведев, «Экспертиза» («Дружба», 1986, № 6).

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года все будущие ответственные за ядерную катастрофу в Чернобыле спокойно спали. И министры А. И. Майорец и Е. П. Славский, и президент Академии наук СССР А. П. Александров, и председатель Госатомэнергонадзора Е. В. Кулов, и даже директор Чернобыльской АЭС В. П. Брюханов и главный инженер станции Н. М. Фомин. Спали Москва и вся ночная половина земного шара.

А тем временем в 24 часа 00 минут, то есть за час двадцать пять минут до взрыва, на блочном щите управления четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной станции заступила на вахту смена Александра Акимова. Многие из заступивших на смену не доработают до утра. Двое погибнут сразу...

Итак, в 1 час 00 минут 26 апреля 1986 года мощность атомного реактора четвертого энергоблока благодаря грубому нажиму заместителя главного инженера А. С. Дятлова была стабилизирована на уровне 200 МВт тепловых. Продолжалось отравление реактора продуктами распада. Дальнейший подъем мощности был невозможен, запас реактивности был значительно ниже регламентного и, как я уже говорил ранее, по словам СИУРа Топтунова, составлял восемнадцать стержней. Этот расчет дала ЭВМ «Скала» за семь минут до нажатия кнопки АЗ (аварийной защиты).

Реактор находился в неуправляемом состоянии и был взрывоопасен. Это означало, что нажатие кнопки АЗ в любое из оставшихся мгновений до катастрофы привело бы к неуправляемому фатальному разгону. Воздействовать на реактивность было нечем.

До взрыва оставалось еще семнадцать минут сорок секунд. Это очень большое время. Почти вечность. Сколько можно передумать за эти семнадцать минут сорок секунд, всю жизнь вспомнить, всю историю человечества. Но, к сожалению, это было всего лишь время движения к взрыву...

В 1 час 07 минут к шести работавшим главным циркуляционным насосам (ГЦН) дополнительно было включено еще по одному насосу с таким расчетом, чтобы после окончания эксперимента в контуре циркуляции осталось четыре ГЦН для надежного охлаждения активной зоны.

Тут важно понять, что гидравлическое сопротивление активной зоны впрямую зависит от мощности реактора. А поскольку мощность реактора была мала, гидравлическое сопротивление активной зоны тоже было низкое. В работе же находились все восемь насосов, суммарный расход воды через реактор возрос до 60 тысяч кубических метров в час при норме 45 тысяч, что является грубым нарушением регламента эксплуатации. При таком режиме насосы могут сорвать подачу, возможно возникновение вибрации трубопроводов контура вследствие кавитации (вскипание воды с сильными гидроударами).

Старший инженер управления реактором Л. Топтунов, начальник смены блока А. Акимов и старший инженер управления блоком Б. Столярчук пытались вручную поддерживать параметры реактора, однако в полной мере сделать это не смогли. Чтобы избежать остановки реактора в таких условиях, А. Акимов с согласия А. С. Дятлова приказал заблокировать сигналы аварийной защиты.

Спрашивается: можно ли в этой ситуации избежать катастрофы? Можно. Нужно только было категорически отказаться от проведения эксперимента, подключить к реактору систему аварийного охлаждения и зарезервировать электропитание на случай полного обесточивания. Вручную, ступенями приступить к снижению мощности реактора вплоть до его полной остановки, ни в коем случае не сбрасывая АЗ — аварийную защиту, — ибо это было бы равносильно взрыву...

Но этот шанс не был использован. Реактивность реактора продолжала медленно падать.

В 1 час 22 минуты 30 секунд (за полторы минуты до взрыва) СИУР Леонид Топтунов по распечатке программы быстрой оценки запаса реактивности увидел, что он составлял величину, требующую немедленной остановки реактора. То есть те самые восемнадцать стержней вместо необходимых двадцати восьми. Некоторое время он колебался. Ведь бывали случаи, когда вычислительная машина врала. Тем не менее Топтунов доложил обстановку Акимову и Дятлову.

Еще не поздно было прекратить эксперимент и осторожно, вручную снизить мощность реактора, пока цела активная зона. Но этот шанс был упущен, и испытания начались. Все операторы, кроме Топтунова и Акимова, которых все же смутили данные вычислительной машины, были спокойны и уверены в своих действиях. Спокоен был и Дятлов. Он прохаживался по помещению блочного щита управления и поторапливал ребят: «Еще две-три минуты, и все будет кончено. Веселей, парни!»

В 1 час 23 минуты 04 секунды старший инженер управления турбиной Игорь Кершенбаум по команде Г. П. Метленко «осциллограф включен!» закрыл стопорно-дроссельные клапаны восьмой турбины, и начался выбег ротора генератора. Одновременно была нажата и кнопка МПА (максимальной проектной аварии). Таким образом, оба турбоагрегата — седьмой и восьмой — были отключены. Аварийная защита реактора была заблокирована, чтобы иметь возможность повторить испытания, если первая попытка окажется неудачной. Тем самым было сделано еще одно отступление от программы, но весь парадокс заключался в том, что если бы действия операторов были в данном случае правильными, а блокировка не выведена, то по отключении второй турбины сработала бы аварийная защита и взрыв настиг бы нас на полторы минуты раньше...

В этот же момент, то есть в 1 час 23 минуты 04 секунды, началось запаривание главных циркуляционных насосов, отчего уменьшился расход воды через активную зону. В технологических каналах реактора вскипел теплоноситель. Процесс развивался вначале медленно. Кто знает, может быть, рост мощности и в дальнейшем оказался бы плавным, кто знает...

Старший инженер управления реактором Леонид Топтунов первым забил тревогу. «Надо бросать аварийную защиту, Александр Федорович, разгоняемся», — сказал он Акимову. Акимов быстро посмотрел распечатку вычислительной машины. Процесс развивался медленно. Да, медленно... Акимов колебался. Был, правда, и другой сигнал: восемнадцать стержней вместо двадцати восьми, — но... Начальник смены блока испытывал сложные чувства. Ведь он не хотел подниматься после падения мощности до 30 МВт. Не хотел... До ощущения тошноты, до слабости в ногах не хотел. Не сумел, правда, противостоять Дятлову. Характера не хватило. Скрепя сердце подчинился. А когда подчинился, пришла уверенность. Поднял мощность реактора из нерегламентного состояния и все это время ждал достаточно серьезной новой причины для нажатия кнопки аварийной защиты. Теперь, похоже, такое время настало. «Бросаю аварийную защиту!» — крикнул Акимов и протянул руку к красной кнопке.

В 1 час 23 минуты 40 секунд начальник смены блока Александр Акимов нажал кнопку аварийной защиты, по сигналу которой в активную зону вошли все регулирующие стержни, находившиеся вверху, а также стержни собственно аварийной защиты. Но прежде всего в зону вошли те роковые концевые участки стержней, которые дают приращение реактивности в половину беты. И они вошли в реактор как раз в тот момент, когда там началось обширное парообразование. Тот же эффект дал рост температуры активной зоны. Сошлись воедино три неблагоприятных для активной зоны фактора.

Эти проклятые 0,5 β и были той последней каплей, которая переполнила чашу терпения реактора.

Вот тут-то Акимову и Топтунову надо было бы повременить, не нажимать кнопку, тут-то ой как пригодилась бы система аварийного охлаждения реактора, которая была отключена, закрыта на цепь и опломбирована, тут бы надо было им срочно заняться главными циркуляционными насосами, подать во всасывающую линию холодную воду, сбить кавитацию, прекратить запаривание и тем самым подать воду в реактор и уменьшить парообразование, а стало быть, высвободить избыточной реактивности. Тут бы им обеспечить включение дизель-генераторов и рабочего трансформатора, чтобы подать электропитание на электродвигатели ответственных потребителей, но увы!.. Такая команда перед нажатием кнопки дана не была.

Была нажата кнопка, и начался разгон реактора на мгновенных нейтронах...

Стержни пошли вниз, однако почти сразу же остановились. Вслед за тем со стороны центрального зала донеслись удары. Леонид Топтунов растерянно топтался на месте. Начальник смены блока Александр Акимов, увидев, что стержни-поглотители прошли всего лишь два — два с половиной метра вместо положенных семи, рванулся к пульту оператора и обесточил муфты сервоприводов, чтобы стержни упали в активную зону под действием собственной тяжести. Но этого не произошло. Видимо, каналы реактора деформировались, и стержни заклинило...

Потом реактор будет разрушен. Значительную часть топлива, реакторного графита и других внутриреакторных конструкций взрывом выбросит наружу. Но на сельсинах-указателях положения стержней-поглотителей блочного щита управления четвертого блока, как на знаменитых часах в Хиросиме, стрелки навечно застынут в промежуточном положении, показывая глубину погружения два — два с половиной метра вместо положенных семи, и в таком положении будут захоронены в укрытие...

Время — 1 час 23 минуты 40 секунд...

В момент нажатия кнопки АЗ-5 (аварийная защита пятого рода) пугающе вспыхнула яркая подсветка шкал сельсинов-указателей. Даже у самых опытных и хладнокровных операторов в такие секунды сжимается сердце. В недрах активной зоны началось уже разрушение реактора, но это еще не взрыв. До времени икс оставалось двадцать секунд...

На блочном щите управления четвертого энергоблока в это время находились, напомним, начальник смены блока Александр Акимов, старший инженер управления реактором Леонид Топтунов, заместитель главного инженера по эксплуатации Анатолий Дятлов, старший инженер управления блоком Борис Столярчук, старший инженер управления турбиной Игорь Кершенбаум, заместитель начальника турбинного цеха блока № 4 Разим Давлетбаев, начальник лаборатории чернобыльского пусконаладочного предприятия Петр Паламарчук, начальник смены блока Юрий Трегуб, сдавший смену Акимову, старший инженер управления турбиной из предыдущей смены Сергей Газин, стажеры СИУРа из других смен Виктор Проскуряков и Александр Кудрявцев, а также представитель Донтехэнерго Геннадий Метленко и два его помощника, находившиеся в соседних помещениях.

Что испытывали Акимов и Топтунов, операторы атомного технологического процесса, в момент, когда на полпути застряли поглощающие стержни и раздались первые грозные удары со стороны центрального зала? Трудно сказать, потому что оба оператора погибли мучительной смертью от радиации, не оставив на этот счет никаких свидетельств.

Но представить, что испытывали они, можно. Мне знакомо чув-

ство, переживаемое операторами в первый момент аварии. Неоднократно бывал в их шкуре, когда работал на эксплуатации атомных станций. В первый миг — онемение, в груди все обрушивается лавиной, обдает холодной волной невольного страха прежде всего оттого, что достигнут врасплох и вначале не знаешь, что делать, пока стрелки самописцев и показывающих приборов разбегаются в разные стороны, а твои глаза враздрай вслед за ними, когда неясна еще причина и закономерность аварийного режима, когда одновременно (опять же невольно) думается где-то в глубине, третьим планом, об ответственности и последствиях случившегося. Но уже в следующее мгновение наступает необычайная ясность головы и хладнокровие. Следствие — быстрые и точные действия по локализации аварии...

Топтунов, Дятлов, Акимов, Столярчук — в замешательстве. Кершенбаум, Метленко, Давлетбаев ничего не понимают в ядерной физике, но тревога операторов передалась им тоже.

Поглощающие стержни остановились на полпути, не идут вниз даже после того, как начальные смены блока Акимов обесточил муфты сервоприводов. Со стороны центрального зала слышны резкие удары, пол дрожит. Но это еще не взрыв...

Время — 1 час 23 минуты 40 секунд... Покинем на эти оставшиеся до взрыва двадцать секунд блочный щит управления четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС...

В этот самый момент в центральный зал четвертого энергоблока на отметку плюс пятьдесят (балкон в районе узла развески свежего топлива) вошел начальник смены реакторного цеха из вахты Акимов Валерий Иванович Перевозченко. Он посмотрел на перегрузочную машину, застывшую у противоположной стены, на дверь, за которой в небольшом помещении находились операторы центрального зала Кургуз и Генрих, на пол центрального зала, осмотрел бассейны выдержки топлива, битком набитые выгруженным отработавшим топливом, на пятачок реактора...

Пятачок — так называется круг пятнадцатиметрового диаметра, состоящий из двух тысяч кубиков. Эти кубики в совокупности представляют собой верхнюю биологическую защиту реактора. Каждый из таких кубиков весом триста пятьдесят килограммов насаживается в виде шапки на головку технологического канала, в котором находится топливная кассета. Вокруг пятачка — нержавеющий пол, образованный коробами биозащиты, под ними — помещения пароводяных трубопроводов от реактора к барабанам-сепараторам.

И вдруг Перевозченко вздрогнул. Начались сильные и частые гидроудары, и тресхотпятидесятикилограммовые кубики — у них еще есть проектное название «сборка одиннадцать» — стали подпрыгивать и опускаться на головки каналов, будто тысяча семьсот человек стали подбрасывать вверх свои шапки. Вся поверхность пятачка ожила, заходила ходуном в дикой пляске. Вздрагивали и прогибались коробка биозащиты вокруг реактора. Это означало, что хлопки гремуцей смеси уже происходили под ними...

Обдирая руки и больно ударяясь об углы поручней, Перевозченко бросился по крутой, почти вертикальной винтовой лестнице вниз, на отметку плюс десять, в переходной коридор, соединяющий помещения главных циркуляционных насосов. Фактически он провалился, чуть притормаживая себя на лету, в яму глубиной сорок метров.

С гулко бьющимся сердцем, с паническим чувством, сознавая, что происходит что-то ужасное, непоправимое, на слабевших от невольного страха ногах он побежал влево, к выходу на деаэрационную этажерку, где за спасительным поворотом в двадцати метрах от двери начинался стометровый коридор, посредине которого был вход в помещение блочного щита управления четвертого энергоблока. Он спешил туда, чтобы доложить Акимову о происходящем в центральном зале.

В то мгновение, когда Перевозченко выскочил в соединительный коридор, в дальнем конце помещения главных циркуляционных насосов находился машинист Валерий Ходемчук. Он следил за поведением насосов. Насосы сильно трясло, и Ходемчук собирался сообщить об этом Акимову, но тут грохнул взрыв.

На отметке плюс двадцать четыре, в помещении, расположенном под питательным узлом реактора, дежурил с приборами наладчик из чернобыльского пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок. Он снимал показания приборов в режиме выбега и поддерживал телефонную связь с блочным щитом управления и с вычислительным комплексом «Скала».

Что же происходило в реакторе? Чтобы это понять, надо вернуться немного назад и проследить цепочку действий операторов.

В 1 час 23 минуты параметры реактора были наиболее близки к стабильным. За минуту до этого старший инженер управления блоком Борис Столярчук резко снизил расход питательной воды на барабаны-сепараторы, что, естественно, повлекло увеличение температуры воды на входе в реактор.

После того как был закрыт стопорно-регулирующий клапан и отключен турбогенератор № 8, начался выбег ротора. Из-за уменьшения расхода пара из барабанов-сепараторов его давление стало слабо расти, со скоростью 0,5 атмосферы в секунду. Суммарный расход через реактор начал падать из-за того, что все восемь главных циркуляционных насосов работали от выбегающего турбогенератора. Их тряску и наблюдал Валерий Ходемчук (не хватало энергии, мощность насосов падала пропорционально снижению оборотов генератора, соответственно падала и подача воды в реактор).

Повышение давления пара, с одной стороны, и снижение расхода воды через реактор, а также подачи питательной воды в барабаны-сепараторы — с другой, явились конкурирующими факторами, определившими паросодержание в активной зоне, а следовательно, мощность реактора.

Напомню, паровой коэффициент реактивности (от 2 до 4 в) — наиболее весомый в уран-графитовых реакторах. Эффективность аварийной защиты оказалась существенно сниженной. В свою очередь суммарная положительная реактивность в активной зоне в результате резкого снижения расхода охлаждающей воды через реактор начала расти. То есть рост температуры вел, с одной стороны, к росту парообразования, с другой — к стремительному росту температурного и парового эффектов. Это и послужило толчком к нажатию кнопки аварийной защиты. Но, об этом мы тоже говорили, с нажатием кнопки АЗ была введена дополнительная реактивность 0,5 в. Через три секунды после нажатия кнопки мощность реактора превысила 530 МВт, а период разгона стал намного меньше двадцати секунд.

С ростом мощности реактора гидравлическое сопротивление активной зоны резко возросло, расход воды еще более снизился, возникло интенсивное парообразование, кризис теплоотдачи, разрушение топливных ядерных кассет, бурное вскипание теплоносителя, в который попали уже частицы разрушенного топлива, резко повысилась температура в технологических каналах, и они стали разрушаться. С резким ростом давления в реакторе захлопнулись обратные клапаны главных циркуляционных насосов и полностью прекратилась подача воды через активную зону. Парообразование усилилось. Давление росло со скоростью 15 атмосфер в секунду.

Момент начала массового разрушения технологических каналов и наблюдал начальник смены реакторного цеха Перевозченко в 1 час 23 минуты 40 секунд.

Затем в последние двадцать секунд до взрыва, когда Перевозченко стремглав летел с пятидесятиметровой высоты вниз, на отмет-

ку плюс десять, в активной зоне происходила бурная пароциркониевая и другие химические и экзотермические реакции с образованием водорода и кислорода, то есть гремучей смеси.

В это время произошел мощный паровой выброс — сработали главные предохранительные клапаны реактора. Однако выброс длился недолго, клапаны не способны были справиться с таким давлением и расходом и разрушились.

В это же время огромным давлением оторвало нижние водяные и верхние пароводяные коммуникации (трубопроводы). Реактор сверху получил свободное сообщение с центральным залом и помещениями барабанов-сепараторов, а снизу — с прочноплотным боксом, который проектировщиками предусматривался для локализации предельной ядерной аварии. Но той аварии, какая случилась, никто не предполагал, и потому прочноплотный бокс послужил в данном случае просто огромной емкостью, в которой стал скапливаться гремучий газ.

В 1 час 23 минуты 58 секунд концентрация водорода в гремучей смеси в разных помещениях блока достигла взрывоопасной, и, по свидетельству одних очевидцев, раздалось последовательно два, а по свидетельству других — три и более взрыва. По сути дела, реактор и здание четвертого энергоблока были разрушены серией мощных взрывов гремучей смеси.

Взрывы раздались как раз в тот момент, когда машинист Валерий Ходемчук находился в дальнем конце помещения главных циркуляционных насосов, а начальник смены реакторного цеха Перевозченко бежал по коридору деаэрационной этажерки в сторону блочного щита управления...

Над четвертым энергоблоком взлетели горящие куски, искры, пламя. Это были раскаленные куски ядерного топлива и графита, которые частично упали на крышу машинного зала и вызвали ее загорание, поскольку кровля имела битумное покрытие.

Чтобы понять, сколько было выброшено взрывом радиоактивных веществ в атмосферу и на территорию станции, надо представить характеристику нейтронного поля за минуту двадцать восемь секунд до взрыва.

В 1 час 22 минуты 30 секунд на вычислительной системе «Скала» была получена распечатка фактических полей энерговыделений и положений всех поглощающих стержней регулирования. (Тут надо заметить, что машина считает в течение семи — десяти минут, стало быть, она показала состояние аппарата примерно за десять минут до взрыва.) Нейтронное поле на момент расчета было по диаметру активной зоны выпуклым, а по высоте в среднем — двугорбым с более высоким энерговыделением в верхней части активной зоны.

Таким образом, если верить машине, в верхней трети активной зоны образовался как бы приплюснутый шар области высокого энерговыделения диаметром около семи метров и высотой до трех метров. Именно в этой части активной зоны (ее вес около пятидесяти тонн) и происходил прежде всего разгон на мгновенных нейтронах, именно здесь произошел кризис теплоотдачи, произошло разрушение, расплавление, а затем и испарение ядерного топлива. Именно эту часть активной зоны выбросило взрывом гремучей смеси в атмосферу на большую высоту и унесло ветром в северо-западном направлении, через Белоруссию и республики Прибалтики за пределы границ СССР.

То, что радиоактивное облако передвигалось на высоте от одного до одиннадцати километров, косвенно подтверждается свидетельством техника аэродромного обслуживания аэропорта Шереметьево Антонова, который рассказал, что прибывавшие самолеты (известно, что современные реактивные лайнеры летают на высоте до трина-

дцати километров) подвергали дезактивации в течение недели после взрыва в Чернобыле...

Таким образом, около пятидесяти тонн ядерного топлива испарилось и было выброшено взрывом в атмосферу в виде мелкодисперсных частичек двуокиси урана, высокорadioактивных радионуклидов йода-131, плутония-239, нептуния-139, цезия-137, стронция-90 и многих других радиоактивных изотопов с различными периодами полураспада. Еще около семидесяти тонн топлива было выброшено с периферийных участков активной зоны боковыми лучами взрыва в завал со строительными конструкциями, на крышу деаэрационной этажерки и машинного зала четвертого энергоблока, а также на околостанционную территорию.

Часть топлива оказалась заброшенной на оборудование, трансформаторы подстанции, шинопроводы, крышу центрального зала третьего энергоблока, вентиляционную трубу АЭС.

Следует подчеркнуть, что активность выброшенного топлива достигала 15—20 тысяч рентген в час и вокруг аварийного энергоблока сразу же образовалось мощное радиационное поле, практически равное активности выброшенного топлива (активности ядерного взрыва). С удалением от завала активность спадала пропорционально квадрату расстояния.

Тут же надо отметить, что испарившаяся часть топлива образовала мощный атмосферный резервуар высокорadioактивных аэрозолей, особенно плотный и интенсивно излучающий в районе аварийного энергоблока да и всей АЭС.

Резервуар этот, быстро наполняясь, разрастался в радиальном направлении, а разносимый меняющимся ветром, обретал форму огромного зловещего радиоактивного цветка.

Примерно пятьдесят тонн ядерного топлива и около восьмисот тонн реакторного графита (всего загрузка графита составляет тысячу семьсот тонн) остались в шахте реактора, образовав воронку, напоминающую кратер вулкана. (Оставшийся в реакторе графит в последующие дни полностью выгорел.) Частично ядерная труха через образовавшиеся дыры просыпалась вниз, в подреакторное пространство, на пол, ведь нижние водяные коммуникации были оторваны взрывом...

Чтобы весомо оценить масштабы радиоактивного выброса, вспомним, что атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, весила четыре с половиной тонны, то есть вес радиоактивных веществ, образовавшихся при взрыве, составил четыре с половиной тонны.

Реактор же четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС вышвырнул в атмосферу пятьдесят тонн испарившегося топлива, создав колоссальный атмосферный резервуар долгоживущих радионуклидов (то есть десять хиросимских бомб без первичных факторов поражения плюс семьдесят тонн топлива и около семисот тонн радиоактивного реакторного графита, осевшего в районе аварийного энергоблока).

Подводя предварительные итоги, скажем, что активность в районе аварийного энергоблока составляла от 1000 до 15 тысяч рентген в час. Правда, были места в удалении и за укрытиями, где активность была значительно ниже.

Зампред Совета Министров СССР Б. Е. Щербина, председатель Госкомгидромета СССР Ю. А. Израэль и его заместитель Ю. С. Седунов на пресс-конференции 6 мая 1986 года в Москве заявили о том, что радиоактивность в районе аварийного энергоблока Чернобыльской АЭС составляет всего лишь 15 миллирентген в час, то есть 0,015 рентгена в час. Думаю, такая, мягко говоря, неточность непростительна.

Достаточно сказать, что только в городе Припяти радиоактивность на улицах весь день 26 апреля и нескольких последующих дней составляла от 0,5 до 1 рентгена в час повсеместно, и своевременная

правдивая информация и организационные меры уберегли бы десятки тысяч людей от переоблучения, но...

Но вернемся несколько назад.

Тут важны последовательность, количество и места взрывов гремучей смеси, разрушившей атомный реактор и здание четвертого энергоблока.

После разрушения технологических каналов и отрыва от них пароводяных и водяных коммуникаций пар, насыщенный испарившимся топливом, вместе с продуктами радиолиза и пароциркониевой реакции (водород плюс кислород) поступил в центральный зал, в помещения барабанов-сепараторов справа и слева, в подаппаратные помещения прочноплотного бокса.

С обрывом нижних водяных коммуникаций, через которые в активную зону подавалась охлаждающая вода, атомный реактор был полностью обезвожен. К сожалению, как мы увидим позже, операторы не поняли этого или не захотели в это поверить, что вызвало целую цепь неправильных действий, переоблучения и смерти, которые можно было бы избежать.

Итак — взрывы... Как я уже говорил, они произошли вначале в технологических каналах реактора, когда непомерно возросшее давление стало их разрушать. Та же участь постигла нижние и верхние коммуникации реактора. Ведь давление, как мы помним, росло почти со взрывной скоростью — 15 атмосфер в секунду — и очень быстро достигло 250—300 атмосфер. Рабочие конструкции технологических каналов и трубопроводных коммуникаций рассчитаны максимум на 150 атмосфер (оптимальное давление в каналах реактора — 83 атмосферы).

Разорвав каналы и попав в реакторное пространство, рассчитанное на давление 0,8 атмосферы, пар надул его, и прежде всего произошел паровой взрыв металлоконструкций. Имеющийся паросбросный трубопровод из реакторного пространства рассчитан на разрушение только одного-двух технологических каналов, а тут разрушились все.

Приведу фрагмент записи из журнала, сделанной одним из пожарников в 6-й клинике Москвы: «Во время взрыва находился возле диспетчерской, на посту дневального. Вдруг послышался сильный выброс пара. Мы этому не придали значения, потому что выбросы пара происходили неоднократно за мое время работы (имеется в виду срабатывание предохранительных клапанов в процессе нормальной работы АЭС. — Г. М.). Я собирался уходить отдыхать, и в это время — взрыв. Я бросился к окну, за взрывом мгновенно последовали следующие взрывы...»

Итак — «...сильный выброс пара... взрыв... за взрывом мгновенно последовали следующие взрывы...».

Сколько же было взрывов? По свидетельству пожарника, как минимум три. Или больше.

Где могли произойти взрывы? Шум от сильного выброса пара — это сработали предохранительные клапаны реактора, но тут же разрушились. Далее рвались трубопроводы пароводяных и водяных коммуникаций. Возможно, и трубопроводы контура циркуляции в прочноплотном боксе. Следовательно, водород с паром поступил прежде всего в помещения пароводяных коммуникаций, возникли первые мелкие удары гремучей смеси, которые наблюдал начальник смены реакторного цеха В. Перевозченко в 1 час 23 минуты 40 секунд.

Водород с паром поступил также в помещения барабанов-сепараторов справа и слева, в центральный зал, в прочноплотный бокс.

Всего 4,2 процента водорода в объеме помещения достаточно, чтобы началась взрывная реакция гидролиза, в результате которой образуется всего-навсего обыкновенная вода.

Итак, взрывы должны были прозвучать справа и слева в шахтах опускных трубопроводов прочноплотного бокса, справа и слева в помещениях барабанов-сепараторов, в парораспределительном коридоре под самим реактором. В результате этой серии взрывов разрушило помещения барабанов-сепараторов, сами барабаны-сепараторы весом сто тридцать тонн каждый сдвинуло с мертвых опор и оторвало от трубопроводов. Взрывы в шахтах опускных трубопроводов разрушили помещения главных циркуляционных насосов справа и слева. В одном из них нашел свою могилу Валерий Ходемчук.

Затем должен был последовать большой взрыв в центральном зале. Этим взрывом снесло железобетонный шатер, пятидесятитонный кран и двухсотпятидесятитонную перегрузочную машину вместе с мостовым краном, на котором она смонтирована.

Взрыв в центральном зале был как бы запалом для атомного реактора, который был откупорен и в котором было полно водорода. Возможно, оба взрыва — в центральном зале и в реакторе — произошли одновременно. Во всяком случае произошел самый страшный, и последний, взрыв гремучей смеси в активной зоне, которая была разрушена внутренними разрывами технологических каналов, частью расплавлена, частью доведена до газообразного состояния.

Этот последний взрыв, выбросивший огромное количество активности и раскаленных кусков ядерного топлива, частью упавшего на крышу машинного зала и деаэраторной этажерки, и вызвал пожар кровли.

Вот продолжение записи пожарника из журнала 6-й клиники Москвы: «Я увидел черный огненный шар, который взвился над крышей машинного отделения четвертого энергоблока...»

Или другая запись: «В центральном зале (отметка плюс 35,6 — пол, самого центрального зала не существовало.— Г. М.) просматривалось не то зарево, не то свечение. Но там кроме пятачка реактора гореть нечему. Совместно решили, что это свечение исходит от реактора...»

Эту картину пожарники наблюдали уже с крыши деаэраторной этажерки и с крыши блока спецхимии (отметка плюс семьдесят один метр), куда они взбирались, чтобы сверху оценить ситуацию.

Взрывом в реакторе подбросило и развернуло в воздухе плиту верхней биозащиты весом пятьсот тонн. В развернутом, слегка наклонном положении она вновь рухнула на аппарат, оставив приоткрытой активную зону справа и слева.

Один из пожарников поднялся на отметку пола центрального зала (плюс 35,6) и заглянул в реактор. Из жерла «вулкана» исходило излучение около 30 тысяч рентген в час плюс мощное нейтронное излучение. Однако молодые пожарники хотя и догадывались, но до конца не представляли степени грозящей им радиационной опасности. От топлива и графита, по которым они ходили длительное время на крыше машзала, тоже светило до 20 тысяч рентген в час.

Но оставим на время пожарников, которые вели себя поистине как герои. Они гасили видимое пламя и победили его. Но их сжигало, и многих сожгло, пламя невидимое, пламя нейтронного и гамма-излучений, которые водой не загасишь...

Их было немного, тех, кто видел взрывы и начало катастрофы со стороны, но на близком расстоянии. Свидетельства их очень важны.

В момент взрыва в управлении Гидроэлектромонтаж, которое располагалось в трехстах метрах от четвертого энергоблока, дежурил сторож Даниил Терентьевич Мируженко, сорока шести лет от роду. Услышав первые взрывы, подбежал к окну. В это время раздался последний страшный взрыв, мощный удар, похожий на звук во время преодоления звукового барьера реактивным истребителем, яркая световая вспышка озарила помещение. Вздрыгнули стены, задребезжали и во многих местах повывлетали стекла, тряхнуло пол под ногами.

Это взорвался атомный реактор. В ночное небо взлетели столб пламени, искры, раскаленные куски чего-то. В огне взрыва кувыркались обломки бетонных и металлических конструкций.

«Що ж воно так бухае?» — в растерянности, со страхом и тревогой подумал сторож, ощутив подпрыгивающее сердце в груди и какую-то сразу сжатость и сухость во всем теле, будто он вмиг похудел.

Большой клубящийся черно-огненный шар стал подниматься в небеса, сносимый ветром. Потом сразу же за главным взрывом начался пожар кровли машинного зала и деазраторной этажерки. Стало видно, как с крыши полился расплавленный битум. «Вжэ горыць... Бис его... Вжэ горыць...» — не успев опомниться от взрывов и ощутимых сотрясений пола под ногами, прошептал сторож.

Проехали к блоку первые пожарные расчеты от пождепо промплощадки, из окна дежурки которого пожарники видели картину начала катастрофы. Это были машины из караула лейтенанта Владимира Правика.

Мируженко бросился к телефону и позвонил в управление строительства Чернобыльской АЭС, но никто не ответил. Часы показывали половину второго ночи. Дежурный отсутствовал или спал. Тогда сторож позвонил начальнику Гидроэлектромонтажа Ю. Н. Выпирайло, но того также не оказалось дома. Видимо, была на рыбалке. Мируженко стал дожидаться утра, рабочего места не покинул.

В это же время с противоположной стороны от атомной станции, ближе к городу Припяти и железнодорожной ветке Москва—Хмельницкий, на расстоянии четырехсот метров от четвертого энергоблока оператор бетоносмесительного узла комбината строительных конструкций Чернобыльской АЭС Ирина Петровна Цечельская, находясь на смене, также услышала взрывы — четыре удара, но осталась работать до утра. Ведь ее бетоносмесительный узел обеспечивал бетоном изготовление конструкций для строящегося пятого энергоблока, на котором в ночь с 25 на 26 апреля работало около двухсот семидесяти человек и от которого напрямую до четвертого блока было тысяча двести метров. Радиационный фон там составлял 1—2 рентгена в час, но воздух тут и всюду уже был густо насыщен коротко- и долгоживущими радионуклидами, графитовым пеплом, радиоактивность которых была очень высока и которыми дышали все эти люди.

Когда грохнули взрывы, вспоминает Цечельская, невольно подумалось: преодоление звукового барьера... Взрыв котла в ПРК (пускорезервной котельной)... А может, рвануло водород в ресиверах? На ум приходило уже известное из прошлого опыта. Но котельная мирно стояла на месте, там шел плановый ремонт оборудования (на улице теплынь)... Звука летящего самолета не было слышно, как это обычно бывает после звукового скачка. В ста метрах ближе к городу Припяти прогремел тяжелый товарный состав, и все стихло. Потом стал слышен плеск, треск и клекот бушующего пламени над крышей машинного зала четвертого блока. Это горели керамзит и битум кровли, подожженные ядерным запалом. «Потушат!» — уверенно решила Цечельская, продолжая работу.

На бетоносмесительном узле, где находилась оператор Цечельская, радиационный фон составлял 10—15 рентген в час.

Наиболее неблагоприятной была радиационная обстановка в северо-западном направлении от четвертого энергоблока, в сторону железнодорожной станции Янов, переходного путепровода через железную дорогу от города Припяти до автомобильного шоссе Чернобыль — Киев. Туда прошло радиоактивное облако после взрыва реактора. На пути облака лежала и база Гидроэлектромонтажа, из окна которой сторож Мируженко наблюдал взрывы и развитие событий на крыше машинного зала. Облако прошло над молодым сосновым лесом, отсекающим город от промплощадки, обильно посыпав его ядерным пеплом. И станет он к осени и навсегда уже рыжим лесом,

смертельно опасным для всего живого. Радиационный фон снаружи, в районе базы Гидроэлектромонтажа, составлял около 30 рентген в час.

Кто еще мог видеть взрыв реактора четвертого энергоблока в ту роковую ночь 26 апреля 1986 года?

Рыбаки — они практически дено и ношно как бы сменяли друг друга у места впадения отводящего канала в пруд-охладитель, каждый рыбачил в свободное от вахты время. Вода после работающих турбин и теплообменного оборудования всегда теплая, и тут хорошо клюет. К тому же весна, нерест, клев и вовсе отменный.

Расстояние от места рыбалки до четвертого блока около двух километров. Радиационный фон достигал здесь полрентгена в час. Услышав взрывы и увидев пожар, многие остались рыбачить до утра, иные, ощутив непонятную тревогу, внезапную сухость в горле и жжение в глазах, вернулись в Припять. Пушечные удары при срабатывании предохранительных клапанов, похожие на взрывы, приучили людей не обращать на подобные шумы внимания, а пожар... Потушат. Велика невидаль!

В момент взрыва в двухстах сорока метрах от четвертого блока, как раз напротив машинного зала, сидели два рыбака на берегу подводящего канала и ловили мальков. Всякий серьезный рыбак о судаке мечтает. А без малька на судака лучше не ходить, пустое дело. А он весной особенно норовит поближе к блоку, аккурат к насосной станции, и гуляет здесь и кишит. Один из рыбаков — человек без определенных занятий по фамилии Пустовойт. Второй — командированный, наладчик из Харькова Протасов. Очень ему понравились здешние места, хмельной воздух, отличная рыбалка. Подумал даже: «Перебраться бы сюда на постоянное жительство! Если удастся, конечно. Столичная область, лимит на прописку, так просто не устроишься». Хорошо ловился малек, и настроение было хорошее. Теплая звездная украинская ночь. И не поверишь, что апрель, больше на июль смахивает. Четвертый энергоблок, белоснежный красавец, перед глазами. И приятно удивляет душу вот это неожиданное сочетание великолепной, ослепляющей атомной мощи и нежных плещущихся рыбок в садке.

Они услышали вначале два глухих, словно подземных, взрыва внутри блока. Ощутимо трянуло почву, последовал мощный паровой взрыв, и только потом, с ослепляющим выбросом пламени, взрыв реактора с фейерверком из кусков раскаленного топлива и графита. В разные стороны летели, кувыряясь в воздухе, куски железобетона и стальных балок.

Ядерным светом фигуры рыбаков выхватило из ночи, но они не догадывались об этом. Ну что-то там рвануло. Бочка с бензином, что ли... Оба продолжали ловить мальков, не подозревая, что сами они, как мальки, попали в мощные тенета ядерной катастрофы. Ловили и ловили мальков, с любопытством наблюдая за разворотом событий. У них на глазах развернули свои пожарные расчеты Правик и Кибенок, люди бесстрашно взбирались на тридцатиметровую высоту и бросались в огонь.

«Глянь! Видал? Один пожарник аж на блок «В» залез! (Плюс семьдесят один метр над землей.— Г. М.). Каску снял! От дает! Герой! Жарко, видать». Рыбаки схватили по 400 рентген каждый, ближе к утру стало неудержимо тошнить, очень плохо стало обоим. Жаром, огнем будто обжигало внутри грудь, резало веки, голова дурная, как после дикой похмелюги. И рвота, непрерывная, изматывающая. За ночь они загорели до черноты, будто в Сочи месяц на солнце жарились. Это и есть ядерный загар. Но они об этом еще понятия не имели.

Заметили, тут уже рассвело, и ребята с крыши сползают вроде одурелые, и тоже выворачивает их. Будто легче при этом стало, вро-

де как за компанию. Так и добрались до медсанчасти, а потом и в московскую клинику попали...

Даже утром 26 апреля к месту рыбалки продолжали подъезжать все новые и новые рыбаки. Это говорит о многом: о беспечности и безграмотности людей, о давней привычке к аварийным ситуациям, которые многие годы, оставаясь вне гласности, сходили с рук. Но к рыбакам вернемся позднее, утром, когда солнышко поднимется в ядерные небеса...

Вот свидетельство еще одного очевидца — бывшего начальника отдела оборудования монтажного управления Южатомаэнергомонтаж Г. Н. Петрова:

«Из Минска на своей машине я выехал в сторону города Припяти через Мозырь 25 апреля 1986 года. В Минске проводил сына в армию для прохождения службы в ГДР. Младший сын, студент, был в стройотряде на юге Белоруссии. К вечеру 26 апреля он тоже пытался пробраться в Припять, но уже стояли кордоны, и его не пустили.

К городу Припяти я подъезжал где-то около двух часов тридцати минут ночи с северо-запада, со стороны Шипеличей. Уже возле станции Янов увидел огонь над четвертым энергоблоком. Четко видна была освещенная пламенем вентиляционная труба с поперечными красными полосами. Хорошо помню, что пламя было выше трубы. То есть достигало высоты около ста семидесяти метров над землей. Я не стал заворачивать домой, а решил подъехать поближе к четвертому энергоблоку, чтобы лучше рассмотреть. Подъехал со стороны управления строительства и остановился метрах в ста от торца аварийного блока. Увидел в ближнем свете пожара, что здание полуразрушено, нет центрального зала, сепараторных помещений, красновато поблескивают сдвинутые со своих мест барабаны-сепараторы. Аж сердцу больно стало от такой картины. Потом рассмотрел завал и разрушенное гэцэновское помещение. Возле блока стояли пожарные машины. Проехала к городу «скорая» с включенной мигалкой... (Прерывая рассказ Петрова, скажу, что в том месте, где он остановил машину, радиационный фон достигал 800—1500 рентген в час, главным образом от разбросанного взрывом графита, топлива и летящего радиоактивного облака.— Г. М.) Постоял с минуту, было гнетущее ощущение непонятной тревоги, онемение, глаза впитывали все и запоминали навсегда. А тревога все шла в душу, и появился невольный страх. Ощущение невидимой близкой угрозы. Пахло как после сильного разряда молнии, еще терпким дымом, стало жечь глаза, сушить горло. Душила кашель. А я еще, чтобы лучше рассмотреть, приопустил стекла. Была ведь теплая весенняя ночь. Я хорошо видел, что горит кровля машзала и деаэрационной этажерки, видел фигурки пожарников, мелькавшие в клубах пламени и дыма, протянутые вверх от пожарных машин вздрагивающие шланги. Один пожарник взобрался аж на крышу блока «В», на отметку плюс семьдесят, видимо, наблюдал за реактором и координировал действия товарищей на кровле машзала. Они находились на тридцать метров ниже его... Теперь, спустя время, мне понятно, что он поднялся тогда на недосягаемую высоту первый во всем человечестве. Даже в Хиросиме люди не были так близко от ядерного взрыва, бомба там взорвалась на высоте сотен метров. А здесь — совсем рядом, вплотную к взрыву... Ведь под ним был кратер ядерного вулкана и 30 тысяч рентген в час... Но тогда я этого не знал. Я развернул машину и поехал к себе домой, в 5-й микрорайон города Припяти. Когда вошел в дом, мои спали. Было около трех часов ночи. Они проснулись и сказали, что слышали взрывы, но не знают, что это такое. Вскоре прибежала возбужденная соседка, муж которой уже был на блоке. Она сообщила нам об аварии и предложила распить бутылку водки для дезактивации организма. Бутылку дружно, с шутками распили и легли спать...»

Тут уместно напомнить читателю, что на многих пресс-конференциях говорилось, что непосредственно перед взрывом реактор был надежно заглушен, стержни были введены в активную зону.

Однако, как уже говорилось, эффективность аварийной защиты из-за грубых нарушений технологического регламента была сведена практически к нулю. Поглощающие стержни после нажатия кнопки АЗ вошли, как было уже сказано, в активную зону всего на два с половиной метра вместо положенных семи и не заглушили реакцию, а, наоборот, способствовали разгону на мгновенных нейтронах. Об этой грубейшей ошибке конструкторов аппарата, в конечном счете послужившей главной причиной ядерной катастрофы, не было сообщено ни на одной пресс-конференции.

Итак, активная зона разрушилась.

Вернемся на блочный щит управления четвертого энергоблока. 1 час 23 минуты 58 секунд. СИУР Леонид Топтунов и начальник смены блока Акимов находились возле левой реакторной части пульта операторов. Рядом с ними начальник смены блока из предыдущей вахты Трегуб и два молодых стажера, недавно только сдавшие экзамены на СИУРа. Они вышли в ночь, чтобы посмотреть, как будет работать их дружок Леня Топтунов, и подучиться. Это были Александр Кудрявцев и Виктор Проскурков. После нажатия кнопки АЗ загорелись лампы подсветки шкал сельсинов, и создавалось впечатление, что они раскалились докрасна. Акимов бросился к ключу обесточивания сервоприводов, нажал его, но стержни вниз не пошли и уже навечно застряли в промежуточном положении.

«Ничего не понимаю!» — смятенно выкрикнул Акимов.

Топтунов тоже с выражением недоумения на побледневшем лице поочередно нажимал кнопки вызова расхода воды... Загорелось МТК (мнемотабло каналов) — расходы на нуле, что означало: реактор без воды, превышен запас до кризиса теплоотдачи...

Грохот со стороны центрального зала говорил о том, что произошел кризис теплоотдачи и каналы взрываются.

«Ничего не понимаю! Что за чертовщина?! Мы все правильно делали...» — снова выкрикивает Акимов.

К левой, реакторной, части пульта подошел высокий, бледный, с гладко зачесанной назад седой шевелюрой заместитель главного инженера Анатолий Дятлов. На лице стереотипное недоумение: «Все правильно делали... Не может быть... Мы все...»

У пульта «П» — в центральной части помещения БЩУ, откуда производилось управление питательно-деаэрационной установкой, — находился старший инженер управления блоком Борис Столярчук. Он производил переключения на деаэрационно-питательных линиях станции, регулировал подачу питательной воды в барабаны-сепараторы. Он тоже был растерян и тоже убежден в полной правильности своих действий. Били по нервам резкие удары, доносившиеся из утробы здания блока, возникало желание что-то делать, чтобы прекратить этот угрожающий грохот. Но он не знал, что делать, ибо природу происходящего не понимал.

У пульта «Т» управления турбоагрегатами (правая часть пульта операторов) находились старший инженер управления турбинами Игорь Кершенбаум и сдавший ему смену и оставшийся посмотреть, как все будет, Сергей Газин. Именно Игорь Кершенбаум производил все операции по отключению турбоагрегата № 8 и выводу турбогенератора в режим выбега ротора генератора. Работу производил в соответствии с утвержденной программой и по указанию начальника смены блока Акимова, действия свои считал правильными. Увидев

смятение Акимова, Топтунова и Дятлова, ощутил тревогу. Но у него было дело, волноваться особенно некогда. Он следил по тахометру вместе с Метленко за оборотами выбегающего ротора. Все как будто шло нормально. Тут же, у пульта управления турбинами, за старшего находился заместитель начальника турбинного цеха четвертого блока Разим Ильгамович Давлетбаев...

А слева, у пульта управления реактором.. на мнемотабло каналов видно: нет воды!

«Что за черт?! — с возмущением и одновременно смятением думал Акимов. — Ведь восемь главных циркуляционных насосов в работе! — И тут он глянул на амперметры нагрузки. Стрелки болтались у нулей. Сорвали!.. — рухнуло у него внутри, но только на мгновение. Снова ощутил собранность. — Надо подавать воду...»

В это время — страшные удары справа, слева, снизу и сразу следом — сокрушительной силы взрыв всеохватный. Казалось, везде, всюду все рушится, ударная волна с белой, как молоко, пылью, с горячей влагой радиоактивного пара удушающим напором ворвалась в помещение блочного щита управления четвертого, теперь уже бывшего, энергоблока. Как при землетрясении, волнами заходили стены и пол. С потолка посыпалось. Звон стекол в коридоре деаэрационной этажерки, погас свет, остались гореть только три аварийных светильника, что сидели на аккумуляторной батарее, треск и молниевые вспышки коротких замыканий — взрывом рвало все электрические связи, силовые и контрольные кабели...

Дятлов, перекрывая грохот и шум, истошным голосом отдал команду: «Расхолаживаться с аварийной скоростью!» Но это была скорее не команда, а вопль ужаса... Шипение пара, клекот льющейся откуда-то горячей воды. Рот, нос, глаза, уши забило мучнистой пылью, сухость во рту и полная атрофия сознания и воли. Молниеносный неожиданный удар лишил всех чувств — боли, страха, ощущения тяжкой вины и невосполнимого горя. Но все придет, хотя и не сразу. И первыми вернутся к этим людям бесстрашие и мужество отчаяния. Но долго еще, почти до самой смерти, у некоторых верховодить будет спасительная, убаюкивающая ложь, мифы и легенды, рожденные задним, уже полубезумным, умом.

«Это все!.. — панически мелькнуло у Дятлова. — Рванула гремучка... Где?.. Похоже, в аварийном баке СУЗ (системы управления защитой. — Г. М.)». Эта версия, родившаяся в потрясенном мозгу Анатолия Дятлова, еще долго потом гуляла в умах, тешила кровоточащее сознание, парализованную, порой конвульсивно вздрагивающую волю, дошла до Москвы, и вплоть до 29 апреля в нее верили, она была основой многих, порою гибельных для жизни действий. Но почему же? А потому что это был наиболее легкий подход. В нем и оправдание и спасение для виновных снизу доверху. Особенно для тех, кто чудом уцелел в радиоактивном чреве взрыва. Им нужны были силы, а их давала хотя бы отчасти успокоенная совесть. Ведь впереди была вся ночь, непереносимая и все же побежденная ими ночь смерти...

«Что происходит?! Что это?!» — вскричал Александр Акимов, когда пылевой туман чуть рассеялся, грохот смолк и только шипение радиоактивного пара и шум льющейся воды остались главными негромкими звуками издыхающего ядерного гиганта.

Рослый, могучий тридцатипятилетний парень с широким розовощеким лицом, в очках, с темной волнистой шевелюрой, теперь покрытой пудрой радиоактивной пыли, Александр Акимов метался, не зная, что предпринять: «Диверсия?! Не может быть!.. Все правильно делали...»

СИУР Леонид Топтунов — молоденький, пухлый, румяный, усы щеточкой, всего три года после института — растерян, бледен, впе-

чатление, будто ожидает удара, но не знает, с какой стороны он последует.

В помещение БЩУ вбежал задыхающийся Перевозченко.

— Александр Федорович! — сбивчиво дыша, бледный, весь в пыли и ссадинах, крикнул он Акимову. — Там... — Он вскинул руку вверх, в сторону центрального зала. — Там что-то страшное... Разваливается пятак реактора... Плиты сборки одиннадцать прыгают, как живые... И эти... взрывы... Вы слышали? Что это?..

На блоке в этот миг стояла глухая, ватная тишина, нарушаемая только непривычным, поражающим до глубины души незнакомым шипением пара и звуком льющейся воды. В ушах звенело от этой тишины, которая настигла после вулканических, оглушающих ударов стихии. Остро стал ощущаться воздух. Будто запах озона, только очень резкий. Запершило в горле...

Старший инженер управления блоком Борис Столярчук, бледный, с каким-то ищущим, беспомощным выражением смотрел на Акимова и Дятлова.

— Спокойно! — сказал Акимов. — Мы все делали правильно... — И к Перевозченко: — Сбегай, Валера, наверх, посмотри, что там...

В этот миг распахнулась дверь из машинного зала. Влетел закопченный старший машинист турбины Вячеслав Бражник. «Пожар в машзале!» — пронзительно выкрикнул он, добавив еще что-то непонятное и выскочил назад, в огонь и бешеную радиацию.

Вслед за ним в машзал бросились Разим Давлетбаев и руководитель группы черномыльского пусконаладочного предприятия Петр Паламарчук. Он вышел в ночь для снятия вибрационных характеристик восьмого генератора совместно с сотрудниками Харьковского турбинного завода. К открытой двери подскочили Акимов и Дятлов. Там был ужас. Что-то невообразимое. Горело в нескольких местах на двенадцатой и нулевой отметках, на желтом пластике валялись раскаленные графитовые блоки и куски топлива, вокруг них разгоралось новое коптящее пламя. Седьмую турбину завалило обломками кровли. От завала вверх поднимался сизый дым. Чад, черный пепел, хлопьями спадающий вниз, хлещущее из разбитой трубы горячее масло, проломленная кровля, покачивающаяся над пропастью машзала и вот-вот готовая рухнуть панель перекрытия. Из разбитого фланца питательного насоса мощная струя кипятка бьет в стену конденсатного бокса. От пролома кровли вниз опускается густой черный столб радиоактивной графитовой пыли, расширяется у двенадцатой отметки и спускается вниз, накрывая людей и оборудование...

Акимов бросается к телефону: «Ноль два! Быстро!.. Да-да! Пожар в машзале!.. Кровля тоже!.. Да-да!.. Уже выехали?! Молодцы!.. Быстро!..»

Караул лейтенанта Правика уже разворачивал свои машины у стен машзала, уже началось...

Дятлов выскочил из БЩУ и, гремя бутсами, поскользываясь с раздирающим душу скрежетом на битом стекле, вбежал в помещение резервного пульта управления, что вплотную к лестнично-лифтовому блоку. Нажал кнопку АЗ-5 и ключ обесточивания сервоприводов. Поздно. Зачем? Реактор разрушен... Но Анатолий Степанович Дятлов считал иначе: реактор цел, взорвался бак СУЗ в центральном зале. Реактор цел... Реактор цел...

Стекла в помещении РПУ выбиты, с визгом проскальзывают под ногами, сильно пахнет озоном. Дятлов выглянул в окно, высунув голову наружу. Ночь. Гул и клекот бушующего наверху пожара. В красноватом отсвете огня виден страшный завал из строительных конструкций, балок, бетона и кирпича. На асфальте вокруг блока что-то валяется. Очень густо. Черным-черно... Но в сознание не шло, что это графит из реактора. Как и в машзале. Там тоже глаза видели раска-

ленные куски графита и топлива. Однако сознание не принимало страшный смысл увиденного.

Он вернулся в помещение блочного щита. В душе то вздымалась упругая до звона воля к действию, немедленному, чудотворному, спасающему действию, то обрушивалось все в пропасть безнадежности и апатии. Дятлов вернулся в помещение блочного щита, прислушался. Петр Паламарчук тщетно пытался связаться с 604-м помещением, где находился с приборами его подчиненный Володя Шашенок. Связи не было. К этому времени Паламарчук успел уже обещать восьмой турбоагрегат, спустился на нуль, нашел харьковчан в передвижной лаборатории, смонтированной на машине «мерседес-бенц», и настоял, чтобы они срочно покинули блок. Правда, двое уже успели сходить к завалу около реактора и получили летальную дозу. Акимов успел обзвонить всех начальников служб и цехов, просил помощи. Срочно электриков. Пожар в машзале, нужно вытеснить водород из восьмого генератора, восстанавливать энергоснабжение ответственных потребителей...

«Стоят гэцээны! — кричал он в трубку заместителю начальника электроцеха Александру Лелеченко. — Ни один насос запустить не могу! Реактор без воды! Быстро на помощь!..»

Нет связи с дозиметристом. Коммутатор отрубился. Работают только городские телефоны. Все нутром ощущают радиацию. Но сколько? Какой фон? Неизвестно... Приборов на БЩУ нет. Респираторов «лепесток» тоже нет. Нет и йодистого калия. Сейчас бы неплохо глотнуть всем по таблетке. Мало ли что...

Со щитом дозиметрии связь не получается.

— Иди, Петро, — просит Акимов Паламарчука, — заскочи к Коле Горбаченко, узнай, почему молчит...

— Мне к Шашенку, к Шашенку надо... Там что-то неладно... То же молчит...

— Бери Горбаченко и идите к Шашенку.

Акимов переключился на другое: надо доложить Брюханову, Фомину... Надо... Ох как много всего надо... Реактор без воды... Стержни СУЗ застряли на полпути... Сознание сплывало, его душил... да, его душил стыд... То горячая, то ледяная волна обжигала сердце, как только воспаленное сознание пыталось донести до него всю правду случившегося. Ах этот чертов шок... шок от сознания величайшей ответственности. Вся тяжесть ее горой навалилась на него. Что-то надо делать. Все ждут от него... Рядом без дела толкаются стажеры СИУРа Проскуряков и Кудрявцев. Стержни застряли... Конечно... А если вручную из центрального зала опустить вниз?... Идея...

— Проскуряков, Кудрявцев... — В тоне Акимова просительность, хотя имел полное право приказывать. Все, кто оказался в помещении БЩУ в момент аварии, попали в его непосредственное распоряжение. Но он просил: — Парни, надо быстренько в центральный зал... за рукояточки покрутите... надо опустить СУЗы вниз вручную. Что-то отсюда не идет...

Проскуряков и Кудрявцев пошли. Хорошие мои, пошли. Молодые, такие молодые и ни в чем не виноватые. Пошли к смерти.

Валерий Перевозченко, кажется, первый понял весь ужас случившегося. Он видел начало катастрофы. Он уже верил в невосполнимость, в страшную правду разрушений. Он видел в центральном зале такое... После того, что он видел, реактор существовать не может. Его просто нет. А раз его нет, значит... Надо спасать людей. Ему подчиненных парней надо спасать. Он за их жизни головой в ответе. Так свою ответственность определил в эти минуты начальник смены реакторного цеха Валерий Иванович Перевозченко. И первое, что он сделал, пошел искать Валеру Ходемчука...

Свидетельствует Николай Феодосьевич Горбаченко, дежурный службы дозиметрии в смене Акимова:

«В момент и после взрыва я находился на щите дозиметрии. Тряхнуло несколько раз со страшной силой. Я подумал: все, крышка. Но смотрю, живой, стою на ногах. Со мной на щите дозиметрии был еще один товарищ, мой помощник Пшеничников, совсем молодой парень. Я открыл дверь в коридор деаэрационной этажерки, оттуда — клубы белой пыли и пара. Пахнет характерным запахом пара. Еще вспышки разрядов. Короткие замыкания. Панели четвертого блока на щите дозиметрии сразу погасли. Никаких показаний. Что творится на блоке, какая радиационная обстановка — не знаю. На панелях третьего блока (у нас объединенный щит на очередь) сработала аварийная сигнализация. Все приборы пошли на зашкал. Я нажал тумблер БЦУ, но коммутатор обесточился. Связи с Акимовым нет. По городскому телефону доложил начальнику смены службы дозиметрии Самойленко, который находился на щите первой очереди. Тот перезвонил руководству службы радиационной безопасности — Красножону и Каплуну. Попытался определить радиационную обстановку у себя в помещении и в коридоре за дверью. Имелся только радиометр ДРГЗ на тысячу микрорентген в секунду. Показал зашкал. Был у меня еще один прибор со шкалой на 1000 рентген, но при включении он, как назло, сгорел. Другого не было. Тогда я прошел на блочный щит управления и доложил Акимову ситуацию. Везде зашкал на 1000 микрорентген в секунду. Стало быть, около 4 рентген в час. Если так, то работать можно около пяти часов. Конечно, из условий аварийной ситуации. Акимов сказал, чтобы я прошел по блоку и определил дозиметрическую обстановку. Я поднимался до плюс двадцать седьмой отметки по лестнично-лифтовому блоку, но дальше не пошел. Прибор всюду зашкаливал. Пришел Петя Паламарчук, и мы с ним пошли в 604-е помещение искать Володю Шашенка...»

А в это время в машзале, на отметке ноль, горело в нескольких местах. Проломило перекрытие, на пол и на оборудование упали раскаленные куски топлива и графита, куском бетонного перекрытия разбило маслопровод, горело масло. Разбило также задвижку на напоре питательного насоса, хлестал радиоактивный кипяток. В любой момент могли взорваться маслбак турбины и водород в генераторе. Надо было действовать.

Но оставим на некоторое время машзал, где эксплуатационники, не щадя жизни, проявляли чудеса героизма и не дали огню распространиться на другие блоки. Это был подвиг. Не меньший, чем тот, который совершили пожарники.

Тем временем стажеры СИУРа Проскуряков и Кудрявцев, выполняя распоряжение Акимова, выбежали в коридор деаэрационной этажерки и по привычке свернули направо, к лифту в блоке ВСРО, но увидели, что шахта разрушена, покореженный неведомой силой лифт валяется на обломках строительных конструкций. Тогда они вернулись назад, к лестнично-лифтовому блоку. Резко — как после грозы, но еще сильнее — пахло озоном. Расчихались. И еще какая-то сила ощущалась вокруг. Но они стали подниматься вверх...

За ними в коридор деаэрационной этажерки выскочил Перевозченко, предупредивший Акимова и Дятлова, что пошел искать подчиненных, которые могли оказаться в завале. Перво-наперво он подбежал к выбитым окнам, выглянул наружу. Чрезмерно сильно пахло как бы свежестыю, послегрозовым воздухом, но во много крат сильнее. На дворе — ночь. В ближнем ночном небе красные отсветы горящей кровли машзала. Если нет ветра, воздух обычно не ощущается. А здесь Перевозченко ощущал будто давление невидимых лучей, пронизывающих его насквозь. Его охватил идущий из глубины организма какой-то нутряной панический страх. Но тревога за товари-

щей брала верх. Он сильнее высунул голову и посмотрел вправо. Понял, что реакторный блок разрушен. Там, где были стены помещений главных циркуляционных насосов, в темноте виден завал из битых строительных конструкций, труб и оборудования. Выше?.. Он поднял голову. Помещений барабанов-сепараторов тоже нет. Значит, взрыв в центральном зале. Там видны очаги пожаров. Их много... «Ах, нет защитных средств... Ничего нет...» — с досадой подумал он, вдыхая полной грудью воздух с радионуклидами. Легкие обжигало огнем. Первая подавленность прошла, Перевозченко ощутил в груди, в лице, во всем существе своем внутренний жар. Будто весь он загорелся изнутри. Горит! Горит! «Что же мы сотворили?! Ребята гибнут... В центральном зале, где был взрыв, — операторы Кургуз и Генрих... В помещениях ГЦН — Валера Ходемчук... В киповском помещении под питательным узлом реактора — Володя Шашенок... Куда бежать, кого искать первым?..»

Прежде всего надо выяснить радиационную обстановку. Перевозченко побежал, поскользываясь на осколках стекол, к помещению щита РБ, к Горбаченко.

Дозиметрист был бледен, но собран.

— Какой фон, Коля? — спросил Перевозченко. Лицо его уже горело бурным огнем.

— Да вот... На диапазоне тысяча микрорентген в секунду зашкал, панели четвертого блока погасли... — Горбаченко виновато улыбнулся. — Будем считать, что пять рентген в час. Но, похоже, много больше...

— Что ж вы даже приборами не разжились?

— Да был вот прибор на тысячу рентген, но сторел. Второй в каптерке закрыт. Ключ у Красножона. Только я смотрел, та каптерка в завале. Не подступишься. Сейчас пойду с Паламарчуком Шашенка искать. Не откликается из шестисот четвертого...

Перевозченко покинул щит дозиметрии и побежал к помещению главных циркуляционных насосов, где оставался перед взрывом Валера Ходемчук. Это ближе всего.

В сторону щита дозиметрии бежал из БЩУ Петя Паламарчук, начальник лаборатории чернобыльского пусконаладочного предприятия. Напомню, он и его подчиненные обеспечивали снятие характеристик и параметров различных систем в режиме выбега ротора. Теперь было ясно, что в наиболее опасном месте — в монолитном реакторном блоке, где только что долбанула стихия, — в 604-м помещении безмолвствовал Шашенок. Что с ним? Помещение это ключевое. Туда сходились импульсные линии от главных технологических систем к датчикам. Если порвало мембраны... Трехсотградусный пар, перегретая вода. На звонки не отвечает. В трубке непрерывные гудки. Стало быть, трубку сбило с аппарата. За пять минут до взрыва с ним была отличная связь.

Паламарчук и Горбаченко бежали к лестнично-лифтовому блоку. «Я за Ходемчуком!» — крикнул им Перевозченко, глядя, как они нырнули из коридора деаэрационной этажерки в монолитную часть разрушенного реакторного отделения. А ведь там всюду были разбросаны топливо и реакторный графит.

Паламарчук и Горбаченко побежали по лестнице вверх, на двадцать четвертую отметку. Перевозченко по недлинному коридору на десятой отметке — в сторону разрушенного помещения ГЦН...

В это время молодые стажеры СИУРа Кудрявцев и Проскураков приближались, продираясь сквозь завалы, к тридцать шестой отметке, на которой находился реакторный зал. Наверху, усиленный эхом каньона лифтового блока, слышен был клекот пламени, крики пожарников, долетавшие с кровли машзала и откуда-то совсем близко, видимо, с пятачка реактора.

«Там тоже горит?..» — мелькнуло у парней.

На тридцать шестой отметке все было разрушено. Через завалы и нагромождения конструкций стажеры прошли в большое помещение вентиляционного центра, отделенного от реакторного зала теперь разрушенной монолитной стеной. Было хорошо видно, что центральный зал надуло взрывом, как хороший пузырь, а потом оторвало верхнюю часть, и стена осталась прогнутой, арматура торчит радиальными рванинами. Кое-где бетон осыпался, и видна голая арматурная сетка. Ребята постояли немного, потрясенные, с трудом узнавая столь знакомые раньше помещения. Их распирала необычная и необъяснимая для такого горя веселость, несмотря на то, что страшно жгло грудь при дыхании, ломило в висках, горели веки, будто туда капнули соляной кислотой.

Вдоль коридора прошли к входу в центральный зал. Коридор узкий, заваленный битыми конструкциями, стеклом. Над головой ночное небо в красных отблесках пожара, в воздухе дым, гарь, едкая и удушливая, и сверх всего этого ощущение присутствия еще какой-то иной силы в воздухе, пульсирующей, плотной, жгучей. Это мощная ядерная радиация ионизировала воздух, и он воспринимался теперь как новая, пугающая, непригодная для жизни среда.

Без респираторов и защитной одежды они подошли к входу в ЦЗ и, минуя три распахнутые настежь двери, вошли в бывший реакторный зал, заваленный покореженной рухлядью, глеющими обломками. Они увидели пожарные шланги, свисающие в сторону реактора. Из стволос лилась вода. Но людей уже не было. Пожарники отступили отсюда несколько минут назад, теряя сознание и последние силы.

Проскураков и Кудрявцев оказались у ядра атомного взрыва. Но где же реактор?

Круглая плита верхней биологической защиты с торчащими во все стороны обрывками тонких нержавеющей трубок (система КЦТК) под некоторым углом лежала на шахте реактора. Бесформенно свисала во все стороны арматура разрушенных стен. Значит, плиту подбросило взрывом, и она снова, наклонно уже, упала на реактор. Из жерла разрушенного реактора шел красный и голубой огонь с сильным подвывом. Видно, была хорошая тяга — сквозной проток воздуха. В лица стажеров ударил ядерный жар с активностью 30 тысяч рентген в час. Они невольно прикрыли лица руками, заслоняясь как бы от солнца. Было совершенно ясно, что никаких поглощающих стержней нет, унесло взрывом. Так что в активную зону опускаться теперь нечего. Просто нечего...

Проскураков и Кудрявцев, накрепко запоминая все, что увидели, пробыли возле реактора около минуты. Этого оказалось достаточно, чтобы получить смертельную дозу радиации (оба умерли в страшных муках в 6-й клинике Москвы).

Тем же путем с чувством глубокой подавленности и внутреннего панического чувства, сменившего ядерное возбуждение, вернулись они на десятую отметку, вошли в помещение БЦУ и доложили обстановку Акимову и Дятлову. Лица и руки у них были буро-коричневые (ядерный загар). Такого же цвета была кожа и под одеждой, что выяснилось уже в медсанчасти.

— Центрального зала нет, — сказал Проскураков. — Все снесло взрывом. Небо над головой. Из реактора огонь...

— Вы, мужики, не разобрались... — растягивая слова, глухо произнес Дятлов. — Это что-то горело на полу, а вы подумали, реактор. Видимо, взрыв гремучей смеси в аварийном баке снес шатер. Неудивительно: сто десять кубов — немало, так что... тут не только шатер, но и весь блок могло разнести... Надо спасти реактор. Он цел... Надо подавать воду в активную зону.

Так родилась легенда: реактор цел, взорвался бак аварийной воды СУЗ, надо подавать воду в реактор.

Легенда была доложена Брюханову и Фомину. И далее — в Москву. Все это породило много ненужной, лишней, вредной работы, усугубившей положение на атомной станции и увеличившей число смертей.

Генрих и Кургуз после осмотра центрального зала ждали Первозченко, чтобы получить задание на всю смену. Примерно за четыре минуты до взрыва реактора Генрих сказал Кургузу, что устал и немного поспит. Вошел в небольшую соседнюю комнатку, примерно шесть квадратных метров, глухую, без окон. Там находился топчан. Он закрыл дверь и лег.

Кургуз сел за рабочий стол и учинил запись в оперативный журнал. Его отделили от центрального зала три открытые двери. Когда взорвался атомный реактор, высокорadioактивный пар с топливом хлынул в помещение, где сидел Кургуз. В этом крошечном огненном аду он бросился к двери. Закрыл ее. Крикнул Генриху: «Очень жжет! Очень жжет!» Генрих вскочил с топчана, бросился открывать свою дверь, но из-за двери пахло таким нестерпимым жаром, что он не стал больше пытаться, инстинктивно лег на пластиковый пол, здесь было прохладней, и крикнул Кургузу: «Толя, ложись! Внизу холоднее!»

«Здесь хоть можно было дышать. Не жгло так легкие», — вспоминал потом Генрих.

Они подождали минуты три. Жар стал спадать (над головой ведь открылось небо). Потом вышли в коридор. У Кургуза сварило кожу на лице и руках. Она висела лоскутьями. На лице и руках сильно шла кровь.

Они пошли не к лестнично-лифтовому блоку, откуда вскоре придут стажеры Проскураков и Кудрявцев, а в противоположную сторону — к «чистой» лестнице и спустились на десятую отметку. Если бы они встретили стажеров, то наверняка завернули бы их назад и спасли им жизнь. Но они разминулись.

По пути к БЩУ на двенадцатой отметке к Генриху и Кургузу присоединились операторы газового контура Симеконов и Симоненко. Вместе направились на БЩУ-4. Кургузу было очень плохо. Он истекал кровью. Ему трудно было помогать. Кожа под одеждой тоже вздулась пузырями. Любое прикосновение причиняло пострадавшему нестерпимую боль. Откуда он еще брал силы идти своими ногами... Генриха обожгло меньше — спасла глухая комнатенка. Но оба схватили по 600 рентген... Они уже шли по коридору деаэраторной этажерки, когда из помещения БЩУ вышел Дятлов. Бросился к ним: «Немедленно в медсанчасть!»

До здравпункта, а он находился в административном корпусе первого блока, по коридору деаэраторной этажерки четыреста пятьдесят метров.

«Сможешь дойти, Толя?» — спросили ребята Кургуза. «Не знаю... Нет, наверное... Все тело болит... Все болит...»

И правильно сделали, что не пошли. Здравпункт первой очереди оказался закрытым. В здравпункте второй очереди фельдшера тоже не было. Такая была самоуверенность у товарища Брюханова. Все безопасно. Концепция недавней эпохи в действии. Вызвали «скорую» к АБК второй очереди, спустились на нулевую отметку, вышибли чудом уцелевшее стекло и через окно вышли наружу...

Дятлов бегал на БЩУ третьего блока. Приказал Багдасарову глушить реактор. Вернувшись на БЩУ-4, отдал команду Акимову: «Еще раз обзвони дневной персонал цехов. Всех на аварийный блок! В первую голову электриков, Лелеченко. Надо отрубить водород с электролизерной на восьмой генератор. Это сделают только они. Действуй! Я пройду вокруг блока...» Дятлов покинул блочный щит управления.

Давлетбаев несколько раз вбегал из машзала в помещение БЩУ, докладывал обстановку. Там полно разного народу. Дозиметрист Самойленко замерил Давлетбаева прибором: «От тебя, Разим, на всех диапазонах зашкал! Срочно переодевайся!» Как назло, комплект защитных средств машзала закрыт на замок. Послали богатыря Бражника взломать домиком.

Акимов приказал СИУРу Столярчуку и машинисту Бусыгину включить аварийные питательные насосы, чтобы подать воду в реактор.

«Александр Федорович! — вскричал Давлетбаев. — Оборудование обесточено! Надо срочно электриков задействовать, распреустройства на нуле... Не знаю, как они будут делать. Порвало кабельные связи. Всюду молнии коротких замыканий. Ультрафиолетовое свечение на нуле возле питательных насосов. То ли тэвээска светит (кусок топлива. — Г. М.), то ли вольтова дуга короткого замыкания...» «Сейчас прибудет Лелеченко со своими орлами!..»

Давлетбаев снова нырнул в крошечный ад машинного зала. На нуле Тормозин забивал деревянные чопы в дырки на маслопроводе. Чтобы было ловчее, сел на трубопровод и получил аппликационный ожог ягодич. Давлетбаев бросился к завалу седьмой турбины, но подойти было невозможно. Масло на пластикате. Очень скользко. Включили душирующее устройство. Турбину обволокло водяным туманом. С пульта отключили маслонасос.

Возле седьмой машины телефонная будка, из которой машинисты все время звонили на БЩУ. Против будки за окном — пятый трансформатор, на нем оказался кусок топлива, о котором не знали. Там получили смертельную дозу Перчук, Вершинин, Бражник, Новик...

Тем временем в помещении БЩУ без дела толкался руководитель неудавшегося электроэксперимента Геннадий Петрович Метленко. Его наконец заметил Акимов: «Будь другом, иди в машзал, помоги крутить задвижки. Все обесточено. Вручную каждую открывать или закрывать не менее четырех часов. Диаметры огромные...» Щупленький, небольшого роста, с остроносым сухощавым лицом, представитель Донтехэнерго побежал в машинный зал.

Трагедия развернулась там на нулевой отметке. Упавшей фермой перебило маслопровод турбины. Горячее масло хлынуло наружу и загорелось от кусков раскаленного ядерного топлива. Машинист Вершинин погасил огонь и бросился помогать товарищам, чтобы предотвратить взрыв маслобака. Бражник, Перчук, Тормозин тушили очаги пожара в других местах. В пролом кровли упали высокоактивное топливо и реакторный графит. Валялись повсюду. Гарь, радиация, сильно ионизированный воздух, черный ядерный пепел от горящего графита и сгорающей наверху битумной кровли. Куском фермы перекрытия разбило фланец на одном из аварийных питательных насосов. Его надо было отключить от деаэраторов. Задвижки крутить вручную не менее четырех часов. Другой насос готовить к работе на реактор, тоже вручную крутить задвижки. Радиационные поля на нулевой отметке машзала — от 500 до 15 тысяч рентген в час. Метленко отправили назад на блочный щит: «Обойдемся! Не мешай!..»

С электриками акимовской смены Давлетбаеву удалось заменить в генераторе водород азотом, чтобы избежать взрыва. Слили аварийное масло из маслобаков турбины в аварийные емкости снаружи энергоблока. Маслобаки залиты водой... Турбинисты в эту роковую ночь 26 апреля 1986 года совершили выдающийся подвиг. Если бы они не сделали то, что сделали, пожаром охватило бы весь машзал изнутри, рухнула бы кровля, огонь перекинулся бы на другие блоки, а это могло привести к разрушению всех четырех реакторов. Последствия трудно вообразить...

Когда пожарные Телятникова, погасив огонь на кровле, в пять

утра появились внутри машзала, там все уже было сделано... Был подготовлен второй аварийный питательный насос и включен в работу на не существующий уже реактор. Акимов и Дятлов предполагали, что вода пошла в реактор, однако она туда не могла пойти по той простой причине, что все коммуникации низа были оторваны взрывом и вода от второго АПЭНа шла в подаппаратное помещение, куда просыпалось много разрушенного ядерного топлива. Смешиваясь с топливом, высокорadioактивная вода уходила на низовые отметки деаэраторной этажерки, затапливая кабельные полуэтажи и распреустройства, приводя к коротким замыканиям и угрожая потерей энергоснабжения работающим еще энергоблокам. Ведь все энергоблоки Чернобыльской АЭС по деаэраторной этажерке, где проходят основные кабельные трассы, связаны между собой. К пяти утра — многократная рвота и очень плохое самочувствие у Давлетбаева, Бусыгина, Корнеева, Бражника, Тормозина, Вершинина, Новика, Перчука. Отправлены в медсанчасть. Давлетбаев, Тормозин, Бусыгин и Корнеев выживут. Взяли по 350 рентген. Бражник, Перчук, Вершинин и Новик получили по тысяче и более рад. Мученической смертью умрут в Москве...

Но вернемся к началу аварии. Пройдем с Валерием Ивановичем Перевозченко его путь к смерти. Он ведь искал Ходемчука, он хотел спасти всех своих подчиненных. Этот человек не знал страха. Мужество и долг вели его в ад крошечный. Тем временем Паламарчук и Горбаченко по лестнично-лифтовому блоку продвигались через завалы к двадцать четвертой отметке, в 604-е киповское помещение, где замолчал Володя Шашенок. Что с ним?.. Хотя бы жив!..

После серии грозных взрывов на блоке теперь было относительно тихо, только через проломы слышны клекот и шум пламени горячей кровли машзала, пронзительные выкрики людей, гасящих огонь, надсадное подвывание разрушенного атомного реактора, в котором горел графит. Все это как бы дальним фоном, а ближе — ручейковое журчание или дождевой шум льющейся откуда-то радиоактивной воды, вверху, внизу — не поймешь, какое-то усталое остаточное шипение радиоактивного пара и воздух... Воздух был загустевший, непривычный. Сильно ионизированный газ, острый запах озона, жжение в горле и легких, надсадный кашель, резь в глазах.

Они бежали без респираторов, в полной темноте, освещая себе дорогу карманными фонариками, которые имел всегда при себе каждый эксплуатационник. А Перевозченко по короткому переходному коридору на десятой отметке пробежал в сторону гцэзновского помещения, где остался Валера Ходемчук, и остановился, пораженный. Помещения не было. Вверху — небо, отсветы бушующего над машзалом пламени, а прямо перед ним — груды обломков, нагромождение крошева строительных конструкций, изуродованного оборудования и трубопроводов.

В завале было также очень много реакторного графита и топлива, от которых светило не менее 10 тысяч рентген в час. Перевозченко, ошеломленный, водил лучом фонаря по всей этой разрухе. Он напряженно прислушивался, пытаясь уловить хотя бы слабый голос или стон человека. Надо найти, спасти Валеру. Обязательно спасти. А еще наверху Генрих, Кургуз... Там, где был взрыв... Он их тоже спасет... Обязательно... Это его люди, его подчиненные... Он не оставит их...

А время шло. Каждая секунда, каждая лишняя минута здесь гибельны. Тело начальника смены реакторного цеха все поглощает и поглощает рентгены, все темнее становится ядерный загар в темноте ночи. И загорают не только лицо и руки, но и все тело под одеждой. Загорает... горит, горит... Жжет нутро...

«Валера-а! — изо всех сил закричал Перевозченко. — Валера-а! Откликнись! Я здесь!» Он рванул прямо к завалу, полез по облом-

кам, тщательно ища расщелины среди разрушенных конструкций, обжигая руки о куски топлива и графита, за которые нечаянно хватался в темноте. Напрягал слух, пытаюсь уловить малейший стон или шорох, но тщетно. Но все равно искал, обдирая тело о торчащие крючья арматуры и острые сколы бетонных блоков, протиснулся в 304-е помещение, но в нем никого не было.

Валера дежурил в дальней стороне... Там был его пост...

И Перевозченко пробрался по завалу туда, в дальний конец, и искал там. Но все впустую.

«Валера-а! — кричал Перевозченко, вскинув руки к небу и потрясая кулаками. — Валера-а, милый! — Слезы бессилия и горя лились по загоревшим от излучений до черноты, отекившим щекам. — Да что ж это такое?! Ходемчук! Откликнись!»

Но в ответ лицо Перевозченко озаряли только отсветы огня, бушующего в ночном небе над крышей машзала, и доносились пронзительные, похожие на отчаянные крики израненных птиц голоса пожарников. Там тоже шла борьба со смертью, и там люди принимали в себя смерть.

Изнемогая от навалившейся ядерной усталости, Перевозченко полез по завалу назад, пробрался, шатаясь, к лестнично-лифтовому блоку и стал подниматься наверх, на тридцать шестую отметку, к центральному залу. Ведь там, в ядерном аду и огне, гибнут Кургуз и Генрих.

Он не знал, что Анатолий Кургуз и Олег Генрих, сильно облученные и ошпаренные радиоактивным паром, уже спустились по условно чистой лестнице на десятую отметку и отправлены в медсанчасть.

Перевозченко повторил путь стажеров Кудрявцева и Проскуракова, вошел сначала в каморку операторов, их там не было, тогда он вошел в центральный зал и принял на себя дополнительный ядерный удар гудящего огнем реактора.

Опытный физик, Перевозченко понял, что реактора больше нет, что он превратился в гигантский ядерный вулкан, что водой его не загасить, ибо нижние коммуникации оторваны от реактора взрывом, что Акимов, Топтунов и ребята в машзале, запускающие питательные насосы, чтобы подавать в реактор воду, зря гибнут. Ведь воду сюда не подашь... Надо выводить всех людей с блока. Это самое правильное. Надо спасти людей.

Перевозченко спустился вниз, его непрерывно рвало, мутилось и мновениями отключалось сознание, он падал, но приходил в себя, снова вставал и шел, шел.

Войдя в помещение БЦУ, он сказал Акимову:

— Реактор разрушен, Саша... Надо уводить людей с блока...

— Реактор цел! Мы подадим в него воду! — запальчиво возразил Акимов. — Мы все правильно делали... Иди в медсанчасть, Валера, тебе плохо... Ты перепутал, уверяю тебя... Это не реактор, это горят строения, конструкции. Их потушат...

В то самое время, когда Перевозченко искал захороненного в завале Ходемчука, Петр Паламарчук и дозиметрист Николай Горбаченко, с трудом преодолевая завалы и разломы на двадцать четвертой отметке реакторного блока, проникли наконец в киповское помещение, где в момент взрыва находился Владимир Шашенок. Паламарчук и Горбаченко нашли товарища в разломе 604-го помещения, придавленного упавшей балкой, сильно обожженного паром и горячей водой. Потом в медсанчасти выяснилось, что у него перелом позвоночника, сломаны ребра, а сейчас... надо было спасать.

Перед самым взрывом, когда давление в контуре росло со скоростью 15 атмосфер в секунду, в этом помещении разорвало трубы и датчики, оттуда пошли радиоактивные пар и перегретая вода, упало что-то сверху, и Шашенок потерял сознание. Вся поверхность

кожи получила глубокий тепловой и радиационный ожоги. Ребята освободили товарища из-под завала, Паламарчук, стараясь не причинить новых страданий, взвалил его на спину с помощью Горбаченко и, с трудом пробираясь через завалы бетона и труб, вынес на десятую отметку. Оттуда, чередуясь с Горбаченко, по коридору деаэракторной этажерки, примерно четыреста пятьдесят метров,— к здравпункту на АБК первого блока. Здравпункт оказался заколоченным на гвоздь. Вызвали «скорую». Через десять минут приехал фельдшер Саша Скачок, и Шашенка увезли в медсанчасть. Потом приехал на своей «скорой» педиатр Белоконь и дежурил здесь до утра, пока его самого не увезли в медсанчасть.

Паламарчук и Горбаченко, вынося товарища, тоже сильно облучились и вскоре были отправлены в медсанчасть. Горбаченко до того успел еще обойти блок, замеряя гамма-фон, был в машзале, обошел блок снаружи. Но все было фактически впустую. Прибором со шкалой измерений всего на 3,6 рентгена он не мог измерить бешеные радиационные поля и поэтому не смог должным образом предостеречь товарищей.

В 2 часа 30 минут ночи на БЩУ-4 пришел директор АЭС Брюханов. Вид пудрено-серый, растерян, почти невменяем.

— Что произошло? — сдавленным голосом спросил он Акимова.

На БЩУ-4 активность воздуха в это время составляла около 3—5 рентген в час, а в местах прострела от завала и того больше.

Акимов доложил, что произошла тяжелая радиационная авария, но реактор, по его мнению, цел, что пожар в машзале в стадии ликвидации, пожарники майора Телятникова тушат пожар на кровле, что готовится в работу второй аварийный питательный насос и скоро будет включен. Лелеченко и его люди должны только подать электропитание. Трансформатор отключился от блока по защите от коротких замыканий.

— Вы говорите — тяжелая радиационная авария, но если реактор цел... Какая активность сейчас на блоке?

— Имеющийся у Горбаченко радиометр показывает тысячу микрорентген в секунду...

— Ну, это немного,— чуть успокаиваясь, сказал Брюханов.

— Я тоже так думаю,— возбужденно подтвердил Акимов.

— Могу я доложить в Москву, что реактор цел?

— Да, можете,— уверенно ответил Акимов.

Брюханов ушел на АБК-1 в свой кабинет и оттуда в 3 часа ночи позвонил домой заведующему сектором атомной энергетики ЦК КПСС Владимиру Васильевичу Марьину...

К этому времени на аварийный блок прибыл начальник гражданской обороны атомной станции Соловьев (фамилия изменена.— Г. М.). У него был радиометр со шкалой измерений на 250 рентген. Это уже было кое-что. Пройдя по деаэракторной этажерке, в машзал, к завалу, понял, что положение крайне тяжелое. На шкале 250 рентген радиометр показывал зашкал в разных местах блока и завала.

Соловьев доложил обстановку Брюханову.

— У тебя неисправный прибор,— сказал Брюханов.— Таких полей быть не может. Ты понимаешь, что это такое? Разберись-ка со своим прибором или выбрось его на свалку...

— Прибор исправный,— сказал Соловьев.

В 4 часа 30 минут утра на БЩУ прибыл главный инженер Фомин. Его долго разыскивали. Дома почему-то трубку не брал, жена бормотала что-то невнятное. Кто-то сказал, что он на рыбалке, потому и не подходил к телефону. Что-то знали люди...

— Доложите обстановку!

Акимов доложил. Подробно перечислил последовательность технологических операций до взрыва.

— Мы все делали правильно, Николай Максимович. Претензий к персоналу смены не имею. К моменту нажатия кнопки АЗ-5 запас реактивности составлял восемнадцать стержней СУЗ. Разрушения произвел взрыв стодесятикубового бака аварийной воды СУЗ в центральном зале, на отметке плюс семьдесят один метр...

— Реактор цел? — спросил Фомин красивым баском.

— Реактор цел! — твердо ответил Акимов.

— Непрерывно подавайте в аппарат воду!

— Сейчас в работе аварийный питательный насос из деаэраторов на реактор.

Фомин удалился. Внутри он то метался, как затравленный зверь, то проваливался в бездонную пропасть, мысленно панически вскрикивая: «Конец! Конец!» — то обретал вдруг железную уверенность: «Выстоим!»

Но не выстоял. Этот человек сломался первым перед чудовищной ответственностью, которая только сейчас обрела свою свинцовую тяжесть и расплющивала все его слабое, по сути, державшееся на гордыне и тщеславии существо...

Приказав в два ночи Акимову подавать воду в реактор, заместитель главного инженера по эксплуатации Анатолий Дятлов покинул блочный щит управления и вышел в сопровождении дозиметриста наружу, спустившись по лестнично-лифтовому блоку. Весь асфальт вокруг был усыпан блоками реакторного графита, кусками конструкций, топлива. Воздух был густой и пульсирующий. Такой ощущалась ионизирующая высокорadioактивная плазма.

— Активность? — спросил Дятлов дозиметриста.

— Зашкал, Анатолий Степанович... Кха-кха! Ч-черт! Сушит глотку... На тысяче микрорентген в секунду зашкал...

— Японские караси!.. Приборов у вас ни хрена нет! В бирюльки играете!..

— Да кто думал, что будут такие поля?! — вдруг возмутился дозиметрист. — В каптерке есть один радиометр со шкалой на десять тысяч рентген, да закрыта. А ключ у Красножона. Да к каптерке, я смотрел, и не подобраться. Завалило ее. И светит дай бог. Без прибора чувствую...

— Индюки! Японские караси! Прибор в каптерке держат! Обалдуи! Носом измеряй!

— Да я и так уж измеряю, Анатолий Степанович... — сказал дозиметрист.

— Если бы только ты... Я ведь тоже измеряю, сукин ты сын. А ведь не должен. Это твоя работа... Усек?!

Они подошли вплотную к завалу. Он возвышался горой, поднимаясь наклонно от самой земли аж до сепараторных помещений...

— Ё-моё! — воскликнул Дятлов. — Что натворили! Крышка!

Дозиметрист щелкал туда-сюда переключателем диапазонов, бормоча: «Зашкал... Зашкал...»

— Выбрось ты его к едрене фене!.. Японские караси... Пошли в обход вокруг машзала...

Кругом на асфальте графит и куски топлива. В темноте не совсем различимо, но при желании понять можно. То и дело спотыкаешься о графитовые блоки, футболишь ногами. Реальная активность до 15 тысяч рентген в час. Поэтому и зашкал на радиометре у дозиметриста.

В сознании не укладывается увиденное. Обогнули торец машзала. Вдоль бетонной стенки напорного бассейна девятнадцать пожарных машин. Слышен клекот и рев огня на кровле машзала. Пламя высокое. Выше венттрубы.

Но странное дело! В сознании у заместителя главного инженера по эксплуатации четвертого энергоблока возникло и жило теперь

как бы два образа, две мысли. Одна: «Реактор цел. Подавать воду». Вторая: «Графит на земле, топливо на земле. Откуда, спрашивается? Непонятно откуда. Активность бешеная. Нутром чую активность».

— Все! — приказал Дятлов. — Откатываемся!

Они вернулись на БЦУ. Горбаченко прошел к себе, на щит дозиметрии. Должен вот-вот подойти зам начальника службы РБ Красножон.

Общая экспозиционная доза, ими полученная, составила 400 рад.

К пяти утра началась рвота. Смертельная слабость. Головная боль. Буро-коричневый цвет лица. Ядерный загар.

Горбаченко и Дятлов своим ходом ушли на АБК-1 и далее — «скорой» в медсанчасть.

Свидетельствует Альфа Федоровна Мартынова, жена заведующего сектором атомной энергетики ЦК КПСС В. В. Марьина:

«26 апреля 1986 года в три часа ночи раздался у нас дома междугородный звонок. Из Чернобыля звонил Марьину Брюханов. Закончив разговор, Марьин сказал мне: «На Чернобыле страшная авария! Но реактор цел...» Он быстро оделся и вызвал машину. Перед уходом позвонил вышшему руководству ЦК партии по инстанции. Прежде всего Фрольшеву. Тот — Долгих. Долгих — Горбачеву и членам Политбюро. После чего уехал в ЦК. В восемь утра позвонил домой и попросил меня собрать его в дорогу: мыло, зубной порошок, щетку, полотенце и т. д.».

В 4 часа 00 минут утра Брюханову из Москвы последовал приказ: организуйте непрерывное охлаждение атомного реактора.

На щите дозиметрии второй очереди Николая Горбаченко сменил заместитель начальника службы радиационной безопасности АЭС Красножон. На вопросы операторов, сколько работать, отвечал стереотипно: на диапазоне 1000 микрорентген в секунду зашкал. Работать пять часов из расчета 25 бэр⁶. (Это говорит о том, что зам начальника службы РБ АЭС также не смог определить подлинную интенсивность радиации.)

Акимов и Топтунов по несколько раз уже бегали вверх к реактору посмотреть, как действует подача воды от второго аварийного питательного насоса. Но огонь все гудел и гудел. Акимов и Топтунов уже были буро-коричневыми от ядерного загара, уже рвота выворачивала нутро, уже в медсанчасти Дятлов, Давлетбаев, люди из машзала, уже на подмену Акимову прислали начальника смены блока Владимира Алексеевича Бабичева, но... Акимов и Топтунов не уходили. Можно только склонить голову перед их мужеством и бесстрашием. Ведь они обрекли себя на верную смерть. И тем не менее все их действия вытекали из ложной первоначальной послышки: реактор цел! Никак не хотели поверить, что реактор разрушен, что вода в него не попадает, а, захватывая с собой ядерную труху, сливается на минусовые отметки, заливает кабельные трассы и высоковольтные распредустройства и создает угрозу обесточивания трех других работающих энергоблоков.

Что-то мешает воде поступать в реактор, догадывался Акимов. Где-то на линии трубопроводов закрыты задвижки... Они проникли с Топтуновым в помещение питательного узла на двадцать четвертой отметке реакторного отделения. Помещение было полуразрушено взрывом. В дальнем конце пролом, видно небо, пол залит водой с ядер-

⁶ Бэр — биологический эквивалент рентгена, 1 бэр рентгеновского излучения соответствует 1 раду поглощенной дозы.

ным топливом, активность до 5 тысяч рентген в час. Сколько может жить и работать человек в таких радиационных полях? Бесспорно, что недолго. Но здесь были сверхдопинговое состояние, необычайная внутренняя собранность, мобилизация всех сил от запоздалого сознания вины, ответственности и долга перед людьми. И силы откуда-то брались сами собой. Они должны уже были умереть, но они работали!..

А воздух здесь, как и везде вокруг и внутри четвертого энергоблока, был плотным, пульсировал радиоактивным ионизированным газом, насыщенным всем спектром долгоживущих радионуклидов, которые извергал из себя разрушенный реактор.

Они вручную с большим трудом приоткрыли регулирующие клапаны на двух нитках питательного трубопровода, а затем поднялись через завалы на двадцать седьмую отметку и в небольшом трубопроводном помещении, в котором было почти по колено воды с топливом, подорвали (приоткрыли) по две задвижки трехсотки. Было еще по одной задвижке на левой и правой нитках трубопровода, но открыть их сил уже не хватило ни у Акимова и Топтунова, ни у помогавших им Нехаева, Орлова, Ускова...

Предварительно оценивая ситуацию и действия эксплуатационного персонала после взрыва, можно сказать, что безусловный героизм и самоотверженность проявили турбинисты в машинном зале, пожарники на кровле и электрики во главе с заместителем начальника электроцеха Александром Григорьевичем Лелеченко. Эти люди предотвратили развитие катастрофы как внутри, так и снаружи машинного зала и спасли таким образом всю станцию.

Александр Григорьевич Лелеченко, оберегая молодых электриков от лишних хождений в зону высокой радиации, сам трижды ходил в электролизерную, чтобы отключить подачу водорода к аварийным генераторам. Если учесть, что электролизерная находилась рядом с завалом, всюду обломки топлива и реакторного графита, активность достигала от 5 до 15 тысяч рентген в час, можно представить, насколько высококонравственным и героическим был этот пятидесятилетний человек, сознательно прикрывший собою молодые жизни. А потом по колено в высокоактивной воде изучал состояние распредустройств, пытаясь подать напряжение на питательные насосы...

Общая экспозиционная доза, им полученная, составила 2500 рад, этого хватило бы на пять смертей. Но, получив в припятской медсанчасти первую помощь (ему влили в вену физраствор), Лелеченко сбежал на блок и работал там еще несколько часов.

Умер он страшной мученической смертью в Киеве.

Бесспорен героизм начальника смены реакторного цеха Валерия Ивановича Перевозченко, наладчика Петра Паламарчука и дозиметриста Николая Горбаченко, бросившихся спасать своих товарищей.

Что же касается действий Акимова, Дятлова и Топтунова и помогавших им, то их работа, полная самоотверженности и бесстрашия, тем не менее была направлена на усугубление аварийной ситуации.

Ложная модель, оценка происшедшего: реактор цел, его нужно охлаждать, разрушения произошли от взрыва бака СУЗ в центральном зале,— с одной стороны, несколько успокоила Брюханова и Фомина, которые доложили модель ситуации в Москву и тут же получили ответный приказ: непрерывно подавать воду в реактор, охлаждать,— с другой стороны... Временно такой приказ как бы облегчал душу и вроде бы вносил ясность в ситуацию: подавайте воду, и все будет хорошо. Это и определило весь характер действий Акимова, Топтунова, Дятлова, Нехаева, Орлова, Ускова и других, которые сделали все, чтобы включить в работу аварийный питательный насос и подать воду в воображаемый целый и невредимый реактор.

Эта мысль позволила не сойти с ума Брюханову и Фомину, ведь она давала надежду...

Но запас воды в деаэрационных баках истощался (всего 480 кубометров). Правда, туда переключили подпитку с химводоочистки, из других запасных баков, тем самым оставив без возможности восполнения утечек три других работающих энергоблока. Там, особенно на соседнем, третьем блоке, сложилась крайне тяжелая ситуация, грозившая потерей охлаждения активной зоны.

Нужно отдать должное начальнику смены блока № 3 Юрию Эдуардовичу Багдасарову, у которого на БЩУ в момент аварии на соседнем блоке оказались и респираторы «лепесток» и таблетки йодистого калия. Как только ухудшилась радиационная обстановка, он всем подчиненным приказал надеть респираторы и принять таблетки. Когда он понял, что всю воду из баков чистого конденсата и с химводоочистки переключили на аварийный блок, он тут же доложил в бункер Фомину, что остановит реактор. Фомин запретил. К утру Багдасаров сам остановил третий блок и перевел реактор в режим расхолаживания, подпитывая контур циркуляции водой из бассейна-барбатера. Действовал мужественно и в высшей степени профессионально, предотвратив расплавление активной зоны третьего реактора в свою смену...

Тем временем в бункере АБК-1 Брюханов и Фомин непрерывно сидели на телефонах. Брюханов держал связь с Москвой, Фомин — с сблочным щитом управления четвертого энергоблока.

В Москву в ЦК Марьину, министру Майорцу, начальнику Союзатомэнерго Веретенникову, в Киев министру энергетики Украины Склярору, секретарю обкома Ревенко — тысячи раз повторялась одна и та же модель ситуации: «Реактор цел. Подаем воду в аппарат. Взорвался аварийный бак СУЗ в центральном зале. Взрывом снесло шатер. Радиационная обстановка в пределах нормы. Погиб один человек — Валерий Ходемчук. У Владимира Шашенка стопроцентный ожог. В тяжелом состоянии».

«Радиационная обстановка в пределах нормы...» Подумать только! Конечно, у него были приборы с диапазоном измерений всего на 1000 микрорентген в секунду (это 3,6 рентгена в час) — но кто мешал Брюханову иметь достаточное количество приборов с большим диапазоном измерений? Почему приборы оказались запертыми в каптерку, а те, что были у дозиметристов, неисправными? Почему Брюханов пренебрег докладом начальника гражданской обороны АЭС Соловьева и не передал в Москву и Киев его данные о радиационной обстановке?

Здесь, конечно, были и трусость, боязнь ответственности, и — в силу некомпетентности — неверие в возможность такой страшной катастрофы. Да, для него происшедшее было уму непостижимым. Но это лишь объясняет, а не оправдывает его действия.

Из Москвы Брюханову было передано, что организована правительственная комиссия, первая группа специалистов из Москвы вылетит в девять утра.

«Держитесь! Охлаждайте реактор!»

Фомин порою терял самообладание. То впадал в ступор, то начинал голосить, плакать, бить кулаками и лбом о стол, то развивал бурную, лихорадочную деятельность. Звучный баритон его был насыщен предельным напряжением. Он давил на Акимова и Дятлова, требуя непрерывной подачи воды в реактор, бросал на четвертый блок все новых и новых людей взамен выбывающих из строя.

Когда Дятлова отправили в медсанчасть, Фомин вызвал из дому заместителя главного инженера по эксплуатации первой очереди Анатолия Андреевича Ситникова и сказал: «Ты опытный физик. Оп-

редели, в каком состоянии реактор. Ты будешь как бы человек со стороны, не заинтересованный врать. Прошу тебя. Лучше взобраться на крышу блока «В» и заглянуть сверху. А?..»

Ситников пошел навстречу смерти. Он облазил весь реакторный блок, заходил в центральный зал. Уже здесь понял, что реактор разрушен. Но он посчитал это недостаточным. Поднялся на крышу блока «В» (спецхимии) и оттуда посмотрел на реактор с высоты птичьего полета. Картина невообразимого разрушения открылась его взору. Взрывом оторвало монолитный шатер центрального зала, и жалкие остатки прогнувшихся бетонных стен с торчащими во все стороны бесформенными щупальцами арматурин напоминали гигантскую актинию, притаившуюся в ожидании, когда очередная живая душа приблизится к ней, а то и окунется в ее адское ядерное чрево. Ситников отогнал навязчивый образ и, ощущая, как жаркие радиоактивные щупальца лижут ему лицо, руки, обжигая и садня мозг и самое душу, нутро, стал пристально разглядывать то, что осталось от центрального зала. Реактор явно взорвался. Плита верхней биозащиты с торчащими в разные стороны обрывками трубопроводных коммуникаций, пакетов импульсных линий, похоже, была подброшена взрывом и, рухнув назад, наклонно улеглась на шахту реактора. Из раскаленных проемов справа и слева гудел огонь, несло нестерпимым жаром и смрадом. Всего Ситникова, особенно голову, напрямую обстреливало нейтронами и гамма-лучами. Он дышал густым радионуклидным газом, все более ощущая нестерпимое жжение в груди, будто внутри его кто-то разводил костер. Огонь все разгорался, разгорался...

Он схватил не менее полутора тысяч рентген на голову. Облучением поражена была центральная нервная система. В московской клинике у него не привился костный мозг, и, несмотря на все принятые меры, он погиб.

В десять утра Ситников доложил Фомину и Брюханову, что реактор, по его мнению, разрушен. Но доклад Анатолия Андреевича Ситникова вызвал раздражение и к сведению принят не был. Подача воды в реактор продолжалась.

Как уже говорилось раньше, первыми приняли на себя удар ядерной стихии внутри энергоблока операторы центрального зала Кургуз и Генрих, оператор главных циркуляционных насосов Валерий Ходемчук, наладчик Владимир Шашенок, заместитель начальника турбинного цеха Разим Давлетбаев, машинисты турбины Бражник, Тормозин, Перчук, Новик, Вершинин...

А снаружи энергоблока первыми бесстрашно включились в борьбу с огнем пожарники майора Телятникова. Командир пожарной части Леонид Петрович Телятников был в отпуске и должен был выйти на работу через день. Они как раз с братом справляли его день рождения, когда позвонили из депо. Прибыв на место пожара, Телятников сразу понял, что людей мало и надо просить помощь отовсюду. Приказал лейтенанту Правикку передать тревогу по области. Правик по радию передал вызов № 3, по которому все пожарные машины Киевской области должны следовать к атомной станции, где бы они ни находились.

Пожарники Шаврей и Петровский поднялись по механической лестнице на крышу машзала. Там бушевал огненно-дымный шквал. Навстречу им уже шли ребята из шестой части с плохим самочувствием. Помогли им добраться до механической лестницы, а сами бросились к огню...

Прищепка подключился к гидранту, и его расчет по пожарной лестнице полез на крышу машзала. Когда влезли, увидели: в ряде мест перекрытие нарушено, некоторые панели упали вниз, другие сильно шатались. Прищепка спустился, чтобы предупредить об этом

товарищей. Увидел майора Телятникова. Доложил ему. «Выставить боевой пост дежурства и не покидать до победы», — сказал Телятников.

Так и сделали. С Шавреем и Петровским Прищепа пробыл на крыше машзала до пяти утра. Потом им стало плохо. Вернее, плохо стало почти сразу, но терпели, думали, это от дыма и жары. А к пяти утра стало уж совсем плохо, смертельно плохо. Тогда спустились. Но огонь уже был погашен...

Через пять минут после взрыва на месте аварии был и расчет Андрея Полковникова. Развернул машину, подготовил к тушению. На крышу поднимался два раза, передавал приказ Телятникова, как действовать.

Правик прибыл к месту катастрофы первым, поэтому весь его караул был брошен на тушение кровли машзала. Караул Кибенка, прибывшего несколько позже, бросили на реакторное отделение. Там пламя бушевало на разных отметках. В пяти местах горело в центральном зале. На борьбу с этим огнем и бросились Кибенок, Ващук, Игнатенко, Титенок и Тищура. Это была борьба с огнем в ядерном аду. Когда погасили очаги в сепараторных помещениях и в реакторном зале, остался один, последний и самый главный очаг — реактор. Вначале не разобрались, стали гасить из брандспойтов гудящую огнем активную зону. Но вода против ядерной стихии была бессильна. Нейтроны и гамма-лучи водой не загасишь...

Пока не было Телятникова, лейтенант Правик взял на себя общее руководство ликвидацией огня. Сам пошел и разведал все до мелочей. Неоднократно подходил к реактору, взбирался на крышу блока «В» (семьдесят первая отметка), чтобы увидеть оттуда всю картину и определить тактику борьбы с огнем. Когда появился Телятников, Правик стал его правой рукой, первым помощником.

Надо было остановить огонь на решающих направлениях. Одно отделение Телятников бросил на защиту машзала, два других сдерживали продвижение клокочущего огня к соседнему, третьему блоку, а также ликвидировали пожар в центральном зале.

Выслушав доклад Правика, Телятников и сам несколько раз поднимался на семьдесят первую отметку, чтобы лучше рассмотреть направление движения огня. Ведь обстановка менялась каждую минуту. Лава горящего битума, тяжелый ядовитый дым снижали видимость, затрудняли дыхание. Работали под угрозой неожиданных выбросов пламени, внезапных обрушений. Всего в реакторном отделении и на кровле машзала загасили тридцать семь очагов огня.

Дым ел глаза, на сапоги налипал расплавленный битум, каски осыпало черным радиоактивным пеплом горящего графита и керамзита. Леонид Шаврей из подразделения Правика стоял на посту на крыше блока «В», следя за тем, чтобы огонь не перекинулся дальше. Было страшно жарко. И снаружи и внутри. О радиации никто пока не подозревал. Пожар как пожар, ничего сверхъестественного не замечали. Шаврей даже каску снял. Душно, давит грудь, душит кашель. Но вот один за другим стали выходить из строя люди. Тошнота, рвота, помутнение сознания. В половине четвертого Телятников спустился на блочный щит управления к Акимову. Доложил обстановку на кровле. Сказал, что ребятам что-то дурно становится. Не радиация ли? Попросил дозиметриста. Пришел Горбаченко. Сказал, что радиационная ситуация сложная. Отдал Телятникову своего помощника Пшеничникова.

Пошли через лестнично-лифтовой блок, наверху которого была дверь на крышу. Но дверь оказалась запертой. Взломать не смогли. Спустились на нуль и прошли через улицу. Шли по графиту и топливу. Телятников был уже плох: буро-коричневое лицо, рвота, головная боль. Но он считал, что отравился дымом и перегрелся на пожаре. И все же... Хотелось убедиться поточнее. У Пшеничникова был

радиометр на 1000 микрорентген в секунду. Везде, внизу и на крыше, показывал зашкал, но истинной радиационной обстановки дозиметрист определить не мог. Его радиометр показывал всего 4 рентгена в час. На самом же деле на кровле было в разных местах от 2 до 15 тысяч рентген в час. Ведь кровля загорелась от упавших на нее раскаленных графита и топлива. Смешавшись с расплавленным битумом, все это превратилось в высокоактивное ядерное месиво, по которому ходили пожарники.

Внизу, на земле, как я уже говорил, было не лучше. Не только графит и обломки топлива, но и ядерная пыль, выпавшая из облака взрыва, покрыла все ядовитым налетом.

Водитель В. В. Булава рассказывает: «Получил команду пробиться к расположению лейтенанта Хмеля. Приехал. Поставил машину на водоем, включил подачу воды. Машина-то у меня только из ремонта, вся новехонькая, пахнет свежей краской. Скаты на колесах тоже новые. Только при подъезде к блоку слышу, стучит что-то о правое переднее крыло. Выскочил посмотреть. Так оно и есть — арматура проткнула шину, торчит из колеса и цепляет за крыло. Ну, туды твою растуды, такая обида, прямо до слез. Только из ремонта, такая жалость. Но пока ставил машину на водоем, некогда было. А потом включил насосы, сел в кабину, а эта железяка никак из головы не идет. Прямо сижу и вижу, как она в живую шину воткнулась и торжествует себе. Нет, думаю, не потерплю я такого. Вылез из машины и выдернул ее, чертяку. Не поддавалась. Повозиться пришлось... А в итоге с глубокими радиационными ожогами рук попал в московскую клинику. Знал бы, рукавицы надел. Такие дела..»

Первыми вышли из строя пожарные Кибенка вместе со своим командиром. В первой группе пострадавших был и лейтенант Правик. К пяти утра пожар погасили. Но победа далась дорогой ценой. Семнадцать пожарных, среди них Кибенок, Правик, Телятников, были отправлены в медсанчасть, а вечером того же дня в Москву. Всего из Чернобыля и других районов Киевской области на помощь к месту аварии прибыло пятьдесят пожарных машин. Но основная работа была уже выполнена.

В ту роковую и героическую ночь на «скорой помощи» припятской медсанчасти дежурил врач-педиатр Валентин Белоконь. Работали двумя бригадами с фельдшером Александром Скачком. Белоконь был на вызове у больного, когда позвонили с АЭС. На АЭС выехал фельдшер Скачок.

В 1 час 42 минуты Скачок позвонил и сказал, что на станции пожар, есть обожженные, нужен врач. Белоконь выехал с шофером Гумаровым. Взяли еще две резервные машины. По дороге навстречу им проскочила машина Скачка с включенной мигалкой. Как потом выяснилось, он вез Володю Шашенка.

Забитую дверь здравпункта взломали. Несколько раз Белоконь подъезжал к третьему и четвертому блокам. Ходил по графиту и топливу. С крыши сползали уже в очень плохом состоянии Титенок, Игнатенко, Тищура, Ващук. Оказывал первую помощь — в основном успокаивающие уколы — и отправлял в медсанчасть. Последними из огня вышли Правик, Кибенок, Телятников. К шести утра Белоконь тоже почувствовал себя плохо и был доставлен в медсанчасть.

Первое, что бросилось в глаза, когда увидел пожарников, — их страшное возбуждение, на пределе нервов. Такого не наблюдал раньше. Потому и успокаивающее колот им. А это, как выяснилось потом, было ядерное бешенство нервной системы, ложный сверхтонус, который сменился затем глубокой депрессией...

Свидетельствует Геянадий Александрович Шашарин, бывший заместитель министра энергетики и электрификации СССР:

«Я находился в момент взрыва в Ялте в санатории. Отдыхали вместе с женой. В три часа ночи 26 апреля 1986 года в номере раздался телефонный звонок. Звонили из ялтинского отдела, сказали, что на Чернобыльской АЭС серьезное ЧП, что я назначен председателем правительственной комиссии и мне срочно надлежит вылететь в Припять на место аварии. Быстро оделся, пошел к дежурному администратору и попросил соединить меня с ВПО Союзатомэнерго в Москве. Г. А. Веретенников был уже на месте (около четырех утра). Я его спросил: «Аварийную защиту сбросили? Вода подается?» «Да», — ответил Веретенников.

Затем администратор санатория принесла мне телекс за подписью министра Майорца. В телексе уже значилось, что председателем правительственной комиссии назначен зампред Совмина СССР Борис Евдокимович Щербина и что мне тоже надо быть в Припяти 26 апреля. Вылетать немедленно.

В Симферополь прибыл в начале десятого. Вылет на Киев ожидался в 11 часов 00 минут, и я посетил обком партии. Там ничего толком не знали. Высказали беспокойство относительно строительства АЭС в Крыму. Прилетел в Киев около 13 часов. Министр энергетики Украины Скляров сказал мне, что с часу на час подлетит Майорец с командой, надо ждать...»

Дальше рассказ поведет **Виктор Григорьевич Смагин** — начальник смены блока № 4:

«Я должен был менять Александра Акимова в восемь утра 26 апреля 1986 года. Спал ночью крепко, взрывов не слышал. Проснулся в семь утра и вышел на балкон покурить. С четырнадцатого этажа у меня хорошо видна атомная станция. Посмотрел в ту сторону и сразу понял, что центральный зал моего родного четвертого блока разрушен. Над блоком огонь и дым. Понял, что дело дрянь. Бросился к телефону, чтобы позвонить на БЩУ, но связь уже была отрублена. Чтобы не утекала информация. Собрался уходить. Приказал жене плотно закрыть окна и двери. Детей из дому не выпускать. Самой тоже не выходить. Сидеть дома до моего возвращения...»

Побежал на улицу к стоянке автобуса. Но автобус не подходил. Вскоре подали «рафик», сказали, что отвезут не ко второй проходной, как обычно, а к первому блоку. Там все уже было оцеплено милицией. Прапорщики не пропускали. Тогда я показал свой круглосуточный пропуск руководящего оперативного персонала, и меня неохотно, но пропустили. Около АБК-1 встретил заместителей Брюханова Гундара и Царенко, которые направлялись в бункер. Они сказали мне: «Иди, Витя, на БЩУ-4, смени Бабичева. Он менял Акимова в шесть утра, наверное, уже схватил... Не забудь переодеться в стельшкеш...»

Раз переодеться здесь, сообразил я, значит, на АБК-2 — радиация. Поднялся в стекляшку (конференц-зал). Там навалом одежды: комбинезоны, бахилы, «лепестки». Пока переодевался, сквозь стекло видел генерала МВД (это был зам министра внутренних дел Украины Бердов), который проследовал в кабинет Брюханова.

Я быстро переоделся, не зная еще, что с блока вернусь уже в медсанчасть с сильным ядерным загаром и с дозой в 280 рад. Но сейчас я торопился, надел костюм х/б, бахилы, чепец, «лепесток-200» и побежал по длинному коридору деаэрационной этажерки (общая для всех четырех блоков) в сторону БЩУ-4. В помещении вычислительной машины «Скала» — провал, с потолка на шкафы с аппаратурой льется вода. Тогда еще не знал, что вода сильно радиоактивная. В помещении никого. Юру Бадаева, видать, уже увезли. Пошел дальше. В помещении щита дозиметрии уже хозяйничал зам начальника службы РБ Красножон. Горбаченки не было. Стало быть, тоже увезли или где-нибудь ходит по блоку. Был в помещении и начальник ночной

смены дозиметристов Самойленко. Красножон и Самойленко крыли друг друга матом. Я прислушался и понял, что матерятся из-за того, что не могут определить радиационную обстановку. Самойленко давит на то, что радиация огромная, а Красножон — что можно работать пять часов из расчета 25 бэр.

«Сколько работать, мужики?» — спросил я, прервав их перепалку. «Фон — тысяча микрорентген в секунду, то есть три и шесть десятых рентгена в час. Работать пять часов из расчета набора двадцать пять бэр!» «Брехня все это», — резюмировал Самойленко. Красножон снова взбеленился. «Что ж, у вас других радиометров нет?» — спросил я. «Есть в каптерке, но ее завалило взрывом», — сказал Красножон. — Начальство не предвидело такой аварии...» «А вы что — не начальники?» — подумал я и пошел дальше.

Все стекла в коридоре деаэраторной этажерки были выбиты взрывом. Очень остро пахло озоном. Организм ощущал сильную радиацию. А говорят, нет органов чувств таких. Видать, все же что-то есть. В груди появилось неприятное ощущение — самопроизвольное паническое чувство, но я контролировал себя и держал в руках. Было уже светло, и в окно хорошо был виден завал. Весь асфальт вокруг усыпан чем-то черным. Присмотрелся — так это же реакторный графит! Ничего себе! Понял, что с реактором дело швах. Но до сознания еще не доходила вся реальность случившегося.

Вошел в помещение блочного щита управления. Там были Бабичев Владимир Николаевич и заместитель главного инженера по науке Михаил Алексеевич Лютов. Он сидел за столом начальника смены блока. Я сказал Бабичеву, что пришел его менять. Было 7 часов 40 минут утра. Бабичев сказал, что заступил на смену полтора часа назад и чувствует себя нормально. В таких случаях прибывшая смена поступает под команду работающей вахты. «Акимов и Топтунов еще на блоке», — сказал Бабичев, — открывают задвижки. Иди, Виктор, смени их. Они плохи...»

Зам главного инженера по науке Лютов сидел и, обхватив голову руками, тупо повторял: «Скажите мне, парни, температуру графита в реакторе... Скажите, и я вам все объясню...» «О каком графите вы спрашиваете, Михаил Алексеевич? — удивился я. — Почти весь графит на земле. Посмотрите... На дворе уже светло. Я только что видел...» «Да ты что?! — испуганно и недоверчиво спросил Лютов. — В голове не укладывается такое...» «Пойдемте посмотрим».

Мы вышли с ним в коридор деаэраторной этажерки и вошли в помещение резервного пульта управления, оно ближе к завалу. Там тоже взрывом выбило стекла. Они трещали и взвизгивали под ногами. Насыщенный долгоживущими радионуклидами воздух был густым и жалящим. От завала напрямую обстреливало гамма-лучами с интенсивностью до 15 тысяч рентген в час. Но тогда я об этом не знал. Жгло веки, горло, перехватывало дыхание. От лица шел внутренний жар, кожу сушило, стягивало.

«Вот смотрите: кругом черно от графита...» «Разве это графит?» — не верил своим глазам Лютов. «А что же это? — с возмущением воскликнул я, а сам в глубине души тоже не хочу верить в то, что вижу. Но я уже понял, что благодаря лжи зря гибнут люди, пора сознаться себе во всем. Со злым упорством, разгоряченный радиацией, продолжаю доказывать Лютову: — Смотрите! Графитовые блоки. Ясно ведь различимо. Вон блок с «папой» (выступом), а вон с «мамой» (углублением). И дырки посредине для технологического канала. Неужто не видите?» «Да вижу... Но графит ли это?..» — продолжал сомневаться Лютов. Эта слепота в людях меня всегда доводила до бешенства. Видеть только то, что выгодно тебе. Да это ж погибель! «А что же это?!» — уже начал орать я на начальника. «Сколько же его тут?» — очухался наконец Лютов. «Здесь не все... Если выбросило, то во все

стороны. Но, видать, не все... Я дома в семь утра с балкона видел огонь и дым из пола центрального зала»...»

Они вернулись в помещение БЩУ. Здесь тоже здорово пахло радиоактивностью, и Смагин поймал себя на том, что словно впервые видит родной БЩУ-4, его панели, приборы, щиты, дисплеи. Все мертво. Стрелки показывающих приборов застыли на зашкале или нуле. Молчала машина ДРЭГ системы «Скала», выдававшая во время работы блока непрерывную распечатку параметров. Все эти диаграммы и распечатки ждут теперь своего часа. На них застыли кривые технологического процесса, цифры — немые свидетели атомной трагедии. Скоро их вырежут и как величайшую драгоценность увезут в Москву для осмысления происшедшего. Туда же уйдут оперативные журналы с БЩУ и со всех рабочих мест. Потом все это назовут «мешок с бумагами», а пока... Только двести одиннадцать круглых сельсинов-указателей положения поглощающих стержней живо выделялись на общем мертвом фоне щитов, освещенные изнутри аварийными лампами подсветки шкал. Стрелки сельсинов застыли в положении два с половиной метра, не дойдя до низа четыре с половиной метра...

Смагин побежал по лестнично-лифтовому блоку вверх сменить Топтунова и Акимова. По дороге встретил Толю Ситникова. Он был плох, преодолевая слабость, сказал: «Я все посмотрел... По заданию Фомина и Брюханова был в центральном зале, на крыше блока «В». Там много графита и топлива. Я заглянул сверху в реактор... По-моему, он разрушен. Гудит огнем...» Шатаясь, он пошел вниз, а Смагин побежал вверх.

Акимов и Топтунов, отекавшие, темно-буро-коричневые, с трудом говорили. Испытывали тяжкие страдания и одновременное ощущение недоумения и вины. «Ничего не пойму,— Акимов еле ворочал распухшим языком,— мы все делали правильно... Почему же... Ой, плохо, Витя. Мы доходим. Открыли, кажется, все задвижки по ходу. Проверь третью на каждой нитке...»

Странно, но абсолютное большинство эксплуатационников, и Смагин в том числе, выдавали в эти несусветные часы желаемое за действительное. «Реактор цел!» — эта спасительная, облегчающая душу мысль околдовывала многих здесь, в Припяти, в Киеве да и в Москве, из которой неслись все более жесткие и настойчивые приказы: подавать воду в реактор! Приказы вселяли уверенность, придавали сил там, где им уже по всем биологическим законам не полагалось быть...

Трубопровод в 712-м помещении был полузатоплен. От этой воды светило около 1000 рентген в час. Все задвижки обесточены. Крутить надо вручную. Акимов и Топтунов крутили несколько часов, добивали роковые дозы. Вода, не попадая в реактор, заливала кабельные этажи, усугубляя аварию... Смагин принялся за третьи задвижки по ходу, но и они оказались подорванными. Стал открывать дальше. Находился в помещении около двадцати минут и схватил дозу в 280 рад.

Спустился на блочный щит управления, сменил Бабичева. Со Смагиным на БЩУ находились старшие инженеры управления блоком Гашимов и Бреус, СИУР Саша Черанев, его дублер Бакаев, начальник смены реакторного цеха Камышный. Он бегал по блоку, в основном по деаэрационной этажерке, чтобы отсечь левых два деаэрационных бака, из которых вода поступала на разрушенный аварийный питательный насос. Однако отсечь не удавалось. После взрыва деаэрационная этажерка отошла от монолита примерно на полметра, порвав штоковые проходки. Управлять задвижками даже вручную стало невозможно. Пытались восстановить, надставить, но высокие гамма-поля не позволили это сделать. Люди выходили из строя. Ка-

мышному помогали старший машинист турбины Ковалев и слесарь Козленко.

К девяти утра остановился работающий аварийный питательный насос, и слава богу. Перестали заливать низы. Кончилась вода в деаэраторах. Смагин держал связь с Фоминым и Брюхановым, они с Москвой. В Москву уходил доклад: «Подаем воду!» Оттуда приходил приказ: «Не прекращать подачу воды!» А вода-то и кончилась. Фомин лихорадочно искал выход. Наконец придумал. Послал зама главного инженера по новым блокам Леонида Константиновича Володажко и начальника смены блока Бабичева, чтобы организовали подачу воды в баки чистого конденсата, а затем аварийными насосами снова подавали в реактор. К счастью, эта авантюра Фомина не увенчалась успехом.

Днем 26 апреля новые пожарные расчеты, прибывшие в Припять, будут откачивать воду с топливом из кабельных полуэтажей АЭС и перекачивать ее в пруд-охладитель, в котором активность воды на всей площади достигнет шестой степени кюри на литр, то есть будет равна активности воды основного контура во время работы атомного реактора.

В медсанчасть уже доставили более ста человек. Пора было обратиться. Но нет — безумие Брюханова и Фомина продолжалось: «Реактор цел! Лить воду в реактор!»

Однако в недрах души Брюханов, видимо, все же принял к сведению информацию Ситникова и Соловьева и запросил у Москвы «добро» на эвакуацию Припяти. Но от Щербины, с которым его референт Л. П. Драч связался по телефону (Щербина был в это время в Барнауле), поступил четкий приказ: панику не поднимать.

А тем временем город атомных энергетиков Припять просыпался. Почти все дети пошли в школу...

Свидетельствует Людмила Александровна Харитонова, старший инженер производственно-распорядительного отдела управления строительства Чернобыльской АЭС:

«В субботу 26 апреля 1986 года все уже готовились к празднику 1 Мая. Теплый погожий день. Весна. Цветут сады. Мой муж, начальник участка наладки вентиляции, собирался после работы поехать с детьми на дачу. Я с утра постирала и развесила на балконе белье. К вечеру на нем уже накопились миллионы распадов.

Среди большинства строителей и монтажников никто еще ничего не знал. Потом просочилось что-то об аварии и пожаре на четвертом энергоблоке. Но что именно произошло, никто толком не знал.

Дети пошли в школу, малыши играли на улице в песочницах, катались на велосипедах. У всех у них к вечеру 26 апреля в волосах и на одежде была уже высокая активность, но тогда мы этого не знали. Недалеко от нас на улице продавали вкусные пончики. Обычный выходной день.

Рабочие-строители поехали на работу, но их вскоре вернули, часам к двенадцати дня. Муж тоже ездил на работу и, вернувшись, сказал: «Авария, не пускают. Оцепили станцию...»

Мы решили поехать на дачу, но нас за город не пустили посты милиции. Вернулись домой. Странно, но аварии мы еще воспринимали как нечто отдельное от нашей частной жизни. Ведь аварии были и раньше, но они касались только самой станции...

После обеда начали мыть город. Но и это не привлекло внимания. Явление обычное в жаркий летний день. Моечные машины летом не диво. Обычная мирная обстановка. Я только обратила как-то вскользь внимание на белую пену у обочин, но не придавала этому значения. Подумала, сильный напор воды.

Группа соседских ребят ездил на велосипедах на путепровод (мост), отсюда хорошо был виден аварийный блок со стороны станции

Янов. Это, как мы позже узнали, было наиболее радиоактивное место в городе, потому что там прошло облако ядерного выброса. Но это стало ясно потом, а тогда, утром 26 апреля, ребятам было просто интересно смотреть, как горит реактор. У этих детей развилась потом тяжелая лучевая болезнь.

После обеда наши дети вернулись из школы. Их там предупредили, чтоб не выходили на улицу, чтобы делали влажную приборку дома. Тогда до сознания впервые дошло, что серьезно.

Об аварии разные люди узнавали в разное время, но к вечеру 26 апреля знали почти все, но все равно реакция была спокойная, так как все магазины, школы, учреждения работали. Значит, думали мы, не так опасно.

Ближе к вечеру стало тревожнее. Эта тревога шла уже неизвестно откуда, то ли изнутри души, то ли из воздуха, в котором стало сильно ощущаться металлический запах. Какой он, даже не могу точно сказать. Но металлический...

Вечером загорелось сильнее. Сказали, горит графит. Люди издалека видели пожар, но не обращали особого внимания. «Горит что-то...» — «Пожарники потушили...» — «Все равно горит»...»

На промплощадке в трехстах метрах от разрушенного энергоблока, в конторе Гидроэлектромонтажа сторож Данила Терентьевич Мируженко дождался восьми утра, и поскольку начальник управления на его звонки не отвечал, решил пойти за полтора километра в управление строительства и доложить там начальнику стройки В. Т. Кизиме или диспетчеру о том, что видел ночью. Менять его утром никто не пришел. Никто также не позвонил ему, что предпринять. Тогда он закрыл на замок контору и пошел пешком в управление строительства. Чувствовал он себя уже очень плохо. Началась рвота. В зеркало увидел, что сильно загорел за ночь без солнца. К тому же, направляясь к управлению строительства, он некоторое время шел по следу ядерного выброса.

Подошел к управлению, а там закрыто. Никого нет. Суббота все-таки. Возле крыльца стоит какой-то незнакомый мужик. Увидел Мируженко и сказал: «Иди, дед, скорей в медсанчасть. Ты совсем плохой». Мируженко кое-как доковылял до медсанчасти...

На пятый энергоблок утром 26 апреля выехала бригада рабочих-строителей. Туда же приехал начальник стройки Василий Трофимович Кизима, бесстрашный, мужественный человек. Перед этим он на машине осматривал завал вокруг четвертого блока. Никаких дозиметров у него не было, и он не знал, сколько схватил. Рассказывал мне потом: «Догадывался, конечно, уж очень сушило грудь, жгло глаза. Не зря ведь, думаю, жжет. Наверняка Брюханов выплюнул радиацию... Осмотрел завал, поехал на пятый блок. Рабочие ко мне с вопросами: сколько работать? какая активность? Требуют льготы за вредность. Всех, и меня тоже, душит кашель. Протестует организм против плутония, цезия и стронция. А тут еще йод-131 в щитовидку набился. Душит. Респираторов ведь ни у кого нет. И таблеток йодистого калия тоже нет. Звоню Брюханову. Справляюсь о ситуации. Брюханов ответил: «Изучаем обстановку». Ближе к обеду снова позвонил ему. Он опять изучал обстановку. Я строитель, не атомщик, и то понял, что товарищ Брюханов обстановкой не владеет. В двенадцать часов дня я отпустил рабочих по домам. Ждать дальнейших указаний руководства...»

Свидетельствует Владимир Павлович Волошко, председатель Припятского горисполкома:

«...Весь день 26 апреля Брюханов был невменяемый, какой-то потерявший себя. Фомин, так тот вообще с перерывами между отдачей

распоряжений плакал, куда делась самоуверенность. Оба более-менее пришли в себя к вечеру, к приезду Щербины. Будто тот мог привезти с собой спасение... Послали на полторы тысячи рентген Ситникова, отличного физика! И его же не послушали, когда он доложил, что реактор разрушен. Из 5,5 тысячи человек эксплуатационного персонала 4 тысячи исчезли в первый же день в неизвестном направлении...»

В 9 часов утра 26 апреля на связь с управлением строительства Чернобыльской АЭС вышла дежурная Союзатомэнергостроя из Москвы Л. В. Еремеева. В Припяти трубку поднял главный инженер стройки Земсков. Еремеева попросила у него данные за сутки. «Вы уж нас не беспокойте сегодня. У нас тут небольшая авария», — ответил Земсков, только что добросовестно обошедший аварийный блок и сильно облучившийся.

В 9.00 утра 26 апреля из московского аэропорта Быково вылетел спецрейсом самолет «ЯК-40».

На борту самолета находилась первая оперативная межведомственная группа специалистов в составе главного инженера ВПО Союзатомэнерго Б. Я. Прушинского, заместителя начальника того же объединения Е. И. Игнатенко, заместителя начальника института Гидропроект В. С. Конвиза (генпроектант станции), представителей НИКИЭТ (главного конструктора реактора РБМК) К. К. Полушкина и Ю. Н. Черкашова, представителя Института атомной энергии имени И. В. Курчатова Е. П. Рязанцева и других.

В 10.45 аварийная оперативная группа была уже в Киеве. Еще через два часа машины подкатили к горкому партии Припяти. Необходимо было как можно быстрее ознакомиться с истинным положением дел, чтобы к прилету членов правительственной комиссии иметь достоверную информацию для доклада.

Прежде всего — проехать к аварийному блоку и посмотреть все своими глазами. Еще лучше осмотреть блок с воздуха. Выяснилось: поблизости есть вертолет гражданской обороны, приземлившийся недалеко от путепровода, что возле станции Янов. Какое-то время ушло на поиски бинокля и фотографа с фотоаппаратом. Бинокль так и не нашли, фотографа нашли. Через час-полтора после приезда вертолет «МИ-6» поднялся в воздух. На борту находились фотограф, главный инженер ВПО Союзатомэнерго Б. Я. Прушинский и представитель главного конструктора реактора К. К. Полушкин. Дозиметр был только у пилота, что позволило потом узнать поглощенную дозу радиации.

Подлетали со стороны бетоносмесительного узла и города Припяти. Высота четыреста метров. Снизилась до двухсот пятидесяти, чтобы лучше рассмотреть. Картина удручающая. Сплошной развал, нет центрального зала. Блок неузнаваем. «Зависните здесь», — попросил Прушинский.

На крыше блока ВСРО (вспомогательных систем реакторного отделения) вплотную к стене блока «В» (спецхимии) видны навалы погнутых балок, светлых осколков панелей стен и перекрытий, сверкающих на солнце нержавеющей труб, черных кусков графита и покореженных, рыжих от коррозии топливных сборок. Особенно скученный завал топлива и графита около квадратной венттрубы, выступающей из крыши ВСРО и вплотную примыкающей к стене блока «В». Далее — завал из изуродованных трубопроводов, битых армоконструкций, оборудования, топлива и графита поднимался наклонно от самой земли (захватив на земле поверхность по радиусу около ста метров), от бывшей стены помещения главных циркуляционных насосов по ряду «Т», внутрь разрушенного помещения ГЦН, торцевая стена которого со стороны видневшегося справа здания ХЖТО (хранилища жидких и твердых отходов) чудом уцелела.

Именно здесь, под этим завалом, похоронен Валерий Ходемчук, именно здесь, поглощая смертельную дозу радиации, начальник смены реакторного цеха Перевозченко искал своего подчиненного, карабкаясь в темноте по нагромождениям строительных конструкций и оборудования и пронзительно выкрикивая пересохшим и стянутым радиацией горлом: «Валера! Откликнись! Я здесь! Откликнись!..»

Всего этого Прушинский и Полушкин не знали и знать не могли. Но, потрясенные, понимая, что произошло не просто разрушение, а нечто гораздо большее и страшное, впитывали до мельчайших деталей открывшуюся перед ними картину беды.

Кругом на голубом от солнца асфальте и на крыше ХЖТО видны густо-черные куски графита и даже целые пакеты графитовых блоков. Графита очень много, черно от графита...

Прушинский и Полушкин оторопело смотрели на всю эту невообразимую разруху. То, что они видели сейчас въяве, представлялось, проигрывалось раньше только в воображении. Но, конечно, много бледнее, и проще, и большей частью чисто теоретически. Оба ловили себя на том, что не хочется смотреть на все это, будто это их совсем не касается, а касается каких-то других, чужих людей. Но это касалось их, их! И обжигал стыд, что приходится видеть такое. Они как бы отталкивались от смрадной картины разрушения. Ох, не глядеть бы на все это! Но надо! На-адо!..

Такое впечатление, что помещение главных циркуляционных насосов разрушено взрывом изнутри. Но сколько же было взрывов?! В завале, что поднимался наклонно от земли вплоть до пола бывшего сепараторного помещения, видны толстые длинные трубы, похоже, коллекторы. Один почти на земле, другой значительно выше, оперт верхним концом о длинную трубу опускного трубопровода. Стало быть, взрывом трубопровод выбросило из шахты прочноплотного бокса. Далее, на полу, если бесформенные нагромождения можно назвать полом, на отметке плюс тридцать два — сдвинутые с мертвых опор стотридцатитонные барабаны-сепараторы, весело поблескивающие на солнце, восемь штук сильно погнутых трубопроводов обвязки, навал всякого хлама, свисающие консолями куски бетонных панелей перекрытий и стен. Стены сепараторного помещения снесены за исключением уцелевшего огрызка со стороны центрального зала. Между огрызком стены и завалом — зияющий чернотой прямоугольный провал в шахту прочноплотного бокса или в помещение верхних коммуникаций реактора. Похоже, что часть оборудования и трубопроводов выдуло взрывом оттуда. То есть оттуда тоже был взрыв, поэтому там чисто, ничего не торчит...

Прушинский невольно вспомнил новенький после монтажа основной контур — святая святых технологии. А теперь... Там, где центральный зал примыкает к деаэрационной этажерке, — остаток торцевой стены пониже. Торцевая стена реакторного зала по ряду «Г» уцелела примерно до отметки плюс пятьдесят один (до основания аварийного бака СУЗ). Именно в этом баке, по докладу Брюханова, произошел взрыв гремучей смеси, разрушивший центральный зал. Ну, а как же тогда помещения главных циркуляционных насосов, барабан-сепараторные, прочноплотный бокс? Что разрушило их?.. Нет! Доклад Брюханова ошибочен, если не лжив.

А на земле вокруг завала черные россыпи графитовой кладки реактора. Глаза невольно снова и снова смотрят туда. Ведь раз графит на земле, значит...

Не хотелось сознаваться себе в простой и очевидной теперь мысли: реактор разрушен.

Ведь за этим признанием сразу встает огромная ответственность перед людьми. Нет... Перед миллионами людей. Перед всей планетой Земля. И невообразимая человеческая трагедия.

Лучше просто смотреть. Не думая, впитывать в себя этот кошмар агонизирующего, смердящего радиацией атомного блока.

Стена блока «В» со стороны ВСРО торчит неровными сколами. На крыше блока «В» четко видны куски графитовой кладки реактора, квадратные блоки с дырками посередине. Тут ошибиться невозможно. Совсем близко от крыши блока «В» висит вертолет, каких-нибудь полторы сотни метров. Солнце в зените. Четкое, контрастное освещение. Ни облачка на небе. Ближе к торцевой стене блока «В» графит навален горой. Куски графита равномерно разбросаны и на кровле центрального зала третьего энергоблока, и на кровле блока «В», из которой торчит белая с красными полосами вентиляционная труба. Графит и топливо видны и на смотровых площадках венттрубы. То-то, видать, «светят» во все стороны эти радиоактивные «фонари». А вот и крыша дезаэрационной этажерки, где семь часов назад пожарники майора Телятникова завершили борьбу с огнем...

Будто изнутри разворочена плоская крыша машинного зала, торчит искореженная арматура, порванные металлические решетки, черные обгорелости. Поблескивают на солнце застывшие ручейки битума, в котором ночью пожарные увязали по колено. На уцелевших участках крыши длинные, беспорядочно переплетенные рукава и бухты пожарных шлангов.

У торцевой стены машзала, по углам вдоль рядов «А» и «Б» и вдоль напорного бассейна видны брошенные людьми и теперь сильно радиоактивные красные коробочки пожарных машин — немые свидетели трагической борьбы хрупких людей с видимой и невидимой стихией.

Далее справа — простирающееся вдаль водохранилище пруда-охладителя, на золотых песчаных берегах детскими сандаликами лежат лодки, катера и впереди — пустая гладь пока еще чистой воды...

От строящегося пятого энергоблока кучками и поодиночке уходят не успевшие уйти люди. Это рабочие, которых давно уже отпустил домой начальник стройки Кизима, так и не добившийся от Брюханова правды. Все они пройдут по следу радиоактивного выброса, все получат свою дозу и унесут на подошвах домой к детям страшную грязь.

«Зависните прямо над реактором,— попросил пилота Прушинский.— Так! Стоп! Снимайте!»

Фотограф сделал несколько снимков.

Открыв дверь, смотрели вниз. Вертолет находился в восходящем потоке радиоактивного выброса. Все на вертолете без респираторов. Радиометра нет.

Внизу черный прямоугольник бассейна выдержки отработавшего топлива. Воды в нем не видно.

«Топливо в бассейне расплавится»,— подумал Прушинский. Реактор... Вот оно — круглое око реакторной шахты. Оно будто прищурено. Огромное веко верхней биозащиты реактора развернуто и раскалено до ярко-вишневого цвета. Из прищуря вырываются пламя и дым. Казалось, будто зреет и вот-вот лопнет гигантский ячмень...

«Десять бэр,— сказал пилот, глянув в окуляр оптического дозиметра.— Сегодня еще не раз придется...» «Отход!»— приказал Прушинский. Вертолет сполз с центрального зала и взял курс на Припять. «Да, ребятки, это конец»,— задумчиво сказал представитель главного конструктора Константин Полушкин.

Свидетельствует Любовь Николаевна Акимова, жена Александра Акимова:

«Мой муж был очень симпатичный, общительный человек. Легко сходился с людьми, но без фамильярности. Вообще жизнерадостный,

обязательный человек. Активный общественник. Был членом Припятского горкома. Очень любил своих сыновей. Заботливый был. Увлекался охотой, особенно когда стал работать на блоке и мы купили машину.

Мы ведь приехали в Припять в 1976 году, после окончания Московского энергетического института. Работали вначале в группе рабочего проектирования Гидропроекта. В 1979 году муж перешел работать на эксплуатацию. Работал старшим инженером управления турбиной, старшим инженером управления блоком, начальником смены турбинного цеха, заместителем начальника смены блока. В январе 1986 года стал начальником смены блока. В этой должности его застала авария.

Утром 26 апреля он не вернулся домой с работы. Я позвонила к нему на БЩУ-4, но телефон не отвечал. Я звонила еще Брюханову, Фомину, Дятлову. Но телефоны не отвечали. Уже значительно позже я узнала, что телефоны отключили. Я очень волновалась. Всю первую половину дня бегала, всех спрашивала, искала мужа. Уже все знали, что авария, и меня охватила еще большая тревога. Бегала в горисполком к Волошке, в горком партии к Гаманюку. Наконец, расспросив многих, узнала, что он в медсанчасти. Я бросилась туда. Но меня к нему не пустили. Сказали, что он сейчас под капельницей. Я не уходила, подошла к окну его палаты. Вскоре он подошел к окну. Лицо буро-коричневое. Увидев меня, он засмеялся, был перевозбужденный, успокаивал меня, спрашивал через стекло о сыновьях. Мне показалось, что он в это время как-то особенно радовался, что у него сыновья. Сказал, чтобы я не выпускала их на улицу. Он был даже веселый, и я немного успокоилась».

Свидетельствует Геннадий Николаевич Петров, бывший начальник отдела оборудования Южатомэнергомонтажа:

«Проснулись часов в десять утра 26 апреля. День как день. На полу теплые солнечные зайчики, в окнах синее небо. На душе хорошо, приехал домой, отдохну. Вышел на балкон покурить. На улице уже полно ребят. Малыши играют в песке, строят домики, лепят пирожки. Постарше гоняют на великах. Молодые мамы гуляют с детскими колясками. Жизнь как жизнь. И вдруг вспомнил ночь, как подъехал к блоку. Тревогу и страх ощутил. Сейчас вспоминаю — и недоумение. Как это может быть? Все обычно и в то же время — все страшно радиоактивно. Запоздалая брезгливость в душе к невидимой грязи, потому что нормальная жизнь. Глаза видят: все чисто, — а на самом деле все грязно. В уме не укладывается».

К обеду стало веселое настроение. И воздух стал ощущаться острее. Металл не металл в воздухе, а так, что-то остренькое, и во рту возле зубов кисленько, будто батарейку слабенькую языком пробуешь...

Сосед наш Михаил Васильевич Метелев, электромонтажник с ГЭМа, часов в одиннадцать полез на крышу и лег там в плавках загорать. Потом один раз спускался попить, говорит, загар сегодня отлично пристает, просто как никогда. От кожи сразу, говорит, паленым запахло. И бодрит очень, будто пропустил стопарик. Приглашал меня, но я не пошел. Говорит, никакого пляжа не надо. И хорошо видно, как реактор горит, четко так на фоне синего неба.

А в воздухе в это время, как я потом узнал, было уже до тысячи миллибэр в час. И плутоний, и цезий, и стронций. А уж йоду-131 больше всего, и в щитовидки он набился туго к вечеру. У всех — у детей, у взрослых...

Но мы тогда ничего не знали. Мы жили обычной и, теперь я понимаю, радостной человеческой жизнью.

К вечеру у соседа, что загорал на крыше, началась сильная рвота, и его увезли в медсанчасть. А потом, кажется, в Москву. Или в Киев.

Не знаю точно. Но это воспринялось как бы отдельно. Потому что обычный летний день, солнце, синее небо, теплынь. Бывает же: кто-то заболел, кого-то увезла «скорая»...

А так во всем был обыкновенный день. Я уже потом, когда всё сказали, вспоминал ту ночь, когда подъехал к блоку. Рытвины на дороге в свете фар вспомнил, покрытый цементной пылью бетонный завод. Запомнилось почему-то. И думаю: странно, и рытвина эта радиоактивная — обычная ведь рытвина, и весь этот бетонный завод, и все-все — и небо, и луна, и кровь, и мозг, и мысли человеческие. Все...

Свидетельствует Л. А. Харитонова:

«Еще 26 апреля во второй половине дня некоторых, в частности детей в школе, предупреждали, чтобы не выходили из дома. Но большинство не обращало на это внимания. Ближе к вечеру стало понятно, что тревога обоснованная. Люди ходили друг к другу, делились опасениями. Говорят, некоторые дезактивировались спиртным, поскольку ничего другого не было. Не знаю, я не видела. Но Припять была очень оживленная, бурлила людьми, будто готовилась к какому-то огромному карнавалу. Конечно, на носу были майские праздники. Но перевозбуждение людей бросалось в глаза...»

Тем временем в Москве в аэропорту Быково готовились к вылету члены правительственной комиссии. Летели: старший помощник генерального прокурора Ю. Н. Шадрин, министр энергетики и электрификации СССР А. И. Майорец, заведующий сектором атомной энергетики ЦК КПСС В. В. Марьин, заместитель министра энергетики А. Н. Семенов, первый заместитель министра среднего машиностроения А. Г. Мешков, начальник Союзатомэнергостроя М. С. Цвирко, заместитель начальника Союзэнергомонтажа В. А. Шевелкин, референт Щербины Л. П. Драч, заместитель министра здравоохранения СССР Е. И. Воробьев, представитель Минздрава СССР В. Д. Туровский и другие. В салоне «ЯК-40» уселись друг против друга на красные диваны. Марьин делился мыслями с членами комиссии:

— Главное, что меня обрадовало: выдержал атомный реактор! Молодец Доллежал! Брюханов разбудил меня звонком в три ночи и сказал: страшная авария, но реактор цел. Подаем непрерывно охлаждающую воду...

— Я думаю, Владимир Васильевич, — включился в разговор Майорец, — мы долго в Припяти не засидимся.

Майорец повторил это через полтора часа в самолете «АН-2», на котором члены комиссии вылетели из аэропорта Жуляны в Припять. Вместе с ними из Киева летел министр энергетики Украинской ССР В. Ф. Скларов, он возразил:

— Думаю, двумя днями не обойдемся...

— Не пугайте нас, товарищ Скларов. Наша, а вместе с нами и ваша главная задача состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки восстановить разрушенный блок и включить его в энергосистему.

В это же примерно время личный самолет заместителя Председателя Совета Министров СССР Б. Е. Щербины был на подлете из Барнаула в Москву. Прилетев в столицу, зампред переоденется, закусит и из аэропорта Внуково вылетит в Киев. В Припять он прибудет к девяти вечера.

Свидетельствует Г. А. Шашарин:

«На пути из Киева в Припять я сказал Майорцу о рабочих группах. Продумал это заранее, когда летел из Симферополя в Киев. Вот перечень групп, который я предложил:

- 1) группа изучения причин аварии и безопасности АЭС — ответственные Шашарин, Мешков;
- 2) группа изучения радиационной обстановки вокруг атомной станции — ответственные Абагян, Воробьев, Туровский;
- 3) группа аварийно-восстановительных работ — ответственные Семенов, Цвирко, монтажники;
- 4) группа для оценки необходимости эвакуации населения Припяти и близлежащих хуторов и деревень — ответственные Шашарин, Сидоренко, Легасов;
- 5) группа обеспечения приборами, оборудованием и материалами — ответственные Главэнергокомплект, Главснаб.

Приземлились на аэродромчике между Припятью и Чернобылем. Там уже ждали машины. Подъехал и В. Т. Кизима на «газике». Мы с Марьиным сели в «газик» (Кизима был за рулем) и попросили его проскочить к аварийному блоку. Майорец тоже порывался туда, но его отговорили, и он с командой поехал в горком КПСС.

Миновали кордон оцепления и свернули на промплощадку...

Прерву Г. А. Шашарина, чтобы сказать несколько слов о заведующем сектором ЦК КПСС В. В. Марьине.

Марьин Владимир Васильевич по образованию и опыту работы инженер-строитель электростанций. Долгое время работал главным инженером строительно-монтажного треста в Воронеже, участвовал в сооружении Нововоронежской АЭС. В 1969 году был приглашен в ЦК КПСС в качестве инструктора ЦК по энергетике в отдел машиностроения. Я довольно часто видел его на коллегиях Минэнерго, партийных собраниях, на критических разборах работы атомных энергетиков в объединениях и главных управлениях. Марьин принимал деятельное участие в работе пусковых штабов атомных стрсек, лично знал начальников управлений строительства всех АЭС и напрямую, минуя Минэнерго СССР, эффективно помогал обеспечивать стройки оборудованием, материально-техническими и трудовыми ресурсами.

Лично мне этот крупный, рыжеволосый, с громовым басом, сильно близорукий, сверкающий толстыми стеклами роговых очков человек всегда был симпатичен прямоотой и ясностью мышления. Трудолюбивый, динамичный, постоянно повышающий свою квалификацию инженер. При всем том Марьин был прежде всего строитель и в эксплуатации АЭС не разбирался. В конце 70-х годов, работая начальником отдела в ВПО Союзатомэнерго, я часто бывал у него в ЦК, где он, в ту пору единственный в аппарате, занимался атомной энергетикой. Обсудив дела, он обычно позволял себе отступления, жаловался на перегруженность: «У тебя десять человек в отделе, а на мне одном висит вся атомная энергетика страны...— И просил:— Оперативней помогайте мне, вооружайте материалами, информацией...»

В начале 80-х годов в ЦК был организован сектор атомной энергетики, Марьин возглавил его, и тогда наконец появились помощники. Одним из них стал Г. А. Шашарин, опытный атомщик, многие годы проработавший на эксплуатации АЭС, будущий заместитель министра энергетики по эксплуатации атомных станций. С ним-то теперь и ехал Марьин в «газике» Кизимы к разрушенному блоку.

Навстречу попадались автобусы и частные машины. Началась самозакуация. Некоторые с семьями и радиоактивным бараклом покидали Припять навсегда еще 26 апреля днем, не дождавшись распоряжений местных властей.

Свидетельствует Г. А. Шашарин:

«Кизима подвез нас к торцу четвертого блока. Он уже побывал здесь с утра. Никаких дозиметров у нас, конечно, не было. Кругом ва-

лялись графит, обломки топлива. Видны были поблескивающие на солнце, сдвинутые со своих опор барабаны-сепараторы. Над полом центрального зала, похоже, около реактора виднелся огненный ореол, словно солнечная корона. От этой короны поднимался легкий черный дымок. Мы подумали тогда, что это горит что-нибудь на полу. Марьин был вне себя от злости, матерился, в сердцах пнул графитовый блок. Был хорошо виден полусмятый аварийный бак СУЗ, так что мне стало ясно, что взорвался не он. Бесстрашный Кизима ходил и как хозяин сокрушался, что вот-де, мол, строишь, строишь, а теперь вот ходи по разрушенным плодам труда своего. Несколько раз уже, говорит, был здесь с утра, чтобы проверить, не мираж ли все это.

Мы объехали вокруг станции и спустились в бункер. Там были Прушинский, Рязанцев и Фомин с Брюхановым. Брюханов был заторможен, смотрел куда-то вдаль перед собой, апатия. Но команды исполнял довольно оперативно и четко. Фомин, наоборот, перевозбужден, глаза воспаленные, блестели безумием. Потом произошел срыв, тяжелая депрессия. Еще из Киева я спросил у Брюханова и Фомина, целы ли трубопроводы. Они уверяли — целы. Тогда у меня возникла мысль подавать в реактор раствор борной кислоты. Связался со снабженцами в Киеве, нашли несколько тонн борной кислоты и обещали доставить в Припять к вечеру. Однако к вечеру стало ясно, что все трубопроводы от реактора оторваны и кислота не нужна. Но это поняли только к вечеру...»

Свидетельствует Владимир Николаевич Шишкин, заместитель начальника Союзэлектромонтажа Минэнерго СССР, участник совещания в Припятском горкоме КПСС 26 апреля 1986 года:

«Все собрались в кабинете первого секретаря горкома А. С. Гаманюка. Первым докладывал Г. А. Шашарин. Он догадывался уже, что реактор разрушен, видел графит на земле, куски топлива, но сознаться в этом не хватило сил. Во всяком случае вот так сразу. Душа, сознание требовали как бы плавного внутреннего перехода к постижению этой страшной, поистине катастрофической реальности.

— Нужна коллективная оценка,— говорил Шашарин.— Четвертый блок обесточен. Трансформаторы отключились по защите от коротких замыканий. Залиты водой все кабельные полужэтажи. В связи с затоплением распределительных устройств на минусовых отметках дана команда электромонтажникам отыскать семьсот метров силового кабеля и держать наготове...

— Что это за проект?!— возмутился Майорец.— Почему не предусмотрено проектное рассечение коммуникаций?

— Анатолий Иванович, я говорю о факте. Почему — это уже второй вопрос. Во всяком случае, кабель изыскивается, вода в реактор подается, коммуникации пересекаются. Похоже, везде вокруг четвертого блока высокая радиоактивность.

— Анатолий Иванович!— громовым басом перебил Шашарина Марьин.— Мы только что были с Геннадием Александровичем возле четвертого блока. Страшная картина. Дико подумать, до чего дожили. Пахнет гарью, и кругом валяется графит. Я даже пнул ногой графитовый блок, чтобы удостовериться, что он всамделишный. Откуда графит? Столько графита?

— Брюханов!— обратился министр к директору АЭС.— Вы докладывали, что радиационная обстановка нормальная. Что это за графит?

— Трудно даже представить... Графит, который мы получили для строящегося пятого энергоблока, цел, весь на месте. Я подумал вначале, что это тот графит, но он на месте. Не исключен в таком случае выброс из реактора... Частичный. Но тогда...

— Замерить радиоактивность точно не удастся,— объяснил Шашарин.— Предполагаем, что фон очень высокий. Был тут один радиометр, но его похоронило в завале.

— Безобразие! Почему на станции нет нужных приборов?

— Произошла нештатная авария. Случилось немыслимое... Мы запросили помощь гражданской обороны и химвойск страны. Скоро должны прибыть.

Похоже, всем ответственным за катастрофу хотелось одного — отодвинуть момент полного признания, расстановки всех точек над «и». Хотелось, как это привыкли делать до Чернобыля, чтобы ответственность и вина незаметно разложились на всех и потихонечку. Именно поэтому шла тянучка, когда каждая минута была дорога, когда промедление грозило облучением неповинному населению города. Когда у всех на уме было уже, билось в черепные коробки слово «эвакуация»...

А реактор тем временем горел. Горел графит, изрыгая в небо миллионы кюри радиоактивности.

— Несмотря на сложную и даже тяжелую ситуацию на аварийном блоке, обстановка в Припяти деловая и спокойная, — докладывал Майорцу Гаманюк, первый секретарь Припятского горкома партии (в момент аварии он находился в медсанчасти на обследовании, но утром 26 апреля покинул больничную койку и вышел на работу). — Никакой паники и беспорядков. Обычная нормальная жизнь выходного дня. Дети играют на улицах, проходят спортивные соревнования, идут занятия в школах. Даже свадьбы справляют. Сегодня вот справили шестнадцать комсомольско-молодежных свадеб. Кривотолки и разглагольствования пресекаем. На аварийном блоке есть пострадавшие. Двое эксплуатационников — Валерий Ходемчук и Владимир Шашенок — погибли. Двенадцать человек доставлены в медсанчасть в тяжелом состоянии. Еще сорок человек, менее тяжелых, госпитализированы позднее. Пострадавшие продолжают поступать.

Геннадий Васильевич Бердов, высокий, седовласый, спокойный генерал-майор МВД, заместитель министра внутренних дел УССР, прибыл в Припять в пять утра 26 апреля в новом, недавно шитом мундире. Золотые погоны, мозаика орденских планок, значок заслуженного работника МВД СССР. Но мундир его, седые волосы были уже страшно грязными, радиоактивными, поскольку генерал провел все утренние часы рядом с АЭС. Радиоактивными теперь были волосы и одежда у всех присутствующих, в том числе и у министра Майорца. Радиация, как и смерть, не разбирает, кто ты — министр или простой смертный.

— Анатолий Иванович, — докладывал генерал Бердов, — в пять утра я был в районе аварийного энергоблока. Наряды милиции приняли эстафету у пожарников. Они перекрыли все дороги к АЭС, поселку, особенно к местам рыбалки на водохранилище пруда-охладителя. (Тут надо заметить, что генерал Бердов, догадываясь об опасности, не представлял, какова она на самом деле, поэтому его милиционеры оказались без дозиметров и средств индивидуальной защиты и все до одного переоблучились. Но инстинктивно они действовали правильно — резко сократили доступ в предполагаемую опасную зону. — Г. М.) В припятском отделении милиции сформирован и действует оперативный штаб. На помощь прибыли сотрудники полесского, иванковского и чернобыльского райотделов. К семи утра в район аварии прибыло более тысячи сотрудников МВД. Усилены наряды транспортной милиции на железнодорожной станции Янов. Здесь к моменту взрыва находились составы с ценнейшим оборудованием. Приходят пассажирские поезда, локомотивные бригады и пассажиры ничего о случившемся не знают. Сейчас лето, открытые окна вагонов, железная дорога проходит в пятистах метрах от аварийного блока. Надо закрывать движение поездов. (Хочется еще раз похвалить генерала Бердова. Из всех собравшихся он первый правильно оценил обстановку. — Г. М.) Постовую службу несут не только сержанты и старши-

ны, но и полковники милиции. Лично проверяю посты в опасной зоне. Не было ни одного отказа от несения службы. Проведена большая работа в автохозяйствах Киева. На случай эвакуации населения тысяча сто автобусов подогнаны к Чернобылю и ждут указаний правительственной комиссии...

— Что вы мне все про эвакуацию рассказываете?!— взорвался министр.— Паники захотели? Надо остановить реактор, и все прекратится. Радиация придет в норму. Что с реактором, товарищ Шашарин?

— Операторы, по данным Фомина и Брюханова, заглушили его, нажав кнопку АЗ пятого рода.— Шашарин вправе был говорить так, ведь он еще не поднимался в воздух...

— А где операторы? Их можно пригласить?— настаивал министр.

— Операторы в медсанчасти, Анатолий Иванович... В очень тяжелом состоянии.

— Я предлагал эвакуацию еще рано утром,— глухо сказал Брюханов.— Запрашивал Москву, товарища Драча. Но мне сказали, чтобы до приезда Щербины ничего в этом направлении не предпринимать. И не допускать паники.

— Что скажет гражданская оборона?

Встал Соловьев, тот самый начальник гражданской обороны АЭС, который в первые два часа после взрыва с помощью единственного радиометра со шкалой 250 рентген определил опасную степень радиации. (Реакция Брюханова читателю известна. Однако следует дополнить: Соловьев продублировал ночью сигнал тревоги в гражданскую оборону республики, что достойно всяческой похвалы.)

— На диапазоне двести пятьдесят рентген — зашкал в районах завала, машзала, центрального зала и в других местах вокруг блока и внутри. Нужна срочная эвакуация, Анатолий Иванович.

Встал представитель Минздрава СССР Туровский:

— Эвакуация необходима. То, что мы увидели в медсанчасти... я имею в виду осмотр больных... они в тяжелом состоянии, дозы, по первым поверхностным оценкам, в три—пять раз превышают летальные. Бесспорна диффузия радиоактивности на большие расстояния от энергоблока.

— А если вы ошибаетесь?— сдерживая недовольство, спросил Майорец.— Разберемся в обстановке и примем решение. Но я против эвакуации. Опасность явно преувеличивается.

Объявили перерыв».

Свидетельствует Б. Я. Прушинский, главный инженер ВПО Союзатомэнерго:

«Когда мы вернулись с Костей Полушкиным в горком, Шашарин и Майорец стояли в коридоре и курили. Мы подошли и прямо там, в коридоре, доложили министру о результатах осмотра четвертого блока с воздуха: можно предположить, что реактор разрушен. Охлаждение неэффективно.

— Аппарату крышка,— сказал Полушкин.

Сильно затягиваясь, в клубах дыма, и без того щупленький и казавшийся на заседаниях коллегий каким-то игрушечным по сравнению с тяжеловесами типа замминистра Семенова, Шашарин сейчас еще больше осунулся, побледнел, обычно приглаженные каштановые волосы торчали перьями, бледно-голубые глаза за огромными стеклами импортных очков смотрели не мигая. Все мы были в это время затравленные и убитые. Пожалуй, кроме Майорца. Он, как всегда, аккуратный, с ровным розовым пробором, на лице — ничего.

— Что вы предлагаете? — спросил Майорец.

— А черт его знает, сразу не сообразишь. В реакторе горит графит. Надо тушить. Это перво-наперво. А как, чем... надо думать.

Все вошли в кабинет Гаманюка. Шашарин зачитал списки рабочих групп. Когда речь коснулась восстановительных работ, представитель генпроектанта с места выкрикнул:

— Надо не восстанавливать, а захоранивать!

— Не разводите дискуссии, товарищ Конвиз! — прервал его Майорец.— Группам в течение часа подготовить мероприятия для доклада Щербине. Он вот-вот должен подъехать...»

Свидетельствует Г. А. Шашарин:

«Потом мы поднимались на вертолете в воздух с Марьиным и зампредом Госатомэнергонадзора, членом-корреспондентом АН СССР Сидоренко. Зависали над блоком на высоте двести пятьдесят — триста метров. У пилота был, кажется, дозиметр. Хотя нет — радиометр. На этой высоте светило рентген триста в час. Верхняя плита была раскалена до ярко-желтого цвета против ярко-вишневого, доложенного Прушинским. Значит, температура в реакторе росла. Плита лежала на шахте не так наклонно, как потом, когда бросали мешки с песком. Грузом ее развернуло. Здесь уж стало ясно окончательно, что реактор разрушен. Сидоренко предложил бросить в реактор тонн сорок свинца, чтобы уменьшить излучение. Я категорически воспротивился. Такой вес, да с высоты двести метров, — огромная динамическая нагрузка. Пробьет дыру насквозь, до самого бассейна-барбатера, и вся расплавленная активная зона вытечет вниз, в воду бассейна. Тогда надо будет бежать куда глаза глядят.

Когда приехал Щербина, я зашел к нему до совещания и сказал, что надо немедленно эвакуировать город. Он ответил, что это может вызвать панику...»

К этому времени, примерно к 19 часам, кончились все запасы воды на АЭС. Насосы, с таким трудом запущенные переоблучившимися электриками, остановились. Радиоактивность везде стремительно росла, разрушенный реактор продолжал изрыгать из раскаленного жерла миллионы кюри радиоактивности. В воздухе весь спектр радиоактивных изотопов, в том числе плутоний, америций, кюриев. Все эти изотопы инкорпорировали (проникли внутрь) в организмы людей, как работающих на АЭС, так и жителей Припяти. В течение 26 и 27 апреля, вплоть до эвакуации, продолжалось накопление радионуклидов, кроме того, люди подвергались внешнему гамма-, бета-облучению.

В медсанчасти города Припяти

Первая группа пострадавших, как мы уже знаем, была доставлена в медсанчасть через тридцать—сорок минут после взрыва. Особая тяжесть ядерной катастрофы в Чернобыле была в том, что воздействие излучений на организм людей оказалось комплексным: мощное внешнее и внутреннее облучение, осложненное термическими ожогами и увлажнением кожных покровов. Картина реальных поражений и доз не могла быть оперативно установлена из-за отсутствия у врачей данных об истинных радиационных полях. И только первичные реакции облученных: мощная эритема (ядерный загар), отеки, ожоги, тошнота, рвота, слабость, у некоторых шоковые состояния, — говорили о тяжести поражений. Кроме того, медсанчасть, обслуживавшая Чернобыльскую АЭС, не была оснащена необходимой радиометрической аппаратурой, врачи не были подготовлены организационно к приему подобных больных. Не была проведена необходимая срочная классификация пострадавших по типу течения болезни. В качестве основного критерия в таких случаях выбирается вероятный исход:

1) выздоровление невозможно или маловероятно,

2) выздоровление возможно при использовании современных терапевтических средств и методов,

- 3) выздоровление вероятно,
- 4) выздоровление гарантировано.

Такая классификация особенно важна, когда облучено большое количество людей и возникает необходимость скорее определить тех, кому своевременно оказанная помощь может спасти жизнь. Здесь особенно важно знать, когда началось облучение, сколько оно длилось, сухая или мокрая была кожа (через влажную кожу интенсивнее диффундируют внутрь радионуклиды, особенно через кожу, пораженную ожогами и ранениями).

Пострадавшие не были классифицированы по типу течения острой лучевой болезни, свободно общались друг с другом. Не была обеспечена достаточная дезактивация кожных покровов (только обмыв под душем, который был неэффективен или малоэффективен из-за диффузии радионуклидов с накоплением в зернистом слое под эпидермисом). Основное внимание было обращено на терапию больных первой группы с тяжелыми первичными реакциями, которых сразу положили под капельницу, и больных с тяжелыми термическими ожогами (пожарники, Шашенок, Кургуз).

Только через четырнадцать часов после аварии из Москвы самолетом прибыла специализированная бригада в составе физиков, терапевтов-радиологов, врачей-гематологов. Были проведены одно-трехкратные анализы крови, заполнены амбулаторные карты-выписки с указанием клинических проявлений после аварии, жалоб пострадавших, числа лейкоцитов и лейкоцитарной формулы...

Свидетельствует В. Г. Смагин (принимал смену у Акимова):

«Нас, человек пять, посадили в «скорую» и отвезли в медсанчасть Припяти. РУПом (прибор для замера активности) замерили активность каждого. Помылись еще раз. Все равно радиоактивные. Было в ординаторской несколько терапевтов, меня сразу взяла к себе Людмила Ивановна Прилепская, у нее муж тоже начальник смены блока, и мы дружили семьями. Но тут у меня и других ребят началась рвота. Мы увидели ведро, или урну, схватили его и втроем начали рвать в это ведро.

Прилепская выясняла, где я был на блоке и какие там радиационные поля. Никак не могла взять в толк, что там везде поля, везде грязь. Вся атомная станция — сплошное радиационное поле. В промежутках между рвотой рассказывал как мог. Сказал, что поля из нас никто точно не знает. Зашкал на тысяче микрорентген в секунду — и все.

Поставили капельницу в вену. Часа через два в теле стала ощущаться бодрость. Когда кончилась капельница, я встал и начал искать куреву. В палате были еще двое. На одной койке прапорщик из охраны. Все говорил: «Сбегу домой. Жена, дети волнуются. Не знают, где я. И я не знаю, что с ними». «Лежи,— сказал ему.— Хватанул бэры, теперь лечись...»

На другой койке лежал молодой наладчик из черновыльского пусконаладочного предприятия. Когда он узнал, что Володя Шашенок умер утром, кажется, в шесть утра, то начал кричать, почему скрыли, что он умер, почему ему не сказали. Это была истерика. И, похоже, он перепугался. Раз умер Шашенок, значит, и он может умереть. Он здорово кричал: «Все скрывают, скрывают!.. Почему мне не сказали?!» Потом он успокоился, но у него началась изнурительная икота.

В медсанчасти было грязно. Прибор показывал радиоактивность. Мобилизовали женщин из Южатомэнергомонтажа. Они все время мыли полы в коридоре и в палатах. Ходил дозиметрист и все измерял. Бормотал при этом: «Моют, моют, а все грязно...»

В открытое окно услышал, что меня зовут. Выглянул, а внизу Сережа Камышный из моей смены. Спрашивает: «Ну как дела?» А я ему

в ответ: «Закурить есть?» Спустили шпагат и на шпагате подняли сигареты. Я ему сказал: «А ты, Серега, что бродишь? Ты тоже нахватался. Иди к нам». «Да я нормально себя чувствую. Вот дезактивировался.— Он достал из кармана бутылку водки.— Тебе не надо?» «Не-ет! Мне уже влили...»

Заглянул в палату к Лене Топтунову. Он лежал. Весь буро-коричневый. У него был сильно отекавший рот, губы. Распух язык. Ему было трудно говорить. Всех мучило одно: почему взрыв? Я спросил его о запасах реактивности. Он с трудом сказал, что «Скала» показывала водсемнадцать стержней. Но, может, врал. Машина иногда врет...

Володя Шашенок умер от ожогов и радиации в шесть утра. Его, кажется, уже похоронили на деревенском кладбище. А заместитель начальника электроцеха Александр Лелеченко после капельницы почувствовал себя настолько хорошо, что сбежал из медсанчасти и снова пошел на блок. Второй раз его уже повезли в Киев в очень тяжелом состоянии. Там он и скончался в страшных муках. Общая доза, им полученная, составила 2,5 тысячи рентген. Не помогли ни интенсивная терапия, ни пересадка костного мозга...

После капельницы многим стало лучше. Я встретил в коридоре Проскуракова и Кудрявцева. Они оба держали руки прижатыми к груди. Как закрывались ими от излучения реактора в центральном зале, так и остались руки в согнутом положении, не могли разогнуть, страшная боль.

Валера Перевозченко после капельницы не встал. Лежал молча, отвернувшись к стене. Толя Кургуз был весь в ожоговых пузырях. В иных местах кожа лопнула и висела лохмотьями. Лицо и руки сильно отекали и покрывались корками. При каждом мимическом движении корки лопались. И изнурительная боль. Он жаловался, что все тело превратилось в сплошную боль. В таком же состоянии был Петя Паламарчук, вынесший Володю Шашенка из атомного ада.

Врачи, конечно, и сами облучились. Атмосфера, воздух в медсанчасти были радиоактивные. Сильно излучали и тяжелые больные, они ведь вобрали радионуклиды внутрь и впитали в кожу.

Нигде в мире подобного не было. Мы были первыми после Хиросимы и Нагасаки. Но гордиться здесь нечем...

Все, кому полегчало, собрались в курилке. Думали только об одном: почему взрыв? Был тут и Саша Акимов, печальный и страшно загорелый. Вошел Анатолий Степанович Дятлов. Курит, думает. Привычное его состояние. Кто-то спросил: «Сколько хватанул, Степаныч?» «Д-да, думаю, р-рентген сорок... Жить будем...»

Он ошибся ровно в десять раз. В 6-й клинике Москвы у него определили 400 рентген. Третья степень острой лучевой болезни. И ноги он себе подпалил здорово, когда ходил по топливу и графиту вокруг блока.

У многих в голове торчало слово «диверсия». Потому что когда не можешь объяснить, то на самого черта подумаешь. Акимов на мой вопрос ответил одно: «Мы все делали правильно... Не понимаю, почему так произошло...» Дятлов тоже был уверен в правильности своих действий.

К вечеру прибыла команда врачей из 6-й клиники Москвы. Ходили по палатам. Осматривали нас. Бородатый доктор, Георгий Дмитриевич Селидовкин, отобрал первую партию — двадцать восемь человек — для срочной отправки в Москву. Отбор делал по ядерному загару. Было не до анализов. Почти все двадцать восемь умрут...

Из окна хорошо был виден аварийный блок. К ночи загорелся графит. Гигантское пламя вилось вокруг венттрубы. Страшно было смотреть. Двадцать шесть человек посадили в красный «икарус». Кургуза и Паламарчука повезли в «скорой». Улетели из Борисполя часа

в три ночи. Остальных, которым было полегче, в том числе и меня, отправили в 6-ю клинику Москвы 27 апреля. Выехали тремя «икарусками». Крики и слезы провожающих. Ехали все не переодеваясь, в полосатых больничных одеждах.

В 6-й клинике определили, что я схватил 280 рад...»

Около девяти вечера 26 апреля 1986 года прибыл в Припять заместитель Председателя Совета Министров СССР Борис Евдокимович Щербина. Он стал первым председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий ядерной катастрофы в Чернобыле. Больше обычного бледный, с плотно сжатым ртом и властными тяжелыми складками худых щек, он был спокоен, собран и сосредоточен.

Не понимал он пока еще, что кругом, и на улице и в помещении, воздух насыщен радиоактивностью, излучает гамма- и бета-лучи, которым абсолютно все равно, кого облучать — черта-дьявола, министров или простых смертных.

Колоссальная власть доверена ему, но он человек, и все у него произойдет как у человека: вначале подспудно на фоне внешнего спокойствия будет зреть буря, потом, когда он кое-что поймет и наметит пути, разразится буря реальная, злая буря торопливости и нетерпения: скорей, скорей! давай, давай!

Но в Чернобыле разыгралась космическая трагедия. А космос надо давить не только космической силой, но и глубиной разума, который тоже космос, но только живой и, стало быть, более могущественный.

Майорец вынужден был признать, что четвертый блок разрушен, разрушен и реактор. Блок надо укрывать (захоранивать). Надо уложить в разрушенное взрывом тело блока более 200 тысяч кубометров бетона. Видимо, надо делать металлические короба, обкладывать ими блок и уж их бетонировать. Непонятно, что делать с реактором. Он раскален. Надо думать об эвакуации.

«Не торопитесь с эвакуацией», — спокойно, но было видно, это сделанное спокойствие, сказал Щербина. Ах, как хотелось всем, чтобы не было эвакуации! Ведь так все хорошо началось в новом министерстве. И коэффициент установившейся мощности повысили, и частота в энергосистемах стабилизировалась... И вот тебе на...

Выслушав всех, Щербина пригласил присутствующих к коллективному размышлению: «Думайте, товарищи, предлагайте. Сейчас нужен мозговой штурм. Не поверю, чтобы нельзя было погасить реактор. Газовые скважины гасили, не такой огонь был — огненная буря. Но гасили же!»

И началось. Каждый нес что в голову взбредет. В этом и заключается способ мозгового штурма: даже какая-нибудь ерунда, окоlesiца, ересь может неожиданно натолкнуть на дельную мысль. Чего только не предлагалось: и поднять на вертолете огромный бак с водой и плюхнуть этот бак на реактор, и сделать своего рода атомного троянского коня в виде огромного полого бетонного куба. Натолкать туда людей и двинуть этот куб на реактор, а уж подобрившись близко, забросать этот самый реактор чем-нибудь... Кто-то дельно спросил: «А как же эту махину, то бишь троянского коня, двигать? Колеса нужны и мотор...» Идея сразу отпала.

Высказал мысль и сам Щербина. Он предложил нагнать в подводный канал, что рядом с блоком, водометные пожарные катера и оттуда залить водой горящий реактор. Кто-то из физиков объяснил, что ядерный огонь водой не загасишь, активность еще больше попреет. Вода будет испаряться, и пар с топливом накроет все кругом. Идея катеров тоже отпала.

Наконец кто-то вспомнил, что огонь, в том числе ядерный, без-

вредно гасить песком. Запечатать наглухо. Сверху. Ниоткуда больше к реактору не подступиться.

И тут стало ясно, что без авиации не обойтись. Срочно запросили из Киева вертолетчиков.

Заместитель командующего ВВС Киевского военного округа генерал-майор Н. Т. Антошкин был уже на пути к Чернобылю. А пока правительственная комиссия решала вопрос об эвакуации. Особенно настаивали на ней гражданская оборона и медики из Минздрава СССР.

«Эвакуация необходима немедленно!— горячо доказывал заместитель министра здравоохранения Воробьев. — В воздухе плутоний, цезий, стронций... Состояние пострадавших в медсанчасти говорит об очень высоких радиационных полях. Щитовидки людей, детей в том числе, нашпигованы радиоактивным йодом. Профилактику йодистым калием никто не делает... Поразительно!..»

Щербина подвел итог: «Эвакуируем город утром 27 апреля. Всю тысячу сто автобусов подтянуть ночью на шоссе между Чернобылем и Припятью. Вас, генерал Бердов, прошу выставить посты к каждому дому. Никого не выпускать на улицу. Гражданской обороне утром объявить по радио необходимые сведения населению. А также уточненное время эвакуации. Разнести по квартирам таблетки йодистого калия. Привлеките для этой цели комсомольцев».

Щербина, Шашарин и Легасов на вертолете гражданской обороны поднялись в ночное радиоактивное небо Припяти и зависли над аварийным блоком. Щербина в бинокль рассматривал раскаленный до ярко-желтого цвета реактор, на фоне которого хорошо были видны темноватый дым и языки пламени. А в расщелинах справа и слева, в недрах разрушенной активной зоны просвечивала мерцающая звездная голубизна. Казалось, будто кто-то всемогущий накачивал огромные невидимые мехи, раздувая этот гигантский, двадцатиметрового диаметра, ядерный горн. Он с уважением смотрел на это огненное атомное чудовище, несомненно обладавшее большей, чем сам зампред Совмина СССР, властью. «Ишь как разгорелся! И сколько же в этот кратер,— букву «е» в слове «кратер» Щербина произносил очень мягко,— надо песку кинуть?» «Полностью собранный и загруженный топливом реактор весит десять тысяч тонн,— объяснял Шашарин. — Если выбросило половину графита и топлива, это около тысячи тонн, образовалась яма глубиной до четырех метров и в диаметре метров двадцать. У песка больший удельный вес, чем у графита. Думаю, три-четыре тысячи тонн песка надо будет бросить». «Вертолетчикам придется поработать. Какая активность на высоте двести пятьдесят метров?» — «Триста рентген в час. Но когда в реактор полетит груз, поднимется ядерная пыль и активность на этой высоте резко возрастет. А бомбить придется с меньшей высоты...»

Вертолет сошел с кратера.

Щербина был сравнительно спокоен. Спокойствие объяснялось не только выдержкой зампреда, но в значительной степени неполной его осведомленностью в атомной специфике, а также неопределенностью ситуации. Уже через несколько часов, когда будут приняты первые решения, он станет давить на подчиненных, торопить, обвиняя в медлительности и во всех смертных грехах...

5

27 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА

Глубоко за полночь 27 апреля генерал-майор Антошкин по личной радиации вызвал первую пару вертолетов. Но без руководителя с земли они в этой обстановке сесть не могли. Антошкин взобрался на

крышу десятиэтажной гостиницы «Припять» со своей рацией и стал руководителем полетов. Развороченный взрывом четвертый блок с короной пламени над реактором был виден как на ладони. Правее, за станцией Янов и путепроводом,— дорога на Чернобыль, а на ней бесконечная, тающая в дальней утренней дымке колонна разноцветных пустых автобусов: красных, зеленых, синих, желтых, застывших в ожидании приказа. Тысяча сто автобусов растянулись по всей дороге от Припяти до Чернобыля на двадцать километров. Гнетущей была картина застывшего на дороге транспорта.

В 13 часов 30 минут колонна дрогнет, двинется, переползет через путепровод и распадется на отдельные машины у подъездов белоснежных домов. А потом, покидая Припять, увозя навсегда людей, унесет на своих колесах миллионы распадов радиоактивности, загрязняя дороги поселков и городов...

Надо было бы предусмотреть замену скатов на выезде из десятикилометровой зоны. Но об этом никто не подумал. Активность же асфальта в Киеве долго еще потом будет составлять от десяти до тридцати миллибэр в час, и месяцами придется отмывать дороги.

Свидетельствует И. П. Цечельская, аппаратчица припятского бетоносмесительного узла:

«Мне и другим сказали, что эвакуация на три дня и что ничего брать не надо. Я уехала в одном халатике. Захватила с собой только паспорт и немного денег, которые вскоре кончились. Через три дня назад не пустили. Добралась до Львова. Денег нет. Знала бы, взяла бы с собой сберкнижку. Но все оставила. Штамп прописки в Припяти ни на кого не действовал. Просила пособие, не дали. Написала письмо министру энергетики Майорцу. Не знаю, наверное, мой халат, все на мне — очень грязное. Меня не измеряли...»

Виза министра на письме Цечельской:

«Пусть товарищ Цечельская И. П. обратится в любую организацию Минэнерго СССР. Ей выдадут 250 рублей». Но эта виза датирована 10 июля 1986 года. А 27 апреля...

Свидетельствует Г. Н. Петров:

«Ровно в 14 часов к каждому подъезду подали автобусы. По радио еще раз предупредили: одеваться легко, брать минимум вещей, через три дня вернемся. У меня еще тогда мелькнула невольная мысль: если брать много вещей, то и тысячи автобусов не хватит.

Большинство людей послушались и даже не взяли запас денег. А вообще хорошие у нас люди: шутили, подбадривали друг дружку, успокаивали детей. Говорили им: поедем к бабушке... на кинофестиваль... в цирк... Взрослые, дети были бледны, печальны и помалкивали. В воздухе вместе с радиацией повисли деланная бодрость и тревога. Но все было деловито. Многие спустились вниз заранее и толпились с детьми снаружи. Их все время просили войти в подъезд. Когда объявили посадку, выходили из подъезда и сразу в автобус. Те, кто мешкал, бегал от автобуса к автобусу, только хватали лишние бэры. И так за день мирной, обычной жизни нахватались снаружи и внутрь предостаточно.

Везли до Иванкова (шестьдесят километров от Припяти) и там расселяли по деревням. Не все принимали охотно. Один куркуль не пустил мою семью в свой огромный кирпичный дом, но не от опасности радиации (в этом он не понимал, и объяснения на него не действовали), а от жадности. Не для того, говорит, строил, чтобы чужих впускать...

Многие, высадившись в Иванкове, пошли дальше, в сторону Киева, пешком. Кто на попутных. Один знакомый вертолетчик уже позже рассказывал мне, что видел с воздуха: огромные толпы легко

одетых людей, женщин с детьми, стариков, шли по дороге и обочинам в сторону Киева. Видел их уже в районе Ирпени, Броваров. Машины застревали в этих толпах, словно в стадах гонимого скота. В кино часто видишь такое в Средней Азии, и сразу пришло в голову хоть нехоршее, но сравнение. А люди шли, шли, шли...»

Трагичным было расставание уезжающих с комнатными животными: кошками, собаками. Кошки, вытянув трубой хвосты, заглядывали в глаза людям, мяукали, собаки самых разных пород выли, прорывались в автобусы, истощно визжали, огрызались, когда их выволакивали оттуда. Но брат с собой кошек и собак, к которым особенно привыкли дети, нельзя было. Шерсть у них была очень радиоактивная, как и волосы у людей. Но ведь животные круглый день на улице. Сколько в них набралось...

Долго еще псы, брошенные хозяевами, бежали каждый за своим автобусом. Но тщетно. Они отстали и возвратились в покинутый город. И стали объединяться в стаи.

Когда-то археологи прочли интересную надпись на вавилонских глиняных табличках: «Если в городе псы собираются в стаи, городу пасть и разрушиться». Город Припять остался покинутым, законсервированным радиацией на несколько десятков лет. Город-призрак...

Объединенные в стаи псы прежде всего сожрали большую часть радиоактивных кошек, стали дичать и огрызаться людям. Были попытки нападения на людей, брошенный домашний скот... Срочно была сколочена группа охотников с ружьями, и в течение трех дней отстреляли всех одичавших радиоактивных псов, среди которых были дворняжки, доги, овчарки, терьеры, спаниели, бульдоги, пудели, болонки. 29 апреля отстрел был завершен, и улицы покинутой Припяти усеяли трупы разномастных собак...

Эвакуации были подвергнуты также жители близлежащих к АЭС деревень и хуторов. В частности, Семиходов, Копачей, Шепеличей и других. Анатолий Иванович Заяц (главный инженер треста Южатомэнергомонтаж) с группой помощников, среди которых были и охотники с ружьями, обходили дворы деревень и разъясняли, что надо покидать свои родные дома. Государство вам за все заплатит сполна. Все будет хорошо. Но люди не понимали, не хотели понимать: «Як же цэ?.. Солнце светит, трава злэна, усё растет, цветет, сады, бачишь, яки?..»

Многие жители, прослышав, что скот нельзя кормить травой, загнали коров, овец и коз по наклонному настилу на крыши сараев и держали там, чтобы они не шли щипать траву. Думали, что это недолго. Дня два, а потом снова будет можно. Пришлось объяснять снова и снова. Скот расстреляли, людей вывезли в безопасное место...

Утром 27 апреля по вызову генерала Антошкина прибыли первые два вертолета «МИ-6», пилотируемые опытными летчиками Б. Нестеровым и А. Серебряковым. Гром моторов вертолетов, приземлившись на площади перед горкомом КПСС, разбудил всех членов правительственной комиссии, которые только в четыре утра прилегли на пару часов вздремнуть.

Нестеров и Серебряков произвели тщательную разведку с воздуха, начертили схему заходов на реактор для сброса песка. Подходы к реактору с воздуха были опасны, мешала труба четвертого блока, высота которой составляла сто пятьдесят метров. Нестеров и Серебряков замерили активность над реактором на разных высотах. Ниже ста десяти метров не опускались, ибо активность резко возрастала. На высоте сто десять метров — 500 рентген в час, но после «бомбометания» наверняка поднимется еще выше. Для сброса песка необходимо зависнуть над реактором на три-четыре минуты. Доза, которую

получат за это время пилоты, составит от 20 до 80 рентген, в зависимости от степени радиационного фона. А сколько будет вылетов? Сегодняшний день покажет. Боевая обстановка ядерной войны...

Оглушающий грохот мешал работе правительственной комиссии. Приходилось говорить очень громко, орать. Щербина нервничал: «Почему не начали кидать в реактор мешки с песком?» При посадке и взлете вертолетов работающими винтами с поверхности земли сдувало высокорadioактивную пыль с осколками деления. В воздухе возле горкома партии и в помещениях, расположенных рядом, радиоактивность резко возросла. Люди задыхались.

А разрушенный реактор все изрыгал и изрыгал новые миллионы юри...

Генерал Антошкин уступил место на крыше гостиницы «Припять» полковнику Нестерову, чтобы тот управлял полетом, а сам поднялся в небо. Долго не мог сообразить, где же реактор. Незнакомому с конструкцией блока трудно ориентироваться. Понял, что нужно брать на «бомбометание» знатоков из монтажников или эксплуатации...

Разведка проведена, подлеты к реактору определены. Нужны мешки, лопаты, песок, люди, которые будут загружать мешки и грузить их в вертолеты. Все это генерал Антошкин изложил Щербине. Все в горкоме партии кашляли, сушило горло, трудно говорить.

— У вас в войсках мало людей? — вопрошал Щербина. — Вы мне задаете эти вопросы?

— Летчики грузить песок не должны! — парировал генерал. — Им надо вести машины, держать штурвалы, выход на реактор должен быть точным и гарантированным. Руки не должны дрожать. Им vorочать мешками и лопатами нельзя!

— Вот, генерал, бери двух заместителей министров — Шашарина и Мешкова, пусть они тебе грузят, мешки достают, лопаты, песок... Песка здесь кругом навалом. Грунт песчаный. Найдите поблизости площадку, свободную от асфальта, — и вперед... Шашарин, привлекайте широко монтажников и строителей. Где Кизима?

Свидетельствует Г. А. Шашарин:

«Очень хорошо поработал генерал ВВС Антошкин. Энергичный и деловой генерал, не давал никому покоя, тормозил всех. Отыскали метрах в пятистах от горкома, возле кафе «Припять» у речного вокзала, гору отличного песка. Его намывали земснарядами для строительства новых микрорайонов города. Со склада ОРСа привезли пачку мешков, и мы, вначале втроем — я, первый заместитель министра среднего машиностроения А. Г. Мешков и генерал Антошкин, — начали загружать мешки. Быстро упарились. Работали кто в чем был: я и Мешков — в московских костюмах и штиблетах, генерал — в парадном мундире. Все без респираторов и дозиметров.

Вскоре я подключил к этому делу управляющего трестом Южатомэнергомонтаж Антонщучка, его главного инженера А. И. Зайца, начальника управления ГЭМ Ю. Н. Выпирайло и других. Антонщучк подбежал ко мне со списком на льготы, который выглядел в этой обстановке смехотворным, но я его тут же утвердил. Антонщучк и те, кому предстояло работать, действовали по старой схеме, не понимая, что грязная зона теперь везде, что льготы надо платить всем жителям города. Я не стал отвлекать людей объяснениями. Нужно было делать дело. Но прибывших людей не хватало. Я попросил главного инженера Южатомэнергомонтажа А. И. Зайца проехать в ближайшие колхозы и попросить помощи...»

Свидетельствует Анатолий Иванович Заяц:

«Мы с Антонщучком проехали по хуторам колхоза «Дружба». Ходили по дворам. Люди работали на приусадебных участках. Но мно-

гие были в поле. Весна, сев. Стали разъяснять, что земля уже непригодная, что надо заткнуть зев реактору и что нужна помощь. С утра было очень жарко. У людей воскресное, предпраздничное настроение. Нам плохо верили. Продолжали работать. Тогда мы отыскивали председателя колхоза и секретаря парторганизации. Пошли в поле вместе. Разъяснили еще и еще раз. В конце концов люди отнеслись с пониманием. Набралось человек сто пятьдесят добровольцев — мужчин и женщин. Они работали потом не покладая рук на загрузке мешков в вертолеты. И все это без респираторов и других средств защиты. 27 апреля обеспечили 110 вертолето-вылетов, 28 апреля — 300 вертолето-вылетов...»

А Щербина торопил под грохот вертолетов, гонял всех как сидоровых коз — министров, замминистров, академиков, маршалов, генералов: «Как реактор взрывать, так они умеют, а мешки загружать песком — некому!»

Наконец первую партию в шесть мешков с песком погрузили на «МИ-6». С вертолетами на «бомбежку» вылетали поочередно Антонщук, Дейграф, Токаренко. Они монтировали этот реактор, и летчикам надо было поточнее показать, куда бросать мешки.

Первым на «бомбометание» вел вертолет военный летчик первого класса полковник Нестеров. По прямой со скоростью 140 километров в час шли к четвертому блоку. Ориентир — слева две стопятидесятиметровые трубы АЭС. Зашли над кратером ядерного реактора. Высота сто пятьдесят, нет, высоко. Сто десять метров. На радиометре 500 рентген в час. Зависли над щелью, образованной полуразвернутой шайбой верхней биозащиты и шахтой. Щель метров пять шириной. Надо попасть. Биозащита раскалена до цвета диска солнца. Открыли дверь. Снизу несло жаром. Мощный восходящий поток радиоактивного газа, ионизированного нейтронами и гамма-лучами. Все без респираторов. Вертолет не защищен снизу свинцом. До этого додумались позже, когда сотни тонн груза было уже сброшено. А сейчас... Высовывали голову в открытую дверь и, заглядывая в ядерное жерло, целясь в него глазом, сбрасывали мешок. И так все время. Иного способа не было.

Первые двадцать семь экипажей и помогавшие им Антонщук, Дейграф, Токаренко вскоре вышли из строя, и их отправили в Киев на лечение. Активность после сбрасывания мешков на высоте ста десяти метров достигала 1800 рентген в час. Пилотам становилось плохо в воздухе. Ведь при метании мешков с такой высоты оказывалось значительное ударное воздействие на раскаленную активную зону. Резко увеличались, особенно в первый день, выбросы осколков деления и радиоактивного пепла от сгоревшего графита. Люди дышали всем этим. В течение месяца потом вымывали из крови героев соли урана и плутония, многократно заменяя кровь.

В последующие дни пилоты сами уже догадались класть под сиденье свинцовые листы и надевали респираторы. Эта мера несколько снизила облучаемость летного состава.

В 19.00 27 апреля генерал-майор Антошкин доложил председателю правительственной комиссии Щербине, что в жерло реактора сброшено сто пятьдесят тонн песка. Сказал это не без гордости. Тяжко дались эти сто пятьдесят тонн. «Плохо, генерал, — сказал Щербина. — Сто пятьдесят тонн песка такому реактору как слону дробина. Надо резко нарастить темпы». Генерал от усталости и бессонницы валился с ног, и такая оценка Щербины обескуражила его. Но только на мгновение. Он снова ринулся в бой.

С 19 до 21 часа отладил отношения со всеми руководителями, от которых зависело обеспечение вертолетчиков мешками, песком,

людьми для осуществления погрузки... Догадался использовать для увеличения производительности парашюты. В купол грузили мешки, получалась сумка, стропы цепляли к вертолету и — к реактору...

28 апреля было сброшено уже триста тонн.

29 апреля — семьсот пятьдесят тонн.

30 апреля — тысяча пятьсот тонн.

1 мая — тысяча девятьсот тонн...

В 19 часов 1 мая Щербина сообщил о необходимости сократить сброс вдвое. Появилось опасение, что не выдержат бетонные конструкции, на которые опирался реактор, и все рухнет в бассейн-барбатор. Это грозило тепловым взрывом и огромным радиоактивным выбросом...

Всего с 27 апреля по 2 мая было сброшено в реактор около пяти тысяч тонн сыпучих материалов...

Свидетельствует Г. А. Шашария:

«26 апреля я принял решение остановить первый и второй блоки. Примерно в 21.00 начали останавливать и где-то к двум ночи 27 апреля остановили. Я приказал на каждый реактор добавить в пустые каналы равномерно по зоне по двадцать штук дополнительных поглотителей. Если пустых каналов нет, извлечь сборки и вместо них вставить ДП. Таким образом искусственно увеличивался запас отрицательной реактивности.

Ночью мы с Сидоренко, Мешковым и Легасовым гадали, что же послужило причиной взрыва. Грешили на радиолитический водород, но потом я подумал, что взрыв был в самом реакторе. Предполагали также, что диверсия. Что в центральном зале на приводá СУЗ навесили взрывчатку и... выстрелили их из реактора. Это и привело к мысли о разгоне на мгновенных нейтронах. Тогда же, ночью, доложил ситуацию Долгих. Он спросил: может ли быть еще взрыв? Я сказал, что нет. Мы уже к этому времени промерили вокруг реактора — не более 20 нейтронов на сантиметр. Потом стало 17—18 нейтронов. Реакции как будто нет. Правда, измеряли с расстояния и сквозь бетон. Какова же подлинная плотность нейтронов, неизвестно. С вертолета не мерили...

В ту же ночь определил минимум персонала для обслуживания первого, второго и третьего блоков. Составил списки, передал Брюханову. 29 апреля, уже на совещании в Чернобыле, предложил остановить все остальные четырнадцать блоков с реактором типа РБМК. Щербина молча слушал, потом, после совещания, когда выходили, сказал: „Ты, Геннадий, того, не поднимай шум. Понимаешь, что значит оставить страну без четырнадцати миллионов установленной мощности?..“»

29 апреля правительственная комиссия оставила Припять и переехала в Чернобыль.

6

А в это время в Москве Минэнерго СССР обеспечивало срочную и массивную переброску специальной техники и материалов в Чернобыль через Вышгород. Снимали отовсюду и переправляли в район катастрофы миксеры, бетоноукладчики, краны, бетононасосы, бетонные заводы, трейлеры, автотранспорт, бульдозеры, сухую бетонную смесь и другие строительные материалы...

Об аварии я узнал в понедельник утром 28 апреля от начальника главного производственного управления по строительству Минэнерго СССР Евгения Александровича Решетникова, когда пришел к нему доложить о результатах командировки на Крымскую АЭС. 29-го утром замминистра Садовский по нашей справке докладывал о случившемся Долгих и Лигачеву. Потом стало известно о пожаре на крыше маш-

зала, о частичном обрушении кровли. И только в последующие дни в Москве в министерстве стало окончательно ясно, что на Чернобыльской АЭС произошла ядерная катастрофа, какой не было равных в атомной энергетике.

Организовали непрерывное дежурство, контроль грузопотоков на Чернобыль, удовлетворение первоочередных нужд. Выяснилось, что нет механизмов с манипуляторами для сбора радиоактивных деталей. По всей площадке вокруг блока взрывом разбросало реакторный графит и обломки топлива. Договорились с одной из фирм ФРГ о закупке за миллион золотых рублей трех манипуляторов для сбора топлива и графита на территории АЭС. В ФРГ срочно вылетела группа наших инженеров во главе с главным механиком Союзатомэнергостроя Н. Н. Константиновым для обучения и для приемки изделий. К сожалению, задействовать их так и не удалось. Они работают только на ровненькой площадке, а в Чернобыле были сплошные завалы. Тогда забросили их на кровлю для сбора топлива и графита на крыше деаэрационной этажерки, но роботы запутались там в шлангах, оставленных пожарниками. В итоге пришлось собирать топливо и графит руками...

4 мая 1986 года.

В субботу 4 мая из Чернобыля прилетели Щербина, Майорец, Марьин, Семенов, Цвирко, Драч и другие. В аэропорту Внуково их встретил спецавтобус и всех увез в 6-ю клинику. Цвирко, с большим давлением и кровоизлиянием в оба глаза, ухитрился ударить в кремлевку. «Откуда?» — спросили там. «Из Чернобыля... Облучился...» «Такое лечить не умеем...» Тогда он пошел в 6-ю клинику. Там всех «обнюхали» датчиком, раздели, обмыли, обрили. Все было очень радиоактивное. Один Щербина не дал себя обрить. После обмывки переоделся в чистое и с радиоактивными волосами ушел домой. (Щербина, Майорец и Марьин отдельно от других обрабатывались в соседней с 6-й клиникой медсанчасти.)

Всех, кроме покинувшего клинику Щербины и быстро отмытого Майорца, оставили на обследование и лечение в 6-й клинике, где они находились от недели до месяца. На смену Щербине в Чернобыль улетел новый состав правительственной комиссии во главе с заместителем Председателя Совета Министров СССР Силаевым.

Свидетельствует Г. А. Шашарин:

«4 мая нашли задвижку, которую надо было открыть, чтобы слить воду из нижней части бассейна-барбатера. Воды там было мало. В верхний бассейн заглянули через дырку резервной проходки. Там воды не было. Я достал два гидрокостюма и передал их военным. Открывать задвижки шли военные. Использовали также передвижные насосные станции и рукавные ходы. Новый председатель правительственной комиссии Силаев уговаривал: кто откроет, в случае смерти — машина, дача, квартира, обеспечение семьи до конца дней. Участвовали: Игнатенко, Сааков, Бронников, Грищенко, капитан Зборовский, лейтенант Злобин, младшие сержанты Олейник и Навава...»

Свидетельствует Б. Я. Прушинский:

«4 мая я вылетел на вертолете к реактору вместе с академиком Велиховым. Внимательно осмотрев с воздуха разрушенный энергоблок, Велихов озабоченно сказал: «Трудно понять, как укротить реактор...»

Это было сказано после того, как ядерное жерло было уже засыпано пятью тысячами тонн различных материалов...»

5 мая 1986 года.

Эвакуировали Чернобыль. Объявлена тридцатикилометровая зона. Эвакуированы население и скот. Штаб правительственной комис-

сии отступил в Иванков. Выброс. Резко возросла активность воздуха.

Маршал Оганов тренировался с помощниками на пятом блоке по взрыву коммулятивных зарядов. Помогали офицеры и монтажники. 6 июня придется стрелять в реальных условиях по аварийному блоку. Дыра нужна для протаскивания трубопровода подачи жидкого азота под фундаментную плиту для охлаждения.

6 мая 1986 года.

Пресс-конференция Щербины. В его выступлении занижен радиационный фон вокруг блока и в Припяти. Зачем?

Председатель Госкомитета по использованию атомной энергии СССР А. М. Петросьянц произнес кощунственные слова, оправдывая чернобыльскую катастрофу: «Наука требует жертв».

Маршал Оганов стрелял коммулятивными зарядами на аварийном блоке. Заряд приделали к стене ВСРО со стороны третьего блока, подожгли бикфордов шнур. Пробили дыру в стенах трех помещений. Но на пути оказались трубопроводы и оборудование, которые мешали протянуть трубопровод. Надо было сильно расширять дыру. Не решились...

В. Т. Кизима предложил другое решение: не стрелять, а прожигать сварочной дугой со стороны транспортного коридора. Есть там такое 009-е помещение. Начали подготовку к работам. Чтобы уменьшить горение графита и доступ кислорода в активную зону, подключили азот к реципиентам и подали его под крест аппарата...

Активность в Киеве (воздух) составила 1 и 2 мая около 2 тысяч доз. Сообщил приехавший монтажник. Данные требуют проверки.

7 мая 1986 года.

Организован штаб Минэнерго СССР в Москве для оперативной и долговременной помощи Чернобылю. Дежурство до 22.00 в кабинете первого замминистра Садовского.

Совещание у замминистра Семенова. Обваловку аварийного блока с помощью направленного взрыва специалисты Главгидроспецстроя признали невозможной. В грунтах Припяти в основном песок, который направленному взрыву не поддается. Необходимы тяжелые грунты, а их там нет. Песок же просто разметет взрывом во все стороны. А жаль! Надо бы ставить атомные станции на тяжелых грунтах, чтобы потом в случае чего заваливать их землей, превратив в подобие скифского кургана.

В Чернобыль прибыли первые радиоуправляемые бульдозеры: японские «камацу» и наши «ДТ-250». В обслуживании большая разница: наш заводится вручную, а управляется дистанционно; если мотор заглохнет в зоне работы, где высокая радиация, надо посылать человека, чтобы снова завел. Японский «камацу» заводится и управляется дистанционно.

Из Вышгорода, где концентрируется техника для Чернобыля, звонил диспетчер. Сказал, что сконцентрировано уже колоссальное количество машин. Водителей очень много. Неуправляемы. Трудно с организацией жилья и питания. Повсеместно пьют. Говорят, для дезактивации. Активность в Киеве и Вышгороде: воздух — 0,5 миллирентгена в час, на поверхности дорог и асфальта — 15—20 миллирентген в час. Приказ: водителей разбить на десятки и поставить во главе каждой наиболее сознательного. Неподдающихся отправлять по домам. Впредь принимать людей, исходя из необходимости иметь непрерывный резерв на подмену выбывающих из строя, то есть взявших дозу 25 бэр.

В Чернобыле временами резко возрастает активность воздуха. Плутоний, трансураны и прочее. В этих случаях — срочная передислокация штабов и общежитий на новое, более удаленное место. При этом оставляют постельное белье, мебель. На новом месте оборудуют

все заново. Когда в зону бедствия приезжал Председатель Совета Министров Н. И. Рыжков, люди, в частности, жаловались ему на плохое медицинское обслуживание. Премьер разнес в пух и прах министра здравоохранения Петровского и его замов.

К сожалению, у нас в стране нет необходимой специальной техники для устранения и локализации ядерных катастроф, подобных чернобыльской. Такой, как машины «стена в грунте» с достаточной глубиной траншеи, робототехники с манипуляторами, и прочего. Замминистра А. Н. Семенов вернулся с совещания у замминистра обороны маршала Ахромеева. Рассказал: совещание представительное, человек тридцать генерал-полковников и генерал-лейтенантов. Был начальник химвойск В. К. Пикалов. Маршал распекал собравшихся.

Звонок из Чернобыля от начальника стройки В. Т. Кизимы. Жалуются на нехватку легкового транспорта. Водители с машинами, прибывшие с разных строек, выбрав дозу, уезжают самовольно на своем радиоактивном транспорте. Отмыть машины не удается. Активность в салоне достигает 3—5 рентген в час. Просит дозиметры-накопители и оптические. Острая нехватка. Дозиметры воруют. Уезжающие увозят с собой в качестве сувениров. Самое больное место — организация дозиметрической службы у строителей и монтажников. Эксплуатация деморализована, не обеспечивает и себя...

Через гражданскую оборону получено «добро» на 2 тысячи комплектов оптических дозиметров с блоками питания и зарядки с киевской базы. Передал координаты Кизиме. Просил его направить машину.

В штаб Минэнерго СССР звонят по телефону, приходят многие советские граждане, просят направить их в Чернобыль. Большинство, конечно, не представляют, какого характера работа их ждет. Но облучение почему-то никого не беспокоит. Говорят: ведь из расчета 25 рентген... Иные прямо заявляют: хотим заработать. Узнали, будто в зоне, примыкающей к аварийному блоку, платят пять окладов... Но большей частью помощь предлагают бескорыстно. Один демобилизованный солдат из Афганистана сказал: «Ну и что, что опасно? В Афганистане тоже была не прогулка. Хочу помочь стране».

Подготовили проект постановления правительства по Чернобылю «О мерах по ликвидации последствий аварии» (обеспечение техникой, автотранспортом, химикатами для дезактивации, льготы для строителей и монтажников). Министр Майорец доложит сегодня на заседании Политбюро.

20.00. Принято решение подавать жидкий бетонный раствор на завал, чтобы забетонировать куски топлива и графита и уменьшить радиационный фон. Для монтажа трубопровода срочно требуются шестьдесят сварщиков. Приказ замминистра А. Н. Семенова начальнику Союзэнергомонтажа П. П. Триандафилиди: выделить людей. Триандафилиди запальчиво кричит Семенову: «Мы сожжем сварщиков радиацией! Кто будет монтировать трубопроводы на строящихся атомных станциях?!» Последовал новый приказ Семенова Триандафилиди: подготовить список сварщиков и монтажников и передать в Министерство обороны для мобилизации.

В связи с ожидаемыми ливневыми дождями в районе Чернобыльской АЭС — приказ председателя правительственной комиссии зампреда Совмина СССР Силаева: «Срочно приступить к перемонтажу ливневой канализации города Припяти на водохранилище пруда-охладителя. (Ранее была в реку Припять.— Г. М.) Всему штабу правительственной комиссии выехать к аварийному блоку для организации срочных мер по закрытию активных кусков графита и топлива, выброшенных взрывом...»

Подписывая мне командировку в Чернобыль, заместитель министра Александр Николаевич Семенов сказал: «Определись с радиаци-

онными полями. Когда мы были там, никто толком не знал, сколько светит, а сейчас скрывают, врут. И вообще, приедешь — расскажи. А то вот сижу стриженный... И давление прет вверх... Не от атома ли это?..»

В Быкове долго ждали министра. Он явился с опозданием на час в сопровождении помощника, которого взял к себе в Минэнерго из Минэлектротехпрома, где до того тоже работал министром.

Кроме меня летели еще три замначальника главных управлений Минэнерго СССР: И. С. Попель — замначальника Главснаба, Ю. А. Хиесалу — замначальника Главэнергокомплекта и В. С. Михайлов — замначальника Союзатомэнергостроя, разбитной, с компанейскими замашками, но с очень цепкими и внимательными глазами. Он был весь как ртуть, типичный холерик, минуты не мог посидеть спокойно, обязательно вылезал с какими-то соображениями, инициативами. Юло Айнович Хиесалу — спокойный, тихий, слова лишнего не молвит, а когда молвит, то с сильным эстонским акцентом. В высшей степени симпатичный и порядочный человек. Игорь Сергеевич Попель — энергичный широколицый снабженец веселого нрава. Все трое впервые в жизни ехали в зону повышенной радиации.

Спецрейс выполнялся на арендованном Минэнерго СССР самолете «ЯК-40», специально приспособленном возить начальство. Фюзеляж имел два маленьких салона: носовой, в котором располагалось более высокое начальство, и хвостовой, где размещались все остальные. Правда, субординация соблюдалась в дочернобыльскую эпоху, катастрофа резко демократизировала обстановку в спецрейсах.

В носовом салоне по левому борту в креслах за небольшим столиком друг против друга расположились министр и его помощник. По правому борту друг за другом четыре пары кресел, в которые уселись заместители начальников главков, начальники производственных отделов и служб различных управлений министерства.

Из всех летевших этим рейсом только я один работал долгое время на эксплуатации атомных станций. Министр же, хотя и провел уже первую ядерную неделю в Припяти и Чернобыле, облучился и сидел теперь остриженный под машинку, не представлял в полной мере, что произошло, и не был способен к самостоятельному решению по комплексу возникших проблем без помощи специалистов. Упитанный, холерный, он сидел молча, ни с кем из подчиненных в салоне ни разу не заговорил. На лице его брезжила еле уловимая улыбка. Я незаметно рассматривал его, и мне казалось, что он поражен свершившимся, этой внезапно свалившейся на него ядерной катастрофой. Словно было написано на его лице: «И зачем я пришел в эту чужую для меня энергетику, взвалил на свои плечи строительство и эксплуатацию атомных электростанций? Зачем ушел от своих родных электромоторов и трансформаторов? Зачем?..» Он явно был изумлен этим обрушившимся на него ядерным хлебовом. Изумлен, но не испуган. Испугаться не мог, ибо не понимал, что ядерная катастрофа — это опасно. Более того, он был не согласен, что произошла катастрофа. Просто авария... Небольшая поломка...

Летел с нами также и Кафанов — замначальника Союзгидроспецстроя, высокий, мрачный с виду человек с одутловатым лицом. Выглядел он олимпийски спокойно, однако с радиацией ему предстояло также столкнуться впервые.

Внизу уже был виден широко разлившийся Днепр. Хорошо, что кончился паводок, случись катастрофа месяц назад, вся радиоактивность оказалась бы в Припяти и Днепре...

Сзади меня шебаршился Михайлов. Его волновало неизвестное будущее, он хотел заранее все выяснить и спрашивал шепотком, видимо, стесняясь министра: «Скажи, сколько можно схватить, чтобы, ну... бесследно?.. Ну, ничего не было?..» Волновался и Попель. Рядом раздавался его четкий красивый голос: «У меня давление. Я слышал,

от лучшей оно подскакивает со страшной силой...» Кафанов и Юло Айнович Хиесалу молчали. Лицо министра за все время полета не изменило выражения. Серые отсутствующие, с оттенком изумления глаза его рассматривали перед собой нечто нам неведомое.

К Киеву подлетали в шестом часу вечера. Приземляться будем в аэропорту Жуляны. Низко летим над Киевом. Улицы необычно пустынные для часа пик. Редкие прохожие. Я часто подлетал к Киеву с этой стороны, но такого безлюдья никогда не было.

Наконец приземлились. Министр тут же укатил на «ЗИМе». Его встречали бледный как смерть министр энергетики Украины Скляр и секретарь обкома. Нас же встретил начальник Главснаба Минэнерго УССР Маслак, худощавый, приветливый, веселый, лысый. Вся наша команда уселась в голубой «рафик».

Маслак сказал, что активность в воздухе Киева, как передают по радио,— 0,34 миллирентгена в час, что на асфальте значительно больше, но об этом не передают. Слышал, раз в сто больше, но что это означает, он не знает, поскольку раньше никогда в жизни дела с атомом не имел. Рассказал, что за неделю из Киева уехало около миллиона человек. В первые дни на вокзале творилось невообразимое, народу больше, чем в эвакуацию во время войны. Цену на билеты спекулянты взвинтили до двухсот рублей, несмотря на дополнительные поезда, выделенные для уезжающих. Вагоны при посадке брали с боем, уезжали на крышах, на подножках. Но паника длилась не более трех-четырёх дней. Сейчас можно уже из Киева уехать свободно.

— Но что же это такое — ноль целых тридцать четыре сотых миллирентгена в час?! Черт бы меня побрал! — обернулся ко мне нетерпеливый, с седеющей курчатовской бородкой В. С. Михайлов.

Рассказал, что простой смертный имеет право схватить за сутки 1,3 миллирентгена. Такая доза оговорена нормами ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Сейчас, то есть на 8 мая, в Киеве, если верить официальным данным, радиация в шесть раз превышает норму ВОЗ. На асфальте же, если верить Маслаку,— в 300 раз.

«Рафик» ехал полупустынными улицами. Время — семь вечера.

— Говорят,— сказал Маслак,— в первые три дня после взрыва активность в Киеве достигала ста миллирентген в час.

— Две тысячи доз против нормы для простых смертных,— пояснил я.

— Ну, знаете! — воскликнул экспансивный Михайлов.— Маслак! Где твой дозиметры? Ты Главснаб, дай нам дозиметры!

— Дозиметры получите в Иванкове.

— Останови, останови! — начал тормозить Михайлов шофера.— Вот здесь, около магазина. Надо взять водяры для дезактивации.

Шофер улыбался, но останавливаться не стал. За прошедшие десять дней он убедился, что не умер, что жить еще можно.

Выехали за городскую черту Киева. Я смотрел на мачтовый сосновый бор по сторонам, зная, что здесь теперь тоже радиоактивная грязь, хотя внешне все так же чисто и прибранно. И народу заметно меньше, и люди какими-то одинокими кажутся. И машин встречных с черномыльского направления совсем мало... Миновали Петривцы, Дымер. Дачи, поселки обочь дороги. Редкие прохожие. Дети с ранцами идут из школы после второй смены, и все они вроде и те, но как бы уже другие... Словно замедлилось все. Поредело и замедлилось.

То, что я описал в предыдущих главах (события 26 и 27 апреля), сложилось во мне позднее, после посещения Чернобыля и Припяти, дотошного опроса многих людей, Брюханова, начальников цехов и смен АЭС, участников трагических событий. Помогли разобраться и реконструировать весь ход событий опыт многолетней работы на эксплуатации АЭС, облучение и пребывание в стационаре 6-й клиники Москвы в 70-е годы. Полной картины тогда не знал никто, каждый

из очевидцев или участников событий знал лишь свой маленький кусочек трагедии...

«Рафик» бежал по широкой и совершенно пустой автострате Киев — Чернобыль, еще десять дней назад оживленнейшей и сияющей огнями машин. Надо бы прорваться сегодня в штаб Чернобыля, думал я, успеть на вечернее заседание штаба правительственной комиссии. Но лишь в девять вечера «рафик» въехал во двор иванковских энергосетей. Вышли, размяли ноги. В деревянном бараке тут же, во дворе, на скорую руку закусили. Там была небольшая столовка оперативного персонала энергосетей. Во дворе неподалеку возбужденно беседовали недавно прибывшие из Чернобыля трое рабочих. Один был в белом, двое в синих х/б комбинезонах, с дозиметрами в нагрудных карманах. Один — в белом, высокий, лысый — указывал сорванным с головы чепцом на северо-запад в высокое, уже вечернее, затянутое грязноватой дымкой небо и выкрикивал:

— Жарит сегодня — две тысячи доз плутония, душит. — Он морщился, кашлял, отирал чепцом морщинистое лицо.

Мы тоже стали смотреть в ту сторону. Небо было зловещим и безмолвным. Мы все смотрели, смотрели туда с таким чувством, будто там война, фронт.

— А у меня почесуха, — сказал другой, — все тело зудит, аллергия... Особенно ноги у щиколоток. — Потянув вверх штанины комбинезона и нагнувшись, он стал остервенело чесать багровые опухшие ноги.

Вернулся Маслак.

— Спецодежды нет, дозиметров нет, ночевать негде. Едем в Киев. В Чернобыль в таком виде нельзя, завернут. Это первые дни, говорят, были кто в чем...

Делать нечего, сели в «рафик» и вернулись в Киев. В гостинице Киевэнерго уже поджидал нас огромный мешок с хлопчатобумажной синей спецовкой, бутсами и шерстяными черными беретами. То, что береты шерстяные, плохо. Шерсть отлично сорбирует активность. Нужны бы хлопчатобумажные, но их нет. На безрыбье и рак рыба.

Утром — летнее голубое небо, двадцать пять градусов тепла. Снова уселись в «рафик». На выезде из Вышгорода, у поста ГАИ — дозиметрист. Останавливает и «обнюхивает» датчиками колеса у редких машин со стороны Чернобыля. У обочины стоит голубой «жигуленок» с открытыми настежь дверями и багажником. Внутри — тюки с вещами, ковры. Владельцы, мужчина и женщина, стоят рядом. «Да что же это такое?! — причитает женщина. — Свое добро — и не за- бери...»

— Сегодня злой воздух. — Водитель натянул на нос висевший на шее противопылевой респиратор.

Жжет дыхание, все сильнее режет веки. Вслед за водителем все натянули респираторы, а мне почему-то стыдно. Стыдно бить челом перед радиацией, черт бы ее побрал! Впереди на асфальте наносы пыли. Нас обошла «Волга» с министром, пыльное облако активностью около 30 рентген в час окутало «рафик». Надел респиратор. «Волга» министра скрылась за поворотом. Снова одни на дороге. Изредка обгоняем тяжело ползущий миксер с грузом сухого бетона. И вновь глухо, пусто. На обширных просторах полей, в деревнях и хуторах — ни души. Зелень еще свежая. Но скоро, я знал это по опыту, начнет темнеть, чернеть, пожухнет и станет рыжей хвоя елей и сосен. Набравшие силу зелены станут хиреть, и, как шерсть баранов, эти волосы земли будут копить в себе радиацию. Там ее наберется в два-три раза больше, чем на поверхности дорог.

Попель жалуется, что болит темечко.

— Поперло давление, — заключает он. — Войну прошел, столько пережито... Приедем, сразу спрошу Садовского: нужен я здесь?..

Я ведь в Москве больше могу сделать, чем в Чернобыле, в тысячу раз... И в сто раз быстрее.

Михайлов, Разумный, Кафанов то и дело заглядывают в окуляры своих дозиметров.

— А у меня стрелка вообще ушла на минус левее нуля,— сказал Разумный.— Что за качество, везде халтура!

— Это ты уже не впитываешь, а отдаешь рентгены,— шутит Филонов.— Уже отдал больше, чем схватил.

— А у меня ровно на нуле,— заявил Михайлов.— Но глаза жжет, и началась почесуха в ногах.— Он остервенело зачесал щиколотки.

— Это у тебя мандраж, Валентин Сергеевич,— сказал Разумный.

Кругом ни души. Не видно птиц, хотя нет, вон вдалеке лениво и невысоко летит ворон. Интересно бы измерить его активность. Сколько он набрал радиации в перья? А вот через несколько километров еще одна живая душа. Навстречу нам со стороны Чернобыля по обочине дороги бежит, взбивая радиоактивную пыль, пегий жеребенок. Растерянный, сиротливый, вертит головой, ищет мать, жалобно ржет. В этих местах скот уже расстреливали. Чудом уцелел. Беги, беги отсюда, малыш. Впрочем, шерсть на нем тоже очень радиоактивна. Но все равно беги, беги отсюда. Может, повезет...

До Чернобыля совсем близко. Справа и слева — военные лагеря, палаточные городки, солдаты, много техники: бронетранспортеры, бульдозеры, инженерные машины разграждения (сокращенно — ИМРы) с навесными руками-манипуляторами и бульдозерными ножами. Они напоминают танки, только без орудийных башен. И снова палаточные городки. Войска, войска, войска.

Подъезжаем к райкому. Здесь тоже полно машин. В основном легковые разных марок, автобусы, «кубанцы», «рафики», бронетранспортеры, закрепленные за членами правительственной комиссии. Все эти легковые и прочие машины придется спустя время закапывать: за месяц-два набирают такую активность, что в салоне до 5 и более рентген в час.

Обошел коридор первого этажа. На дверях приколоты кнопками листки, клочки бумаги с надписями: «ИАЭ» (Институт атомной энергии), «Гидропроект», «Минуглепром», «Минтрансстрой», «НИКИЭТ» (главный конструктор реактора), «Академия наук» и многие другие. Заглянул в комнату с вывеской «ИАЭ». У окна впритык друг к другу два письменных стола, за левым — Евгений Павлович Велихов, за правым — министр Майорец в таком же, как у меня, синем х/б комбинезоне и шерстяном берете на стриженной под машинку голове. Рядом на стульях зампред Госатомэнергонадзора, член-корреспондент Академии наук Сидоренко, академик Легасов, замминистра Шашарин, зам начальника Союзатомэнерго Игнатенко.

Майорец напирает на академика Велихова:

— Евгений Павлович! Надо кому-то брать организационное руководство в свои руки. Здесь десятки министерств, Минэнерго не в состоянии объединять всех...

— Но Чернобыльская АЭС — ваша станция,— парирует Велихов,— вы и должны объединять.— Велихов бледен, в клетчатой рубашке, расстегнутой на волосатом животе. Утомленный вид, схватил уже около 50 рентген.— И вообще, Анатолий Иванович, нужно отдавать себе отчет в том, что произошло. Чернобыльский взрыв хуже Хиросимы. Там одна бомба, а здесь радиоактивных веществ выброшено в десять раз больше. И плюс еще полтонны плутония. Сегодня, Анатолий Иванович, надо считать людей, жизни считать...

Позднее я узнал, что фраза «считать жизни» приобрела в эти дни новый смысл: на вечерних и утренних заседаниях правительственной комиссии, когда речь заходила о той или иной частной задаче — собрать топливо и реакторный графит возле блока, пробраться в зону

высокой радиации и открыть или закрыть какую-либо задвижку,— председатель правительственной комиссии говорил: «На это надо положить две-три жизни... А на это — одну жизнь». Произносилось это просто, буднично.

У людей, руководивших ликвидацией чернобыльской аварии, были, конечно, ошибки, но им не откажешь в личном мужестве.

Я вышел из кабинета. Мне не терпелось скорее найти Брюханова... Сбылось то, от чего я предостерегал его пятнадцать лет назад в Припяти. Уже казалось, что он почти прав: Чернобыльская АЭС — лучшая в системе Минэнерго СССР, сверхплановые киловатты, скрываемые мелкие аварии, Доски почета, переходящие знамена. Ордена, ордена, ордена, слава... взрыв... Гнев душил меня.

В коротком полутемном пролете коридора, прислонившись к стене, стоял маленький, щупленький человек в белом хлопчатобумажном комбинезоне, без чепца; седые курчавые волосы, пудрено-бледное морщинистое лицо, выражение смущения, подавленности. Глаза красные, затравленные... Я прошел мимо, и тут меня ударило: «Брюханов!» Я обернулся:

— Виктор Петрович?

— Он самый,— сказал человек у стены знакомым глухим голосом.

Первое чувство, возникшее во мне, когда я узнал его, было чувство жалости и сострадания. Не знаю, куда подевались гнев и злость. Передо мною стоял жалкий, раздавленный человек. Мы долго молча смотрели в глаза друг другу.

— Вот так,— наконец сказал он и отвел глаза.

А мне, странно говорить, стыдно было в этот миг, что я оказался прав. Лучше бы уж я был не прав.

— Ты плохо выглядишь,— нелепо как-то сказал я. Именно нелепо. Ибо сотни, тысячи людей облучались сейчас фактически стараниями этого человека. И тем не менее я не мог говорить с ним иначе. — Сколько ты получил рентген?

— Сто — сто пятьдесят,— глухим, хрипловатым, таким знакомым голосом ответил стоящий в полутьме у стены человек.

— Где твоя семья?

— Не знаю. Кажется, в Полесском... Не знаю... Я никому не нужен... Болтаюсь, как дерьмо в проруби. Никому здесь не нужен...

— А где Фомин?

— Он свихнулся... Отпустили отдохнуть... В Полтаву...

— Как оцениваешь нынешнюю ситуацию здесь?

— Нет хозяина... Кто в лес, кто по дрова.

— Мне говорили, что ты просил у Щербины разрешения на эвакуацию Припяти двадцать шестого апреля утром. Это так?

— Да... Но мне сказали: не поднимать панику... Это была самая тяжелая и страшная ночь для меня...

— Для всех,— сказал я.— Что мы стоим здесь? Давай пройдем в какую-нибудь пустую комнату.

Опять глаза в глаза. Говорить было не о чем. Все и так ясно. Почему-то вспомнилось, по телевизору видел, на съезде камера несколько раз отыскивала в зале его лицо. Лицо человека, достигшего вершины признания. И еще... еще... Властное было лицо...

— Ты докладывал в Киев двадцать шестого апреля, что радиационная обстановка в пределах нормы?

— Да... Так показывали приборы... Кроме того, было шоковое состояние.

Я взял блокнот, чтобы записывать, но он остановил меня.

— Все здесь очень грязное. На столе миллионы распадов. Не пачкай руки и блокнот...

Заглянул Майорец, и Брюханов, видимо уже по привычке, с готовностью вскочил, забыв обо мне, и пошел к нему.

Мне представился незнакомый, тоже пудрено-бледный человек (при воздействии доз радиации до 100 рентген происходит спазм наружных капилляров кожи, и создается впечатление, что лицо припухло). Оказался начальником отдела атомной станции. Горько улыбаясь, сказал:

— Если бы не эксперимент с выбегом генератора, все было бы по-прежнему...

— Сколько вы схватили?

— Рентген сто. От щитовидки первые дни светило сто пятьдесят рентген. Сейчас уже распалось... Йод-131. Зря не дали людям взять нужные вещи. Многие сейчас очень мучаются. Можно было в полиэтиленовые мешки... — И вдруг сказал: — Я помню вас, вы работали у нас заместителем главного инженера на первом блоке.

— А я что-то запомнил... Где сейчас сидят ваши, эксплуатация?

— На втором этаже, в конференц-зале и в соседней комнате.

Пошел на второй этаж. Снаружи в воздухе хорошо светит, думал я, почему они не экранируют окна свинцом?.. В коридоре — в основном двери в кабинеты министров, академиков. А вот дверь без надписи. Открыл, заглянул. Продолговатая комната, окна полузашторены. За столом сидел седой человек. Узнал зампреда Совмина СССР Силаева. В прошлом — министр авиационной промышленности. Сменил здесь Щербину 4 мая. Зампред молча смотрит на меня. Глаза властно поблескивают. Молчит, ждет, что скажу.

— Окна надо экранировать листовым свинцом, — не называя себя, сказал я.

Он продолжал молчать, но лицо его мало-помалу стало приобретать жесткое выражение. Я закрыл дверь и прошел в конференц-зал...

Замечу, что экранировали окна свинцом значительно позже, 2 июня, при сменившем Силаева зампреде Совмина СССР Воронине, когда реактор выплюнул из-под наваленных на него мешков с песком и карбидом бора очередную порцию ядерной грязи.

На сцене конференц-зала за столом президиума сидели эксплуатационники и по нескольким телефонам поддерживали оперативную связь с бункером и блочными щитами управления первых трех блоков АЭС. У всех сидящих в «президиуме» лица виноватые, нет былой выправки и уверенности атомных операторов, характерных для времен успеха и славы.

В зале на стульях небольшими группками сидят люди. У окна вижу старого приятеля, начальника химцеха Ю. Ф. Семенова, он что-то обсуждает с незнакомым мне человеком в спецовке. Семенова я в 1972 году принимал на работу, он тогда очень рвался на Чернобыльскую АЭС. Специалист он толковый, много лет проработал на спецочистке радиоактивных вод.

— Здорово, старина! — оторвал я его от беседы.

— О-о! Рад видеть тебя. Вот видишь, в какие времена приехал...

— Приехал вот...

Семенов, тоже пудрено-бледный, за последние несколько лет сильно сдал. Смолисто-черные бакенбарды стали совсем белыми. Годы два назад он оформил пенсию по первому списку, собирался оставить цех.

— Ты же хотел уйти на чистую работу?

— Да-а... Хотел вот, но замешкался. А теперь куда уж... Теперь я здесь нужен.

— Жена, дочь где?

— Они в Мелекесе у бабушки. Вещи вот вывезти не удалось. Все, что нажито, все пропало. И дача и машина. Я только новую купил... В квартире у меня, вчера ездил туда, на всех вещах один рентген в час. Куда с этим денешься? Первый микрорайон, ему больше всего досталось от радиоактивного облака.

Возле окна — огромный мешок с футбольными камерами, белесоватыми от талька. Зачем их столько?

— Пробы воздуха берем, — объяснил один из операторов.

— Где?

— Да везде. И в Припяти, и в Чернобыле, и в тридцатикиллометровой зоне...

— Это что, вместо камер Туркина? (Камера Туркина — пластмассовая гармошка с клапаном, при растягивании которой внутрь забирается порция воздуха или газа для пробы.)

Оператор засмеялся:

— Где их возьмешь, камеры Туркина? А этого добра навалом...

— Как же вы накачиваете их? Насосом?

— Где насосом, а где и ртом. Велосипедных насосов тоже не напасешься. В нынешних условиях — страшный дефицит.

— Ртом надувать — неточный замер будет, — сказал я. — Вдохнул — и половина радиоактивных веществ в легких осталась. Легкие как фильтр действуют. При каждом вдохе-выдохе в легких идет накопление радиоактивной грязи.

— А что делать? — смеется оператор. — Мы уже на такие пустяки внимания не обращаем.

В бывшем кабинете первого секретаря знакомые и незнакомые люди в хлопчатобумажных комбинезонах, в торце стола безучастно сидит Брюханов. На столе фотографии разрушенного реактора, сделанные с вертолета, генплан промплощадки.

Брюханов тычет в одну из фотографий:

— Это бассейн выдержки отработавшего топлива. Битком забит кассетами. Воды в бассейне сейчас точно нет, испарилась. Кассеты разрушатся от остаточных тепловыделений...

— Разве их возьмешь оттуда? — сказал Игнатенко. — Захороним вместе с реактором...

Вошел высокий пожилой генерал в парадном мундире.

— Кто мне подскажет, товарищи? Я командую группой армейских дозиметристов. Никак не наладим контакт ни со строителями, ни с эксплуатацией, надо, чтобы кто-то координировал.

Ему советуют найти Капуна, это начальник службы дозиметрии АЭС.

У меня своя забота: нужна машина, чтобы проехать в Припять и к блоку. Игнатенко отказал: проси у Кизимы. Я спустился на первый этаж в диспетчерскую. У телефона дежурил заместитель начальника Главтехстроя Минэнерго СССР В. И. Павлов.

— У тебя машина есть? — спросил я. — Проскочить в штаб Кизимы.

— Нет, к сожалению. Здесь каждый со своей тачкой. Тысяча хозяев, черт ногу сломит. Садовский куда-то уехал на своем «жигуле»...

— Ладно, пойду пешком. Будь здоров.

От политого десорбирующими растворами асфальта поднимаются испарения. Тошнотворно-приторный запах. Иду вдоль улицы вверх. Тихо. И листва какая-то притихшая, вроде заторможенная. Еще не мертвая, но неестественная, будто листья покрыли воском, законсервировали, и они застыли и прислушиваются, принимают к ионизированному газу. Ведь от воздуха светит до 20 миллирентген в час... Но еще живы деревья, еще находят в этой плазме что-то свое, нужное для жизни. Вот и вишни и яблони в буйном цветении. В отдельных местах уже есть завязь. Но все, и цветы и завязь, копят теперь активность.

У плетня покинутого подворья девушка лет двадцати в белом х/б комбинезоне обламывает ветви цветущей вишни. Окунула в букет лицо.

— Девушка, цветы грязные.

— Да ну вас, — отмахнулась она и вновь принялась ломать ветви.

Я тоже сломал несколько усыпанных белыми цветами веток. Двинул с букетом к Кизиме.

Штаб Кизимы находится в бывшем здании ПТУ. Полно народу. Стоят, сидят на лавочках, ходят туда-сюда по делу и без дела. Подъезжающие и отъезжающие машины поднимают долго не оседающие облака пыли. Респираторы у большинства людей висят на шее. Некоторые, когда поднимается пыль, натягивают их на нос. Метрах в тридцати от ПТУ на хоздворе — вышедшие из строя радиоактивные бетоновозы, миксеры, самосвалы. У крыльца ПТУ густая липа. Птиц не слышно. В лучах припекающего солнца упруго звенит большая синяя муха. Не вся живность исчезла. Мухи есть. И не только большие синие, но и обычные домашние. Много мух внутри здания. По запаху, ударившему в нос, становится ясно, что санузелы здесь работают плохо. У входной двери дозиметрист измеряет активность спецовки на невысоком, в защитного цвета комбинезоне рабочем. Лицо у рабочего буро-коричневое (ядерный загар), он возбужден.

— Где был?— спросил дозиметрист, приставляя датчик к щитовидной железе.

— У завала... Еще в транспортном коридоре...

— Больше не ходи туда... Хватит с тебя...

— Сколько взял?

— Говорят, больше не ходи туда,— сказал дозиметрист и отошел в сторону. Я попросил его измерить активность букета цветов.

— Двадцать рентген в час. Выбросьте его подальше...

Забросил букет на хоздвор, к радиоактивным машинам.

Из кабинета Кизимы вышло несколько человек. Возбуждены. Кизима один, откупоривает банку манго. На щеках паутина волокон ткани Петрянова от респиратора «лепесток».

— Привет, Василий Трофимович!

— А-а, привет москвичам!— безрадостно отвечает он. Кивает на банку: — Витаминов целый комплекс. От радиации помогает. — Жадно пьет, судорожно дергается кадык.

Телефонный звонок. Кизима взял трубку.

— Да! Кизима... Слушаю, Анатолий Иванович... Министр,— шепнул мне, прикрыв микрофон рукой. — Да, да, слушаю. Взять карандаш и бумагу? Взял. Рисую наклонную линию под сорок пять градусов, так... Теперь вертикальную... Есть... Теперь горизонтальную. Нарисовал... Получился прямоугольный треугольник. Все? — Он еще некоторое время слушал, потом положил трубку. — Вот, понимаешь, работаю как прораб. Министр Майорец — как старший прораб, а товарищ Силаев, зампред Совмина СССР,— как начальник стройки. Полный бардак. Вот, пожалуйста, звонок министра. Передал мне рисунок по телефону. Треугольник... — Кизима повернул ко мне листок. — Это завал возле блока. Говорит, на него качай цементный раствор. Будто я первоклашка и ничего не знаю. А я этот завал пешком обошел двадцать шестого апреля утром. А потом еще несколько раз. И сейчас только что оттуда... А он мне, понимаешь, рисуй треугольник. Ну, нарисовал, а дальше что? Мне, честно говоря, они не нужны — ни министры, ни зампреда. Здесь стройка, пусть радиационно опасная, но стройка. Я начальник стройки. Мне достаточно Велихова научным консультантом, военные должны организовать комендатуру и обеспечить порядок. И людей, конечно. Люди-то разбежались. Имею в виду штатный состав стройки. Да и дирекция. У них уехали без документов и выходного пособия более трех тысяч. На двадцать пять человек один дозиметр, и тот неисправный. Но даже неисправный действует магически. Люди доверяют этой железке. А без нее не идут на облучение. Вот у тебя дозиметр... Отдай его мне. С ним пошлю еще двадцать пять человек.

— Вернусь из Припяти — отдам,— пообещал я Кизиме.

Вошел прораб.

— Василий Трофимович, нужны водители на смену. Мы сжигаем людей. Эта смена уже выбрала норму. Почти у всех двадцать пять бэр и больше. Люди плохо себя чувствуют.

— А что Яковенко?— спросил я. — Три дня назад его диспетчер звонил в Москву, жаловался, что трест не может справиться с прикомандированными шоферами, бездельничают, пьют водку, негде расселять, нечем кормить...

— Да что ж он врет! Мне позарез нужны люди!

— Жжет грудь, кашель, болит голова,— пожаловался Кизима.

— Почему не экранируешь свинцом окна, кабины автомашин? Это уменьшит облучаемость.

— Свинец вреден,— убежденно говорит Кизима. — Настораживает людей и сдерживает работы.

Связались с Москвой. Срочно командировать водителей на смену облученным. Яковенко сказал, что завтра утром двадцать пять человек придут в Чернобыль для подмены. Прораб, обнадеженный, ушел. И тут же — стук в дверь. Молодой генерал-майор и с ним еще три офицера — полковник и два подполковника.

— Подразделение прибыло для охраны пруда-охладителя. Чтобы не было диверсии: могут взорвать плотину, и вся грязная вода уйдет в Припять и Днепр... Выставляю по всему периметру дамбы посты, но необходимы укрытия, защищающие часовых от облучения.

— Предлагаю лотки,— сказал Кизима. — Есть у нас тут железобетонные лотки длиной два метра каждый. Поставить на попа под углом, и будка готова. Давать команду?

Звонок. Кизима снял трубку.

— Так... Так... А что говорит Велихов? Думает?.. Пусть думает. Прекратите пока подачу смеси на завал. — Положил трубку. — Гейзеры из жидкого бетона начали бить. На топливо в завале как попадет жидкость, начинается то ли разгон атомный, то ли просто нарушение теплообмена и рост температуры. Резко ухудшается радиационная обстановка.

— Мне бы надо, Василий Трофимович,— сказал я,— проскочить к аварийному блоку. Машину можешь дать на часок-другой?

— С машинами дело дрянь... Ладно. Здесь один начальник уехал на денек в Киев. Возьми его «Ниву». У нее два ведущих моста, может сгодиться. Прихвати у дозиметристов радиометр. На часок-другой одолжат. — Кизима назвал номер машины. — Шофера зовут Володя.

— Не робкий?

— Парень боевой. Недавно из армии.

К счастью, у Володи оказался спецпропуск в Припять. Через десять минут мы уже выскочили на автостраду в сторону Чернобыльской АЭС. Сотни раз ездил я по этой дороге в 70-е годы и позже, когда работал уже в Москве. Восемнадцатикилометровая лента асфальта на перегоне от Чернобыля до Припяти окантована метровой ширины розовым бетоном. Это защитные полосы, чтобы не обламывался с боков асфальт. Мы радовались в свое время, что только у нас такая дорога и что меньше средств придется тратить на ремонт дорожного полотна. Но теперь...

— А если возле четвертого блока заглохнет мотор? — с подначкой спросил Володя. — У нас уже случалось такое, правда, не около блока, а в Припяти... Там не так печет...

— Заведешь, если заглохнет,— сказал я. — По какой специальности служил?

— На «УАЗе-469» возил командира полка. А вот и дозиметрический пост. Солдаты химвойск, смотрите.

На обочине дороги стояла большая зеленая машина-цистерна с навесными приспособлениями: насосы, приборы, шланги. Со стороны

Припяти подъехал «Москвич», его остановили, измерили датчиком колеса, днище, кузов сверху. Пассажиров и водителя попросили выйти. Машину стали мыть десорбирующими растворами. Солдаты в респираторах и матерчатых шлемах, плотно облегающих голову, уши, спадающих шалькой на плечи. Один из солдат с радиометром на груди и длинной палкой-датчиком сделал нам отмашку рукой. Мы остановились. Он проверил спецпропуск, приклеенный Володей к лобовому стеклу. Все в порядке. «Обнюхал» датчиком нашу «Ниву» — фон.

— Можете ехать, но учтите — там машину испачкаете. Вон на «Москвиче» три рентгена в час. И не отмывается. Не жалко машину?

— У нас радиометр, — показал я на прибор, — будем осторожны.

Солдат посмотрел на меня впитывающими синими глазами: мол, меня не обведешь, дядя, — и, с силой захлопнув дверцу, разрешающе махнул рукой.

Володя поддал газку. «Нива» летела со свистом. Я приопустил стекло и высунул датчик. Интересно было узнать, как нарастает активность с приближением к Припяти.

Справа и впереди за убегающими вдаль радиоактивными зелеными хорошо был виден белоснежный в лучах майского солнца комплекс Чернобыльской АЭС, ажурное кружево мачт объединенного распродурейства в 330 и 750 киловольт. Я знал уже, что на площадку ОРУ-750 взрывом закинуло куски топлива и оттуда здорово сифонит...

На фоне всей этой шикарной белизны и ажурности болью в душе отдавался страшный черный развал четвертого энергоблока.

Стрелка радиометра вначале показала 100 миллирентген в час; а затем уверенно поползла вправо — 200, 300, 500... И вдруг — рывок на зашкал. Я переключил диапазоны. 20 рентген в час. Что это? Скорее всего рентгеновый ветерок со стороны аварийного блока. Через пару километров стрелка радиометра снова упала, на этот раз на 700 миллирентген в час.

Вдали показался хорошо различимый, давно знакомый дорожный указатель «Чернобыльская АЭС имени Ленина» с бетонным факелом. Далее — указательный бетонный знак: «Припять, 1970 год».

— Давай, Володя, сначала в Припять.

Володя взял левее, поддал газку, и вскоре мы влетели на путепровод. Перед глазами открылся белоснежный в лучах солнца город. На путепроводе стрелка радиометра снова рванула вправо. Я стал переключать диапазоны.

— Быстрее проскакивай это место. Тут прошло облако взрыва. Натрясло здесь... Быстреей...

На большой скорости мы проскочили горб путепровода и стремглав влетели в раскинувшийся перед нами мертвый город. Сразу бросилось в глаза и больно ударило: трупы кошек и собак, всюду — на дорогах, во дворах, в скверах — белые, рыжие, черные, пятнистые трупы расстрелянных животных. Зловещие следы покинутости и необратимости несчастья...

— Езжай по улице Ленина, — попросил я Володю.

Строительный номер дома, где я жил, когда работал здесь, девятый, помню до сих пор. Странно выглядел город. Будто раннее-раннее утро. Все спят мертвым, беспробудным сном. Утварь и бельё на балконах. Блики солнца в окнах, похожие на бельма, а вот случайно раскрытое окно и, как мертвый язык, выпавшая наружу занавеска, увядшие цветы на подоконниках...

— Стоп, Володя, вот здесь направо. Сбавляй скорость... — Стрелка радиометра ползала туда-сюда от 1 рентгена до 700 миллирентген в час. — Езжай медленно, — попросил я. — Вот мой дом... Здесь я жил на втором этаже. Ишь как разрослась рябина. Вся в радиоактивном цвету. При мне до второго этажа не дотягивала, а теперь аж до четвертого дотянулась.

Пусто. Плотно зашторенные окна. Чувствуется, что за этими шторами нет жизни, они как-то удручающе неподвижны. Вон велосипеды на балконе, какие-то ящики, старый холодильник, лыжи с красными палками. Все пусто, глухо, мертво.

На узкой бетонной дороге внутреннего дворика поперек — труп огромного черного, в белых яблоках дога.

— Останови, замерю, сколько набрала шерсть.

Володя заехал левыми колесами на клумбу и остановился. Зелень цветов от радиации почернела, цветы пожухли. Активность грунта и бетона дороги — 60 рентген в час.

— Смотрите, смотрите! — вскрикнул Володя, показывая рукой.

По узкому проулочку от школы вдоль стены длинного пятиэтажного дома в нашу сторону бежали две большие тощие свиньи. Они подскочили к машине, взвизгивая, ошалело тыкали мордами в колеса, в радиатор. Затравленными красными глазами поглядывали на нас, поводили рылами вверх, к нам, словно прося чего-то. Движения какие-то несогласованные, раскоординированные. Их шатало. Я подсунул датчик к боку борова — 50 рентген в час. Боров пытался было ханпнуть зубами датчик, но я успел отдернуть. Тогда голодные радиоактивные свиньи принялись пожирать дога. Они довольно легко отрывали из бока уже разложившегося трупа большие куски, раздвигая труп и протаскивая его туда-сюда по бетону. Из провалившихся глаз и ощеренной пасти поднялась стая растревоженных синих мух.

— Давай назад, Володя. На тепловод и к разрушенному блоку.

— А если заглохнет мотор?

— Заглохнет — заведешь. Поехали.

Вырулив на улицу Ленина, он спросил:

— Едем по встречной полосе? Или как?.. Наша сторона вон там. Объезжать сквер?

— Не надо.

— Как-то неудобно. Вроде нарушаем правила уличного движения. — Володя горестно усмехнулся, и мы помчали не по своей стороне мимо трупов собак и кошек к аварийному энергоблоку.

Тепловод проскочили на полной скорости. Снова стрелка радиометра рванула на несколько диапазонов и опять упала. Справа открылась ужасающая картина разрушенного энергоблока. Весь разлом и завал имели цвет черных обгорелостей. Над полом бывшего центрального зала, где реактор, вверх струились волнистые потоки восходящего, ионизированного радиацией газа. Как-то необычно ново и зловеще в этой разрухе и черноте поблескивали на солнце сорванные с мертвых опор и сдвинутые в сторону барабаны-сепараторы.

До блока метров четыреста.

— Включай передний мост, — сказал я Володе. — Может потребоваться повышенная проходимость.

Но что это?.. Внутри ограды рядом с разрушенным блоком и вплотную к завалу ходят солдаты, что-то собирают.

— Поворачивай направо. Вот здесь... дальше... Поезжай за здание ХЖТО и остановись вплотную к ограждению.

— Зажарит нас, — сказал Володя, прицельно глянув на меня. Лицо у него красное, напряженное. Мы оба в респираторах.

— Останови здесь. О-о! Да там офицеры тоже... И генерал...

— Генерал-полковник, — уточнил Володя.

— Это, наверное, Пикалов...

Солдаты и офицеры собирали топливо и графит руками. Ходили с ведрами и собирали. Ссыпали в контейнеры. Графит валялся и за изгородью рядом с нашей машиной. Я открыл дверь, подсунул датчик радиометра почти вплотную к графитовому блоку. 2 тысячи рентген в час. Закрыв дверь. Пахнет озоном, гарью, пылью и еще чем-то. Может быть, жареной человечинной... Солдаты, набрав полное ведро, как-то, мне казалось, неспешно шли к металлическим ящикам-контейнерам и

высыпали туда содержимое ведер. Милые мои, подумал я, какой страшный урожай собираете вы... Урожай минувшего двадцатилетия... Но где же? Где миллионы рублей, отпущенных государством на разработку робототехники и манипуляторов? Где? Украли? Пустили по ветру? Лица солдат и офицеров темно-бурые: ядерный загар. Синоптики обещают ливневые дожди, и чтобы активность не смыло дождями в грунт, вместо роботов, которых нет, пошли люди. Позже, узнав об этом, академик Александров возмущался: «На Чернобыле не жалеют людей. Это все падет на меня...» А ведь не возмущался, когда выдвинул на Украину взрывоопасный РБМК...

Вдали видны навалы песка. Минтрансстроевцы роют захватки под реактором. Пробили уже два тоннеля. Потом эстафету у них возьмут угольщики.

— Под бетонную подушку роют, — сказал Володя. — Говорят, бутылка водки под реактором стоит сто пятьдесят рублей... Для дезактивации...

— Поехали! — приказал я Володе. — Вон, видишь, впереди дорога, вдоль подводящего канала. По ней свернешь налево.

Володя вырулил на дорогу. Поехали мимо ОРУ-750. Стрелка радиометра подскочила до 400 рентген в час. Ясное дело — сюда забросило взрывом топливо. Метров через двести, напротив ОРУ-330, стрелка упала до 40. И вдруг... Ч-черт! Непредвиденное. Дорога завалена, перегорожена железобетонными блоками. Проезда нет. А рентгены бегут, как время. Левее асфальта железная дорога.

— А ну, Володя, покажи, на что способен. Сворачивай на железную дорогу и метров пятьдесят по полотну вон на ту бетонку, что ведет к АБК-1. Вперед!

«Нива» не подвела. И Володя оказался на высоте.

Возле АБК-1 несколько бронетранспортеров. На площади — строй солдат. Офицер перед строем ругает подчиненных за то, что они нарушают правила радиационной безопасности: сидят на земле, курят, раздеваются по поясу, чтобы загореть, пьют водку и прочее. У офицера и солдат респираторы не надеты, висят на шее. Безграмотность от плохо поставленного обучения... Ведь от этих молодых парней пойдет потомство. Даже один рентген в год дает пятидесятипроцентную вероятность мутации...

— Побудь, Володя, тут, я быстро... Смотри не уезжай, а то я застряну здесь.

Захватив радиометр, побежал в бункер. Там чисто. Даже фона нет. Но душно. Полно народу. Как в бомбоубежище во время войны. Столы, кровати по бокам для отдыха персонала. Вон группа отдыхающих дуется в козла. Слышен стук костяшек. Здесь же дежурные дозиметристы, возле телефонов — операторы, у которых связь с БЩУ и со штабом в Чернобыле. На стене карта радиационных замеров по промплощадке. Но мне не нужна, замерил сам. Поднялся на второй этаж АБК. Тишина, пустота. По переходной галерее прошел на десятую отметку деаэрационной этажерки... Теперь — быстро вперед! Моя цель — блочный щит управления четвертого энергоблока. Я должен увидеть то место, где была нажата роковая кнопка взрыва, посмотреть, на какой высоте застряли стрелки указателей положения поглощающих стержней, измерить активность на БЩУ и рядом, понять, в какой обстановке работали операторы...

Быстрым шагом, почти бегом пошел по длинному коридору в сторону четвертого блока. До БЩУ-4 примерно шестьсот метров. Быстрее...

На радиометре — рентген в час. Стрелка медленно ползет вправо. Миновал БЩУ-1 и БЩУ-2. Двери открыты. Видны фигуры операторов. Расхалаживают реакторы. Вернее, поддерживают реакторы в режиме расхалаживания. Третий блок. Ему уже досталось от взрыва. Активность — 2 рентгена в час. Иду дальше. Металлический привкус во рту,

Ощущаются сквозняки, пахнет озоном, гарью. На пластикатовом полу осколки выбитых взрывом стекол. Активность — 5 рентген в час. Провал возле помещения комплекса «Скала» — 7 рентген. Вот щитовая КРБ второй очереди — 10 рентген. Ощущение, что иду по коридорам и каютам затонувшего корабля. Справа двери в лестнично-лифтовой блок, дальше — в резервную пультовую. Слева дверь в БЦУ-4. Здесь работали люди, которые сейчас умирают в 6-й клинике Москвы. Вхожу в помещение резервного пульта управления, окна которого выхлещены на завал, — 500 рентген в час. Стекла выбиты взрывом, хрустят и взвизгивают под каблуками. Назад! Вхожу в помещение БЦУ-4. У входной двери 15 рентген, у рабочего места СИУРа (умирающего сейчас Леонида Топтунова) 10 рентген. На сельсинах-указателях поглощающих стержней стрелки застыли на высоте двух—двух с половиной метров. При движении вправо активность растет: 50—70 рентген в час. Выскакиваю из помещения и бегом в сторону первого энергоблока. Быстро!..

Вот оно — настало невыносимое. Мирный атом во всей своей первозданной красе и устрашающей мощи...

Волodyа на месте. Солнце, голубое небо, жара градусов тридцать. Строй посреди площади давно распался, солдаты сидят на бронетранспортерах. Курят. Двое разделены до пояса, загорают. Молодость не верит в смерть. Молодые бессмертны. Здесь это так наглядно. Не выдержал, кричу:

— Парни, хватаете лишние бэры! Вас же инструктировали только что!

Белобрысы солдат улыбаются, привстав на броне.

— А мы что, мы ничего. Загораем...

— Поехали!

К вечеру 9 мая примерно в 20 часов 30 минут прогорела часть графита в реакторе, под сброшенным грузом образовалась пустота, и вся махина из пяти тысяч тонн песка, глины и карбида бора рухнула вниз, выбросив из-под себя огромное количество ядерного пепла. Резко возросла активность на станции, в Припяти — в тридцатикилометровой зоне. Рост активности ощущался даже за шестьдесят километров в Иванкове и в других местах.

В наступившей уже темноте с трудом подняли вертолет и замерили активность.

Пепел лег на Припять и окружающие поля.

16 мая я улетел в Москву.

Свидетельствует Ю. Н. Филимонцев, заместитель начальника главного научно-технического управления Минэнерго СССР:

«Ездили после Чернобыля на Игналинскую АЭС. Там в свете чернобыльской аварии проверили физику и конструкцию реактора типа РБМК. Сумма положительных коэффициентов реактивности еще большая, чем в Чернобыле, во всяком случае не меньше. Паровой коэффициент выше двух бета. Ничего не предпринимают. Спросил: почему не пишете по инстанции? Ответили: а что толку?»

Тем не менее выводы комиссии о реконструкции всех реакторов типа РБМК в сторону повышения безопасности неукоснительно приняты к исполнению. В правительство представлено несколько актов расследования. В том числе Минэнерго СССР, правительственной комиссии и Минсредмаша. Все внешние организации сделали выводы против Минэнерго: виновата эксплуатация, а реактор здесь ни при чем. Минэнерго же, наоборот, представило более взвешенные и сбалансированные выводы, указав и на вину эксплуатации и на порочную конструкцию реактора.

Щербина собрал все комиссии и потребовал согласованного заключения для представления в Политбюро ЦК КПСС».

...Думаю о десятках погибших, имена которых мы знаем, и о многих нерожденных, о прерванных жизнях, имен которых мы никогда не узнаем, ибо они погибли из-за прекращения беременности у женщин, облученных в Припяти 26 и 27 апреля.

К 17 мая 1986 года ВОХР Минэнерго СССР похоронил с воинскими почестями на Митинском кладбище четырнадцать человек, пострадавших 26 апреля на аварийном блоке и умерших в 6-й клинической больнице Москвы. Это эксплуатационники и пожарники. Борьба врачей за жизнь остальных тяжелых и менее тяжелых больных продолжалась. Работники аппарата Минэнерго СССР дежурили в клинике, помогая медперсоналу.

В начале 70-х годов я дежал здесь на девятом этаже в отделении профессора И. С. Глазунова. Тогда еще не было здания пристройки слева. Отделение битком было забито больными лучевой болезнью. Были и очень тяжелые случаи.

Запомнился Дима, парень лет тридцати. Подвергся облучению, находясь в полуметре от источника. Стоял к нему спиной и чуть правым боком. Пучок лучей шел снизу. Максимум воздействия пришелся на голени, стопы, промежность, ягодицы. Увидел не саму вспышку, а ее отражение на противоположной стене и потолке. Поняв, в чем дело, побежал выключать что-то. Находился в аварийных условиях три минуты. К случившемуся отнесся очень трезво. Вычислил приблизительно дозу, им полученную. В клинику поступил через час после аварии.

Температура — тридцать девять, озноб, тошнота, возбужден, глаза блестят. Говорит жестикулируя, немного по-шутовски представляя случившееся. Однако очень связно и логично. Немного не по себе всем от его шуток. Контактен, тактичен, терпелив.

Через сутки после аварии у больного из четырех точек (грудина, подвздошные кости, обе спереди и слева сзади) взяли костный мозг. Средняя интегральная доза на весь организм — 400 рад. На четвертые-пятые сутки — поражение слизистой рта, пищевода, желудка. Во рту, на языке, щеках — язвы, слизистая отходила пластами, пропал сон, аппетит. Температура тридцать восемь—тридцать девять, возбужден, глаза блестят, как у наркомана. На шестые сутки — поражение кожи правой голени, отек, чувство распирания в ней, одеревенение, морфинные боли.

На шестые сутки перелито около четырнадцати миллиардов клеток костного мозга. Больного перевели в стерильную кварцующуюся палату. Начался период кишечного синдрома. Стул двадцать пять—тридцать раз в сутки с кровью и слизью. Тенезмы, урчания и переливания в области слепой кишки. В связи с тяжелым поражением рта и пищевода шесть дней пищу через рот не получал, чтобы не травмировать слизистую. Внутривенно переливались питательные смеси.

В это же время на промежности и ягодицах появились вялые болезненные пузыри. Голень правой ноги сине-багровая, отечная, блестящая, гладкая на ощупь. С четырнадцатых суток начался эпиляция (выпадение волос), причем очень странно. Выпали все волосы справа — и на голове и на теле. Дима сам про себя говорил, что он как беглый каторжник. Своеобразный юмор висельника, однако он очень здорово подбадривал остальных двоих, облучившихся вместе с ним.

Они совсем раскисли, хотя течение болезни у них было безусловно более легким. Дима писал им юмористические записки в стихах, но иногда срывался и круто переходил в депрессию. Очень долго его раздражали громкие разговоры, музыка, шум каблуков. Однажды наорал на врачиху, что от стука ее каблуков у него понос начинается. Рождественников к нему до трех недель не допускали.

С сороковых суток состояние его улучшилось, а на восемьдесят вторые сутки Диму выписали. Осталась глубокая трофическая язва (незаживающая) на правой голени. Сильно хромотает. Стоял вопрос об ампутации правой ноги по колено...

Второй больной — Сергей, двадцати девяти лет. Поступил из НИИ, где манипулировал с радиоактивными веществами в горячей камере. Из-за слишком близкого сведения кусков вещества произошел ядерный всплеск.

Несмотря на сразу же начавшуюся рвоту, рассчитал ориентировочную дозу — 10 тысяч рад. Через полчаса потерял сознание. Доставили на самолете в крайне тяжелом состоянии. Температура сорок, отек лица, шеи, верхних конечностей. У него были такие руки, что измерить давление обычной манжетой не удавалось, сестрам приходилось надавливать. Очень терпеливо перенес трепанбиопсию и пункцию костного мозга. Находился в сознании. Через пятьдесят четыре часа после аварии резко упало артериальное давление — до нуля. Через пятьдесят семь часов Сергей скончался от острой дистрофии миокарда...

Лечащий врач, с которым я подружился, сказал мне: «Это, по существу, была смерть под лучом от непосредственного воздействия ионизирующей радиации. Спасти таких больных невозможно: ткань сердца просто ползет, рассеянная радиацией...»

Третий, Николай, тридцати шести лет, прожил пятьдесят восемь суток. Это были сплошные мучения: тяжелейшие ожоги (кожа сходила пластами), пневмония, агранулоцитоз. Кроме того, у него был тяжелейший панкреатит, он сильно кричал от болей в поджелудочной железе. Наркотики не помогали. Успокаивался лишь после наркоза закисью азота.

Была ранняя весна. Кажется, апрель. Как и сейчас в Чернобыле. Светило солнце, и в больнице было очень тихо. Я заглянул к Николаю. Он лежал один в стерильной палате. Рядом с кроватью стоял столик со стерильными хирургическими инструментами, на другом столике мази симбезон, Вишневского, фурацилин, настойка прополиса, облепиховое масло, стерильный корнцанг с намотанной на него марлевой. Все это для обработки обожженной кожи.

Он лежал на высокой наклонной кровати. Над кроватью — каркас из железных прутьев, на нем мощные лампы, чтобы не было холодно, потому что Николай лежал совсем голый. Кожа от облепихового масла стала желтоватой...

Но что это?.. Николай... Владимир Правик... Как все поразительно страшно повторилось!.. Пятнадцать лет спустя — такая же палата, та же наклонная койка с каркасом, греющие лампы, по графику включющийся кварц...

Владимир Правик голый лежит на наклонном ложе под железным каркасом с лампами. Вся поверхность тела обожжена, трудно разобрать, где огнем, где радиацией, все слилось. Чудовищные отеки снаружи и внутри. Распухли губы, полость рта, язык, пищевод... Ядерная боль особенная, она нестерпима и беспощадна, доводит до шока и потери сознания. Все тело героя-пожарника переполнила ядерная боль. Раньше кололи морфий и другие наркотики, которые на время купировали болевой синдром. Правик и его товарищам сделали внутривенную пересадку костного мозга. Внутривенно же влили экстракт печени многих эмбрионов для стимулирования кроветворения. Но смерть не отступала... Все уже было у него: и агранулоцитоз, и кишечный синдром, и эпиляция (выпадение волос), и стоматиты с тяжкими отеками и отслоениями слизистой рта... Но Владимир Правик стойчески переносил боль и муки. Этот славянский богатырь выжил бы, победил бы смерть, если бы только кожа не была убита на всю ее глубину.

И казалось, что в таком состоянии не до мирских радостей и горя, не до судеб своих товарищей. Сам ведь на краю гибели. Но нет! Пока

мог еще говорить, Владимир Правик пытался узнать через сестер и врачей, что с его друзьями, как они, живы ли, продолжают ли еще борьбу, теперь уже со смертью. Он хотел, чтобы они боролись, чтобы их мужество помогло и ему. И когда каким-то непостижимым образом все же доносились вести: умер... умер... умер... — как само дуновение гибели, — врачи говорили больным, что это не у нас, что это где-то в другом месте, в другой больнице... То была ложь во спасение.

И вот настал такой день, когда стало ясно: сделано все, что способна была сделать современная радиационная медицина. Все методы рискованной и обычной терапии применены для борьбы с острой лучевой болезнью, но тщетно. Даже новейшие факторы роста, стимулирующие размножение клеток крови, не помогли. Потому что нужна была еще живая кожа. А ее у Правика не было ни кусочка. Она вся была убита радиацией. Радиацией были убиты и слюнные железы. Рот пересох, как земля в засуху. Правик не мог говорить, только смотрел, мигал еще веками без ресниц, которые выпали, смотрел, и в глазах порою вспыхивало жгучее нежелание подчиниться смерти. Потом внутренние силы сопротивления стали ослабевать и постепенно иссякли. Началось умирание, исчезновение плоти на глазах. Он стал таять, сохнуть, исчезать. Это мумифицировались убитые радиацией кожа и ткани тела. Человек с каждым часом, с каждым днем уменьшался, уменьшался.

Умершие — почерневшие, высохшие мумии — стали легкими, как дети...

Свидетельствует В. Г. Смагин:

«В Москве в 6-й клинике на «Щукинской» поместили сначала на четвертом, а потом на шестом этаже. Более тяжелых, пожарников и эксплуатационников, — на восьмом. Среди них пожарники Ващук, Игнатенко, Правик, Кибенок, Титенок, Тищура; операторы Акимов, Топтунов, Перевозченко, Бражник, Проскуряков, Кудрявцев, Перчук, Вершинин, Кургуз, Новик...

Лежали в отдельных стерильных палатах, которые кварцевались несколько раз в сутки по графику. Физраствор, который всем нам вливали в вену в припятской медсанчасти, на многих подействовал ободряюще, снял интоксикацию, вызванную облучением. Лучше себя чувствовали больные с дозами до 400 рад. Остальным было лишь чуть легче, их мучили сильные боли в облученной и обожженной огнем и паром коже. Боль в коже и внутри изматывала, убивала...

Первые два дня, 28 и 29 апреля, Саша Акимов приходил в нашу палату, темно-коричневый от ядерного загара, сильно подавленный. Говорил одно и то же, что не понимает, почему взорвалось. Ведь все шло отлично, и до нажатия кнопки АЗ ни один параметр не имел отклонений. Это меня мучает больше, чем боль, сказал он мне 29 апреля, уходя навсегда».

Свидетельствует Л. Н. Акимова:

«Возле Саши дежурили его родители и брат. Они с Сашей близнецы. Брат отдал ему для переливания свой костный мозг. Пока мог говорить, он все время повторял отцу и матери, что все делал правильно. Это его мучило до самой кончины. Сказал также, что к персоналу своей смены претензий не имеет. Они все выполнили свой долг.

Я была у мужа за день до смерти. Он уже не мог говорить. Но в глазах была боль. Я знаю, он думал о той проклятой ночи, проигрывал все в себе снова и снова и не мог признать себя виновным. Он получил дозу 1500 рентген, а может быть, и больше и был обречен. Он все более чернел и в день смерти лежал черный, как негр. Он весь обуглился. Умер с открытыми глазами...»

Свидетельствует В. А. Казаров, заместитель начальника ВПО Союзатомэнерго:

«Я посещал Славу Бражника 4 мая 1986 года. Молодой парень тридцати лет. Попытался расспросить его, что произошло. Ведь никто тогда в Москве толком ничего не знал. Бражник лежал весь отекий, темно-бурый. Через силу сказал, что все тело страшно болит, слабость.

Сказал, что вначале проломило кровлю и на нулевую отметку машзала упал кусок железобетонной плиты, разбил маслопровод. Масло загорелось. Пока он тушил и ставил пластырь, упал еще кусок и разбил задвижку на питательном насосе. Отключили этот насос, отсекли петлю. В пролом крыши полетел черный пепел... Ему было очень тяжело, и я не стал его больше расспрашивать. Все просил пить. Я дал ему боржоми.

«Боль, все болит... Страшно болит...»

Я, говорит, не знал, что может быть такая страшная боль...»

Свидетельствует В. Г. Смагин:

«Я был у Проскуракова за два дня до его смерти. Он лежал на наклонной койке. Чудовищно распухший рот. Лицо без кожи. Голый. Грудь в пластырях. Над ним греющие лампы. Он все просил пить. У меня был с собой сок манго. Я спросил, хочет ли он соку. Он сказал, что да, очень хочет. Надоела, говорит, минеральная вода. На тумбочке у него стояла бутылка боржоми. Я напоил его соком из стакана. Оставил банку с соком у него на тумбочке и попросил сестру поить его. В Москве у него родственников не было. И к нему почему-то никто не приехал...»

Возле СИУРа Лени Топтунова дежурил его отец. Он же отдал сыну для пересадки свой костный мозг. Но это не помогло. День и ночь проводил у кровати сына, переворачивал его. Тот был весь загорелый до черноты. Только спина светлая. Он везде был с Сашей Акимовым, был его тенью. И сгорели они одинаково и почти в одно время. Акимов умер 11 мая, а Топтунов — 14-го. Они погибли первыми из операторов.

Многие, кто уже считался выздоравливающими, вдруг умирали. Так умер внезапно на тридцать пятые сутки заместитель главного инженера по эксплуатации первой очереди Анатолий Ситников. Ему дважды переливали костный мозг, но была несовместимость, он отторгал его.

В курилке 6-й клиники собирались каждый день выздоравливающие, и всех мучило одно: почему взрыв? Думали-гадали. Предполагали, что гремучка могла собраться в сливном коллекторе охлаждающей воды СУЗ. Мог произойти хлопок, и регулирующие стержни выстрелило из реактора. В результате — разгон на мгновенных нейтронах. Думали также о «концевом» эффекте поглощающих стержней. Если парообразование и «концевой» эффект совпали — тоже разгон и взрыв. Где-то все постепенно сошлось на мысли о выбросе мощности. Но уверены до конца, конечно, не были...»

Свидетельствует А. М. Ходаковский, заместитель генерального директора производственного объединения Атомэнергоремонт:

«Я руководил по поручению руководства Минэнерго СССР похоронами погибших от чернобыльской радиации. По состоянию на десятое июля 1986 года схоронили двадцать восемь человек.

Многие трупы очень радиоактивны. Ни я, ни работники морга вначале этого не знали, потом случайно замерили — большая активность. Стали надевать пропитанные свинцовыми солями костюмы.

Санэпидстанция, узнав, что трупы радиоактивны, потребовала делать на дне могил бетонные подушки, как под атомным реактором, чтобы радиоактивные соки из трупов не уходили в грунтовые воды.

Это было невозможно, кощунственно. Долго спорили с ними. Наконец договорились, что сильно радиоактивные трупы будем запаивать в цинковые гробы. Так и поступили.

В 6-й клинике через шестьдесят дней после взрыва долечивается по состоянию на июль 1986 года еще девятнадцать человек. У одного вдруг на шестидесятые сутки пошли на теле ожоговые пятна при общем неплохом состоянии. Вот как у меня.— Ходаковский задрал рубаху и показал на животе темно-коричневые пятна неопределенной формы.— Это тоже ожоговые пятна от работы с радиоактивными трупами...»

Тут я хочу остановиться и привести выдержки из статьи американского ученого-атомщика К. Моргана. Привел бы подобные слова академиков А. П. Александрова или Е. П. Велихова, например, но они таких слов не произносили. Так вот что сказал Морган:

«В настоящее время стало очевидным, что не существует такой малой пороговой дозы ионизирующего излучения, которая была бы безопасной или риск заболеть от которой (даже лейкозом) был бы равен нулю... Радиоактивные благородные газы (РБГ) являются основным источником облучения населения при нормальной эксплуатации АЭС. Особый вклад вносит криптон-85 с периодом полураспада десять и семь десятых лет...»

Я хотел бы выразить большое недовольство относительно распространенной в атомной энергетике практики «сжигания» и «выжигания» временных ремонтных рабочих. Под этим мы подразумеваем привлечение плохо проинструктированного и неподготовленного персонала к временному выполнению горячих работ (радиоактивных). Из-за отсутствия понимания риска хронического облучения такой персонал с большой вероятностью может создать радиационные аварии, в результате которых может быть причинен вред как ему, так и другим людям. Я считаю практику «выжигания» персонала глубоко аморальной, и до тех пор, пока в атомной энергетике не откажутся от подобной практики, я перестану быть активным сторонником этой отрасли...

За последние десять—пятнадцать лет новые данные показали, что риск раковых заболеваний людей под воздействием радиации в десять или более раз выше, чем мы считали в 1960 году, и что не существует безопасной дозы...»⁷

И еще одно суждение — выдающегося советского ученого, действительного члена Академии медицинских наук СССР, крупнейшего специалиста по лечению лейкозов Андрея Ивановича Воробьева:

«Думаю, что после этой аварии должно закончиться средневековое мышление человечества.

Очень многое требует сегодня переоценки. И хотя количество жертв в результате аварии ограничено, а большинство пострадавших останется в живых и выздоровеет, происшедшее в Чернобыле показало нам масштабы возможной катастрофы. Это должно буквально перестроить наше мышление, в том числе и мышление любого человека, кем бы он ни был — рабочим или ученым. Ведь ни одна авария не бывает случайной. Значит, надо понимать, что атомный век требует такой же точности, с какой рассчитываются траектории ракет. Атомный век не может быть в чем-то только одним атомным. Очень важно понять, что сегодня люди должны знать, например, что такое хромосомы, так же хорошо, как знают они, что такое четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Без этого нельзя жить. Хочешь жить в атомном веке — создавай новую культуру, новое мышление...»

⁷ К. Морган. Пути уменьшения радиационного воздействия атомной энергетики в будущем. М. Атомиздат. 1980, стр. 64.

Свидетельствует В. Г. Смагин:

«В 6-й клинике лечился и главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Максимович Фомин. Пробыл с месяц. После выписки незадолго до его ареста обедали с ним в кафе. Он был бледен, подавлен. Спросил меня: «Витя, как ты думаешь, что мне делать? Повеситься?» «Зачем же, Максимыч?— сказал я.— Наберись мужества, пройди все до конца...»

С Дятловым мы были в клинике в одно время. Перед выпиской он сказал: «Меня будут судить. Это ясно. Но если мне дадут говорить и будут слушать, я скажу, что все делал правильно».

Незадолго до ареста встретил Брюханова. Он сказал: «Никому не нужен, жду ареста. Приехал вот к генеральному прокурору спросить, где мне находиться и что делать...» «И что говорит прокурор?» «Ждите, говорит, вас позовут...»

Арестовали Брюханова, Дятлова и Фомина в августе 1986 года. Брюханов был спокоен. Взял с собой в камеру учебники и тексты для изучения английского языка. И сказал, что он теперь как Фрунзе, приговоренный к смерти...

Дятлов тоже спокоен, выдержан.

Фомин потерял себя. Истерики. Сделал в камере попытку самоубийства. Разбил очки и стеклом вскрыл себе вены. Вовремя заметили. Спасли. На 24 марта 1987 года был назначен суд, который отложили из-за невменяемости Фомина.

Разыскал и встретился с заместителем начальника турбинного цеха блока № 4 Разимом Ильгамовичем Давлетбаевым. Как я уже писал, он был на БЩУ-4 в момент взрыва. За время аварии получил более 300 рентген. Вид очень больного человека. Мучает лучевой гепатит. Сильно отекает лицо. Нездоровые, налитые кровью глаза. Но держится молодцом. Подтянут, собран. Несмотря на инвалидность, работает. Мужественный человек.

Попросил его рассказать, как было в ту ночь 26 апреля 1986 года. Он сказал, что ему запретили говорить о технике. Только через первый отдел. Я сказал, что о технике все знаю, даже больше, чем он. Нужны подробности о людях. Но Разим Ильгамович был скуп: «Когда пожарники появились в машзале, там все уже сделали эксплуатационники. За время аварийных работ в машзале я несколько раз вбегал на блочный щит управления, докладывал начальнику смены. Акимов был спокоен, четко отдавал распоряжения. Когда началось, все встретили спокойно. Ведь мы по роду своей профессии были готовы к подобному. Не в такой, конечно, степени, но все же...» Видно, что Давлетбаев старается говорить в пределах разрешенного первым отделом. Я не перебиваю. Характеризует Александра Акимова, своего вахтенного начальника: «Акимов очень порядочный и добросовестный человек. Симпатичный, общительный. Член Припятского горкома партии. Хороший товарищ...» Характеризовать Брюханова отказался. Сказал: «Брюханова не знаю».

Высказал свое мнение о прессе, печатавшей репортажи из Чернобыля: «Она представила нас, эксплуатационников, как неграмотных, почти злодеев. Поэтому под воздействием прессы на Митинском кладбище, где похоронены наши ребята, с могил сорвали все фотографии. Пожалели только фото Топтунова. Совсем еще молодой. Как бы неопытный. Нас считают злодеями. А между тем десять лет Чернобыльская АЭС выдавала электроэнергию. Хлеб нелегкий, вы знаете. Сами работали...» «Когда вы покинули блок?» — спросил я. «В пять утра. Началась острая рвота. Но мы все успели сделать: и погасили пожар внутри машзала, и вытеснили водород из генератора, и заменили водой масло из маслобака турбины. Мы не были чистыми исполнителями. Мы многое переосмысливали. Но поезд тогда уже ушел, имею в виду

технологический процесс на момент приема смены. И остановить его было уже невозможно. Но мы не были простыми исполнителями...»

Да, во многом можно согласиться с Давлетбаевым. Атомные операторы не просто исполнители. В процессе эксплуатации атомных станций им приходится принимать массу самостоятельных и ответственных решений, зачастую очень рискованных, чтобы спасти блок, с честью выйти из аварийной ситуации или тяжелого переходного режима. Всего многообразия всевозможных сочетаний режимов и неполадок никакими инструкциями и регламентами, к сожалению, не предусмотреть. И тут важны опыт и профессионализм эксплуатационников. И Давлетбаев прав, говоря, что после взрыва операторы показали чудеса героизма и бесстрашия. Они достойны преклонения.

Но ведь это — уже после взрыва...

МИТИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

В первую годовщину чернобыльской катастрофы я поехал на Митинское кладбище почтить память погибших пожарников и атомных операторов. От станции метро «Планерная» на автобусе № 741 через двадцать минут езды, сразу за деревней Митино, раскинулся огромный город мертвых.

Кладбище совсем новое, чистенькое. Могилы уходят за горизонт.

Слева от входа — аккуратный, облицованный желтой керамической плиткой непрерывно действующий крематорий, из трубы которого шел быстрый черный дымок. Справа от входа — кладбищенская контора.

Кладбище молодое. Посаженные на могилах деревья еще не выросли. По весне стоят пока темные, с нераспустившимися листьями. В разных местах кладбища над могилами взлетают и садятся стаи воронья, расклеивают оставленную на могилах пищу — яйца, колбасу, конфеты...

Иду по главной кладбищенской улице. Метрах в пятидесяти от входа слева от дороги — двадцать шесть могил с белокаменными надгробиями. Над каждой могилой небольшая мраморная стела с гравированной позолоченной надписью: фамилия, имя, отчество, даты рождения и смерти.

Могилы пожарников, их шесть, утопают в цветах: вазочки и горшочки с живыми цветами, венки искусственных цветов с красными лентами и надписями на них от родных и сослуживцев. На могилах атомных операторов цветов поменьше, венков вообще нет. Министерство атомной энергетики и Минэнерго СССР не вспомнили в годовщину Чернобыля о павших. А ведь они тоже герои, они сделали все, что смогли. Проявили мужество и бесстрашие. Отдали жизни...

Но лежат здесь и те, кто случайно оказался той роковой ночью у места трагедии, не понимая подлинного значения происходящего.

Ясное голубое небо, солнце, теплынь. Грай взлетающего и садящегося на могилы воронья, уходящая вдаль до горизонта главная улица кладбища и на ней люди, люди, идущие к дорогим могилам.

Невдалеке от захоронения чернобыльцев слышались звуки автоматных выстрелов. Посмотрел в ту сторону. Взвод солдат салютовал из «калашниковых». Подошедший мужчина сказал, что хоронят солдата, погибшего в Афганистане.

На могильных стелах пожарников выгравированы золотые звезды. Здесь лежат Правик, Кибенок, Игнатенко, Ващук, Тищура, Титенок...

Над могилами же атомных операторов на мраморных надгробиях нет никаких знаков отличия. Нет и фотографий, которые вначале были. Теперь осталась только фотография на могиле Леонида Топтунова. Соперем еще мальчишка, усатенький, круглолицый, пухленькие щеки. Отец его возле могилы соорудил аккуратную красивую скаме-

ечку. Мне показалось, что у Топтунова самая любовно ухоженная могила.

Двадцать шесть могил... В шести из них покоятся герои-пожарники. В двадцати остальных — операторы четвертого энергоблока, электрики, турбинисты, наладчики. Две женщины — Лузганова и Иваненко, работницы военизированной охраны. Одна была на проходной напротив четвертого блока, дежурила там всю ночь до утра. Вторая в строящемся ХОЯТе (хранилище отработанного ядерного топлива) — в трехстах метрах от блока. И в этих могилах тоже подлинны герои, чье мужество спасло станцию в не меньшей степени, чем мужество пожарников. Я уже говорил о них ранее. Вот они: Вершинин, Новик, Бражник, Перчук — машинисты турбинного зала, которые погасили пожар изнутри, пожар, развитие которого имело бы страшные последствия для всей АЭС.

Насколько мне известно, к наградам они не представлены. Не награжден и начальник смены реакторного цеха Валерий Иванович Перевозченко, сделавший все возможное и невозможное, чтобы спасти подчиненных ему людей, вывести их из зон высокой радиации. И заместитель главного инженера по эксплуатации первой очереди Анатолий Андреевич Ситников, не пощадивший жизни, чтобы разобраться, что же на самом деле произошло с четвертым реактором. И лежащий здесь виброналадчик харьковчанин Георгий Илларионович Попов, который и вовсе случайно оказался там, но машзал не покинул и всем, чем мог, помогал турбинистам тушить пожар в машзале. Хотя мог уйти и остаться живым. Не награжден и электрик Анатолий Иванович Баранов, который вместе с Лелеченко локализовал аварийную ситуацию на электрооборудовании, замещал водород в генераторе, подавал питание на четвертый блок в условиях бешеных гамма-полей.

Лелеченко похоронен в Киеве. Посмертно награжден орденом Ленина.

В связи с наградами следует сказать еще об одном. Материалы по награждению атомных операторов, живых и мертвых, готовились под завесой умолчания. Почему, спрашивается?

Иду вдоль могил, подолгу останавливаясь возле каждой. Кладу к надгробиям цветы. Пожарники и шесть атомных операторов скончались в страшных муках в период с 11 по 17 мая 1986 года. Они получили наибольшие дозы облучения, больше всех приняли радионуклидов внутрь, тела их были сильно радиоактивны, и, как я уже писал, были они похоронены в запаянных цинковых гробах. Так требовала санэпидстанция, и я думал об этом с горечью, ибо земле помешали сделать ее последнюю работу — превратить тела умерших в прах. Проклятый ядерный век! Даже здесь, в извечном человеческом исходе, нарушаются тысячелетние традиции. Даже похоронить, по-людски предать земле нельзя. Вот ведь как получается...

И все же говорю им: мир праху вашему. Спите спокойно. Ваша смерть всколыхнула людей, они хоть на вершок отошли от спячки, от слепой и серой исполнительности...

Склоним головы перед ними — мучениками и героями Чернобыля.

Так в чем же он, главный урок?

Самый главный — это ощущение зыбкости человеческой жизни, ее уязвимости. Всемогущество и бессилие человека продемонстрировал Чернобыль. И предостерег: не упивайся своим всемогуществом, человек, не шути с ним. Ибо ты причина, но ты и следствие.

В конечном счете это мучает больше всего: те рассеченные радиацией нити хромосом, убитые или изуродованные гены, они уже ушли в будущее. Ушли, ушли...

МАРЛЕНА РАХЛИНА



ВО ИМЯ ЛАДА

Ведь что вытворяли! И кровь отворяли,
и смачно втыкали под ногти иглу...
Кого выдворяли, кого водворяли,
а мы все сидим, как сидели, в углу.

Любезная жизнь! Ненаглядные чада!
Бесценные клетки! Родные гроши!
И нету искусства — и ладно, не надо!
И нету души — проживем без души!

И много нас, много, о Боже, как много!
Как долго, как сладостно наше житье!
И нет у нас Бога — не надо и Бога!
И нету любви — проживем без нее...

Пейзаж моей родины неувядаем:
багровое знамя, да пламя, да дым...
А мы все сидим, все сидим, все гадаем:
что завтра отнимут? А мы — отдадим!

1976.

...царственное слово...

А. Ахматова.

Все, кто оружие с омерзеньем в руки
берет, не вынеся привычного житья —
то бишь кто пошлости, кто подлости, кто скуки, —
они понятны мне, как старые друзья.

И верю я, что путь их благороден,
и я люблю, что души их чисты,
и знаю я: кто умер, тот свободен
от лишней и обидной суеты.

Беда лишь в том, что дело их не ново:
все от врага — да к злейшему врагу.
А вся надежда — царственное Слово.
И силою владеет — только Слово,
и чудеса свершает — только Слово
на нашем бедном жизненном кругу.

1984.

Одна любовь

Одна любовь — и больше ничего.
Одна любовь — и ничего не надо.
Что в мире лучше любящего взгляда?
Какая власть! Какое торжество!

Вы скажете: «Но существует зло,
и с ним добро обязано бороться!»
А я вам дам напиться из колодца,
любовь и нежность — тоже ремесло.

Любовь и нежность — тоже ремесло,
и лучшее из всех земных ремесел.
У ваших лодок нет подобных весел,
и поглядите, как их занесло!

«Увы, мой друг, — вы скажете, — как быть:
любовь и слабость или злость и сила?»
Кому что надо и кому что мило:
вам — драться, им — ломать, а мне — любить.

А мне — во имя Сына и Отца,
во имя красоты, во имя лада...
Что в мире лучше любящего взгляда?
И только так, до самого конца!

1977.

АНАТОЛИЙ КИМ

★

ОТЕЦ-ЛЕС*

Роман-притча

Ина том месте, где Василий Петрович споткнулся о торчащий из земли обугленный сучок, стоял пожилой костлявый немец Шульман, он был на должности повара для пленных, но так как давно никаких продуктов в лагере не выдавалось, он ничего не готовил, а вместе с другими выходил на лесные работы. Высушенные долгим и жестоким голодом до самых костей, пленные немцы лесного спецлагеря выглядели совершенно так же, как и узники тех концлагерей в Германии, Польше и Финляндии, где побывал Степан Тураев... Он в сорок седьмом году начал строить избу на Колином Доме и с билетом на строительный лес приехал в спецлагерь — и на миг словно опять вернулся в ад, где столь недавно провел он целых два года. Особенно похоже это было на его последний, финский, лагерь — тоже в лесу и тоже высоко огороженный колючей проволокой, протянутой между деревьями, с такою же черной зловонной грязью в тесном дворе между бараками. Подошедшие к воротам зоны пленные немцы так же горбились и кутались в тряпье, по голодной немощи своей замерзая даже на теплом воздухе молодого лета. И неподвижный, глубоко ушедший в дистрофическое равнодушие взгляд костлявого узника знаком был Степану Николаевичу по тем не уходящим из его памяти глазам, которые давно уже закрылись и умерли — в польском лагере, в финском, в немецком...

Шульман же смотрел на бородатого русского человека, сидевшего на передке длинного, без кузова тележного возка, и думал свою неотвязную думу, — и мысль его была почти дословно такая же, как и у проходящего сквозь него, через сорок лет, деревенского учителя Неквасова: если ты виноват, то надо отвечать, и ничего тут не поделаешь. Но русский учитель думал так, желая подавить в себе чувство жалости к тем, что погибли здесь голодной смертью сорок лет назад, а немецкий пленный, солдат Шульман, думал о подлинной вине, требующей искупления, и вот оно теперь наступило, время искупления. Шульману хочется сказать об этом бородатому русскому человеку, стоящему чуть в стороне от лагерных ворот, у длинной фуры: мол, не считаю вас виноватыми в том, что вы меня убиваете, — это не вы меня караете медленной смертью, а я сам караю себя.

Жалость Неквасова к погибшим военнопленным была из духовного материала иного, чем тот, что пошел на построение его собственной души, которая появилась на свет в конце двадцатых годов двадцатого же столетия и окрепла в середине пятидесятых годов, пройдя через службу в армии и затем через программные занятия исторического факультета Рязанского пединститута. Шульман же, погибший в сорок седьмом году, тогда очень хорошо понимал суть и свойство подобного духовного материала: на спокойной ненависти и превосходящем отчуждении победивших русских как будто бы лежал отсвет высшего суда.

Такой свет отражало и лицо бородатого возницы у ворот лагеря, и дистрофик Шульман смотрел на него с восторгом мученика, вззирающего с последней ступени эшафота на возникший прямо посреди огромного голубого неба символ его священной веры. И душа

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4, 5-с. г.

стоявшего перед шлагбаумом немецкого военнопленного не приняла бы смутной и неопределенной жалости русского учителя, которая возникнет однажды в сосновом лесу через сорок земных лет.

Устремленная вспять сквозь лесные влажные сны, туманы и ночи, сквозь огонь лесных пожаров, эта жалость Неквасова, столь похожая на христианскую любовь, явилась признаком истощения твердого душевного материала, который был одинаковым в свое время и для того, кто погибал, и для того, кто убивал. Надежная, прочная ненависть — вот что тогда было здоровьем наций, государств, партий, правительств, отдельных государственных индивидуумов, — а всякая жалость, возникавшая где-либо в организме общечеловеческой популяции, говорила о наступившей болезни.

Шульман стал ужасаться, раскаиваться и сожалеть о тех противочеловеческих деяниях, какие соверщала германская раса против ни в чем не повинной России, — Степан Тураев (не зная этого) когда-то с ним уже встречался, это было в первый день, когда он попал в плен и его заперли вместе с другими русскими пленными в сарай. Шульман тогда находился в команде по ликвидации раненых и заборах в плен всех, на то еще пригодных, — до вечера трудилась команда и набила пленными бревенчатый сарай столь туго, что, когда привели к вечеру русских санитарок, их едва удалось втиснуть внутрь толпы и прикрыть воротные створы. И вдруг на исходе дневного света произошел странный налет одинокого немецкого штурмовика на деревню: самолет сбросил несколько бомб и, не разворачиваясь, лихо покачивая крыльями, улетел догонять уходящий день. Две бомбы ударились в землю близко от сарая, набитого пленными, и разорвались одновременно, так что получился как бы единый взрыв весьма странного свойства: всю деревянную трухлявую массу сарая унесло вертикально вверх и там, вверху, расплывало далеко в стороны; в результате пленная толпа, ранее заключенная в стены сарая, как бы миг освободилась от деревянной скорлупы — и глазам изумленных немецких охранников предстала слипшаяся человеческая масса, отформованная в виде прямоугольного куска, которая какое-то время безмолвно простояла в подобном виде, лишь потом начала распадаться на кусочки кричащих, стонущих, кашляющих, кровоточащих людей.

В тот день и столкнулись лицом к лицу Шульман со Степаном Тураевым; прошло шесть лет, и оба они не помнили, как, изгибаясь и страшно кашляя на бегу, понесся куда-то обезумевший русский пленный и ему навстречу выбежал из сумерек немецкий солдат-верзила с автоматом на груди, в расстегнутом мундире, пригнулся и широко расставил руки, словно желая поймать бегущего зайца, а русский упал на колени и выкашлял наконец из глотки кусочки древесной трухи и полужидкую соломенную пыль. Умиравший Шульман как раз вспоминал сейчас этот день, этот эпизод, но, в упор глядя на того самого русского, не узнавал его, а Степан Тураев в доходяге с лицом черепа, с востреньким горбатым клювом-носиком также ни за что не угадал бы огромного немца, который спокойно подошел к нему и, тронув его кончиком короткого сапога, не задержался, а прошел дальше к другим лежавшим и сидевшим посреди двора пленным. Шульман тогда лишь удивлялся тому, что все они, валяясь на земле, одинаковым образом изгибались и кашляли, схватившись за грудь, — и только теперь ему пришло в голову, что это вовсе не удивительно, если в наши времена люди что-нибудь делают совершенно одинаковым образом — кашляют или чихают, разевают в смертной агонии рты, танцуют в огромном дансинге фокстрот перед самым началом войны или в тысячной толпе вскидывают руки в приветственном салюте. Тот прямоугольный мясной кирпич, спрессованный из живых людей, чудовищно тесно набитых в помещение сарая, все еще кровоточил, возникнув в глазах повара Готлиба Шульмана...

Эти глаза увидели теперь некрашенный шлагбаум перед воротами лагеря, нескольких союзников-доходяг рядом, тех, с которыми вместе ему надлежало умирать, и стоявшего у телеги за дорогою бородатого русского человека. Степан Тураев, собиравшийся строить дом, теперь совершенно ясно постигал предсмертные думы, чувства и душевные состояния тех, чья серая кожа тесно обтягивала кости. Никакой плоти между этими костями и кожей давно не было, как не бывает ничего между золою в сгоревшем лесу и землею. И там, где высохла вся искрящаяся розовая плоть жизни, в пустыне меж кожей дистрофика и его скелетом, окажется блуждающая тень — Я ОДИНОЧЕСТВО.

Ничего не нашел учитель истории в лесу на том самом месте, где сорок лет назад располагался лагерь военнопленных лесорубов, ни клочка, ни щепки, лишь споткнулся о какой-то обгорелый сучок, что торчал из земли. Степану Тураеву, приехавшему в спецлагерь с выписанным билетом на строевой лес-кругляк, не удалось в тот день нагрузить бревна на кряжевозную телегу с помощью немецких пленных, как он рассчитывал, — никто из них не смог бы поднять и сухой ветки, не то что бревна ворочать. На работу их выгоняли по неукоснительному предписанию, но в лесу последние из доживавших свое узников садились под деревьями на землю и дремали, не сгоняя даже комаров с лица.

Степан вернулся тогда в деревню, чтобы взять кого-нибудь на подмогу, и по дороге долго вспоминал, уронив голову на грудь и не глядя, как справляется с дорогою лошадь, свой последний финский лагерь, где тоже рубил лес для немцев и был в том же состоянии одинокого умирания в толпе таких же доходяг, как и эти пленные немцы. Шульман пришел к одной навязчивой мысли, от которой не мог отделаться в последние дни своей жизни, как только его перевели из подмосковного лагеря в этот лесной. Тому способствовал случай, когда новый сосед по нарам, Ральф Шрайбер, такой же высокий и костлявый, как Шульман, но, должно быть, намного моложе его, однажды вдруг пошел ровной походкою, с топором в руке в свободный лес через просеку запретной зоны, не остановился на окрик охраны и был застрелен. Этот случай стал причиной внезапной мысли не только для одного Шульмана — много лет спустя, прочитав письмо-запрос от Анны Марии Гундерт, местный учитель истории Неквасов впервые подумал о том, что, несмотря на великую нашу победу в войне, человечество как вообще потерпело поражение столь же великое, и даже большее, потому что потери человеческих жизней надо было при этом учитывать общие и е... Мысль же Шульмана, сводившая его с ума, состояла в том, что свою голодную смерть в этом лагере, в русском лесу, немцам надо приветствовать со светлым энтузиазмом. Давайте умирать с радостной улыбкой на устах, приставал он к еще живым товарищам плена, но его союзники, уже не имевшие под кожей ничего живого, кроме костей скелета, не хотели его и слушать. (Что-то подобное приходило в голову и Степану Тураеву, русскому узнику лагеря смерти в Польше, когда после весенних дождей на всех доступных местах огороженного колючей проволокой пространства начала прорастать нежная травка, но тысячи голодных людей тут же ее выщипали жадными пальцами. Степан тогда, вспомнив, сколько же этой травы было на болотистых лугах и деревенских выгонах его родного края, вдруг воспрянул в горячечном душевном подъеме: он увидел, что при способности выжить, питаясь просто травой, человеку природой даны неограниченные возможности для существования. Стоило только исчезнуть этим заборам с колючей проволокою и людям шагнуть через них на просторы! Они могли бы все, все жить на свете, жить, а не умирать тлеющей смертью дистрофиков.) Светлая мысль и рождала непомерную глубину отрешенного взгляда Шульмана и странную, вроде бы

наклеенную улыбку-пленочку, которую Степан успел заметить на устах неизвестного ему доходяги немца.

Неквасову же через сорок лет стало страшно, и он даже остановился в лесу и присел на палую ель, преградившую ему путь: мысль о величайшей нашей Победе, которая одновременно была едва ли не вдвое большим поражением, очередным горьким поражением Всеобщего человечества,—мысль эта явилась настолько опасной для скромного сельского учителя, что он задышал тяжело и, преодолевая мутное сердцебиение, надолго остался неподвижен, сидя на обомшелой лесине. И лишь подозрительно озирал беспокойными глазами теснящиеся рядом деревья.

Выходит, что каждая военная победа на Земле была отмечена точным количеством взаимно уничтоженных людей, и выходило также, что История человечества двигалась вперед взрывами войн, как межзвездная ракета реактивной тягой. И выходило, наконец, что, несмотря на огромное количество всяческих побед, человечество никогда не побеждало, а терпело одно общее сокрушительное поражение.

Я с сочувствием следил за признаками нарастающего страха и растерянности сельского учителя, который, собственно, не был виноват в том, что родился и жил там, где он родился и жил, и к кому пришли подобные мысли только лишь потому, что он остановился на том месте, где когда-то громоздились двухэтажные нары в бараке и на нижних нарах, где раньше спал, а потом умер Мартин Кристельбрудер, фотограф из Дрездена, лежал впоследствии повар Шульман,—и возле него уже не было соседа Шрайбера, и вообще никаких соседей не было — барак почти весь пустовал. И в полном одиночестве Шульман мог уже сколько ему влезет проповедовать о светлой кончине немецких военнопленных с добровольной радостной улыбкой на устах, никому уж не мешая, мог он вслух произносить свои слова:

— Мы принесли в эту страну слишком много страдания, мы вонзились в тело этого народа — в такое же, как наше, белое незащитное тело — острым клювом ворона, за это положены возмездие и кара. Или уже забыто, что существует Божья справедливость? Но ведь и этого недостаточно, камрады! Что толку, если сначала мы убивали, а потом и нас убили? А кто будет отвечать за то, что каша уже сварена? За то, что одни люди сгоняют других в огромные массы, а потом эти массы сбивают в тюки вроде прессованного сена? Кто же ответит за ужас адский кроме нас самих? Так давайте же, камрады, мы с вами первыми из немцев — и самыми первыми из людей на свете — умрем со светлыми улыбками на устах! Так и только так мы переделаем себя — и немедленно переделаем весь человеческий мир. Потому что люди, умирающие со светлой улыбкой на устах, это ведь совсем другие существа, чем те, чью страшную смерть мы столько раз видели своими глазами на этой похабной войне. Мы все, сколько нас было на свете, знали только одно — что нет ничего страшнее и противнее смерти, а теперь, камрады, мы только улыбаемся ей в лицо и даже ничего, ничего не скажем. Мы больше не станем ее слушаться — и люди никогда отныне не будут воевать, чтобы устроить друг друга высшей властью смерти.

Так говорил Шульман в полной темноте барака, больше не окруженный безответными слушателями, лежащими на деревянных голых нарах, потому что этих безответных, тихо и тоскливо дышавших, погруженных в некую холодную ясность души, порожденную голодом, тех самых, у которых меж кожей и скелетом уже ничего не было, ибо трепетная розовая жизнь ушла отсюда, — не осталось на нарах никого, кроме Шульмана, только у него еще хватало силы духа войти в барак как в жилище и занять свое спальное место соответственно человеческой привычке к порядку. Остальные, как

только заходили в лагерь, разбредались по грязным дорожкам кто куда, будучи безнадзорными, ибо осталась их на пять барачков всего горстка и на них как на рабочие единицы внимания уже не обращалось. Они распозались поодиночке, каждый находил на земле какое-нибудь уединенное место, откуда непосредственно мог видеть звезды в небе и вершины леса и где оказывался, будучи даже внутри огражденного лагеря, вновь близким к природе.

Травы с наступлением лета стало много, траву можно было срывать и жевать сколько угодно, и (как померещилось когда-то в концлагере Степану Тураеву) она могла бы спасти жизнь всех умирающих от голода, но немецкие пленные, пережившие зиму гибели остальных двухсот, уже не способны были выжить с помощью трав. Степан Тураев распознал в доходягах немцах, лишь взглянув на них, тихое завывание их остывающей крови — лютую пургу смерти, бушующую в них, ледяной ураган отчуждения, отторгнувший души этих людей друг от друга и от всего мира. В свое время и его душу уносил подобный ураган, и, если бы не освобождение извне, ему бы уже не вернуться к таким обычным жизненным влечениям, как желание построить новый дом.

Степан Николаевич Тураев всю свою жизнь после войны и плена прожил без всякой надежды на возможность забыть, понять или поведать хоть кому-нибудь то истинное о человеческом существовании, что открылось ему в минуту, когда он в истощенных немецких пленниках вдруг угадал образ Того, кто таится в кущей, как тень, жизни каждого человека. Некто, узанный Степаном в огромном скелете с птичьим горбатым клювом на черепе, в Готлибе Шульмане, прошел вместе с лесником Тураевым через всю его одинокую жизнь, но ни разу лесник не обратился к Нему, не попросил помощи и не попытался даже пристально взглянуть на Него.

Я хорошо знаю эту тайную боль и обиду простых душ на Того, кто становился, может быть, рядом и спасал их в ужасную минуту, но никогда не объяснял им, почему Он это делает и куда исчезает потом. Чего Он хочет, столь затрудняя путь к себе, бесконечно удлинняя его и внезапно ломая силою мышцы своей давно наведенные мосты, выставляя на посмеище самое высокое искательство? Разве не обидно мне, что, вместо того чтобы видеть Его, я сейчас должен лицезреть какого-то мордастого сержанта?

Обрезов любил вызывать к себе на беседы повара Шульмана, и при этом, подражая кое-какому начальству, которое ему приходилось видеть в жизни, сержант широко разводил колени, сам валился назад, ломая спинку единственного на вахте дрянного стула, пыхтел и обеими руками устраивал поудобнее свое свисавшее отягощенное брюхо. Шел второй послевоенный год, голодный для всей страны, и столь упитанные пузачи были редкостью среди обычного народа. Но Обрезов вот уже почти двести дней съедал один все жиры, положенные для военнопленных. И вначале, получая на складе суточный провиант для немецкого контингента, сделал это как бы в шутку, как бы ради спортивного интереса: съел кружку комбижира, макая в него ломти хлеба. И затем, не прерываясь ни на день, шутка эта длилась всю зиму, а когда из-за наступившего всеобщего по стране голода был резко сокращен и дотоле суровый рацион заключенных, Обрезов уже перестал шутить, а просто увозил мешок с черным хлебом или рюкзак с пшеном прямым в деревню, где менял провиант пленных на свекольную самогонку.

Когда прибыл из Мытищ выписанный по разрядке новый повар на место старого, умершего, Обрезов сам его встретил в плановом конвое и с особенной значительностью приветствовал: «Здорово, милоч. Будешь работать под моей командой». С этого первого дня он и установил обыкновение подолгу беседовать с Шульманом.

Проходили эти беседы в странном круглом сооружении, называемом «юртой», где располагались караульные помещения, канцелярия лагеря, гауптвахта для провинившихся солдат конвоя, красный уголок для читки газет. В первые дни собиралось много народу, чтобы послушать сержантские беседы, но потом все это надоело публике и разговоры происходили уже наедине. С неизменностью ритуала Обрезов задавал один и тот же вопрос:

— Шульман, а где ж твой белый хвартук?

На что добросовестный немец поначалу пытался отвечать, что старый фартук, колпак и половник сдал в Мытищах, а здесь рабочий инвентарь еще не получал, но сержант лишь утомленно махал рукою:

— Не ври, Шульман.

И в дальнейшем немец молчал, стараясь не глядеть на сержанта, не слышать его слов и не понимать их, хотя за годы плена изрядно овладел чужим языком. Шульман к тому времени еще не пришел к своей идее умирания со светлой улыбкой на устах, он полон был ревностного устремления исполнять свой долг, то есть готовить пищу для соплеменников, волею судьбы оказавшихся в плену. Поэтому Шульман очень страдал, с утра раньше всех в лагере поднимаясь и приходя в холодную, пустую кухню, расположенную в первом бараке, напротив казенной «юрты», откуда сквозь ржавую путанку проволочной ограды можно было при желании разглядеть одинокого повара, растапливающего плиту, на которой стоял огромный пустой бак.

— Чего-то не каждый день ты печку топишь,— замечал как-нибудь сержант.— Или дров не хватает?

— Дров мало,— соглашался Шульман, начинавший понемногу вытягиваться в эту мертвую игру.

— Ты смотри-ка,— удивлялся Обрезов,— в лесу живем, а дров не имеем. Приказываю тебе, Шульман, выгнать в наряд с пильщиками. Принесешь на себе пуд дров. Ясно?

— Так точно,— отвечал Шульман, вытягиваясь.

— А чего ты приготовил сегодня на пробу?

— Перловый суп с прожарками,— равнодушным голосом сочинял повар, продолжая и развивая игру.

— Ну-ка, Шульман, проверим твой суп.

Дело доходило до того, что повар как бы подавал горячую посуду двумя пальчиками, ставил на круглые колени сержанта, а тот столь же осторожно придерживал миску и начинал воображаемой ложкой отправлять в рот обжигающую пищу, для остужения которой сержант поматывал высунутым языком и дул сквозь дырочку сложенные губы. И в эту смертельную игру, теперь уж неизвестно когда и каким образом затеянную Обрезовым, были втянуты все — начиная от начальника лагеря, майора Алтухова, и кончая конвойным псом Японном, которого Обрезов в конце концов кастрировал и перевел из сысской службы в караульную.

Мне пришло подобное в голову не потому, что я не любил пса,— наоборот, эту желтую, большую, как теленок, собаку я очень любил, и я стал сержантом Обрезовым не для того, чтобы вызвать отвращение и ненависть к самому себе. Я должен быть Обрезовым и, барахтаясь в его дерьме, все же стараться полюбить себя больше всего на свете. И мне надо очень и очень ясно представить себе, как это в мою небольшую душу, весом в восемьдесят один килограмм, время от времени приходит неодолимое желание: «Чего-то сегодня убить хочется».

Это обычно бывает у меня с утра, когда я просыпаюсь и сижу на казарменной койке, держа сапог в руке, а вокруг гремят табуретки полуодетые солдаты, уборщики шмыгают швабрами, а за окном еще царит бескрайняя темень, и я так отчетливо представляю всю глубину окружающей жизни, черной от тягот громадного подневоль-

ного труда и преисполненной тоски бесчисленных мертвецов, которым когда-то так неистово хотелось жить, а их умертвили. И, навертывая на ноги портянки, натягивая один сапог, потом другой, я даже не пытаюсь понять, почему так тяжело дается хорошая жизнь, которая снится человечеству уже столько тысячелетий, и я скорее перевожу ход своих мыслей на злободневные дела.

Среди конвойных собак, которые отданы под ответственность сержанта Обрезова, ищейка по кличке Япон, громадная немецкая овчарка, впала в чрезвычайную озабоченность, и на учебных занятиях, вместо того чтобы взять след, кобель рвался в сторону деревни, сваливая с ног и таща по снегу собаководов. Обрезову такое поведение служебной собаки было не только не по нраву — а показалось недопустимым по отношению лично к нему, сержанту Обрезову, и к той удивительной власти, которую он обрел за последнее время. Да, он стал замечать, какую силу придает ему это внезапно появлявшееся в нем по утрам желание убить, — однажды решил удовлетворить его, пристрелив с пяти шагов рыжего фрищика, когда тот, отойдя чуть в сторонку от движущейся колонны, расстегнул штаны и начал было поливать какой-то кустик. С этого дня и появилась его особенная власть.

Она стала быстро расти, когда я пристрелил еще нескольких немецов, — и вдруг моя голова озарилась великой мыслью: власть будет увеличиваться по мере того, как я буду это делать, хоть до беспредельности! Так оно и подтвердилось в дальнейшем — я не слушал никого и пристреливал этих фрицев где только мог, — и вскоре весь лагерь боялся меня. Когда я убил около пятнадцати или двадцати человек, то стал как бы служить по особенному уставу, существующему только для меня одного: вставал когда хотел, принимал пищу, заряжал оружие и шел в зону, чтобы вывести на лесные работы небольшую партию, человека три-четыре; и обязательно кто-нибудь из них в лесу пытался бежать, и мне приходилось сваливать его наземь метким огнем на поражение.

Примерно с этого времени я и начал свою шутку с ликвидацией жировых продуктов, потому что обычно лагерное начальство не спешило подавать в вышестоящие инстанции списки умершего и погибшего контингента: хлебное и жировое довольствие оставалось в прежнем виде, и вначале я съедал только эти излишки. Но однажды шутки ради поднатужился и изничтожил всю суточную жировую норму на двести пятьдесят человек, то есть литровую железную кружку (в таких отмеряют пиво или квас) растопленного комбижира. И что же? Сила духа моего только увеличилась, и все чаще я начал по утрам говорить себе: «Чего-то сегодня убить хочется», — и меня нисколько не мучила изжога от вчерашнего комбижира. А вокруг бегали, суетились солдатики, наводя утренний марафет в казарме, и все они были послушны мне, как дети, и что угодно сделали бы по моему приказанию, потому как стал я для них главнее всех начальников, главнее даже майора Алтухова... И вдруг однажды этот желтый кобель Япон валит меня, понимаешь ли, с ног долой и тащит по снегу, словно чурку какую, — и это на глазах всей колонны пленных. Пришлось мне Япона этого кастрировать.

Еще до того, как Обрезов стал возвышаться над своими сослуживцами, он уже был признан ими за свое брадобрейное делание, чему отдавался с увлеченностью любителя, и смело болванил головы всем казарменным жителям, солдатам и сержантам, а иногда почикивал ножницами и над покорно выставленными ушами какого-нибудь закабаленного лесной службою офицера. Любил сержант ровно подбрить затылок, отсечь виски по косой или прямой линии, для чего имел опасную бритву немецкой фирмы «Золлингер», которую ему посчастливилось конфисковать у одного военнопленного гансика во время обыска. Этого гансика Обрезов убил одним из первых застре-

лежных им при «попытке к бегству» — подстерег его на переправе заключенных вброд через речку Маху, когда колонна невольно разбредалась по сторонам, стараясь найти неглубокое место в воде.

И надо сказать, что этот способ отстрела — почти как из засады на зверином водопое — принес мне большую пользу, ибо я открыл для себя особенное удовлетворение в том, чтобы стрелять не в кого попало из этого серого, покорно бредущего по воде стада, а именно в того, которого заранее выбрал. В того, кому принадлежат эти самые быстрые и вороватые глаза на свете, глаза человека, который всегда с постоянной тревожной ненавистью следит за тобою, потому что ты отнял у него бритву «Золлингер». Но стоит только тебе чуть повернуться в его сторону, как эти глаза молниеносно уйдут в другую сторону, ты уже не увидишь их, а увидишь лишь коротко остриженный затылок. Едва ли не половину списка пораженных за побег мог бы я составить из тех, кого поймал на мушку у переправы через Маху. Именно там и, может быть, целясь в ту самую голову с длинным, как огурец, затылком, вдруг я понял, что никакого милосердия нет во мне, ни доброты, никакой любви к ближнему — ничего этого нет, не было. Все это еще только может быть. Возможно, будет, а пока это лишь приснилось несколько раз кому-то из бедных деревьев моего Леса.

Был всего один, Ему удалось прожить тридцать три года, — и Он оказался не духом дерева, на котором его распяли, и не человеком, а Гостем из космоса. Как это было, мы знаем: умер будто человек. Воскрес и вознесся в небо. Как это?.. Никогда мне со всем сонмом моих деревьев не узнать, что скрывалось в этом Человеке. Только Слово его осталось звучать в наших тугих, забытых кровавыми густками ушах... Он был не из нашего Леса. Он был моим гостем, но я плохо обошелся с Ним, и Он ушел из моего дома.

Как-то двое из моих деревьев, самые заурядные — из тех, что обычно длинными рядами растут вдоль южных дорог, — однажды сошли с места и отправились из Иерусалима в Еммаус. Шли эти двое не спеша, живо обсуждая последние новости округи, и среди них самой интересной была весть о том, что некие женщины из новой секты распятого в пятницу пророка хотели после субботы взять тело казненного из выдолбленной пещерки, но гроб сей оказался пуст, камень у входа отвален. И какие-то сверкающие, но вместе с тем и прозрачные, похожие на людей существа мелькнули перед ними и скрылись, а женщины испугались. Они прибежали в дом, где находились его ученики, и все им рассказали, а одна из женщин сообщила, что ей ясно послышались слова, произнесенные сверкающим существом: «Его нет здесь. Он воскрес». Убитые горем, глубоко разочарованные и подавленные, ученики пророка, количеством одиннадцать душ, не захотели ей поверить.

И только один из них, бородатый рыбак, вдруг вскочил с места и выбежал из дома, ничего никому не сказав. Буря слепой надежды гнала его вперед — словно ребенок, от слез не видящий под собою дороги, устремил он свой отчаянный бег в сторону серых скал, где была пещера с гробом его Учителя. Но придя на место и заглянув в каменное отверстие, он увидел там лишь валявшиеся тряпки, все испятнанные засохшей сукровицей. И ученик опустился на корточки и взвыл, сокрушая кулаком горячие камни вокруг. Он в этих грязных тряпках увидел всю дикую подлинность смерти и горевал о том, что никогда уже рядом не будет Учителя.

А те двое, следовавшие в Еммаус, за разговором как-то не заметили, что идут уже не вдвоем, а втроем — какой-то человек нагнал их по дороге и шел рядом с ними... С удивлением один из них, по имени Клеопа, оглянулся на ходу, разглядывая незнакомца, и лишь мельком отметил про себя благорасполагающую просветленность его лица.

— Хотелось бы знать, почтенные раввины, все ли благополучно на вашем пути? — заговорил первым неизвестный путник. — Хотелось бы знать идущему рядом с вами, о чем вы столь озабоченно беседуете? Почему лица у вас такие печальные?

— Незнакомец, идущий рядом, ты удивляешь меня своими вопросами, — несколько выпренно отвечал Клеопа, невысокий, полный, с черной бородою. — Разве ты идешь не из Иерусалима?

— Оттуда, почтенные раввины.

— Тогда как же ты можешь спрашивать, о чем мы говорим? Разве ты не слышал, что произошло за эти дни в этом городе?

— Что же там произошло?

— Странно! Ты кажешься человеком просвещенным, не купцом, не мытарем даже, упирающимся взглядом только в свои тюки или в свои деньги, — с упреком заговорил Клеопа, призывно оглядываясь на своего безмолвствующего товарища. — Твой вид говорит, что тебе не чужды интересы более высокие. Не правда ли, уважаемый Лука? — обратился он напрямую ко второму путнику.

Но тот предпочитал молчать, внимательно приглядываясь к незнакомцу. И пришлось Клеопе продолжать далее одному:

— Между тем ты не слышал о казни пророка из Назарета, мужа светлого, могущественного и достославного. Свою силу доказал он многими чудесами, но сильнее чудес было его пророческое слово. И все же начальники наши и первосвященники оказались еще сильнее, учти это, незнакомец. Они распяли на кресте Того, кто обещал спасение, и вот уже третий день как мы живем без него. Событие это имеет чрезвычайное значение для всего нашего народа, а ты даже ничего не знаешь об этом, господин.

— Не только для Израиля, досточтимый Клеопа, но и для народов Рима, Египта, Мадяна и Кедара, далеких от нас Лидии, и Мидии, и Елама, вплоть до Виффинии и Арарата — и до самых крайних пределов ойкумены возымеет значение это печальное событие, — высказался наконец спутник Клеопы, но снова умолк, потупив лысую голову; мерно шагал он по пыльной дороге, заложив руки за спину, подбрасывая коленями край длинного платья.

— Тем более! — воскликнул его товарищ. — Не знать о событиях подобного рода!.. К тому же говорят, что он воскрес из мертвых и жив! Правда, никто его воскресшим не видел.

— Как же не знать об этом, досточтимые раввины! — с улыбкою воскликнул незнакомец. — Об этом должно знать каждому, кто внимательно читал пророков.

И всю остальную дорогу, вплоть до поворота на Еммаус, незнакомец наизусть читал из Писания, начиная от Моисея, приводя те места из пророчеств, где говорилось о пришествии великого Мессии к людям. Два путника, оба хорошие начетчики, ревностно следили за ходом речи незнакомца, удивляясь его памяти и прозорливости в этом стремительном, небезопасном путешествии по ветхозаветным дебрям. Остановившись на развилке дорог, удивительный незнакомец завершил свою устную диссертацию, затем с улыбкою поклонился и хотел идти дальше, но тут Лука придержал его за рукав платья.

— Равви, уже поздно, солнце скоро закатится, — стеснительно проговорил он, худой, лысый, по-римски бритый, высокий, еще не старый человек. — Не знаю, куда ты держишь путь, но если тебе все равно надо будет где-то переночевать — то почему бы не остановиться у нас?

— Да, господин! Пойдемте к нам и отдохнете! — с искренним радушием присоединился Клеопа к своему товарищу.

— Что же, я пойду к вам, добрые люди, — согласился незнакомец.

И вскоре гость был в маленьком, но уютном доме. После омовения он, освеженный, блистая гладкой молодой кожей лица, возлег

у стола. Длинные локоны его, усы и борода, еще влажные, были тщательно расчесаны гребнем. Молодая толстощекая рабыня, сиенская египтянка, подававшая теплую воду, полотенца и гребни, споткнулась о ковер на полу и, вскрикнув испуганно, едва не упала, держа в руках тазик для омовения ног,— и упала бы, если бы гость не удержал ее за плечо. Смеясь, он вдруг дунул на ее низко склоненную голову и сказал:

— Чудесный голос! Ты будешь петь, дитя, и пение твое станет угодным Богу.

Широкоплечая и смуглая, как та сиенская земля, на которой она родилась, маленькая египтянка вдруг повела себя странно. Она опустилась на колени, все еще держа в руках начищенный бронзовый тазик, и безмолвно замерла перед гостем, не смея поднять глаза с влажными от проступивших слез ресницами.

— Будь благословенна, дочь, и ступай,— отпустил ее гость.

— Встань и иди, впредь постарайся быть осторожнее,— сказал ласково хозяин рабыне, и она наконец благополучно вышла.

Но как она была легка и бесшумна во все остальное время вечера! С каким гибким проворством ставила на стол блюда с белыми ягодами тута, с горою медовых груш, с какой непостижимой бережностью наливала из кувшина полные чаши густого молока буйволицы, внесла и поставила на середину стола низенькую плетенку со свежим хлебом.

И тогда, веселыми глазами посмотрев на нее, на сотрапезников, на жизнерадостный стол, гость взял в руки круглый пшеничный хлеб и сказал:

— Беру этот хлеб у Господа нашего, Отца небесного, и передаю его вам. Благословляю вас теплым духом хлеба, вкусом хлеба и добром хлеба. Да не будет зла на земле, а будет над нею воля Отца нашего.

И с этим он преломил хлеб в руках и протянул его нам — и в то же мгновение мы постигли, кто Он. Глаза наши открылись. Перед нами был Человек, а мы перед ним были — три земляные куклы. В глину наших фигурок вмазаны спутанные нитки жалких вожделений — и была полная неизвестность, преобразиться глиняному болвану в милосердное существо или нет.

Мы простерли к Нему руки, будто дождавшись знака, единый вопль вырвался из наших уст. Но не успела еще утвердиться новая весть в наших сердцах, как место, где Он находился, стало пусто. Гость, которого мы узнали, стал невидимым для нас. Лишь оставался в плетеной корзине хлеб, преломленный его руками...

Я никогда не смогу забыть то мгновение, когда в человеке, преломляющем хлеб, открылся мне Тот, кто мог быть спасением мира. И поэтому в каждом из людей, кто брал в руки испеченный хлеб, я высматривал, напряженно вглядываясь в него, знакомые черты своего небесного гостя. Так, странным образом, приглядываясь к людям во время их трапезы, я пытался снова и снова увидеть в разных людях образ Того, кто однажды был гостем в моем доме. Но еще ни разу после этого Он не появлялся.

...Сержант Обрезов добился-таки своего: всех подчинил своей воле и окончательно убедил в том, что, расстреливая пленных, имеет на то некое высшее соизволение. И даже начальник лагеря майор Алтухов, никаких приказов на сей счет не получавший, сделал вид, что ничего особенного не видит в действиях Обрезова, что убивающий сержант действует как лицо особенное, чрезвычайное. И сам Обрезов, тоже поверивший в свою исключительность, говорил при всяком удобном случае: «Ненавижу хвашистов! Если враг не сдастся, его уничтожают».

Время проходило, служба шла — и вдруг я ощутил в себе некое новое поползновение. До сих пор, ощущая по утрам, что мне сегодня

хочется убить, я свою охотку сбивал выстрелом из карабина. Домогаясь смерти намеченной жертвы, я оставался все же в некотором отдалении от нее. А теперь мне захотелось вплотную приблизиться к предмету исполнения моего желания, соединиться с ним — и чтобы никаких расстояний полета пули или даже дистанции, необходимой для выпада и укола штыком, не было между нами. То есть мне стало ясно, что я должен прикоснуться непосредственно ладонями, пальцами к той жизни, которую я сейчас беру во внимание.

Для начала я попробовал кастрировать служебного пса Япона, действуя немецкой бритвой «Золлингер», но пес залез рану и выжил, только потерял всякую злость, разучился лаять и растолстел, словно молочный теленок, пришлось его перевести на караульную службу. Стали пса на ночь подцеплять к длинной проволоке, натянутой вдоль запретки, однако Япон ложился на взрыхленную землю и мирно дрях на свежем воздухе до самого утра. Испытывая жестокую неудовлетворенность, я крепко поддавал носком сапога в раздутый бок пса, который при этом жалобно вякал, — но не мог же я его вторично кастрировать!

Так и жил я в смутных переживаниях, притом что внешняя жизнь моя проходила по-прежнему. Все меня боялись, над всем лагерем был мой суд, моя власть, я уже больше не мог жрать льносемя, крупу и все жировые продукты гансиков, нажрался. Все было у меня, всего я достиг, но без того, чтобы самому запустить руки в тело другого человека, как в кровавую рану пса Япона, — без этого облегчения мне не могло быть. Теперь стало невыносимым даже мое мирное увлечение цирюльным делом — когда я подбривал затылок или ровнял бакенбардину какому-нибудь товарищу по службе, то чего стоило удерживать мне от искушения погрузить острую сталь бритвы в чужую розовую шею! А ведь за такое дело под суд — это тебе не шея полудохлого фрица, недобитого фашиста, которого все равно ждет очередной березовый крест на лесном кладбище. Брить же или стричь фрицев я не мог по своему положению старшего сержанта войск охраны, это делал специально выделенный из их же числа парикмахер. Так что и надежды никакой не было мне когда-нибудь добраться до их горла с «Золлингером» в руке. Но резать своими руками хотелось нестерпимо. Я не знал, куда деваться от этого мучительного зуда в руках, рубил телячьи туши для нашего повара, кастрировал поросят и резал баранов в деревне, но все это было не то.

И однажды на исходе необычайно душного лета, когда все кругом только и говорили о скором закрытии спецлагеря, потому что пленные наконец-то почти все вымерли и лишь две-три тощие фигурки иногда шатались меж бараками, — однажды необыкновенная мертвятица тоска напала на меня.

Я смотрел на свои руки с ужасом и омерзением: словно исполняя не мою, а некую чужую волю, они торопливо вершили свою последнюю работу. Они собирали с нижних полок двухъярусных нар барака номер два клочья истлевшего черного сена, наваливали в один угол, туда же летело рваное тряпье, потерявшее свое первоначальное обличье.

Торопливые руки хватают наваленную горку тряпья — оттуда вдруг со стуком выпадает на дощатые нары громадный человеческий остов с круглым черепом, посреди которого клювиком торчит изогнутый узкий нос. Руки мои в тот миг, когда сгребали темные лохмотья, прикоснулись к чему-то горячему и гладкому. Это было нагим телом последнего узника спецлагеря Готлиба Шульмана, который и выпал из поднятой охапки гнилья на деревянные нары. Я выхватил коробок со спичками, непроизвольно погремел ими, встряхивая в воздухе, затем торопливо вынул одну спичку и, несколько раз чиркнув ею по коробку, зажег огонь.

Как странно! Подносы пламя к ошметку сена сбоку гнилой копы, перемешанной с концлагерной ветошью, я не думал о Шульмане,

который был совсем рядом, и он не думал обо мне, хотя и видел, наверное, что я делаю. Мы оба ни о чем не думали — за несколько секунд до того, как огненная плазма развевает атомы наших существ в своих стремительных тугих порывах. Думать больше было не о чем. Гнилая трава и обрывки облепленных лагерной грязью тряпок загораются нехотя, увеличение пламени происходит сначала не ввысь, а в стороны, и единого большого огня никак не получается — идет огонь в наступление не вскинутым знаменем, а мелкими красными флажками.

Но вот скопление более легких, чем воздух, газов, давно образовавшееся под плотной толевой кровлей барака, приходит в соприкосновение с огненной струйкой костерка, и не успел сержант Обрезов дойти до выхода из барака, а Шульман, свесивший голову через край нар, еще видел своего мучителя живым, толстым и здоровым, — газ мгновенно воспламенился, и во втором бараке стало как внутри взрывающейся бомбы.

Сержант превратился в частицу огня, даже не оглянувшись на того, кто был самой последней его жертвой, второй барак взрывом своим задел рядом стоящие бараки номер один и номер три — те вспыхнули почти одновременно, и мгновение спустя взорвался, словно лопнула бомба с жидким газом, барак усиленного режима под номером четыре. Брызги его огней и упали на окружающий лес, на помещения охраны, на управленческую «юрту», на собачьи будки за солдатской казармой. И на пространстве радиусом в километр сомкнулся в единое пламя и взметнулся к небу невероятной ярости огненный столп.

Горели зеленые деревья, дома, вышки для часовых, они сами и приклады их винтовок, столбы ограды и ржавая колючая проволока, ощерившиеся конвойные собаки и цепи на них, телеграфные столбы с проводами. С треском сгорел продуктово-фуражный склад, похожий на длинный блиндаж; вспыхнул, как сигнальный факел, скворечник на высоком шесте, прибитом к фронтому дома, где жил майор Алтухов. И сам дом полыхнул скорым пламенем, и майор сгорел, и майорша, и все вывешенное на длинных веревках солдатское белье возле бани, и тридцатиместная рубленая баня, и колодцы, и ротный свинарник с поросятами, столовая с кухней и со всеми ложками и мисками, одеяла, шинели, зимние шапки, портянки, конвойные тулупы, документация, учебное оружие и новенькие плакаты по гражданской обороне. Бегущие кошки, крысы в подвалах и на чердаках, солдатские письма, тяжелые телеги с бочками для подвоза воды, шайки банные и лавки, лыковые мочала и старые березовые веники, боеприпасы в деревянных ящиках и жестяных коробках, офицеры, старшины, сержанты и рядовой состав, гражданские люди Вертунов и Гладичкин — маркировщики леса, командированные в лагерь, и последний военнопленный Шульман — все это быстро сгорело, серым слоем золы покрыло землю, на которой вырос теперь молодой сосняк...

Горение это было не чем иным, как возвращением всего вышеназванного в свое первоначальное состояние. Медленно скользя внутри огня, я мог в извивах и сплетениях пламенных струй увидеть все формы всех существ и предметов, коим надлежит появиться на свете.

И вот я вижу неразрывность свою с Ними, имя которым — мириады, с Теми, которые боятся смерти и потому знают радость жизни. А я, одинокий Отец-Лес, не знаю смерти, и потому вечность моего существования безжизненна и тосклива.

Я могу побыть в положении любого из Них, неопределенным образом распространенным во времени, — но я побуду в нем и уйду, обожгу его изнутри своей тоской и покину. А он останется в пределах пространства, по которому размазан тонким слоем времени, — и потом время оное куда-то истает.

Я смотрю сейчас на тот внешний мир, который постепенно выделился из огненного мира, и вижу вблизи штук пять бородатых мужицких лиц. Носы их и скулы блестят, словно медные, а в глазах пляшут

яркие блики от пламени. Это горит дом лесного барина Николая Тураева, среди собравшихся зевак стоит и Липонтий Сапунов, купец, вочававший бочки с замазкой. Он примчался на пожар в тарантасе, с двумя работниками и кучею пожарного инвентаря — баграми, топорами и ведрами. Но, прибыв к горящему Колину Дому, увидел толпу спокойно стоящих мужиков, от которых и узнал, что тушить огонь не надо, они сами и подожгли дом. Зыркнув на них с изумлением, ненавистью и завистью, Липонтий стал в рядок с ними и, сердито двигая усами вверх-вниз, принялся созерцать картину чужой беды.

Его тарантас стоит недалеко, из огня мне видна гнедая лошадка, что прядает ушами и беспокойно вскидывает голову, косясь на пожар. Работники Сапунова привязали ее к дереву и, видимо, влились в толпу — смотреть на то, как лихо горит барский дом, принимать исторический урок: скоро и купцу Липонтию Сапунову будет такая же огненная потеха. Он понял это, оглянувшись на мужиков, и душа его взревела, она готова была зверем кинуться и разорвать в клочья этих молчаливо возбужденных крестьян из ближних деревень. Но они, распаленные грабежом, теперь сами были страшны и сильны — вздыбленная душа Липонтия пала на четвереньки и, поджав хвост, тихонько пятилась в кусты, прокралась к тарантасу — и, поспешно отвязав лошада, купец повел ее в поводу вон со двора горящей тураевской усадьбы.

Подалее того места, откуда ушла Липонтиева гнедая лошада, сидела кучкою на узлах притихшая семья помещика, а сам он, отойдя немного в сторону, был невнятно виден, с головы до колен освещенный багровым заревом пожара, — в длинном офицерском сюртуке с оборванными пуговицами, в старинной дворянской фуражке, но в смазных сапогах, которые сливались с черным фоном обступающего поляну леса. Испуганная Анисья сидела на сундуке, прижимая к себе младшенького, четырехлетнего Степашку, таращила глаза на огонь, на знакомых мужиков, среди которых рьяно подвизался и ее тесть Гурьян по прозвищу Ротастый. Он захапал больше других, утащил к лесу, в свою кучу, скатанные ковры, четырнадцать венских стульев, картины в рамах, подхватил вместе со вторым сыном, Ермилкой, огромный рояль «Беккер», но не мог никак проташить в дверь, пока Анисья не надоумила его вывинтить у рояля ножки.

Гурьян прибежал из деревни на Колин Дом раньше других, вроде бы предупредить барина и бывшую сноху: «Сход был, порешили тебя жечь, Миколай Миколаевич, — теперича всюду леворюция идет, жгут помещиков-ти. Мир так решил: мол, барин человек добрый, бяс-платно дрова нам давал из своего леса, его не тронем, а дом пожгем. Ишшо жана из нашенских — тебя вспомнили, Анисья: мол, жалко ее с детьми, цево там, пущай возьмет манатки, каки пожелает. А остальное, извиняй, барин, грабанем». И теперь, глядя на то, как возбужденный, потный Гурьян бегаёт мимо пожара то туда, то сюда, ощерив конского размера зубы, Анисья орошала свои щеки мелкими слезами ненависти и горя: вспоминала, как Гурьян, едва успев произнести грозное возвешение, тут же кинулся снимать со стены картины в золоченых, с резными выкрутасами, красивых рамах, а далее молча грабил, соревнуясь в усердии с самой хозяйкой, которая в лихорадочной спешке принялась набивать сундук и вязать узлы, собирая наиболее ценное и необходимое из погибающего скарба.

Внимательно рассмотрел я сквозь пламя одну маленькую деталь внешних событий: Анисьины дробные слезы на ее круглых щеках. И через эту деталь вдруг самым простым образом постиг смысл всего происходящего передо мною там, за пламенной стеной огня. Это была величайшая дозволенность тащить имущество, которое ранее считалось не твоим, и было дикое недоумение того, кто считал себя хозяином этого имущества, глядящего на то, как чужак с враждебной выгнутой спиной тащит враз шесть штук твоих венских стульев,

взгромоздив их пирамидою один над другим,— и вид тащителя при этом азартный, трудовой и усердный.

На следующий день по сожжению усадьбы Николая Николаевича мотышовские мужики сожгли и дом Андрея Николаевича, старинную родовую усадьбу Тураевку. К Андрею Николаевичу, пользовавшемуся большим почтением у крестьян, доброхоты приходили предупредить о предстоящем заранее, так что хозяин смог бы спасти и вывезти из усадьбы много добра. Но он до последнего часа не верил, что столь любящие его мужики способны совершить подлость. Тамара Евгеньевна была того же мнения. Так что, когда в сумерках зашли во двор мужики с двумя ведрами керосина, бездетные супруги ничего толком не успели взять и ушли из дома лишь с небольшим баульчиком.

А на следующее утро в село приехал на крестьянской подводе Николай с семьею и застал брата с невесткой сидящими на скамейке под липами перед кучей обгорелых бревен, во что превратилось родовое гнездо Тураевых. Пожарище еще курилось голубоватым кудрявым дымом, ветер сносил его к уцелевшей скамье, выкрашенной масляной зеленой краской, дым был едким, горьким, и казалось, что это от него опухли и стали совершенно красными глаза у Тамары Евгеньевны. Николай Николаевич оставил жену с детьми сидеть на заваленной узлами телеге, а сам подошел к скамейке и опустился на нее рядом с невесткой. Она почему-то с виноватым видом посмотрела на него и с привычной чопорностью, столь жалкой теперь, протянула ему руку и молвила:

— Слыханное ли дело, Николай... Вот сожгли и нас мужики.

— Все равно я народ не виню,— перебил жену Андрей, произнося слова безжизненным, деревянным голосом, сейчас особенно черствым и безжизненным.— Народ не виноват, это мы виноваты.

— Какой народ, братушка? — ответил Николай. — Грабители это, а не народ... Это мы с тобой теперь народ, потому что мы — обездоленные. Ведь так выходит по твоим понятиям? Народ — значит, обездоленные...

— Не будем спорить,— устало отмахнулся Андрей. — Чего стоят теперь наши споры. Революция пришла, новые силы всколыхнулись.

— Насилие пришло, новые грабители всколыхнулись,— ядовито вторил Николай. — И теперь можешь быть уверенным: народ твой возлюбленный испытает такое на своей шкуре,— и он ткнул кнутовищем в сторону семьи, испуганно замершей на телеге,— что не раз вспомнится нам и фараоново рабство и российская крепость. — И он показал при этом почему-то на пожарище. — Но теперь согласен с тобою: не время, брат, спорить.

И, однако, они тут же заспорили, вскочив с места и размахивая руками в виду своих жен, отупевших от горя. Андрей стоял на месте, выпятив грудь, Николай же сердито прохаживался перед ним туда и сюда, хлопал яблоневым кнутовищем по сапогу. Спорили обыкновенно, как должно было спорить русским людям, подверженным всяческой мыслительности. И мне, струйкою дыма вылетевшему из-под угольного бревна, было ясно, что в каждом из них предвижу я фатального неудачника, исконного идеалиста. Оба они заморгали часто, у обоих реснички увлажнились слезами, вызванными воздействием едкого дыма, но никто из них не обратил на то внимания.

И я уже с великим удивлением гляжу на своего брата Николая, этого лесного философа, который совсем ведь недавно ядовито клеймил в своем лесу, отмахиваясь от комаров, весь омерзительный механизм монархической государственности, пророчил близкое возмездие со стороны бесправных народных масс — и вдруг такая разгневанность и не симпатия по отношению к революционным надвинувшимся фактам. Неужели имущество, отнятое у тебя, стало

причиной столь быстрых переоценок, бросил я Николаю. А у самого глаза стали совсем мокрыми — выходило, что я плачу, произнося свои презрительные сентенции.

Но также и я невольно плакал, произнося свои слова презрения: «А у тебя, Андрюша, факт наглого ограбления имущества и сожжение дома, вот,— снова ткнул я кнутовищем в сторону дымок,— вызывает, вижу, великий приток новых либеральных сил». И мы оба одинаковыми движениями вытирали кулаком глаза и спешили высказать каждый свою правду, не зная того, что это, может быть, самый последний диспут свободных умов — завершение всех горячих либеральных речей в России, звучавших до того целое столетие. И это — несмотря на имевшуюся исправную жандармерию, смертную казнь через повешение и целые полки проворных филеров. Но пришло время, приканчивающее всякое свободное излияние мыслей путем механического уничтожения родников подобных мыслей — сколько бы миллионов их ни было в стране.

— Откуда все это известно тебе,— кричал я на него,— вот уж интересно! Ты, Николай, вещаешь, будто ветхозаветные пророки.

— Очень скоро никто даже шепотом не будет говорить такое, что я сейчас могу говорить тебе. Почти на сто лет один только «социализм» твой будет звучать, а другие истины окажутся не допущенными к жизни, и все инакомыслящие в России вымрут, как динозавры.

— Это было бы чудесно! — вновь крикнул я.

— Да, чудесно! — крикнул и я. — Но если бы только это было! А то ведь сплошной грабеж будет, и насилие, и обман тех, которых ты, ты, братец, называешь народом!

— И все же, Николай, я не стала бы на твоём месте высказываться столь категорично,— вмешалась тут моя жена Тамара. — Я понимаю твои чувства, нас ведь тоже подожгли, облили стены керосином и подожгли... Но все же я на стороне Андрея Николаича: народ тут ни при чем. Революция — это вам не просто грабеж, а народное мщение. И насчет «социализма» ты не смеешь так пошло распространяться — не ты страдал, это наши с Андрей Николаичем выстраданные убеждения! — И красноглазая моя жена завсхлипывала в платочек.

— Ах, Тamarочка, Тamarочка,— закричал я, с привычным раздражением набрасываясь на ее невыносимый пафос,— не надо столь выпендренно выражаться, прошу тебя! Ты попросту спроси у Николая: если тебе сейчас бы дали власть, стала бы твоя воля — ты бы этих мужиков в кнуты? В кандалы? В нагайки?

— Нет,— ответил я.

— Ты просто устал, Николай,— примирительно начала добрая Тамара Евгеньевна.

— Я бы их не в кнуты, не в кандалы,— перебил я невестку,— я бы сказал им: вот вам, братцы, берите себе власть. И делайте то, что вы должны сделать.

— Правильно, Николая! Вот видишь,— обернулась она ко мне,— он устал... Впрочем, и мы тоже, Андрей... Да как же это можно все-таки? Плеснули керосином на стену и... Боже мой!

— Погоди, Тamarочка! — придержал я жену. — Дай Николаю высказаться до конца. Ну и что, брат, что они должны будут сделать?

— Совсем не то, братушка, что ожидали от них целых сто лет такие вот доброты, как вы с Тamarочкой.

— То есть? Прошу быть конкретнее.

— Прощай, Андрюха... и вы, Тамара Евгеньевна,— вдруг разом сник, почувствовав огромную усталость, и с угрюмым видом отвернулся я от брата. — Перееду пока в Касимов. Думаю местечко приискать там по ветеринарной части... А вы куда?

— Коленька! Горе-то какое! Бездомными остались под старость лет,— запричитала наконец моя женушка, долго титаническими усилиями сдерживавшая сердце.

— Еще не знаю, Коля,— ответил я. — Может быть, в Москву. А пока нас Морозов пустил, будем жить у него.

— Прощайте,— повторил я.

— Да хранит вас Бог... мать Божья,— сквозь рыдания пролепетала Тамара и перекрестила Николая, повернулась в сторону телеги и осенила широким крестом сидящую на узлах Николаеву семью (однако и не подумала подойти к «кухарке», как всегда называла Анисью).

— Опять мы с тобою не успели договорить,— сказал я, провожая брата до телеги. — Так ведь и не сказал ты, в чем была, по-твоему, наша вина, грех наш? Чего же другого мы хотели, брат, кроме блага народного?

Пройдет лет пятьдесят или семьдесят, и весь мир увидит, чего же на самом деле хотели вы и они. Но к тому времени, к счастью, ни меня на свете не будет, ни тебя, Андрей Николаевич... С этим я взмахнул кнутом и стронул с места лошаадь,— а я осталась стоять на месте и смотрел вслед отъезжающей телеге и вспоминал потом слова брата, находясь в тюрьме, незадолго до своей смерти.

Я умер в возрасте шестидесяти семи лет в лазарете московской Бутырской тюрьмы, а меня смерть взяла раньше, настигла на улице, под стеною ремонтного дома, цоколь которого начали облицовывать голубоватыми плитками. Вокруг на земле валялись какие-то ржавые трубчатые узлы с вентилями, под головою торчали обломки кирпичей,— в моей же тюремной палате было чисто, и под головою у меня лежала набитая ватой подушка. Но каковы бы ни были наши смертные одры, в последний час каждый из нас мысленно обращался к брату,— и поэтому час смертный был у нас общим, несмотря на то, что один прожил на земле дольше, чем другой.

И в этот общий час приобщения к тому, что вечно и истинно, мы опять говорили друг с другом, опять поминали какие-то возвышенные материи, в то время как смерть, словно крыса, уже наполнила стащила нас в свою тесную нору. Разумеется, когда она окончательно затащила каждого, час нашей чудесной «свиданки» кончился, и далее, как говорится, тишина, в которой крыса грызет, грызет — с хрустом да так громко, что тому, кто слышит ее, уже не уснуть в эту ночь.

Я лежу под оббитой до красного кирпича цокольной стеною, широко разеваю рот и хочу вдохнуть воздух, но воздух, Андрюша, нейдет в грудь по опавшим путям воздушным. Я хриплю, дергаюсь, пытаюсь пошире развернуть грудную клетку, хватануть воздуху, и только теперь, в эту беспомощную свою минуту, начинаю постигать всю красоту твоих мечтаний, брат. Да ведь социальная справедливость — это чтобы дышать, дышать можно было бы полной грудью, социализм же твой, Андрюша, — это беспредельный океан самого свежего, самого чистого воздуха, дышать которым могут равноправно все! Но где взять этого воздуха, брат? Его нет, и у меня темнеет в глазах, в висках стучат молоты,— и вдруг ты идешь ко мне, уже давно идешь и что-то такое еще издали говоришь, жестикулируя, и лет тебе тридцать пять — сорок с виду.

Что я говорю тебе? А рассказываю, Коля, как случилось со мною нечто странное в жизни, случилось два года спустя после смерти моей Тamarочки — странное и страшное, наверное, потому что за мой поступок меня до полусмерти избили и посадили в тюрьму. Итак, умерла Тamarочка, я остался один в своей коммунальной комнате. У соседей было двое детей, молодые соседи были, вдруг заболевает хозяйка и попадает в больницу, муж на работе, мелкий чиновник, младшего ребенка отдают в недельные ясли, старшая де-

вочка пошла в школу, ее надо после занятий кормить дома обедом — и я соседу предложил свою помощь. А что? Я мог готовить и кормить девочку, она была хорошенькая, полненькая, послушная, со своими затаенными фантазиями, которым отдавалась где-нибудь в укромном уголке, что-то шепотом говоря себе, покачивая головкою и водя руками в воздухе.

Я стал готовить обеды и кормить ее за небольшую плату, рубль в день, отец ее был доволен, мне нашлась добрая забота, дело пошло хорошо. И вдруг однажды я понял, чего мне хочется... Я умираю, Коля, в полной ясности сознания, у меня рак желудка, прожита длинная страшная жизнь, я на семь лет пережил тебя, брат. Вот и скажу тебе: мне захотелось, и однажды я сделал это, а потом продолжал делать, благо девочка молчала. Но как-то раз отец ее, вернувшись ненароком домой, застал меня совершенно голым перед девочкой. Он был молод, силен, к тому же я вовсе и не пытался защищаться, так что избил он меня крепко, ох, крепко, меня вынуждены были отвезти в больницу. Там я постепенно выздоровел, после чего, Коленька, и предстал перед судом, — но как только после суда поместили меня в пересыльную тюрьму, то стал я сильно слабеть, меня снова положили в больницу, и обнаружился рак желудка. В общем, все какая-то дрянь, разве так я предполагал закончить свою жизнь?

Женившись, я за всю совместную жизнь никогда не видел жену голой, а только в ее заношенных платьях и костюмах и в этих ужасных ночных рубашках до пят, с тесемочками завязок на груди. Видел же я нагую женщину только один раз в жизни, это была Лариса Петровна Зайончковская. Нет, она не любила меня, да и как могла бы полюбить носатого, скучного и некрасивого человека эта холеная, умная красавица? Муж — офицер, петербуржец, герой Порт-Артура, носил пышную бороду надвое, а-ля адмирал Макаров, — зачем же она мне отдалась однажды осенней ночью? Я приехал к ней с визитом, дело обыкновенное, она же сказалась больной и попросила меня съездить к соседям, к доктору Марину, за астматическими палочками, я тотчас же повернулся и поехал. И через час привез эти палочки... В доме никого не было, она же кликнула из спальни, велела пройти к ней.

Когда я едва не умер от этого наслаждения, от этой красоты и неожиданного счастья, никогда не подозревавший о такой полноценности и силе нежного женского тела, Зайончковская вдруг проговорила: «Но какой же вы скорый, однако» — и, отодвинувшись от меня, повернулась лицом к стене. А я лежал на краешке постели и не знал, Коляня, что же мне дальше делать, однако Лариса Петровна спокойным и ласковым голосом попросила меня, чтобы я оделся и сходил бы в людскую за горничной Любашей. Больше от нее ничего никогда мне не было, а я, если помнишь, в те дни загулял с наезжими охотниками из Касимова, и мы пропьянствовали от Покрова чуть ли не до Михайлова дня.

Брат, скажи мне в этот общий для обоих час: зачем мы с тобой прожили со столь непостижимой неловкостью свои жизни? Но ведь хотелось же каждому из нас провести эту жизнь как миссию великого предназначения, и одному представлялась эта миссия в делах суховатой, деловитой любви к народу, а другому виделась дорога в лесу, которая приведет того, кто напряженно мыслит, идя по ней, в страну бессмертных, совершенно не похожую на Россию, Европу или даже Америку.

Но послушай, брат, — Ларисе Петровне, повернувшейся ко мне розовыми шарами своих ягодиц, а лицом к стене, где висел роскошный персидский ковер, — Зайончковской не пришлось заглянуть в мои глаза и приметить в них искаженную улыбочку неприглядного лицемерия. Мне хотелось, чтобы она оглянулась на меня, Коля, но этого не произошло, а я не осмелился сам призвать ее. И далее всю

жизнь мне затаенно хотелось только этого одного, и не может человек, несущий в себе столь гнетущее желание, приносить пользу обществу, не могло, брат мой Коля, все то, что делал я в девятьсот втором году в земстве, принести для крестьян уезда пользу, ежели в тридцать шестом году, в самый разгар сталинизма, я впотаи демонстрировал маленькой девочке свои обнаженные срамные части. И теперь, когда я умираю в тюремной больнице, знай: страдания мои велики, мне горько осознавать, что вся долгая, долгая, мучительная жизнь моя была предназначена для осуществления этой пакости, и я теперь не знаю не только того, для чего надо было мне жить, но и того, для чего теперь надо умирать в таких тяжких мучениях. Только тебе могу сказать, потому что ты уже давно умер: то, что произошло со мною, может случиться и с каждым. И может статься, что за всеми декларациями какой-нибудь новой империи добра таится, Коленька, всего лишь постыдная, мерзкая страстишка какого-нибудь пакостного старика.

Мир справедливости не может быть построен, если его будут возводить такие же мелкие стратотерпцы, как я, и ты имел в виду, наверное, это, когда говорил, помнишь, что я все-таки хочу чего-то другого, а не социального рая для своего народа. Ты был прав, брат Николай: именно такие, как я, стали рьяными строителями Вавилонской башни, поэтому она должна была рухнуть.

А что было бы, брат Андрей, если б Лариса Зайончковская в то мгновение, когда решалась вся твоя судьба, оглянулась на тебя? Галки слетели бы со своих ветел, окружающих старинный помещичий дом с колоннами, дикие сизари слетели б с колокольни церкви и закружились над крышами, забрежали в деревне собаки, и черный, косматый бородач Агапён Курин, ехавший на обшарпанной, в навозе и глине телеге, отпрыгнул бы в прохладный воздух горячим сивушным облачком да подпрыгнул на заднице, взмахнув локтями, когда колесо тележное с маху наскочило на придорожный камень... Что было бы, Андрей Николаевич, если бы башни наших человеческих судеб возводились по законам светлого счастья, предначертанным космическими небесами?

Агапён Курин тогда не забил бы железным шкворнем до смерти своего кума, горбоносого озорника и вора Гришку, галки по-прежнему летали бы над ветлами, и дикие голуби водились под крышей колокольни. Маленький мальчик, нечаянно забежавший в пустой храм, увидел бы Хозяина сего дома, и Тот не стал бы наказывать ребенка за его дерзость. И можно было успокоиться на том, что Вера Кузьминична Козулина, в девичестве Ходарева, умерла не в коридоре переполненного корпуса Боткинской больницы — подобранная милицейским патрулем в Хлебном переулке, в подворотне дома № 17, — а скончалась на руках человека, который всю свою жизнь любил ее как богиню. И бывший Николай Николаевич Тураев, ныне Никто, вовсе не оставил ее валяться в подворотне (ушел, даже не оглянувшись) — нет, он по рассеянности вначале не заметил, правда, отсутствия рядом привычной своей тени, неизменной спутницы по московским бродяжничьим кочевьям, но вскоре хватился бы ее и отправился назад. Филиппинский же русский богач не вернулся бы из Европы на Филиппины, а поехал вместе с новой женою-певицей к себе на родину, в мещерский лесной край. Там он уже не застал бы в живых ни родителей, ни своего единственного брата, но зато увиделся бы с племянницей Маришей, которая еще не вышла замуж, занималась извозом вместе с огромной Царь-бабой, и был у Мариши замечательный крепенький мерин сивой масти по кличке Хомка.

В смертный час каждого из братьев Тураевых, Андрея и Николая, в смертный час их сестрицы Лидии, а также внука Николаева Глеба — каждому из них мгновенно и ярко представилось одно и то же. Огромная раздвоенная сосна с лирообразным стволом золо-

тистого цвета, стоящая на краю лесной поляны. Идет к сосне человек, до пояса сокрытый в траве. Не доходя до дерева шагов двадцати, он вдруг останавливается и оборачивается лицом к тому, кто сейчас со своего смертного одра внимательно следит за ним. И никому из Тураевых, так или иначе связанных духовными узами и с этой лесной поляною и с лировидной сосною, неизвестен облик представшего путника. Но каждый перед смертной минутою словно начинал угадывать в нем черты где-то однажды встреченного уже человека, и встреча та, оказывается, имела огромное и прекрасное значение.

У Лидии Николаевны, лежавшей в глубоком шоке после кровавого излияния в мозг, вспыхнула и стала быстро разгораться в душе надежда, что человек, оглянувшийся на нее поверх шатких травяных верхушек, несет ей чрезвычайно важную вещь или даже верные документы относительно того, что жизнь ее удивительно задалась и небывалым счастьем, мало кем из людей испытанным, отмечена она, и об этом записано в казенных бумагах, принесенных к двойной сосне малоизвестным путником, напоминающим углежога и лесного духовика Алексашку Жукова, который ездил на свою духовую-скипидарку по той же лесной дороге, по которой часто езживала на чистенькой чернолаковой бричке и Лидия Николаевна к своему брату Николаю в его лесное подворье.

Однажды они встретились-таки возле самой двойной сосны — углежог еще издали свернул пару лошадей с дороги, приостановил свою длинную фуру со скипидарными и дегтярными бочками под деревом, а сам, оставаясь сидеть на передке воза, черной рукою сдерживая с головы немыслимо закапанный смолою и дегтем картуз и неподвижными, непонятными, словно у зверя, темными глазами уставился на барыню, которая с приветливой улыбкой на цветущем лице проезжала мимо. Она кивнула ему, на миг обернувшись в его сторону, — и поверх его согбенных плеч и лохматой головы увидела две мощные излучины стволов, взлетающих вверх как само радостное устремление жизни к небу.

А косматый углежог Алексашка, на минуту остолбеневший при виде барыни Тураевой, как бы почувствовал тогда лесной провидческой душою печальную и роковую общность свою с этой женщиной. Она лет через десять, а он лет через двадцать, считая с этого дня, — оба скончаются одинаковым образом. У нее мужики сожгут усадьбу — скотный двор, сарай и дом под розовой черепицей вспыхнут, как костры, черепица страшно затрещит в огненных вихрях, и у хозяйки, павшей за смертью, отнимется язык, парализует левую руку и ногу, и она умрет через два дня. Алексашку Жукова удар хватит после того, как ему объявят в сельсовете, что он подлежит раскулачиванию, — и, путаясь в длинном дерюжном фартуке, в котором он приехал из леса, прямо от духовой кучи, мужик вышел из казенной избы на крыльцо и тут же свалился с ног долой... Он-то и привиделся, наверное, Лидии Николаевне перед ее смертью — весь прокопченный, закапанный смолою, протягивающий черную руку к стволу дерева.

У всех троих Тураевых, у Андрея, Николая и сестры их Лидии, рожденных в прошлом веке, предсмертное видение завершалось тем, что посланец, шагая к раздвоенной сосне, так до нее и не добирался. Лидия Николаевна скончалась в доме лесника Власьева, лежа на соломенном тюфяке, — в тот миг, когда посланец, несущий к любимому дереву Отца-Леса радостную грамоту, вдруг зашпешил и еще издали протянул вперед руку, словно догадавшись, что дерева так и не успеет коснуться. И вот из глубины огня, наполнившего розовый дом под черепичной крышей, в яростном грохоте лопающейся в огне черепицы, в мечущихся синих лентах раскаленных газов, вытекающих из огневых недр пожара, перед Лидией Николаевной возникло на

одно мгновение закопченное лицо посланца, столь похожее на лицо углежога, которого видела она всего несколько раз в своей жизни...

А теперь я, Глеб Тураев, идущий к той же самой знаменитой сосне — все еще идущий, с трудом пробираясь по высокой некошенной траве, и в руках у меня старенькая двустволка, которую я взял в доме егеря Власьева...

Я уехал из колоссального Города, который был системой, неким огромным организмом налаженных систем для существования многомиллионного народа, — вначале поехал в метро, затем прибыл к автовокзалу и сел в «Икарус», — и метро и автобус также были системами по перемещению людей в пространстве с места на место. И каждый из нас, пользующийся транспортом, также был самостоятельной системой в мировом пространстве. Громадный Город, энергично выплюнувший всех нас, пассажиров, в железном автобусе по направлению Ново-Рязанского шоссе, буйно функционировал, хмуровато дымял трубами, глухо грохотал и пульсировал, постепенно затихая позади едущей машины.

Я знал, что Город будет и дальше греметь, налаженно колыхаться и отщелкивать колесиками, обеспечивая жизнеспособность миллионов людей. Я только не знал, какая жизнь должна быть обеспечена гигантской работой этой Машины, — качество жизни, которое должно было обрести каждое человеческое существование, нельзя было определить. И со всем тем, что делала со мною Машина, я не был согласен, и все то, что осталось позади, я покинул не только без малейшего сожаления, но с содроганием ужаса и отвращения.

Метро будет, как и всегда, проглатывать и переносить по своим бетонным внутренностям человеческие толпы; глубокой ночью оно останется пустым и неподвижным, но это будет не пустота сна или неподвижность отдыха — ночным перебоем ритма выразится всего лишь неизменность раз и навсегда созданной системы, ее постоянная сущность, метафизическая константа. И только человек как система может быть изменен внутри себя — лишь только он в каждом своем случае, самостоятельно изменяясь, способен привнести новое в замыслы Великого Кибернетика.

Начался путь — куда-нибудь да выведет. Пока вывел к огромным вырубкам-пустотам на месте прежних лесов, что сведены руками узников, которые были сначала вооружены простыми топорами и пилами, затем механическими бензопилами. Обезглавленные и освобожденные от сучьев стволы вывозили трелевочными тракторами к огромным штабелям, где мертвые деревья лежали, дожидаясь окончания зимы. Весною бревна сбрасывали в реки и сплавляли до моря, где их ждали огромные плавучие лесовозы. Дальнейшая судьба выловленных из воды лесин была самой надежной: все они аккуратным образом попадали на рамные пилы, где из выровненных кусков древесных тел выпиливали доски, деловой тес и разного калибра строительный брус.

Но многие из деревьев, что были сброшены в реку для сплава, до моря так и не доплывали, они быстрее других набухали водою и постепенно тонули, погружаясь одним концом вниз, — так и влеклись по течению, стоя в глубине реки и покачиваясь, словно призраки. И это были самые бессмысленные жертвы из всех неисчислимых жертв того последнего Лесоповала, который я помню. В тусклой мгле подводного мира, роковым образом движущегося в одну лишь сторону, зыбкая невесомость и глубочайшая апатия порождали ощущение жизни, неотличимое от небытия. И нас, подобных утопленников, потерявших смысл собственного существования, скопилось неисчислимая толпа, которая двигалась призрачной процессией в глубине загнивающей воды. Еще больше было тех, что лежали беспорядочными завалами на дне реки, образуя огромные залежи будущего го-

рючего материала для новых эр существования — которые окажутся, может быть, более удачными, чем эта, где я потонул с отрезанной вершиной и отрубленными сучьями и лег на дно реки с едкой горечью недоумения в душе. Для чего мне надо было метаться в грозу, стенать в бурю, раскачиваться и плакать в пургу, если огонь грядущего времени станет итогом всех моих былых страстей и усилий? Каждое дерево Леса, сгоревшее в виде полена или куска каменного угля, — это очередное мое поражение, повторная тщета одинокого упования. Напрасным был всякий случай ухода моего из огня и напрасным — весь путь, совершенный мною вне огня, ибо он был путем возвращения обратно в огонь.

Пусть бы неизменно светили прекрасные звезды на фоне бархатной черноты космоса — зачем же путь человеческий? Тысячи раз задавал я себе этот вопрос, выглядывая во внешний прохладный земной мир из пламени возведенных человеческими руками разновеликих огненных строений, и не находил ответа. Однажды я, выглянув из огненной головки только что начавшегося взрыва девятиметровой бомбы, мгновенным взором окинул большое очеловеченное пространство, которое должно быть уничтожено, — и оно показалось мне столь прекрасным, это существующее пространство ноосферы, словно и впрямь предстала передо мною картина безмятежного рая! А было-то всего: зеленые луга Южной Саксонии, хутор с крышами из старинной черепицы... Они теперь не имеют названий, эти леса и равнины земные, они промелькнули в моих глазах и навсегда исчезнут под таинственной мантией времени, которая имеет разные цвета: то бархатно-черная, как пустота осенних ночей, то жемчужно-голубая, с синими размывами далеких лесов, как в августовский грибной день. Накрытый этой прозрачной мантией, мир Земли для меня остается безмятным, бессловесным и неприкосновенным, как отражение небесных звезд в земной воде...

Так где же стоит сосна о двух изогнутых, как рога лиры, золотистых стволах, доберусь ли до нее и зачем это мне надо — непременно прийти к ней и дотронуться рукою до ствола? Я все еще еду, трясусь на сиденье в большом «Икарусе», и только что я видел, выглянув из огненной головки взрывающейся ядерной бомбы, как сгорела внизу, среди зеленых лугов, крошечная немецкая деревушка. Но вполне возможно, что это видел в последний миг своей жизни Готлиб Шульман, находящийся внутри вспыхнувшего лагерного барака, или всплыла она в воздухе перед глазами деревенского учителя Неквасова, когда он усталой ногою наступил как раз на то место, где сгорел Шульман, шипя с треском и распадаясь на отдельные огненные лоскутья.

Ко мне рядом подсел на свободное место человек с длинным кривым носом, с депутатским значком на пиджаке, заговорил со мной — и все, что минутой раньше подавляло и мучило меня, исчезло куда-то. Пришло же чувство совсем другого порядка: Василием Петровичем Неквасовым назывался этот самый распространенный среди людей вид одиночества. Он считал себя атеистом, человеком, свободным от всяких суеверий, — но взамен отвергнутого Бога Василий Петрович поклонялся разным фетишам, вроде депутатского значка или партийного билета. Мы с ним познакомились, я представился Глебом Степановичем Тураевым — и вскоре замолчали, не зная, о чем говорить, глядя в окно автобуса на убегающие назад картины лесного края.

Минут через десять оба мы погибнем при страшной дорожной аварии, — а я, называвший себя Глебом Тураевым, отделюсь от бездыханного тела и за те несколько секунд странной тишины, что наступят вслед за грохотом катастрофы, взлечу над полями, над шоссеиной дорогою, над зеленым мешерским лесом. Мне захочется побыть некоторое время вне пределов чьей-либо судьбы, вспорхнув

пушинкою над клочкотанием шумных и бесплодных человеческих усилий.

Итак, я Пушинка Летнего Дня, высоко над землею вознес меня теплый воздушный поток, я лечу в пространстве между белыми облаками и вершинами деревьев. Сверху видна простирающаяся через лес голубая асфальтированная дорога, по ней букашками ползут машины. Недалеко от блестящей, как сухое стекло, извилистой реки, возле моста этих разноцветных букашек собралось уже довольно много. Они остановились у сброшенных с ленты шоссе двух длинных ящиков — это исковерканные кузова «Икаруса» и «Колхиды».

С той высоты, на которой я кружусь, подхваченный восходящими потоками, мне уже не различить, как выглядит человеческая смерть. Движение и суeta людей, что собрались у разбитых машин, были проявлением жизни — смерть же ничем себя не проявляла. Ясно видно было каждое деревце, кустик, каждую травинку, сверкающие крыши автомобилей, бегущих людей, окруженного лопухами зайца.

Я над разомлевшими лесами и нагретыми полями — и все живое, что было во мне, вокруг меня, не могло никуда исчезнуть или закончиться. Живое там, внизу, на земле, лишь сменяло друг друга, смерти никакой не было. Смерть была выдумкой людей. Того, что они называли этим словом, не существовало.

Была погибель жизни — не уничтожающая и не заканчивающая, а переводящая жизнь в другое состояние. Лежало на земле окровавленное тело, в котором замерло всякое движение, — но я, дотеле называвший себя Глебом Тураевым, уже летал Пушинкой Летнего Дня возле белоснежных облаков. И мне было грустно, грустно видеть разбитый сосуд человеческой жизни, столь тщательно ранее оберегавшийся, хрупкий и неповторимый.

В каждом из погибших также был я, но все, что неподвластно гибели, сейчас снова со мною, во мне. Я пролетаю над ними — рядом с Тураевым лежит Неквасов, возле него — Иванов...

Когда влобовую столкнулись «Икарус» с тяжелым грузовиком «Колхида», погибло шестнадцать человек. Все они, истекающие кровью, тихо замерли в опрокинутом, отброшенном на обочину автобусе — среди криков и стонов раненых пассажиров.

У всех погибших, включая обоих шоферов автобуса и водителя «Колхиды», внезапная гибель не выявила в застывших чертах признаков смятения или страха. Словно они смогли узнать, может быть, перед самой гибелью, что каждый из них — всего лишь странствующий Никто, обязанный вернуться в родное Ничто, — поэтому краткий миг своей гибели встретили с надлежащим спокойствием. Застыв в неподвижности, все они, казалось, слушают негромкую музыку, проникающую сквозь миры.

Уложенные на зеленую траву в ряд, испачканные кровью, они словно смотрели на меня снизу вверх и ждали моих слов. Но мне нечего было им сказать. Ведь я был одним из них и, лежа с разбитой головою на земле, находился в их неподвижном строю. И раньше звали меня Тураевым, Неквасовым, Ивановым — теперь же я стал самим собою, и подлинное имя мое — Никто.

Смерти нет, потому что существую я, — там, где я, смерти не может быть. Гибель деревьев моего Леса лишь искажает сознание человека: бессмертие Леса не могло бы составиться из отдельных смертей.

И если, угрожая смертью, именем ее творится всякое человеческое беззаконие, то как разгадать причину общечеловеческого безумия? Почему от них, обладающих бессмертием, исходит столь противоестественный страх смерти, более никому не ведомый? Истребление Леса, поругание Деметры, попытки самоубийства через войны — человечество сошло с ума не от ужаса перед тем, что на-

творило. Нет, это произошло гораздо раньше, и оно сошло с ума потому, что сошло с ума.

Итак, все уже заготовлено, припасено, собрано. Деметру супружески развели с крестьянином, ее теперь лишь механически насиловали, начинали ей лоно ядовитой химией, заставляли рожать экстенсивным методом, интенсивным. Были превращены в ядовитые помои еще не все озера, а в морях оставалось еще довольно много чистой воды. На Западе не весь химический воздух был кондиционирован, и на Востоке не все великие реки повернуты вспять, вздымались на них супергигантские плотины, столь же нелепо грандиозные, как египетские пирамиды, как китайская стена. Еще выглядела издали Земля зеленою, молодою, привлекательною...

Но начались бесчисленные самоубийства женщин по всем племенам и странам. Деметра бросалась под поезда и машины, выпрыгивала из окон небоскребов, кидалась в колодцы, запутывалась в петлях бесчисленных удавок. Она использовала для неистовой битвы с собственной жизнью яды и лекарства, наркотики, бритвы, грязные шприцы. В песчаных пустынях Средней Азии, там, где на бескрайних полях, залитых насильственной водою, тело Деметры разбедала мучительная соль, начались самосожжения совсем юных женщин. Они обливали свои темноволосые головы бензином, они обматывали эти головы старыми халатами, и поджигали себя, и, тихо потрескивая, сгорали в огне, чтобы только не жить. Не хотела больше Деметра выносить человеческое сумасшествие, омерзели ей насильники.

Вырвался из вулканической темницы своей Горыныч Змей, пожирающий металлы, и вновь распростер над землю свои перепончатые крыла. Он летел над государствами разных идеологий и народов, разделенными прихотливой линией границ, совершенно не понимая, что такое границы, но внимательно присматриваясь к положению дел на планете и полагая, что они находятся в превосходном состоянии. Металла было вынато из земли, выплавлено в огне и затем выставлено для удобного пожирания Змеем Горынычем в таком количестве, что ему уж не о чем было беспокоиться.

Вот он, от тучности своей уже неспособный летать, пополз по раздольным российским полям, подбирая ржавое железо и сталь на огромных кладбищах сельскохозяйственной техники. Теперь он мирно пасется, видимый издали как громадный холм, неспешно продвигающийся вдоль горизонта. Но придет время, когда Змей, сожрав все старые машины, брошенные на полях, покосившиеся силосные башни, расшатанные мосты, старые рельсы железных дорог, сгоревшие атомные станции, заржавелые линии электропередач,— Змей Горыныч станет неохватной для человеческого взора горюю металлургических мускулов. И от тяжести его нарушится равномерное вращение Земли вокруг своей оси, и соскочит она со своей орбиты, и, неотвратимо приблизившись к Солнцу, сверзится наконец в его клокочущий океан...

Со стороны, чуть сверху, я вижу, как к отброшенному с дороги, опрокинутому «Икарусу» подъезжает машина, золотистого цвета «Нива», останавливается и из нее выходит, приглаживая руками седые волосы, небольшого роста бородатый человек. Тут же следом подъезжают и другие машины — люди поспешно и как-то настороженно, словно боясь нападения, приближаются к лежащему на боку автобусу... Затем я вижу всю безрадостную картину извлечения трупов из опрокинутой машины; вижу, как через разбитое переднее окно вытаскивают обмякшее тело с раздавленной головою, со слившимися, в крови волосами...

Золотистая «Нива» далее катит по Егорьевскому шоссе, приближаясь к Спас-Клепикам, машиною правит Глеб Тураев,— и мы дол-

жны полагать, что он вовсе не погиб при лобовом столкновении автобуса с тяжелым грузовиком. Так что же выходит, господа, задаюсь я риторическим вопросом, — значит, все происходило в воображении этого человека? Тяжкая ненависть к Городу с его дымом, гамом и дьявольством; бегство из дома, знакомство в автобусе с Неквасовым... Но ведь с деревенским учителем Глеб Степанович знаком уже много лет и уехал нынче из Города на своей машине, а не в автобусе («Икарус» он обогнал где-то уже за Егорьевском) — последствия же страшной аварии, случившейся несколько дней назад, видел Глеб возле моста через речку Фрол...

Выходит, и картину собственной гибели представил он в воображении, и свидание со своим трупом, и то, как душа его, покинув тело с раздавленной головою, взмыла над полями и лесами... Сложно мне разобраться во всем фантазмагорическом хаосе его видений, бреда, воспоминаний и уяснить, что есть истина, а что воображение и мечта. Даже в таких ясных, казалось бы, положениях, как смерть или бессмертие, меня этот человек с двойственной душой заводит в тупик — и я, следуя ходу его мысли, сегодня смерть считаю чисто абстрактным понятием, а завтра, наоборот, — неоспоримым доказательством подлинности своего существования.

Знакомое шоссе подводит навстречу деревянные, крытые шифером и железом поселки; вдалеке, слева от дороги, промелькнули светлые одинаковые коробки многоэтажных домов: случайный авангард урбанизма; но далее снова пошла русская одноэтажная провинция, составленная из бревен, под серым шифером и буровато-красным суриком, которым уже лет сто красят здесь железные крыши. В свойствах этой краски, сурика натурального, есть что-то очень схожее с людской жизнью: столь же груба на вид и далека от всяческого изящества, но прочна под воздействием солнца, дождей и унылых туманов, вдруг накрывающих мещерские просторы своей непроницаемой тоскою. Да, неказиста эта суриковая буро-красная житуха, но может продлиться благополучно лет семьдесят, если время от времени подновлять на крышах краску. Сонлива, тиха и сладка эта провинциальная жизнь, затянутая в пелены осенних и зимних туманов. Какие глухие, воспитательные тупики бытия образуются в забытых Богом и начальством селениях, какая здесь даль и свобода от всех несчастных, возвышенных, мучительных проблем века! О, милосердная дорога, ты уже подвела к самым колесам моей машины серый рабочий поселок Туму. В его широкой панораме самым разительным знаком является черная труба асфальтового завода, изрыгающая в небо клубы черного дыма.

А ехать предстоит дальше — проскочив длинную, извилистую тумскую улицу, мчатся пустынным шоссе мимо просторных летних полей, тонущих в нежной пелене перламутровой дымки. Она там, у голубых полосок леса, делается особенно белесой, текучей и нежной. О, эта особенность пространства и света русских полей — жемчужная дымка, в которой меркнут дали! Словно вековечный смог скорби, образовавшийся над кроткими просторами. Именно эта странная прозрачная туманность, коей зыбится видимая глубина России, не дает спокойно жить и мирно умереть русским людям, оказавшимся по воле судьбы вдали от нее. Находясь в дивных краях иных материков, они ищут невольно вокруг — и нигде не находят этой сизой дымки особенного воздуха, которая есть не что иное, как «лесная боль полей»¹.

Филиппинский богатый негоциант был милосердно отпущен ангелом смерти на минуту — полетать чибисом над тощим кусочком супесчаной земли, которая когда-то принадлежала ему. Но чибис не узнал своего поля, не внял материнскому зову измученной Деметры.

¹ Сказано поэтом Александром Орловым.

Настойчиво помня об одной всего лишь минуте свободы, душа тем не менее делала вид, что не замечает грозных знаков ангела и горестных призывов родной земли, умолявшей хоть на миг прикоснуться к ней. С пронзительными стенаниями чибис кружил над полем, и в крике его совсем не было слов, как нет их в радостных воплях бегущего ребенка, подхваченного на широком лугу внезапным вдохновением. Душа-чибис, луговая птица с длинным хохолком, увидела наконец вблизи себя ту сизоватую нежную дымку, в которой тонули ностальгические дали родины.

И с упоенной энергией полета врезаясь в это жемчужное облако, птица видела вокруг сверкающие блески солнца, и каждая световая капля могла быть родственной душой, которую душа-чибис утратила в далеком прошлом. Окруженная неисчислимым роем искрящихся вспышек, она летела над зеленым полем, которое было разделено ровной полосой асфальтированного шоссе, и по синевато-серой дороге в ту же сторону, куда летела птица, мчался чистенький золотистый автомобиль. Отмеченный милостью доброй смерти, филиппинский богач исходил на смертном одре пронзительными криками чибиса, делясь своей детской радостью со всем остающимся на земле миром людей.

«Пивик кричит,— говорила молоденькая Марина, племянница филиппинца, своей старшей товарке по извозу Царь-бабе.— Пивик кричит, деток ищет. Детки в траве разбежались». И вот, оказывается, пивики-то кричали не потому, что детки потерялись. «Чи вы? Чи вы?» — звали они всех тех, которые были когда-то на земле и которых не стало. Чи вы были, почему вас не стало, куда вы подевались — вот самые простые вопросы, которые и задавала вопленица-душа, обращаясь к высокому небу и просторной земле.

— Кума, ты здесь ли? — первым делом спросила Марина, когда ее, семидесятивосьмилетней покойницей, привезли наконец хоронить на большое деревенское кладбище.

Гроб сняли с кузова грузовика и утвердили на двух крашенных табуретках, сразу же как вошли в ворота. Люди отправились рыть могилу в песчаной земле, работенка была не трудная,— все отошло от гроба и оставили Марину одну, вот и не помешал никто ей поговорить с теми, кто раньше ее пристроился на погосте.

— Кума! — повторила Марина, но ответа не дождалась и вдруг спохватилась: — Да что это я? Ведь ты, кума, пока не умерла, живешь в своей однокомнатной возле метро «Динамо». Прости, кума, прощай. Это я по нечаянности тебя обеспокоила, а не по специальности. Живи себе на белом свете... Теперь я другую скличу. Олёна Дмитриевна, ты здесь ли?

— Здесь я, игде мне быть? — спокойно отозвалась крайняя могила, у самого кладбищенского забора.— Долго тебя дождалась, омманула ты меня, Марина. Помнишь, послы войны ты съездила по моей просьбушке к племяннице Акульке в ее сумасшедший дом? Там чай пила с ними, с сумасшедшими няньками, подхватила себе порцу на руку. Заболела ты, а я помирать собиралась как раз. Цево же ты сказала мне тогда? Не помнишь? Мол, тетка Олёна, не жить мне долго на свете. Жди, мол, я вскоре буду за тобою. А сама, гляди-ко, до старости дождала, померла-таки на восьмом десятке.

— Ты прости меня, Олёна Дмитриевна, ради Бога, прости за этот суровый обман, но я не виноватая! Господь пожалел малых деток, вишь, дал мне выздороветь. А порцию наслади на меня не в сумасшедшем доме, а вовсе другим разом, в другом доме, за хорошим столом. И рука у меня, тетка Олёна, осталась закрученная, кость-то по кусочкам вышла вместе с гноем. Не могла я, тетка Олёна, рукою этой даже платок поправить на голове или гребешком причесаться.

— Ин ладно, Марина! Свое, знать, прожила на свете, не чужое.

— Какое свое, Олёна Дмитриевна! — стародавним жалобным

манером заняла Марина.— Сына ведь здесь схоронила, знаешь, поди, — сорока лет, чуть больше, преставился, помер от сердца, пил он у меня сильно. Внучка от дочери, дитя двух лет, тоже схоронена здесь. Вон, тетка Олёна, нынче роют-ти могилку и для меня, грешной, рядом с ними лежать буду... А ведь ня думала, ня гадала, что сына переживу. Тогда, как рукою болела, кто скажи мне, что я до стольких-то лет доживу,— так веришь ли, нет, плюнула бы тому в глаза. Не ври, мол. А вот и дожила. Неужели же, Олёна Дмитриевна, я своими годоцками доживала? Коб не так — ихыма годоцками доживала, которыма они не дожили, мои сердешные. И отец не старый умер посля леворюции, захирел, как все у него отняли, и мати в тридцатом году, как кулачили, с испугу умерла без срока. Испугалась мати-то на сходе в сельсовете, когда объявили, что голосом ее лишают. Мол, кулацкая ты семья, права голосом не имеешь... Вот, и за мать недожитое я дожила, и за отца, за сына и за внучку, Олёна Дмитриевна.

— Теперя, Маринушка, слава Богу, рядышком будем лежать.

— А чья эта могила между нашими, тетка Олёна? Я такого не припоминаю.

— Это, слышь, племянник Савоська, утек он смолода из деревни, в довоенное ишшо время. Фамилию сменил. А теперя объявился — и место себе купил. Заранее смерти, вишь, памятник поставил — себе и дочери. Ох, не к добру это, Маринушка.

— А справее тебя кто лежит?

— Козьма Когин с семья и со внуки.

— А в ногах?

— Твой же дядька Алексашка Жуков, жена его Пелагея. Тоже помер в тот же год, как раскулачили. В черном от дегтя фартуке пришел на сход-ти, где его кулачили. Помнишь?

— Помню... В головах кто?

— Девуля молоденька. Сапуновых правнука какая-то. Привезли ее в закрытом гробу — пополам перерезанную поездом.

— Господи, помилуй! Ньюжли сама кинулась?

— Бог знат. Не наше дело.

— Ох, Олёна Дмитриевна, много же вас тут собралось, я чай! С того времени, как матушку хоронила, погост втрое против прежнего стал... А похоронила мати, так мачку старую допокаивать пришлось, отцову мачеху. Помнишь ли ее, Дмитриевна? Бывало, прохожу мимо ее кровати, дак поймает меня за руку и шепчет: Маринушка, поверь, мол, деушка, что Бога молю день и ночь, коб скорее прибрал, да ить не дает Господь смерти! А тогда мы и стали с тобой компалионами, тетка Олёна, вместе возили в Касимов мешки с углем и скипидар бочками, помнишь?

— Помню, как же. Ты ишшо лаптями моими дивовалась: больно, мол, велики. Это когда в корцме ноцевали, лапти на пецке сушили.

— Поди, все наши тут собрались — родня, шабры, подруженьки милые!

— Которых снесли сюда, все тута, Маринушка. Никого отсюда не раскулачили, не сослали в Сибирь, никто и сам теперя не спокинет вечный погост. Лежать нам в желтом песоцке аж до самого судного дня, пока не затрубят архангелы.

— Надёжка, соседка милая! — кликнула Марина.

— Я! — готовно отозвалась кладбищенская земля знакомым хрипатым бабьим голосом.

— Настя Кириллова!

— Тута!

— Пелагея Ротанкова!

— Тута.

— Матрёна, лежишь?

— А чаво, лежу себе.

- Вероцка!
- Я!
- Дмитрий Прокопыч!
- Ну!
- Гну! Все такой же, ершисси?
- Тебе не покорюсь!
- Иван Стяпаныч!
- Ждешь я, штарая ты бждунья.
- Сам такой! Раба Божия Арина!
- Здеся я, шабра.
- Дуся Лобзова!
- Я.

— Дед Прокоп! Таньша, Вовик, Аринин сын! Лидочка, касаточка бедная! Анисья! — вела далее переключку новоприбывшая, и старинное кладбище, поросшее большими золотоствольными соснами, вздрагивающими кустиками недотроги, отвечало ей тихими голосами знакомых и родных, соучастников по большой жизненной артели.

И пока шла эта переключка, а самые деловитые мужчины из похоронного содружества вдали от стоящего на табуретках гроба копали яму, сменяя друг друга, а остальные толпились вокруг, в тесноте могильных оград, разговаривали и следили за ходом работы, к воротам кладбищенским подъехала желтая «Нива». Вышел из нее еще не старый человек, прошел в приоткрытую калитку и оказался перед гробом, покоящимся на двух табуретках. И услышал последки того разговора.

— Ну, вот и пришла к нам святая.

— Дядя Алдаким! Дмитрий Прокопыч! Иван Стяпаныч! Да какая же я вам святая? Такая же, как все, грешница. Ничаво хорошего людям не сделала, ничаво и плохого, а мы люди нейтральные.

— Святая! Потому что тебя все любили. Такие люди — они и есть святые, а ты с нами не спорь, — загудела нестройными голосами кладбищенская земля.

В одиноком покойнике, возлежащем в гробу с восковым лицом, с поджатыми губами, он не узнал той женщины, которая когда-то уснула, сидя на меже, увидела его во сне и почему-то приняла его за Спасителя. (Впоследствии выяснилось, что в тот день и час, когда она видела этот сон, Глеб Тураев родился в сельской больнице, куда направлялась больная Марина.) А спустя лет тридцать, при случайной встрече старой Марины и Глеба в лесу, она рассказала ему об этом сне, и он поразился удивительному совпадению...

Накануне вечером он читал Евангелие — и когда благовествование от Луки подошло к хлебопреломлению в Еммаусе, он вдруг почувствовал необычайную переполненность в душе. Это было состоянием истины — могучим чувством абсолютной красоты. Не взлет разума — нет, это был невыносимый, мучительный восторг бытия. И в порыве стремительного болевого движения он схватил с печи ковш горячего молока и плеснул на себя. Но вместо неминуемого ожога он ощутил шелковистую прохладу стекающего по груди молока.

Вечер этого дня и всю ночь он не спал, сон не нужен был ему. Отец ворочался за перегородкой и шумно дышал старой грудью, но небывалые думы сына и безбрежная нежность были обращены не к этому ветхому отцу. Привычный все вокруг себя представлять в пределах каких-то систем или абстрактных организмов, называемых мировыми моделями, Глеб Тураев свое новое чувство существования, новый уровень бытия не мог вместить ни в одну из систем, известных ему дотоле.

Он всегда жил разумом, и более всего — математическим мышлением, космос представлялся ему бесконечной сетью формул, наброшенной на сверкающие звезды и галактики. И мозг его, неспособный

охватить необъятность мира, мог все же уцепиться хотя бы за одну ячейку этой сети — и закачаться на ней, как темный паучок.

Новое чувство, и свое новое понимание, и все то, что он увидел, глядя в раскрытую Книгу, словно в магический кристалл, он получил не как результат напряженной, незаурядной мысли, а как головокружительный дар внезапной любви. Христианство в его представлении было впечатано в какой-то один из блоков мировой информатики, — но любовь ко Христу непосредственным образом хлынула из его души, как мгновенно кровь из насеченной раны. И при этом — любовь к каждой уходящей капле крови, вместе с которою уходит жизнь, любовь к самой жизни, творящей эту кровь.

Христос предстал перед ним не иконным символом и даже не как фигура колоссально развитой культуры, а как чувство живое, огромное, пульсирующее — скорби над ним самим, над его погибающим одиночеством. Христос был ему добрым Отцом, и в сравнении с Ним отец человеческий, тоже добрый, хрипло дышавший за деревянной перегородкою избы, вдруг умалился настолько и стал таким жалким, словно это не родитель его, а совсем наоборот: беспомощный маленький ребенок, рожденный им, Глебом.

Об этом он думал ночью, а рано утром, как только завиднело в окне, он взял корзину, вышел из дому и направился по знакомой дорожке. Прохладный воздух, смуглота рассветного неба, протекавшая сквозь ветки в темные низины, тишина и мягкость серебристых моховых полян, мнующихся под ногами, начали славно успокаивать ночное волнение Глеба. И вскоре он встретился с седенькой хрупкой старушкой, бредущей меж березами с корзиною в руке, и это была Марина, — теперь она лежала в своей аляповатой домовине, а он даже не узнал ее.

Но пройдя дальше среди могил, он увидел все похоронное сообщество живых вокруг почти уже готовой ямы, на дне которой ворочались два человека с лопатами. Один из них был знакомый Глебу человек по имени Иван, по прозвищу Гусёк, сын другого Ивана, а тот — Петра, который сын Данилов, Данила — Миная, Минай — сын Фадея, которому турок саблею ухо отсек, и пошла от него фамилия Карнауховых... И этот Иван Карнаухов вдруг, отбросив лопату, схватился за какой-то длинный твердый предмет, который обозначился, когда обвалился кусок от торца ямы, — ухватил и рванул на себя предмет, оказавшийся потемневшей коричневой костью. Это был остаток голени, стопа же отсутствовала — видимо, была незаметным образом выброшена из ямы гробокопателями. Гусёк тянул на себя здоровенное берцо, оно застряло в песке, словно укоренившись там, — не сумев вытянуть кость, Иван начал ее выкручивать и выламывать из того места, где она застряла. А застряло берцо в своем родном коленном суставе, когда-то принадлежавшем Демьяну Халтырину, который возводил сарай для мельника Клиншова, владельца нефтяного мотора «Кингсон и К^о», и промеж работами заделал на постоянной квартире брюхо хозяйке, вдове Алдакима Петрова, а у нее было уже пятеро детей — родился шестой ребенок, и это была пророчица Маланья.

Среди сыновей Петрова был Харлам, а у Харлама — Веневит, а у этого — Александр Веневитович Петров, участковый милиционер из Москвы, дальний родственник усопшей Марины Жуковой. Он присутствовал в числе столпившихся у раскрытой могилы людей, совершенно не подозревая, что это ногу бывшего друга его матери, отца пророчицы Малаши, со столь жутким хрустом выворачивает из рыхлой земли хвативший сто пятьдесят граммов водки Иван Гусёк. Хватить с утра успели многие из гробокопателей, так что физиономии у некоторых были красными, у других, наоборот, слишком бледными, но отнюдь не скорбными — ибо хоронили они сегодня веселого, доброго человека...

Я теперь узнал, кого хоронят, и решил вернуться к воротам кладбища, к стоящей на двух табуретах домовине, где лежала и ждала своей неминуемой участи покойница. Пробираясь тесными закоулками между могильных оград, я как бы ощутил на себе взоры множества знакомых и незнакомых людей: было тягостно идти сквозь толпу заключенных, просто шагать под их спокойным наблюдающим взглядом, и Глеб Тураев, конвойный солдат, невольно опускал глаза.

Он вместе с другими солдатами шел в баню, находившуюся в зоне, сегодня был их банный день. Без оружия, в одном х/б, зажимая белье и полотенце под мышкой, конвойнички пробирались через лагерный двор в состоянии некоторого смущения, многие горбились на ходу и заискивающе улыбались. А стоявшие разрозненно и небольшими кучками зеки никакой враждебности к солдатам не проявляли, наоборот — отдельные веселые возгласы выдавали их довольство тем, что сегодня они как бы хозяева, а конвой вроде бы у них в гостях.

Глебу тогда подумалось, что разобщению людей способствует все же начало неестественное, чувство самое противоестественное — зависть к чужой доле. Он всматривался в оживленные лица заключенных, особенно в те из них, которые светились откровенным самодовольством, и ощущал то же самое, что испытает однажды много лет спустя: пробираясь между тесно составленными могилами, я словно увидел весь народ мертвых, скопившийся на этом погосте, и дело их представлялось мне навеки свободным от всякого ужаса и страдания, в то время как мое ожидало меня с грозной неотвратимостью небесной кары.

Я понимал теперь, каким благом было бы для меня погибнуть в дорожной катастрофе, и я сказал Марине, лежащей в гробу: «Завидую и преклоняюсь перед тобою, старушка». Вроде бы прожила она свою жизнь на той же земле, что и я, но ведь ничего общего между нами! Слово два существа из разных миров. Она знала, что жизнь каждого человека дороже всех вещей, которыми люди владеют, и она всегда берегла жизнь, свою и чужую. Я же, существовавший в Городе, сидя верхом на унитазах и греясь в лучах паровых батарей, никогда не представлял человеков поштучно — я сразу считал их десятками миллионов, охватываемых поражающим действием Оружия.

Нет, меня земля не должна принять, думал Глеб Тураев, выйдя за ворота сельского кладбища и подходя к своей машине; — я понимал его безмерное отчаяние, которое ни с чем нельзя было сравнить. Мне стало невыносимо жаль этого человека, и я никак не мог постичь, для чего понадобилось ему вдруг прозревать, раскаиваться, угадывать в своем существовании дьявольское начало, отречься от себя — почему бы ему не продолжать жить так, как он жил раньше, как живут почти все подобные ему образованные люди с добротной сатанинской начинкою? Ведь лучше уж так, чем то лунное одиночество, безвоздушное и холодное, в котором он оказался в результате своего отречения. Работающим на князя тьмы физикам, математикам и прочим специалистам не советую хоть на миг усомниться в себе — я желаю им нескончаемого самодовольства и самого несокрушимого апломба.

Я знаю, кажется, бездны человеческой души, в мою тысячелетнюю картуку занесено все самое чудовищное, на что оказывался способным человек, и весьма убористым почерком записаны туда неисчислимые истории самых невероятных страданий. Однако все это доселе известное и в сравнение нейдет с подлинными качествами души и ума тех людей двадцатого века, которые умно и невероятно успешно содействуют делу всеобщей гибели. Их ледяной сатанизм и ненависть к жизни в 10^{38} раз превышает мою любовь к ней. Лес человеческий может стать смертным не потому, что деревья его передушат друг друга, — человечество может погибнуть, если в нем будет оставаться даже небольшое число подобных особей.

Моя натуральная сила приумножения жизни, весь мой труд под

солнцем не могут противостоять ненависти. Моя зеленая материя не уверена в себе и мнительна, она может существовать только при особенных, благоприятных условиях. Глубокая меланхолия, свойственная мне, родилась от чувства моей малости во Вселенной — тайное устремление мое к смерти есть не что иное, как желание слиться с этой малостью, вернуться в нее, как после скитаний блудный сын возвращается к отчому дому.

Но невозможность смерти, невозможность исчезновения вне материи наполняет мукою мое существование — человек мучается не только потому, что сам виноват во всем, но и потому, что он обречен страдать, где бы он ни оказался. И те злыдни мира, которые потихоньку подтачивают оболочку атомного ядра, чтобы выпустить заключенный туда Огонь сатаны, — они ненавидят, в сущности, не врагов своих, которых смутно представляют, и не все человечество, которое иногда даже любят, — они ненавидят меня, своего несостоятельного отца, породившего их на мучения. Им противно благоухание моих белых лилий, они с презрением отвергают мою любовь.

Сотворившие в моем Лесу столько чудовищных порубок, они хотят только одного: скорее вырубить остальные деревья. Для этого они изобретут лучевой резак с лазерной установкой. Им не нужны райские уголки на Земле — мертвая планета, на которой не видно ни одного зеленого ростка, это и есть для них красота неземная.

Человек, таящий в себе подобную ненависть к жизни Леса, и есть сам сатана, другого нет. Он живет, заранее дико пугаясь вида своего мертвого черепа и голых костей, которые пока еще носит в своем теле. И назвав этот страх смертью, он начинает служить ей, получая вознаграждение в виде огненных ассигнаций, на которых изображен князь тьмы с козлиными рогами. Хватая жизненные блага и увлакивая их в темноту своего уединения, он полагает, что теперь ничто человеческое, презренное и жалкое, отношения к нему не имеет, потому что он теперь не человек, которому скоро подышать, а блестящее ловкое насекомое — хихикающий таракан.

Когда я утрачу свое зеленое царство на этой планете и мне придется отсюда переселиться на другое небесное тело — может быть, тогда подобные тараканы переймут идею экспансии жизни и захотят устроить мир без красоты, истины и любви... Но я все еще здесь, я еду в автомобиле по безлюдному шоссе, пересекающему массив зеленого, свежего леса ровным коридором, в глубокой задумчивости правлю штурвальчиком машины своей и безмолвствую перед самой главной Тайной, объемлющей этот замкнутый мир, название которому Ничто. Существует ли где источник — прибывает ли звездное вещество, множится ли сила любви, возвещенной Иисусом Христом?

И откуда берутся в нашей замечательной жизни тараканы, думаю я дальше; и вот перед ним трехэтажная больница, крупноблочное длинное светло-серое здание. Он направился вдоль стены в правую сторону, подошел к третьему от края окну первого этажа больницы. Окно было раскрыто, и, остановившись, он заглянул внутрь палаты. Артем Власьев, егерь, лежал на койке в одних полосатых пижамных штанах, с обнаженным мускулистым и жилистым торсом, босой. Он сразу же вскочил и, улыбаясь всем своим ясным лицом Емелюшки-дурачка, подошел к окну, — и вдруг палата подверглась нападению каких-то шустрых детей, еще совсем маленьких. Странными были глаза малышей, одетых в одинаковые, побуревшие от многих стирок пижамы: быстрые зверковые глаза, настороженные, без тени какого-либо человеческого чувства в своих глубинах. Нырняя под кровати и выскакивая в проходы меж ними, малыши захлопали дверцами тумбочек, — и на эти звуки стали сбегаться в палату больные в пижамах. Тут началась веселая и азартная война, взрослые действовали увесистыми ватными подушками, металы поверх коек больничные та-

почки. Так же внезапно, как было совершено нападение, удивительные дети покинули палату, протиснувшись меж ногами взрослых к выходу. А эти, торжествуя победу, стали проверять тумбочки, каждый определяя размер своих потерь после набега.

Весело скаля белые, здоровые зубы, егерь Власьев разъяснил Глебу, что детишки эти — брошенные матерями сразу же после рождения. Оставленные при больнице малыши подрастают и живут сами по себе, как стая одичавших щенят. Своих спальных мест у них нет, на довольствии они не состоят, не знают своих имен, неизвестно также, могут ли все разговаривать и понимать человеческую речь. Количество этой детской стаи точно не определено, но полагают, что их, разных возрастов — от двух до пяти лет, — душ пятнадцать. Они делают набеги в кухню, лазая туда через подвал, грабят тумбочки у больных, ночуют где-то в казематах прачечной и кочегарки.

Егерь передал Глебу ключи — их было два, они висели на серой пеньковой веревочке. Жена Власьева сбежала, сам же он заболел почками и попал в больницу — на кордоне теперь пусто, и гостю придется жить одному.

Глеб Тураев проделал на машине весь путь, который когда-то прошагал его отец, еле живым вернувшись с войны. Но сын потратил не семнадцать часов, как Степан, чтобы добраться от Гуся-Железного до Колина Дома, а всего час, ту же дорогу Николай Николаевич, дед Глеба, на бричке своей проезжал за три с половиною часа.

На поляне не было большой, о двух стволах, лирообразной сосны — лишь широкий пенек на месте дерева. Как я теперь смогу подойти и прикоснуться ладонью к стволу, недоумевал Глеб Тураев, если дерева уже нет? И все же я должен совершить то, ради чего явился сюда вслед за отцом своим и дедом.

Пошире расставив ноги, он утвердил меж ними на мягкой земле приклад ружья, дулом уперся в шею спереди, над кадыком, и затем, скосив вниз глаза, дотянулся рогулькой веточки до спускового крючка и нажал: зеленая верховина берега плавным изволом спускалась к реке, туда, где начинались крутые обрывы, но до них было еще далеко, и воды совсем не видно, так что не догадаешься, если раньше ты здесь не бывал, что за травяным краем пустоши проходит большая, могучая река.

Стоявший в совершенном одиночестве старый добротный дом с мезонином, сумрачный и печальный, напомнил мне, где я нахожусь. Если на широком пустыре без единого дерева стоит одинокий дом без какой-либо ограды, без каких-либо окружающих служб, то это производит странное впечатление...

Со стороны дома двигалась по направлению ко мне женщина, несла на руках ребенка. Когда она подошла поближе, я узнал Серафиму Грачинскую — узнал ее молоджавое красивое лицо и особенную, всегда чем-то для меня беспокойную, недобрую усмешку. Ребенок спал, обняв ручонкою ее за шею и лицом уткнувшись ей в плечо...

Серафима Грачинская... Какое-то было необыкновенное чувство у Глеба Тураева к ней, санитарке из лечебницы душевнобольных. Мне кажется, любовью это нельзя назвать, хотя, увидев всего один раз, он уже всю остальную жизнь не мог забыть Грачинскую и, вспоминая ее, неизменно испытывал тревожное и болезненное волнение, содержащее в себе, как это ни странно, и некую надежду будущего... Хотя о какой надежде могла идти речь? Скорее всего здесь вновь проявилась тураевская способность мгновенно наполниться великим чувством к человеку, увиденному впервые в жизни. Но в Глебе это роковое начало проявилось не в полном свершении и чистоте — он не успел, правда, полюбить ее за время той единственной встречи, но уж и забыть не мог никогда...

Он тогда поехал в некий городок, где в бывшем монастыре располагался сумасшедший дом и работал там врачом Александр Сергеевич Марин, племянник Анастасии Мариной, дореволюционной русской певицы, а Настя Тураева, мать Глеба, осиротев, стала ей приемной дочерью. Глебу тогда захотелось хоть что-нибудь узнать о певице, чьи пластинки нашел он в материнском сундуке после ее смерти... Монастырь виднелся на высоком берегу реки, возвышаясь частью стены, четырехугольной башней и кучкою луковиц полуободранных куполов над темным, безрадостным строем деревьев. Подходя к монастырю по песчаному берегу, пустому в прохладный день осени, печальному, обрамленному с одной стороны кустами и деревьями, а с другой — гладкой, застывшей сиреневой водою, Глеб увидел сбегавшую сверху к реке женщину в белом халате. Простоволосая, с ловкими и сильными движениями небольшого тела, туго охваченного халатом, она могла бы пройти перед ним, но, не желая, видимо, перебежать ему дорогу, остановилась, пропуская его.

Он улыбнулся и, благодарно кивнув ей, прошел мимо; она никак на его улыбку не ответила, — и необыкновенно загадочным, странным показалось ему лицо женщины. Впоследствии от доктора Марина он узнал историю ее жизни — и уж никогда больше не встречался с нею...

Также от Александра Сергеевича узнал он впоследствии, что Серафима Грачинская оставила лечебницу и уехала к себе на родину, чтобы допокоить мать на старости.

И все это было там, до выстрела, — или никакого выстрела из охотничьего ружья не было, и опять лишь воображению Глеба Тураева я обязан присутствием здесь?

Серафима Грачинская подошла и остановилась напротив. Лицо ее, как и в первый день их встречи, было напряженным, недоступным в своем странном выражении... Ах да, ведь это передо мною женщина, которая могла бы стать той самой, но не стала ею, подумал Глеб Тураев. Я вижу перед собою то, что было возможностью любви, но любовью не стало.

— Ну и зачем вы пришли сюда? — сказала она, склонив голову к свободному плечу (на другом покоилась головка спящего ребенка).

— Мне почему-то кажется, что я знаю этого малыша, — ответил я, показывая на него. — Откуда он у вас?

Она ничего не ответила, и мы, не сговариваясь, повернулись и неторопливо пошли в сторону реки.

— Как же вы могли, открывшись в Христе, совершить то, что вы совершили? — с упреком молвила она, не глядя на меня.

Она и не могла бы меня видеть, ибо лицо ее отгораживала голова спящего ребенка. Что-то в искаженных чертах его лица, повернутого в мою сторону, действительно показалось мне знакомым.

— Но ведь могло случиться, что я погиб бы в дорожной катастрофе, — попытался я оправдаться. — Изменилось бы что-нибудь?

— Ах, это действительно не имеет никакого значения! — был ответ. — Единственное, что имеет значение, — это то, к чему вы всегда стремились в своих тайных помыслах.

От нашего громкого разговора ребенок проснулся, поднял голову с ее плеча и сразу же упорным взглядом уставился на меня. Отводя глаза от пристального, необычного взгляда мальчика, я произнес:

— А сам Христос... Не принял ли Он сам рокового решения в Гефсиманском саду? Ведь знал же, какая чаша Его ожидает. И не захотел же отклонить ее?

— Что ж, исходя из вашего понимания, это действительно так, — отвечала Грачинская; заметив, что малыш проснулся, она быстрым движением прильнула щекою к его лицу. — Но представьте

себе, что Он сделал то, чего вы тайно, постоянно желали для себя. Он сделал и это за вас.

— Да, но меня все равно ничто не спасло.

И вдруг я узнал малыша — это он забежал однажды в пустой эллинский храм... И остановился посреди портика, сквозь колоннаду которого широкими полотнищами падало солнце... Он остановился средь быстрого бега своих игр, нечаянно оказавшись в этом незнакомом доме. И маленькое сердце гулко стучало, и дерзновенные глаза смелого ребенка стали робкими, вопрошающими...

— В вашей воле было делать или не делать...— Грачинская остановилась и повернулась ко мне,— мальчик на ее руках тоже повернулся, но, вывернув голову, смотрел уже поверх другого своего плеча.— Вы не любили своей жизни.

— Разумеется,— ответил я, улыбнувшись ребенку.— Прошло около двух тысяч лет, как Он умер. И Он уже никогда не появится среди людей. Так чего же мне было любить свою жизнь?

— Почему вы полагали, что Он больше не вернется? — спросила Грачинская.

— Потому что за эти две тысячи лет все было сделано для того, чтобы Он не вернулся. Мы ни в коем случае не хотели, чтобы Он вернулся.

В этом месте нашего разговора ребенок, внимательно слушавший мои слова, дернулся на руках у женщины, взмахнул ручонкой, закривился весь лицом и вдруг неумело плюнул в мою сторону. Нежная детская слюна стекла по пухлой губе и повисла прозрачной ниткой. Серафима Грачинская мгновенно поймала ее пальцем и, смеясь, вытерла рукою мокрый ротик ребенка. Всмотревшись в искаженную гневом физиономию малыша, я вдруг узнал в нем одного из тех шустрых тараканчиков, которые бегали под кроватями в больничной палате, опустошая чужие тумбочки с продуктами. Грачинская с веселой улыбкою взглянула на меня и кивнула головою.

— Да, это так. Он из тех детей,— сказала она, стараясь удержать в нежном объятии расхोлившегося мальчишку.— Через две тысячи лет после Христа появились у нас вот они, голубчики, не знающие любви. Люди ничего не могли дать таким, как он.

Мы подошли уже к самому краю старого погоста, который располагался на ровной верховине обрывистого берега. Внизу, под глиняными обрывами, начиналась и уходила к далеким излучинам, в обе стороны горизонта, громадная водная равнина серебристо-сиреневого цвета. Ни одной морщины не было на ее плоскости, ни одной лодочки или пенного всплеска — бездонное небо отражалось в этом громадном зеркале вод, одно серебристо-сиреневое затянутае небо. И лишь под кручей берега, на котором мы стояли, внизу, водная гладь вздымалась валами струй, длинными мускулами реки, и отображенные небес в них слегка было колеблемо. Что-то беспредельно спокойное и властное таилось в глубине тихого плеса и в туманном небе над вечным человеческим покоем.

— Вот и пришли,— сказала мне Серафима Грачинская.— Дальше вам нельзя.

— А вы? — спросил я.— Вам можно?

Не ответив, она подошла к самому краю обрыва; громко смеясь, оторвала от себя руки малыша, который цеплялся за ее шею, и с размаху швырнула его в пустоту. С воплем и хохотом ребенок пролетел вниз и врезался в воду, подняв высокие фонтаны брызг. Затем он показался на секунду, вновь прозвенел звонким хохотом и после исчез,— река сомкнулась над ним и вновь разгладилась.

Серафима Грачинская быстро уходила от меня, не оглядываясь, вдоль неровного края обрывистого берега. Звонкий крик малыша раздался уже откуда-то с середины плеса,— мгновенно удалившись на

очень большое расстояние от берега. Женщина взмахнула рукою, глядя в ту сторону, затем побежала, стремительно удаляясь от меня.

Все еще не веря, что мне дальше нельзя, я хотел последовать вслед за бегущей вдоль реки Серафимой Грачинской. Я не знал, куда удаляются женщина и этот смеющийся чудесный ребенок, мне за ними было нельзя, но все равно я полагал, надеялся всей душою, что когда-нибудь снова встречу с ними. И я понял, что я вовсе не Глеб Тураев,— уже давно мечется по свету моя душа неприкаянной, ищет своего Преображения.

И, думая об этом, я сделал первый шаг: двое с еммаусской дороги были уже в Иерусалиме, в тайном доме, среди одиннадцати апостолов, и запыленные путники рассказывали им, перебивая друг друга, как Гость был узнан ими в момент преломления хлеба.

— Когда Он благословил и взял хлеб в руки, я заметил, господа, два одинаковых красных пятнышка на тыльных сторонах кистей,— говорил бородатый Клеопа, румяный от волнения.— Присмотрелся я и вижу, что это две не совсем зажившие раны...

— Такие же раны на голених заметила моя рабыня, египтянка из Сиены, когда омывала Ему ноги,— дополнил рассказ Клеопы его спутник, высокий сухощавый Лука с бритыми, по римской моде, плоскими щеками.— А когда Он преломлял хлеб, я смотрел в лицо этому человеку — и вдруг понял, господа, что это лицо существа, какого на земле не бывает. Он же поднял глаза на меня, и взор Его был такой силы, что дыхание мое пресекалось и стал я как мертвый, не имеющий ни памяти, ни собственной воли...

Никто из присутствовавших не мог потом сказать, как Он возник меж ними, никто ничего не заметил, а двери дома были крепко заперты. По завершении рассказа Луки выступил Он вперед и, одиноко стоя посреди комнаты, где все возлежали или сидели на разостланных войлоках, с приветливой улыбкою на лице молвил:

— Мир вам.

Кто-то привскочил с места, другой отшатнулся назад, а кто-то пополз вдоль стены, пробираясь к выходу из дома, и тогда Он сказал, обращаясь ко всем:

— Вижу, приняли вы меня за духа. Но чего боитесь? Что смущаетесь? И почто мысли такие входят в ваши сердца? Я сам пришел к вам, а не дух мой. Вот руки мои и ноги, посмотрите! — И Он протянул перед собою ладони, посреди которых были уже затянувшиеся, чистые раны; затем прихватил рукою и откинул полу длинного платья — и все увидели Его раны над стопами ног, обутых в новые сандалии.— Потрогайте меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, в отличие от меня.

— Господи! Господи наш! — вскрикнул первым рыбак и кинулся Ему в ноги.

И тут все, сколько было в доме, вскричали и заплакали от радости, среди них был и я в образе одноглазого лохматого раба, слуги, который снял сандалии с ног Его, когда Гостя усадили наконец на двойной мягкий войлок. И тут, обнимая кого-то, совсем юного, длинноволосого, который громко смеялся, и плакал, и дрожал всем телом, Он превесело воскликнул:

— Дети мои, найдется ли в этом доме какая-нибудь пища для меня? Проголодался Господь ваш.

И я опрометью кинулся в кухню, в спешке зацепив большим пальцем ноги за каменный порог, и сорвал ноготь, и не заметил этого — я принес Ему то, что еще оставалось из еды: хорошую головную часть печеного карпа, и с полки схватил блюдо с сотами диких пчел, которые я накануне вырубил из дупла засохшего дерева.

И Он взял все это и ел пред нами.

...А потом я был среди тех, кто провожал Его до Вифании,— становился раньше других, отстал и смотрел издали, как Он, подняв

руки, благословляет учеников. А потом Он, продолжая оставаться лицом в их сторону, с простертыми вверх руками, стал отдаляться и медленно возноситься в небо. И вскоре незаметным образом исчез с глаз. И тогда я подошел к ученикам Его, наклонился к плачущему Луке, который оказался передо мною, и шепнул ему такие слова: Гость улетел от нас безвозвратно, сказал я Луке, но в моем сердце, пока оно есть, память о Нем останется навсегда.

И, сказав это, я повернулся спиною к апостолам и пошел назад: была предо мною огромная сосна с двумя изогнутыми рогами, словно исполинская лира. И под нею, у самого комля, едва виднелся затянутый плетением трав, сеченный дождями и беленный солнцем многих лет голубой переплет старинной книги. Когда-то, будучи в образе молодого человека, я читал ее, сидя под этим деревом, но тут подошел ко мне мой ветхий отец, чем-то озабоченный, и я отложил книгу на чистую траву.

С тех пор прошли годы, книга обростала мхами и травами, их шуршащие семена осыпали ее, ветер переворачивал страницы, ничего не понимая,— и вот я подошел и поднял книгу из травы. Бумага ее слиплась и покоробилась, а в том месте, где книга была раскрыта, на выбеленной солнцем странице оставалось заметным лишь одно слово: «Еммаус».

Прошло две тысячи лет, как побывал Гость у меня, а нынче я держу в руках книгу о нем, потерявшую всякий облик свой. И с грустью в душе вспоминаю миг хлебопреломления, когда я узрел Звездного гостя в его истинном свете. И за все эти две тысячи лет, произрастая на земле Лесом и Человечеством, я ни разу не смог полюбить другое дерево или другого человека так, как учил любить небесный Гость, Сын человеческий.

Осталось сто или, может быть, сто двенадцать лет до того времени, когда Гость снова посетит мою маленькую планету: увидит ли Он новый мир на Земле, который родится без тех свойств, что погубили прежний? В новом мире я сначала умру от ненависти, которая исходит от моего одиночества, а затем воскресну от любви, которая не сможет умереть вместе со мной. И на земле вырастет новый Лес, благоухающий, без гнева и зла, и его Отцом будет тот маленький мальчик, которого Серафима Грачинская бросила с обрыва в реку, а он только засмеялся громко и стремительно поплыл вперед.

Приносим извинения читателям за ошибку в № 4 нашего журнала. Эпиграф на стр. 5 следует читать так:

Я знаю, что деревьям, а не нам
Дано величье совершенной жизни.

Н. Гумилев.



ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ



И СТРАШНЫЙ СТИКС, И БУДНИЧНАЯ ПРИПЯТЬ



Дочка на пляже отца зарывает в песок,
Зыбко и смутно ему, словно семени в грядке;
Что-то лепечет лукавый над ним голосок,
Смугло мелькают лодыжки, ладошки, лопатки.

Веки смежил он и в небо глядит сквозь прищур,
Пятки вперед протянул — фараон фараоном.
Девочка, став на колени, как жрица Хетсур,
Руки к нему простирает с глубоким поклоном.

Мечет в них дроты свои обжигающий Ра;
Тысячи лет не кончается эта игра.
Вот пододвинулась туча, и тень задрожала...
Где ж тонкоорукая?

Краба смотреть убежала.

Строфы о Тантале

Взаправду это или мерещится? —
Стоит Тантал в потоке струящемся;
От жажды лютой ссохлись губы,
Близко питье, но питье отравно.

Стоит Тантал по шею в Москве-реке,
По шею в Волге стоит и в Ладоге;
О, до чего красивы эти
Радуги нефти — да пить охота.

Охота есть и есть изобилие
Плодов земли на ветках склонившихся:
Пируй, Тантал, чего боишься? —
Рядом — еда, но еда отравна.

А что ты думал? Что незамеченным
Пройдет — кормить богов человечиною?
Что можно обмануть любую
Правду — небесную и земную?

Но есть такие жены — Эринии,
И месть всегда за злом воспоследует.
Терпи, Тантал, терпи и думай —
Ведь у тебя в запасе вечность.

Тень

'Tis like me now, but I dead, 'twill be more
When we are shadows both, than 'twas before.

*J. Donne.*¹

Поэзия — театр теней,
Двумерный, эфемерный мир.
Ты ищешь жизнь полней, сочней?—
Иди в бордель, иди в трактир.

Там щупай круглую хурму,
Целуй наполненный стакан;
А здесь нет дела никому,
Ты бледен в гневе иль румян.

Умей отсечь как тлен и гниль
Куски бесформенного «я»:
Они — не больше ты, чем пыль
Волосая от бритья.

В час поражения лекарей
Не верь, что все идет к концу,
Но в профиль повернись скорей
И розу поднеси к лицу.

Пусть век запомнит этот лик,
Предсмертный губ твоих изгиб.
И знай, поэт, что в этот миг
Родился ты, а не погиб.

Крымская бабочка

У вечности всегда сухой закон.
Но каплет, каплет жизни самогон,
Переполняя пифосы и фляги.
И — времени послушные волны —
Вытягивают на берег валы
Тяжелые возы горчащей влаги.

Не трезв, не пьян брожу я целый день.
Тень-тень, мне каплет на уши, тень-тень.
А за холмом прибрежным в травном зное
Мне бабочка ударилась в лицо:
Да это же, ей-богу, письмецо
С оказией!.. А вот еще другое!

Замри, я говорю, замри, присядь!
Дай мне судеб известье прочитатъ.
Куда ты снова ускользаешь, к шуту?
Чего ты хочешь, не понять никак:
То вверх, то вниз крылом, то так, то сяк,
И тыща перемен в одну минуту.

Так кто из нас хлебнул: я или ты?
Помедли, воплощенье суеты,
Не мельтеши, дай разобрать хоть строчку,
Пока шуршит маслина на ветру

¹ Дарю лишь тень, но снизойди к даренью:
Ведь я умру, и тень сольется с тенью. (Д. Донн)

И за пригорком — к худу ли, к добру —
Прибой на нас с тобою катит бочку.

Не трепещи: ведь я тебя не съем.
Не торопись к татарнику в гарем
Мелькать в кругу муслиновых созданий.
О Мнемозина! Восемнадцать лет
Тому назад ты родилась на свет:
Прекрасный возраст для воспоминаний!

Они мелькают, вьются... Как тут быть?
Чтоб их понять, их надобно убить!
Но чем злодействовать, не лучше ль выпить?
Ого! какой сверкающий глоток:
В нем Иппокрены жгучий холодок,
И страшный Стикс, и будничная Припять.

Да, нас поила общая струя,
Я бражник твой, капуста моя,
И капля есть еще в кувшине нашем.
Пусть нам Хайям на дудке подсвистит,
И подбренчит на арфе царь Давид —
Давай кадрили несбывшегося спляшем!

Закружимся над солнечной горой,
Где вьется мотыльков беспечный рой,
Над серою иглою обелиска,
Над парочкой, уснувшей под кустом,
Над грузовым грохочущим мостом,
Над Самаркандом и над Сан-Франциско;

Закружимся над мертвенной луной
(Ее обратной, скрытой стороной),
Над горсткой угольков в кромешной яме,
Над догмами, над домиком в Москве,
Где русский йог стоит на голове
И смотрит в вечность трезвыми глазами.



ЛЕОНИД ГАБЫШЕВ

★

ОДЛЯН, или ВОЗДУХ СВОБОДЫ

ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ

Однажды осенью 1983 года, когда уже пятый год мне не поступало не только предложений, но и ответов от наших издательств и журналов, когда и иностранные издатели метались по книжной ярмарке в Москве, как во время бомбежки, напуганные корейским лайнером, когда мои реалии походили на синдромы мании преследования и это было единственным спасением: одно подменять другим и отвергать таким образом, — меня разбудил утренний звонок в дверь.

На пороге стоял коренастый молодой человек странного и грозного вида, с огромным портфелем. Я живу у трех вокзалов, этого окошка Москвы в Россию, к которому прикило растерянное и пространное лицо нашей провинции. Какие только лица не заглядывали ко мне! Бомжи из Запорожья, бичи из Керчи, цыгане из Казани. Это был человек с вокзала.

— Андрей Георгиевич? — спросил он не сомневаясь, будто предъявив красную книжечку, и проник в квартиру. Я видел только его шрам.

Дальнейшее поведение отличило его от сотрудника: он быстренько снял обувь и в носках стал еще меньше, а портфель его еще больше. Он провел меня на кухню, осторожно поместил портфель под стол — что там было бьющегося! — и предложил мне сесть. Вас не прослушивают? — спросил он жестом, глянув на потолок и обведя пространство рукою.

— С чего вы взяли? — единственно как я мог на это ответить.

— Я по радио слышал о вас.

Радио — это радио. Я спросил:

— Ну и что вы слышали?

— Что есть такие писатели: Белов, Владимов и Битов...

Владимову было еще хуже моего, Белову много лучше. Нас могли объединить лишь «голоса».

— Владимова нет, Белов отказал, я его... — и вот я у вас. — И он опять осторожно посмотрел на портфель, будто тот мог сбежать.

Леденящее профессиональное подозрение пронзило меня.

— Это роман?... — спросил я, заикаясь.

— Тс-с! Все-таки вас могут прослушивать. Напечатайте, и я половину вам отдаю.

Любой уважающий себя член Союза воспользовался бы этим поводом, чтобы вытолкать посетителя за дверь. Я, видимо, не уважал себя как член Союза.

— С чего вы взяли, что я могу вас напечатать? Я себя не могу напечатать! — вспыхнула я.

— Полмиллиона ваши.

— Чего-чего??

— Но ведь миллион-то за него там заплатят! — сказал он уверенно.

«Нет! Не может быть... — соображал я. — Это не агент, не провокатор — он так о й. Неужто такие — бывают?»

— Я уже был на книжной ярмарке, предлагал...

Я представил себе господ, боявшихся, что их уже не выпустят домой из Шереметьева, тет-а-тет с моим посетителем, и мне стало весело. Как это его не замели?

— Ну вот видите, они не могут, а что я могу? Кстати, а почему бы вам не попробовать напечататься у нас?

Он посмотрел на меня с презрением. Я был достоин его.

— Читал я вашего Солженицына...— процедил он.

Нет, это был т а к о й человек. Сомнения мои рассеялись.

Он достал из портфеля шесть папок. Портфель испустил дух: в нем, кроме романа, могла поместиться лишь зубная щетка.

Боже! Такого толстого романа я еще не видел.

— Больше восьмисот страниц,— сказал он с удовлетворением.— Девятысот нет,— добавил он твердо.

Каждая папка была зачем-то обернута в несколько слоев вощеной бумаги. В этой папке помещался дорогой, почти что кожаный скороспиватель, внутри которого, наконец, были подшиты — каждая страниц на полтора — рукописи. Таких многослойных сочинений я тоже не встречал.

— А в пергамент-то зачем заворачиваете? — естественно, поинтересовался я.

— А если в воду бросать? — живо откликнулся он.

С усталостью метра я разрешил ему оставить рукопись на просмотр, только чтоб не торопил.

— Хорошо, я зайду послезавтра,— согласился он.

Много повидал я графоманов и начинающих — этот восхитил меня.

— Послушайте, вы сколько сидели?

— Пять лет.

— А сколько писали?

— Ровно год.

— И хотите, чтобы я прочитал за один день?

— Так вы же не оторветесь.

Ни тени сомнения.

— А кто еще читал?

— А никто.

— Так откуда же вы знаете?

— Кстати,— сказал он,— у меня еще есть рекорд, не зарегистрированный в «Книге рекордов Гиннеса». Это может послужить хорошей рекламой книге.

Я уже ничему не удивлялся.

— Я могу присесть пять тысяч раз подряд. Сейчас сразу, может, и не смогу. Но если надо, потренируюсь и быстро войду в форму. Не верите? Ну две тысячи гарантирую прямо сейчас. Хотите?

— Ладно, верю, ступайте,— сказал я тоном умирающего льва.

Но он заставил меня тут же раскрыть рукопись! И я не оторвался. Как легко зато отступили от меня мои собственные беды! И никто потом не отрывался из тех, кто читал... Хотя их и не много было.

Вот уже пять лет эпизоды этой книги стоят перед моими глазами с тою же отчетливостью. Будто они случились на моих глазах, будто я сам видел, будто сам пережил.

Это страшно, это странное повествование! По всем правилам литературной науки никогда не достигнешь подобного эффекта.

Бытует мнение, что бывают люди, которые знают, о чем рассказать, но не умеют. Бытует и мнение, что теперь много развелось умеющих писать — только им не о чем. Оба мнения недостаточно точны, потому что относятся так или иначе к несуществующим текстам. Потому что — не знать или уметь, а мочь надо. Леонид Габышев — может. Потенция — самая сильная его сторона. У него эта штука есть. Он может рассказать нам о том, о чем, пожалуй, никто не может рассказать, тем более мастер слова. Жизнь, о которой он пишет, сильнее любого текста. Ее и пережить-то невозможно, не то что о ней повествовать. Представьте себе достоверное описание ощущений человека в топке или газовой камере, тем более художественно написанное. Наша жизнь наметила такой конфликт этики и эстетики, от которого автор со вкусом просто отступит в сторону, обойдет, будто его и не было. Габышев не может уступить факту и отступить от факта именно потому, что факт этот б ы л. Б ы л — вот высшее доказательство для существования в тексте. Голос автора слит с голосом героя имен-

но по этой причине. А не потому, что автор по неопытности не способен соблюсти дистанцию. Дистанция как раз есть, иначе не охватил бы он жизнь героя в столь цельной картине. Памятлив автор и в композиции: переключки его в эпизодах и линиях, так сказать, «рифмы» прозы, свидетельствуют о некоем врожденном мастерстве, которого чаще всего не достигают умеющие писать. Эти «рифмы» обещают нам будущего романиста.

У Габышева есть два дара — рассказчика и правды, один от природы, другой от человека.

Его повествование — о зоне. Воздухом зоны вы начинаете дышать с первой страницы и с первых глав, посвященных еще вольному детству героя. Здесь все — зона, от рождения. Дед — крестьянин, отец — начальник милиции, внук — зек. Центр и сердце повести — колония для несовершеннолетних Одлян. Одлян — имя это станет нарицательным, я уверен. Это детские годы крестьянского внука, обретающего свободу в зоне, постигающего ее смысла, о котором слишком многие из нас, проживших на воле, и догадки не имеют.

Важно и то, что время не удалено от нас, мы его еще хорошо помним. Это конец 60-х — начало 70-х, когда страна погружалась во все более глубокий сон. Я не хочу опережать повесть пересказом — прочтите. Прочтите и сравните свой сон с реальностью.

Прошло каких-то пять лет с тех пор, как ко мне заявился неожиданный гость как угроза, как кошмар, как напоминание. Страна начала просыпаться, все болит в ней и ломит как с перепоею. Проснулась и себя не узнает: кругом националы, рокеры, зеки, старики и дети.

Пришло время и этой повести. Она нужна не им, а нам.

А. БИТОВ.

ПОСВЯЩАЕТСЯ МАЛОЛЕТКАМ.

Часть первая

1

В широкие, серые, окованные железом тюремные ворота въехал с жадно горящими очами-фарами черный «ворон». Начальник конвоя, молоденький лейтенант, споро выпрыгнул из кабины, поправил кобурю на белом овчинном полушубке и, вдохнув холодный воздух, скомандовал:

— Выпускай!

Конвоиры, сидевшие в чреве «ворона» вместе с заключенными, отделенные от них стальной решеткой, отомкнув ее — она лязгнула, как пасть волка, — выпрыгнули на утопанный снег. Следом посыпались зеки, тут же строящиеся в две шеренги.

— Живее, живее! — прикрикнул на них начальник конвоя, а сам, с пузатым коричневым портфелем, сплюнув сигарету на снег, скрылся в дверях привратки. Он пошел сдавать личные дела заключенных. Их было двадцать семь. Зеки построились по двое и дышали морозным воздухом, наслаждаясь им. У них его скоро отнимут. После тесноты «воронка» стоять на улице было блаженство. Солдаты-конвоиры их пересчитали, ради шутки покрыв матом новичка, которому не нашлось пары. Один из зеков — бывалый, — видя веселое настроение конвоя, сострил:

— По парам надо ловить, а непарных гнать в шею.

Конвоиры на это ничего не ответили, а запританцовывали, согревая замерзшие ноги. Из привратки показался начальник конвоя и, крикнув: «Заводи!» — скрылся снова.

— Пошэль, — буркнул на зеков скуластый солдат-азиат, перестав пританцовывать. Он и так плохо говорил по-русски, а тут вдобавок мороз губы прихватил.

Зеки нехотя поплелись в тамбур привратки. Когда они вошли, за ними захлопнулась уличная дверь. В тамбуре было теплее.

Через несколько минут на пороге с делами в руках появился невысокого роста капитан в кителе и шапке. На левой руке — широкая красная повязка, на повязке крупными белыми буквами написано — «дежурный». Это был дежурный помощник начальника следственного изолятора. Тюрьму, построенную в прошлом веке, официально называли следственным изолятором. Рядом с капитаном стояли лейтенант — начальник конвоя и старшина — корпусной, плотный, коренастый. Ему, как и капитану, было за сорок. У старшины на скуле была шишка с голубиное яйцо.

— Буду называть фамилии, — сказал капитан, — выходите, говорите имя, отчество, год и место рождения, статью, срок.

И он стал выкрикивать фамилии. Зеки протискивались к дверям и, отвечая капитану, как он приказал, проходили мимо него в дверь, потом в другую и оказывались в боксике. Боксик представлял собой небольшое квадратное помещение. Обшарпанные стены были исписаны кличками, сроками и приветами кентам. В правом углу у двери стояла массивная ржавая параша.

Среди заключенных был один малолетка — Коля Петров. Зашел он в боксик в числе последних, и ему досталось место около дверей, а точнее — у параша.

Зеки, кто зашел первым, сели вдоль стенок на корточки, а те, кто зашел позже, сели посредине. Колени упирались в колени, плечо было рядом с плечом. На один квадратный метр приходилось по два-три человека. Но на корточках сидели не все, некоторые стояли, так как невозможно было примоститься. Стоял и Коля.

Курящие закурили, а некурящие дышали дымом. И Коля закурил, слушая разговоры. Болтали многие: земляки, подельники, кто с кем мог, — но тихо, вполголоса. Дым повалил в отверстие в стене под потолок, забранное решеткой, — там тлела лампочка.

Коля за этап порядком устал и сел на корточки — лицом к параше. Он жадно затягивался и выпускал дым, который ее обволакивал и медленно поднимался к потолку.

Дежурный, увидев в коридоре дым, закричал:

— Прекратите курить! Раскурились.

Он еще что-то пробурчал, отходя от двери, но слов его в боксике не разобрали. Цигарки многие затушили. Заплевал и Коля, бросив окурочок за парашу. Он все сидел на корточках, и ноги его затекли — с непривычки. Он никогда так долго в таком положении не находился. Его глаза мозолила параша, и он подумал: почему на нее никто не садится? Ведь на ней можно сидеть не хуже, чем на табуретке. И он сел. Чтоб отдохнули ноги. Они у него задеревенели. К ногам прилила кровь, и побежали мурашки.

Сидя на параше, Коля возвышался над заключенными и был доволен, что нашел столь удобное место. Ноги отдохнули, и ему вновь захотелось курить. Теперь в боксике чадили по несколько человек, чтоб меньше дыму шло в коридор. Рядом с Колей заросший щетиной средних лет мужчина докуривал папиросу. Он сделал несколько учащенных затяжек — признак, что накурился и сейчас выбросит окурочок, но Коля тихонько попросил:

— Оставь.

Тот затаился в последний раз, внимательно вглядываясь в Колю, и, подавая ему окурочок, еще тише, чем Коля, сказал:

— Сядь рядом.

Коля встал с параша и сел на корточки, смакуя окурочок.

— Первый раз попал? — спросил добродушно мужчина, продолжая разглядывать Колю.

— Первый, — протянул Петров и струйкой пустил дым в коленку.

— Малолетка?

— Да.

— Ты знаешь,— продолжал мужчина, прищурив от дыма темные глаза,— не садись никогда на парашу.— Он почему-то замолчал, то ли соображая, как это лучше сказать новичку-малолетке, то ли подыскивая для него более понятные и убедительные слова.— Не хорошее это дело — сидеть на параше.

Он еще хотел что-то сказать, но забренчал ключами дежурный и широко распахнул двери. Зеки встали с корточек и переталпывались, разминая затекшие ноги. Так сидеть было многим непривычно. В дверях стоял корпусной. Его шустрые глаза побегали по заключенным, будто кого-то выискивая, и он громко сказал:

— Четверо выходите.

Это начинался шмон.

Коля оказался в первой четверке. Вдоль стены с двумя зарешеченными окнами стояло четыре стола, у каждого — по надзирателю. Коля подошел к сухощавому пожилому сержанту, и тот приказал:

— Раздевайся.

Коля снял бушлат, положил на стол, затем стал снимать пиджак, рубашку, брюки. Тем временем сержант осмотрел карманы бушлата, прощупал его и взял брюки. Коля стоял в одних трусах.

Когда одежда была осмотрена, сержант крикнул:

— А трусы чего не снял?

Коля снял трусы и подал ему. Тот прощупал резинку, смял их и бросил на вещи.

— Ну, орел, открой рот.

Коля открыл. Будто зубной врач, сержант осмотрел его. Затем ощупал голову, нет ли чего в волосах, и, наклонив Колину голову так, чтобы свет лампочки освещал ухо, заглянул в него. Потом в другое. Оглядев тело Коли, сказал:

— Повернись кругом.

Коля повиновался.

— Присядь.

Коля исполнил.

— Одевайся.

Петров оделся, и его первого закрыли в соседний пустой боксик, но тут же следом вошел второй заключенный, через некоторое время третий и четвертый.

Так проходил шмон. Из одного боксика выводили, в коридоре обыскивали и заводили в другой.

Наконец шмон закончился. И зеки опять сидели, стояли в точно таком же, как и первый, боксике, помаленьку дымя и болтая. Это все, что они могли делать. В парашу никто не оправлялся — все терпели. Но вот отворилась дверь. Тот же старшина, с шишкой на скуле, рывкнул: — Выходи!

Зеки выходили и строились на улице, поджидая остальных. Мороз крепчал. Ветра почти не чувствовалось. Вдалеке, за забором, были рассыпаны огни ночного города, приятно манящие к себе. На них смотрели многие. А Коля так и впился в них. Тюремный двор был тоже освещен, еще ярче, но то были тюремные огни, и душа от них не приходила в восторг, а, наоборот, была угнетена, будто они хотели высветить в ней то, что никому не предназначалось.

У Коли закипело в груди, стало труднее дышать, будто тюремный воздух был тяжелее. Вот подул ветерок, он охватил лицо, но не тронул спертую душу. Коля не ощутил его, он все еще был поглощен далекими огнями за забором. Так туда захотелось! Оттуда дует ветер. И там легче дышится. Ведь за забором — воздух свободы.

Оцепенение Коли прервалось криком старшины:

— Разобраться по двое!

Их снова пересчитали и повели в баню. Она имела вид приземистого сарая с двускатной крышей. Они вошли в низкие двери. Здесь был небольшой тамбур, из которого вели две двери — одна налево,

другая направо. Старшина открыл левую дверь, и зеки последовали за ним. Когда все зашли, старшина скомандовал:

— Раздевайтесь побыстрей. Вещи в прожарку.

И вышел.

В стене открылось окно не окно — целая амбразура. и из него по пояс высунулся заключенный — работник хозяйственной obsługi, одетый в хлопчатобумажную черную куртку, и сказал:

— Вещи сюда.

Зеки клали вещи на высокий квадратный стол с толстыми ножками, стоящий перед окном, голые проходили через холодный тамбур и входили в другую дверь. Здесь зеков наголо стригли три дюжих румыных молодца из хозобслуги — старыми ручными машинками, которые клочьями выдирали волосы. Командовал баней вольнонаемный, тощий, сутулый старикашка с сильным голосом. На нем был длинный черный халат, застегнутый на все пуговицы, из-под халата выглядывала красная клетчатая рубашка, этим и отличавшая его от хозобслуги, которой вольные вещи, кроме теплого белья, не полагались. И еще у него в отличие от хозобслуги были волосы — мягкие, редкие, седые, зачесанные назад.

Сильный раздал ножницы, чтобы стригли ногти на руках и ногах, а потом, взяв в руки машинку, просипел:

— Лобки, лобки стригите. — И протянул машинку оказавшемуся рядом зеку.

Лобки так лобки (Коля никогда не слышал этого слова), и все по очереди начали их стричь. После этих процедур зеки брали из посылочного ящика кусочки хозяйственного мыла, который утопал в кулаке, и заходили в моечное отделение.

Взяв цинковый изогнутый тазик и набрав в него воды, Коля сел на деревянную скамейку и стал брызгать на себя воду — мыться ему не хотелось. Он посмотрел на других зеков: они с усердием терли себя истерзанными, с козий хвост, мочалками, фыркали и отдувались, снова набирали горячей воды, кричали от удовольствия, терли друг дружке спины. Совсем как в вольной бане. Коля, пересилив себя, намылил бритую голову, поскреб для виду, смыл мыло, набрал погорячее свежей воды и стал снова брызгать на себя. Сидеть, не обливаясь горячей водой, было холодно. Эту противную мочалку, которой обувь вытирать не каждый станет, брать в руки не хотелось. Но более всего ему не хотелось мыться в тюремной бане. Он окатил себя водой и набрал еще. Тут отворилась дверь, но не та, в которую они заходили, и старшина, несмотря на то, что еще не все помылись, гаркнул:

— Заканчивай мыться! Одеваться!

Коля окатил себя водой и первый вошел в то помещение, где они сдали вещи в прожарку. Он понял — баня построена по кругу. На грязном полу в беспорядке валялись вещи. Он еле отыскал свои. Из окошка их, горячие, после прожарки выбросили на пол. Их и сейчас невозможно было надеть — особенно жгли руки металлические пуговицы. Зеки едва разобрались с вещами — их повели на склад получать постельные принадлежности.

Наступало утро. Но на улице было все так же темно. Снег искрился от яркого освещения. Было заметно движение хозобслуги. Готовили завтрак.

Этапников завели в длинное одноэтажное здание. Здесь находилось несколько камер для заключенных и тюремный склад. Стали выдавать матрац, наматрасник, подушку, наволочку, одеяло и кружку с ложкой. Подошла очередь и Коли. Кладовщица, взглянув на него, улыбнулась:

— Ты к нам не в первый раз?

— В первый.

— Что-то лицо мне знакомо. Ну сознайся, что не в первый.

— Нет, в первый.

Забрав вольную одежду, кладовщица выдала ему тюремную. Малолеток в отличие от взрослых переодевали; и им вместо наматрасника давали простыни. Коля отошел в сторону и стал одеваться. Серый застиранный хлопчатобумажный костюм был велик. Рукава он подвернул, а брюки поддернул повыше. Разбитые ботинки, какие дают в профессионально-технических училищах и рабочим на предприятиях, были ему размера на три больше. Каблуки почти что сносились. Шнурков не было. Фуфайка тоже была велика, а шапка еле держалась на затылке.

Зеков повели в трехэтажный корпус разводить по камерам. На улице брезжил рассвет.

Петрова одного закрыли на первом этаже в пустую камеру. Она была сводчатая. Вытянутая в длину. В ней стояли три железные кровати с забетонированными ножками. У левой стены — стол, рядом с ним бачок для воды, а на нем вместо кружки алюминиевая миска. У противоположной от двери стены, под окном, проходили две трубы отопления.

Коля положил матрац на кровать, на ту, что стояла ближе к дверям, а значит, и к параше, и сел сам. «Интересно, — подумал он, — в КПЗ говорили, что в камерах много людей, есть радио, шашки, шахматы, свежие газеты. А здесь одиночка».

Через зарешеченное окно ничего не было видно, потому что с улицы были прибиты жалюзи. Он расправил матрац, вата в котором была сбита комками, и лег лицом к двери. «Сколько же я буду сидеть один?»

Он пролежал до обеда, разглядывая сводчатый потолок, стены, дверь... Иногда вставал, оправлялся в парашу, пил холодную воду и ложился снова. Скукота. Вдруг открылась кормушка, и ему подали обед — гороховый суп и овсяную кашу.

Мысли его путались. От тюрьмы перескакивали к КПЗ, к дому, к училищу. И все же Коля твердо верил: срок ему не дадут, ну на худой конец — дадут условно. Да и Бог с ним. Лишь бы свобода. Остальное — ерунда.

После ужина Коле сказали собраться с вещами и повели на второй этаж. Дежурный, достав из-за голенища яловых сапог фанерку, формой как разделочная доска для хозяйки, только поменьше, поставил карандашом пополнение в двадцать восьмую камеру и открыл ее.

Коля решил быть пошустрее и потому смело переступил порог. Пацаны сидели и лежали на кроватях. Но едва захлопнулась дверь, как все повскакали с мест, гогоча от радости.

— О-о-о!!! Камбала!!! Где же тебя поймали?!! — прокричал белобрый мордастый парень, с восторгом оглядывая Петрова.

Вопрос повис в камере, все молчали, устремив пять жадных взоров на новичка. У него не было левого глаза, и он наполовину был прикрыт. Под невидящим глазом зияла ямка, в которую запросто бы поместилось воробьиное яйцо. Ямка напоминала воронку от авиабомбы, только во много раз меньше. Из воронки в четыре разные стороны расходились темные грубые рубцы.

Коля не оробел и, улыбнувшись, ответил:

— Тура обмелела, вот меня и поймали.

Пацаны загоготали еще громче и подошли ближе, внимательно разглядывая новичка. Он был невысокого роста и выглядел совсем сопляком. Коля рассматривал их. Малолеток было пять. Сильно здоровых среди них не было, но он был всех меньше. Он стушевался. Нехорошее предчувствие закралось в душу. «Если полезут драться — отведу, будь что будет», — решил он.

— Ребята, куда матрац положить?

— Да вот, — указал белобрый на пустую кровать. — Ложи сюда.

Другой, похожий на цыгана, парень обвел прищуренным взглядом сокамерников и, заикаясь, сказал:

— Да ты раздевайся. Не стесняйся. Это теперь твой дом.

Коля сбросил с себя бушлат и шапку на кровать, хотя в камере была вешалка, но кровать ближе. Парни закурили, и Коля попросил у них. Прикурив, сильно затянулся.

— Ну, откуда будешь? — спросил белобрысый.

— Из Заводоуковского района, — ответил Петров и, чуть помолчав, спросил: — Земляки есть?

— У нас нет. Там, — и парень показал рукой в стену, — в какой-то камере есть.

Ребята расселись на кроватях. Сел и Коля.

— По какой статье? — спросил, заикаясь, цыган.

— По сто сорок четвертой.

— Кого обчистил?

Коля задумался.

— Я вообще-то никого не чистил. Шьют мне две кражи.

— Э-э-э, — протянул белобрысый. — Он в несознанку. Вяжи об этом.

Ребята курили и расспрашивали Петрова, сколько человек пришло по этапу, много ли малолеток, первый ли раз в тюрьме. Он отвечал, а сам рассматривал камеру. Она была небольшая. Всего три двухъярусных кровати. Он занял шестое, последнее свободное место. Возле вешалки с фуфайками, на табурете, стоял бачок с водой. В углу у самой двери притулилась параша. У окна между кроватями стоял стол. На столе лежала немытая посуда. Стол и пол были настолько грязные, что между ними не было никакой разницы.

Ребята встали с кроватей, и цыган сказал:

— Тэк-с... Значит, в тюрьме ты в первый раз. А всем новичкам делают прописку. Слышал?

— Да, слышал. — Но в чем заключается прописка, Коля не знал.

— Ну что ж, надо морковку вить. Сколько морковок будем ставить?

Ребята называли разные цифры. Остановились на тридцати: двадцать холодных и десять горячих.

— А банок с него и десяти хватит, — предложил один.

— Десяти хватит, — поддержали остальные.

Морковку из полотенца свили быстро. Ее вили с двух сторон, а один держал за середину. То, что они сделали, и правда походило на морковку, по всей длине как бы треснутую. Цыган взял ее и ударил по своей ноге с оттяжкой.

— Н-нештяк.

— Добре, — поддакнул другой.

Посреди камеры поставили табурет, и белобрысый, обращаясь к худому и потому казавшемуся высоким парню, сказал:

— Смех, на волчок.

Смех вразвалочку подошел к двери и затылком закрыл глазок, чтобы надзиратель не видел, что здесь будет происходить.

— Кто первый? — спросил белобрысый и, протянув парню с пухлым лицом морковку, добавил: — Давай короче.

Пухломордый взял морковку, встряхнул ее и, усмехнувшись, приказал Коле:

— Ложись.

Коля перевалился через табуретку. Руки и ноги касались пола. Парень взмахнул морковкой и что было силы ударил Колю по ягодицам.

— Раз, — начал отсчет один из малолеток.

— Слабо, — корил белобрысый.

— Ты что, — вставил цыган, — забыл, как ставили тебе?

Парень сжал губы, и во второй раз у него вышло лучше.

— Два.

— Во-о!

— Три.

— Это тоже добре, — комментировал цыган.

— Четыре.

Задницу у Коли жгло. Удары хоть и были сильные, но терпимые. Он понял, что морковка хлещет покрепче ремня. Кончил бить один, начал второй. Ягодицы уже горели. Четырнадцать холодных поставили, осталось шесть. Теперь очередь была Смеха. Его заменили на глазке. Удары у Смеха были слабые, но боль все равно доставляли. Он отработал свое и опять стал на глазок. Осталось десять горячих. Конец морковки чуть не до половины намочили.

— Дер-р-ржись, — сказал цыган Коле.

Мокрая морковка просвистела в воздухе и, описав дугу, обожгла Коле обе ягодицы. Цыган бил сильнее. И бить не торопился. Свое удовольствие растягивал. Ударив три раза, он намочил конец морковки еще, повытягивал ее, помахал в воздухе и, крикнув, с выдохом ударил. Только у Коли стихла боль, как цыган взмахнул в последний раз, попав, как и хотел, самым концом морковки. Такой удар был больнее.

Но вот морковка в руках у белобрысого.

— На-ка смочи, — подал он ее пухломордому.

Теперь морковка была мокрая почти вся.

Белобрысый свернул ее потуже, повытягивал так же, как цыган. Парни, видя, что он скоро ударит, заготовали, предвкушая удовольствие. Все знали по себе, как он бьет.

— Ты ему, — сказал цыган, — ударь разок не поперек, а провдоль. Чтoб хром лопнул.

— Он тогда в штаны накладет, — заметил другой.

Коля понял, что били вначале слабые, а теперь надо выдержать самое главное. И не крикнуть. А то надзиратель услышит. Петрову было неловко лежать, перевалившись через табурет. Из его рта пока не вылетел ни один стон. Вот потому его хлестали сильнее, стараясь удачным ударом вырвать из него вскрик. Чтобы унижить. Упрекнуть. Коля понимал это и держался.

Белобрысый поднял обе руки до уровня плеч, в правой держа морковку. Расслабился, вздохнул, переложил конец морковки в левую руку и, сказав: «Господи, благослови», с отяжкой что было мочи ударил. Задница у Коли и так горела, а сейчас, после удара, будто кто на нее кипятка плеснул. Следующий удар не заставил себя ждать. Только утихла боль, белобрысый сплеча, без всякой отяжки хлестанул вдругорядь. Удар был сильнее первого. Коля после него изогнул спину, но не застонал. Ребята каждый удар сопровождали кто выдохом, будто били сами, кто прибауткой. Их бесило, что пацан не стонал. Им хотелось этого. Они ждали стопа. Тогда белобрысый стал бить тише. Но Коля терпел. Последний удар был самый сильный. Казалось, в него вложена вся сила. Но стопа нет. Белобрысый отдал морковку, чтобы к ее концу привязали кружку, и сказал:

— Молодец, Камбала. Не ожидал. Не то что ты, Смех!

Смех с ненавистью взглянул на Петрова. Он перед Камбалой унижен. Перед этим одноглазым...

Пока привязывали к концу морковки кружку, Коля передохнул. Осталось вытерпеть последние десять банок. Алюминиевая кружка к ошпаренной заднице будет прилипать больнее.

Поставили Коле и банки. Он выдержал. Ни стопа. Задница горела, будто с нее сняли кожу. Его еще ни разу так долго никто не бил. Белобрысый и двое ребят остались довольны Петровым. Так терпеть должны все. Но двое, цыган и Смех, были разъярены и возненавидели его.

Коля закурил. Все смотрели на него.

— Н-ну с-садишь, — сказал цыган. — Чтo стоишь?

Парни засмеялись. Все понимали, что сесть ему сейчас невозможно.

— Покури, передохни,— беззлобно сказал белобрысый.— Садиться еще придется. Кырочки, тромбоны и игры остались.— Он помолчал, глядя на Колю, потом добродушно, будто не было никакой прописки, сказал:— Теперь можно знакомиться.— И протянул широкую жесткую ладонь.— Миша.

— Коля.

Вторым дал руку цыган.

— Федя.

Третий был тезка, а четвертого звали Вася. Смех дал руку и сказал:

— Толя.

— Не Толя,— оборвал его Миша,— а Смех.

— Ну Смех,— недовольно протянул он.

— А ты,— сказал Миша, обращаясь к Коле,— отныне не Коля, а Камбала. Эта кличка тебе подходит.

Посреди камеры поставили скамейку.

— Садись,— сказал цыган,— сейчас получишь по две кырочки и по два тромбона.

Коля сел.

— Делай, Вася,— скомандовал Миша.

Вася подошел, нагнул Коле голову, сжал пальцы правой руки и, размахнувшись, залепил ему по шее. Раздался шлепок.

— Р-раз,— произнес цыган.

И тут Вася, вновь примерившись, закатил Коле вторую кырочку.

— Следующий.

Когда бил Миша, голова сотрясалась, чуть не отскакивая от шеи, и хлопок, похожий на выстрел, таял под потолком. Шею ломило.

Затем ребята поставили Коле по два тромбона. Одновременно ладонями били по ушам и с ходу, соединив их, рубили по голове. Уши пылали. В ушах звенело.

— А сейчас, Камбала, будем играть в хитрого соседа,— объявил Миша.

— Я буду хитрым соседом,— вызвался цыган.

— Игра заключается в следующем,— продолжал Миша.— Вы двое садитесь на скамейку, на головы вам накидываем фуфайку, а потом через фуфайку бьем вас по головам. Вы угадываете, кто ударил. Это та же игра, что и жучок. Вернее сказать— тюремный жучок. Только вместо ладони бьют по голове. Итак, начали.

Коля и Федя сели на скамейку. На них вмиг накинули фуфайку, и Коля тут же получил удар кулаком по голове. Он поднял фуфайку и посмотрел на Мишу, так как удар был сильный.

— Ты?

— Нет!

Теперь Коля накинул подол фуфайки на голову сам. Следующий удар получил Федя. Но он тоже не угадал. Коля не отгадал и во второй раз и в третий. А в четвертый его ударили не кулаком, а чем-то тяжелым, отчего в голове загудело. Но он не отгадал опять. Теперь не только задница ныла, но и голова гудела. Вот он опять получил удар чем-то тяжелым и понял, что на этот раз ударил сосед. Коля скинул фуфайку и показал пальцем на Федю.

— Это он.

— Ох и тугодум ты. Бьют тебя все, а надо на соседа показывать. Ведь игра же называется хитрый сосед,— улыбаясь, сказал Миша.

Следующая игра называлась петух. Коля с усилием натянул рукава фуфайки на ноги. И тут его голову обхватили две дюжие руки, наклонили ее и, просунув под воротник, натянули фуфайку на спину. Затем цыган с пренебрежением толкнул Колю ногой. Коля закачался на спине, как ванька-встанька, и остановился. Петух был своего рода капкан или смирительная рубашка: Колина голова

была у самых колен, ноги, продетые в рукава, бездействовали, руки, прижатые фуфайкой, стянуть ее были не в силах. Он катался по полу, стараясь выбраться из петуха, но тщетно. С ним могли сделать все что угодно. Ребята давились от смеха, наслаждаясь его беспомощностью.

Ярости уже не было в Коле, чувства были парализованы. Ему хотелось одного — чтоб побыстрее все кончилось. Воля его была надломлена. Раньше он думал, что среди заключенных есть какое-то братство, что они живут дружно между собой, что беда их сближает и что они делаются последней коркой хлеба, как родные братья. Первый же час в камере принес ему разочарование. Он готов был плакать. Лучше провалиться в тартарары, чем беспомощному валяться на полу под насмешки друзей по несчастью.

— Хорош гоготать. Побалдели — и будет. Снимите петуха, — сказал Миша.

Но никто не двинулся с места. Освободить никому не хотелось. Все же тезка освободил ему голову, и Коля медленно, будто контуженый, стал вытаскивать ноги из рукавов. Вот он свободен. Фуфайка лежит рядом. Но он продолжает сидеть на полу. Федя-цыган подходит, заглядывает ему в лицо и, отойдя к двери, расстегивает ширинку. Коля невидящим взглядом смотрит в пол. Цыган оборачивается и подходит к Петрову. Камера остолбенела. Такого еще никто не видывал. Цыган остановился в двух шагах от Коли и стал тужиться. Коля поднял на него глаза, но остался недвижим. Ему надо было встать, но этот час кошмара вымотал его и он не соображал, как ему быть. Струя побежала и стала приближаться к Коле, еще доля секунды — и она ударит в лицо. Коля не вскочил с пола, а только инстинктивно, будто в лицо летит камень, поднял руку. Ладонь встретила струю, и от нее полетели сотни брызг в стороны.

— Федя, Федя, ну зачем ты, Федя? — Встать Коля не мог.

Цыган смеялся. Струя колебалась. Коля водил рукой, ловя струю, и она разбивалась о ладонь. Но вот до него дошло, что надо сделать, и он вскочил с пола. Цыган прекратил. В камере стояло гробовое молчание. Первым его нарушил цыган:

— Ну, остается еще одно — и хватит с тебя.

Все молчали.

— В тюрьме есть закон, — продолжал цыган, — и в нашей камере тоже: все новички целуют парашу.

Коля не знал, когда кончится эта пытка, и был сейчас готов на все. Что параша дело плохое — эти слова не пришли ему на память. Не до воспоминаний. Все как во сне. Но почему-то целовать парашу показалось ему странным, и он, посмотрев на цыгана, спросил:

— И ты целовал?

— А как же...

Коля обвел взглядом ребят, сидящих на кроватях. Они молчали. И он спросил:

— А что, правда надо целовать парашу?

Ответом — молчание. Коля заколебался. Тогда Смех поддержал цыгана:

— Целуй. Все целуют.

— Вот поцелуешь — и на этом конец, — вмешался опять цыган. Как хотелось Коле сейчас, чтоб все это кончилось. Сломленная воля говорила: целуй, — но сердце подсказывало: не надо.

Не доверяя цыгану и Смеху, он посмотрел на Мишу, самого авторитетного в камере. Миша был доволен Колей — он ни разу не застонал, когда его прописывали. Но теперь, когда Коля малодушничал, Мише не было его жалко.

— Парашу целуют все. Это закон, — сказал он.

Коля еще раз обвел всех взглядом и остановился на цыгане.

— Ну что же, целуй,— растягивая слова, чтобы не заикаться, сказал цыган.

— А куда целовать?

— Открой крышку и в крышку изнутри.

Коля медленно подошел к параше — она стояла у самой стены — и откинул крышку.

— Сюда? — указал он пальцем на зернистую, отбеленную солями внутреннюю сторону крышки.

— Сюда,— кивнул цыган.

Сердце, сердце опять подсказывало Коле, что целовать парашу не надо. Но крышка открыта — мосты сожжены. К ребятам он стоял спиной и нагибался к крышке медленно, будто она его могла полоснуть, словно нож, по горлу. Из параша несет мочой. Вот уже крышка рядом, он тянет к ней губы, будто она раскаленная и, прикоснувшись, обожжет их. В камере тишина. Все замерли, будто сейчас свершится что-то такое, от чего зависит их судьба. Коля еле тронул губами крышку и только выпрямился — камера взорвалась:

— Чушка! Параша! Мина!

Гул стоял долго.

— Камбала! Закрой парашу! — наконец крикнул Миша.

Коля закрыл.

— Сейчас мы позвоним,— продолжал он,— во все камеры и скажем, что у нас есть чуха.

Миша взял со стола кружку и только хотел стукнуть по трубе, как Коля, поняв, какая жизнь его теперь ожидает, закричал:

— Миша! Ребята! Простите! Ведь я правда думал, что надо целовать парашу. Вы же сказали,— он посмотрел на цыгана, на Смеха, остановил взгляд на Мише,— что целовать парашу — тюремный закон. Если б вы не сказали, разве б я стал целовать? Да не поцеловал я ее, я только губы поднес...

Ребята молчали. Решающее слово оставалось за Мишей. Миша немного подумал.

— Хорошо,— сказал он и поставил кружку на трубу отопления,— звонить не будем.

Он замолчал. Молчали и остальные.

— Я думаю, его надо простить,— произнес Миша.

Смех был против, а цыган молчал. Двое ребят согласились с Мишей. Переговорив, парни Колю решили простить и никогда никому об этом не рассказывать.

Ночью ему снились кошмарные сны. Он проснулся и обрадовался: как хорошо, что все было во сне. Но тут же вспомнил вчерашний вечер, и ему стало страшно. Сейчас ему хотелось, чтобы и тюрьма была лишь только сном. Он откинул одеяло, и в глаза ему ударил неяркий свет ночной лампочки, светившей, как и в боксике, из зарешеченного отверстия в стене. Нет — тюрьма не сон. «Сколько же сейчас времени? Скоро ли подъем?» — подумал он, поворачиваясь к стене и натягивая на голову одеяло.

Он лежал, и ему не хотелось, чтобы наступало утро. Что принесет ему новый день? Уж лучше ночь. Тюремная ночь. Тебя никто не тронет. Или лучше — одиночка.

Но вот дежурный в коридоре заорал: «Подъем!» — и стал ходить от двери к двери и стучать ключом, как молотком, в кормушки, крича по нескольку раз «подъем». Камера проснулась. Ребята нехотя вставали, потягивались, ругали дубака.

— Да, Камбала, ты сегодня дневальный,— с кровати сказал Миша, стряхивая на пол пепел с папиросы.

Слышно было, как соседние камеры повели на оправку. И у их двери дежурный забренчал ключами.

— На оправку! — распахнув дверь, крикнул дежурный

Цыган, проходя мимо Коли, сказал:

— Выставь бачок.

Коля выставил и зашел за парашей.

— Смех,— услышал Петров в коридоре голос Миши,— а парашу кто будет помогать нести?

Смех вернулся в камеру, злобно взглянул на Колю, и они, взяв за ручки двухведерную чугунную парашу и изгибаясь под ее тяжестью, засемили в туалет.

В туалете было холодно — здесь трубы отопления не проходили. После opravки ребят закрыли в камеру.

В коридоре хлопали кормушки: разносили еду. Открыли и у них.

— Кружки! — гаркнул работник хозобслуги, и Коля, взяв со стола кружки, в каждую руку по три, поднес к нему.

Тот шустро насыпал в каждую кружку по порции сахара специальной меркой, сделанной из нержавейки и похожей на охотничью мерку для дробы. Через несколько минут Коля получил шесть порций сливочного масла, завернутого в белую бумагу, а затем хлеб и занес бачок с кипятком.

Когда принесли пшеничную кашу, парни сели за стол. В белый ноздристый хлеб, который в тюрьме давали малолеткам только на завтрак, они втерли пятнадцать граммов масла и стали завтракать. Ели они не торопясь, особенно когда пили чай с сахаром и маслом. Удовольствие растягивали.

После завтрака Коля собрал со стола миски и поставил их у дверей.

Теперь малолетки, лежа на кроватях, курили и ждали вывода на прогулку. Когда им крикнули приготовиться, Коля сказал:

— На прогулку я не пойду. У меня носков шерстяных нет и коцы здоровенные.

— Пошли,— позвал цыган,— мы ненадолго. Замерзнем — и назад. Вместо шарфов парни обмотали шеи полотенцами.

Но Коля остался.

Как хорошо быть одному. Вот бы они совсем не возвращались. Но ребята минут через двадцать вернулись. Румяные, веселые.

Отогревшись, цыган взял шахматы.

— Сыграем в шашки?

— Сыграем,— согласился Коля.

Вместо шашек расставили шахматы. Цыган обвел всех взглядом и спросил Колю:

— Играем на просто так или на золотой пятак?

— Конечно, на просто так. Где же я возьму золотой пятак, если проиграю?

За игрой наблюдали, но никто не подсказывал. Коля цыгану проиграл быстро.

— Ну, теперь исполняй три желания,— сказал цыган, вставая из-за стола и самодовольно улыбаясь.

Он потянулся будто после тяжелой работы и встал посреди камеры, скрестив руки на груди.

— Какие три желания? Мы так не договаривались.

— На просто так — это значит на три желания.

— А если б на золотой пятак,— спросил Коля,— тогда бы что?

— А тогда я бы потребовал у тебя золотой пятак. Ты бы где взял его? Нигде. Ну и опять — три желания.

Понял Коля — три желания горели ему так или иначе.

— Первое желание говорю я.— Цыган поднял вверх указательный палец.— Да ты не бойся, желания простые. Полай на тюремное солнышко, а то оно надоело. Неплохо, если оно после этого потухнет. Пошел.— И цыган указал ему место.

Коля вышел на середину камеры, поднял вверх голову и залаял.

— Плохо лаешь. Старайся посмешнее. Представь, что ты на сцене. Мы — зрители,— сказал Миша,— и тебе надо нас рассмешить. Ты должен не только лаять, но и изображать собаку. А вначале— повой.

Коля, глядя на лампочку, завыл. Он решил сыграть роль собаки по-настоящему. Бог с ними, на сцене он выступал не раз. Был он на разные голоса. Потом, обойдя камеру и виляя рукой вместо хвоста, наострил уши другой рукой. И загавкал. Ребята покатались со смеху. Это им понравилось. Гавкал он долго, из разных положений, а потом, как будто обессиленный, упал на пол и завилял «хвостом».

Парни зааплодировали. Унижения, как вчера, он не чувствовал. «Это роль, лишь только роль»,— утешал он себя.

— Итак, Камбала, молодец! — похвалил его Миша. — Смех эту роль исполнил хуже. Мы его заставляли гавкать до тех пор, пока не потухнет лампочка. — Миша затянулся и, выпуская дым, продолжал: — Следующий номер нашей программы,— он задумался,— парашютист.

Ребята отодвинули стол к самым трубам и поставили на него табурет.

— Ты должен с табуретки,— Миша показал рукой,— прыгнуть вниз головой.

— Нет,— возразил Коля,— вниз головой я прыгать не буду. Прыгнуть просто — могу.

— Нет,— заорали все на него,— ты должен прыгнуть вниз головой!

— Ты что — боишься? — спросил его Миша. — Я думал — ты смелый.

Коля молчал. Он боялся сломать шею.

— Если не прыгнешь, получишь морковок и банок в два раза больше, чем вчера. И еще кое-что придумаем,— сказал цыган.

— Ладно, согласен,— сказал Коля.

Он решил прыгнуть с вытянутыми вперед руками.

Ему завязали глаза, и он встал на стол, потом на ощупь ступил на табурет.

— Приготовиться,— сказал цыган,— считаю до трех — и прыгай. Раз, два, три!

Коля нырнул вниз головой с вытянутыми вперед руками. Он ожидал удара о жесткий пол, но упал на мягкое одеяло — его за четыре конца держали парни.

— Ну что, надо сказать — парашютист ты неплохой,— подбодрил его Миша, хлопнув ладошкой по шее.

И третье желанье исполнил Коля: послал на три буквы дубака.

После обеда Колю повели снимать отпечатки пальцев. Это называлось играть на пианино. Потом его сфотографировали на личное дело и закрыли обратно в камеру.

Вторая ночь, как и первая, прошла в кошмарных снах.

На следующий день после завтрака был обход врача.

— Есть больные? — спросил надзиратель, широко распахнув дверь.

Парни увидели полнеющую молодую женщину в белом халате и в белом колпаке. Она была пышногрудая, привлекательная.

— Нет больных, что ли? — переспросил надзиратель и стал затворять дверь.

— Есть! — заорал цыган и выскочил в коридор.

Через минуту он вернулся, неся в руке две таблетки.

— Ну что,— спросил Миша,— не обтрусался?

Цыган от удовольствия закрыл глаза, открыл и с сожалением сказал:

— Да, неплохо бы ее. Полжизни б отдал.

— Ну и отдай,— вставил Миша,— а завтра помри.

Ребята засмеялись.

И тут они рассказали Петрову — а это рассказывали всем новичкам-малолеткам, — как ее однажды чуть не изнасиловали. Возможно, это пустили тюремную «парашу».

Был очередной медосмотр. Надзиратель открыл камеру, и малолетки выходили к врачу. Но тут в дверь коридора постучали, и надзиратель ушел. Парни, не долго думая, затащили врачуху в камеру и захлопнули дверь. Каждому хотелось быть первым. Они отталкивали друг друга, но тут надзиратель подоспел. За попытку всем добавили срок.

— Газеты, — послышался ласковый голос.

Этот голос был для малолеток как отдушина. Надзиратели и хозяйки, открывая кормушки, кричали. А у почтальона крика не получалось. Говорили, что она дочь начальника тюрьмы.

— Федя, — смеялся Миша, — женись на ней — и начальник тебя освободит.

И потянулись для Коли невыносимо длинные дни, наполненные издевательствами и унижениями.

Если Коля днем засыпал, ему между пальцев ног вставляли обрывок газеты и поджигали. Пальцы начинало жечь, он махал во сне ногами, пока не просыпался. Это называлось велосипед. Был еще самосвал. Над спящим на первом ярусе привязывали на тряпке кружку с водой и закручивали. Раскрутившись, кружка опрокидывалась и обливала сонного водой. Эти игры не запрещало даже начальство, потому что спать днем в тюрьме не полагалось. Еще спящему приставляли горящий окурок к ногтю большого пальца ноги. Через несколько секунд ноготь начинало жечь. Это было нестерпимо больно. Больнее, чем велосипед.

И еще было одно занятие в камере, которое развеивало малолеток, это — тюремный телефон. Если по трубам отопления раздавался стук, сразу несколько парней прижимали ухо к горячей трубе или к перевернутой вверх дном кружке. Слышимость была отличная, даже лучше, чем в городской телефонной сети.

Петров жил в тюрьме около недели, когда к ним наконец заглянул старший воспитатель, майор Замараев. Он остановился посреди камеры и обвел всех смеющимся взглядом. Ребята поздоровались и теперь молча стояли, глядя на Замараева. Он был в черном овчинном полушубке, валенках, в форменной шапке с кокардой. Лицо от мороза раскраснелось.

— Так, новичок, значит, — сказал он, разглядывая Колю. — Как фамилия?

— Петров.

— По какой статье?

— По сто сорок четвертой.

— Откуда к нам?

— Из Заводоуковского района.

Майор, все так же посмеиваясь, скользнул взглядом по камере, будто чего-то выискивая.

— Кто сегодня дневальный?

— Я, — ответил Коля.

— Пол мыл?

— Мыл.

— А почему он такой грязный?

Коля промолчал.

— На столе пепел, на полу окурок. — Майор показал пальцем на чинарик.

Окурок бросили на пол, после того как Коля помыл пол.

— Один рябчик, — И майор поднял палец вверх.

Коля смотрел на старшего воспитателя.

— Не знаешь, что такое рябчик?

— Нет.

— Это значит — еще раз дневальным, вне очереди. Теперь ясно?

— Ясно.

— Прописку сделали?

Коля молчал. Ребята заулыбались.

— Сделали, товарищ майор, — ответил цыган.

— Кырочки получил?

— Получил, — теперь ответил Коля.

— Какую кличку дали?

— Камбала, — ответил Миша.

Майор улыбнулся.

— Вопросы есть? — Только теперь воспитатель стал серьезным.

— Нет, — ответили ребята.

Майор ушел.

— Вот так, Камбала, от Рябчика рябчик получил. Для начала неплохо. Завтра будешь опять дневальный, — сказал Миша.

Оказывается, у старшего воспитателя кличка Рябчик. Иначе никто из малолеток за глаза его не называл.

2

Стояла злая зима. Коля только один раз сходил на прогулку, сильно замерз, и больше идти желания не было.

На тюремном дворе было десять прогулочных двориков. Малолеткам в день гулять было положено два часа, а взрослым — один. Но в морозные дни ни малолетки, ни взрослые больше двадцати — тридцати минут не выдерживали. Замерзнут — и в камеру.

Прогулочные дворики, как и стены туалетов, были обрызганы раствором под шубу. Над некоторыми двориками была натянута сетка, чтоб заключенные не могли перекидываться записками, куревом, да мало ли еще чем.

После обеда открылась кормушка, и надзиратель крикнул:

— Петров, приготовиться с вещами!

Колю забирали на этап. «Слава Богу, Наконец-то», — подумал он и стал сворачивать постель.

— Ну, Камбала, на двести первую тебя¹. Когда приедешь назад, просись в нашу камеру. С тобой веселей, — сказал цыган.

«Вот пес, — подумал Коля. — Чтоб ты сдох, хер цыганский». Но сказал:

— Конечно, буду проситься.

Коля сдал постель на склад и переоделся в вольную одежду.

Этапников сводили в баню и закрыли на первом этаже в этапную камеру. До ночи им нужно отвалиться на нарах, а потом — на этап.

В полночь этапников принял конвой из солдат, ошмонал, и повезли их на вокзал.

И вот — снова «стольпин». Вроде бы такой же с виду вагон, а внутри одна перегородка от пола до потолка сплетена, как паутина, из толстой проволоки. Если б Коле когда-нибудь раньше показали вагон, в котором возят заключенных, он подумал бы, что такой вагон предназначен для перевозки зверей.

Вагон, слава Богу, не был забит до отказа, и Коле нашлось место. Два часа езды — и Петров в Заводоуковске. В родной КПЗ.

Новое здание милиции построили незадолго до того, как посадили Колю. Здание было двухэтажное, а полуподвальное помещение занимала КПЗ. В ней было пять камер. Начальник КПЗ вместе с дежурным

¹ Статья 201 Уголовно-процессуального кодекса — имеется в виду закрытие следственного дела.

закрыв заключенных в камеры, и Коля, разостлав одежду на нарах, бухнулся на нее.

В этот день к Бородину — начальнику уголовного розыска, который вел у него следствие, — Колю не вызвали.

Коля жил в селе Падун, что в пяти километрах от районного центра, города Заводоуковска.

Село Падун возникло в конце семнадцатого или начале восемнадцатого века. В двадцатых годах восемнадцатого века винокуренный завод, как он тогда назывался, уже выдавал продукцию. Во время восстания Емельяна Пугачева каторжные и рабочий люд винокуренного завода первыми в Ялуторовском уезде взбунтовались. Падун стал разрастаться в девятнадцатом веке, когда через него прошел новый, более прямой, большой сибирский тракт. Самое название села коренные жители объясняли по-разному. Одни говорили, что так его назвали потому, что когда при царе-батюшке гнали по сибирскому тракту революционеров, то многие падали от усталости и умирали. Потому и Падун. Другие говорили, что название села происходит от слова «впадина», в которой раскинулся Падун.

Павел Поликарпович Быков, сосед Петровых, рассказывал Коле: «Спиртзаводом в Падуне раньше, до революции, владел Паклевский. Ты на поездах все ездешь, слышал, наверное, станцию около Свердловска, Талицу. Так вот, она раньше Паклевской называлась. И жил сам Паклевский там, а сюда раза два в год заявлялся. Здесь, без него, заводом руководил управляющий. Дом его стоял — я еще застал этот дом — около пруда, примерно на том месте, где барак сейчас гнилой стоит. Дом его богатый, роскошный был. Дворец да и только. Мраморные ступени вели от дома к пруду. Оранжерея рядом, зимой и летом — цветы. А потом и дворец, и ступени, и всю оранжерею выкорчевали и барак построили. Барак-то скоро сгниет, а дворец бы по сей день стоял. Чем он им помешал?

А дом большой, что по Революционной стоит, на нем табличка с годом постройки еще целая, в тыща восемьсот двенадцатом году построен. Этот дом до революции занимал один кучер. Сейчас в нем живет восемь семей. Да и вообще, все старинные дома стоят как новенькие, а новые сгниют скоро. Возьми старую школу, больницу, детский сад — все эти дома Паклевского, все они в прошлом веке построены и будут еще стоять о-ё-ёй! А склады спиртзавода! Колька, ты знаешь, сколько им лет? Нет, не знаешь! Им более двухсот! А они как игрушки! Хрунов хотел расширить школу, снести склады, но ему отказали. Эти склады в Москве на учете числятся. Никому не дадут их снести. Да и пруд сам взять бы. Он раньше знаешь какой чистый был. В нем рыбы полно водилось. А потом в него стали отходы со спиртзавода сбрасывать, и вся рыба передохла. Зачем они еще и в пруд отходы сбрасывают, я по сей день не пойму Бардянки² им, что ли, мало? Один карась и ужился. Его сивуха не берет. Он пристроился. Проспиртовался. Живучий ведь, а, карась! Раньше, при Паклевском, за прудом следили, чистили его. Особенно ключи. Ты ведь знаешь, доски гнилые от ключей все еще целые. А вода по лоткам текла. И лотки кое-где еще есть. Да и после войны женщин со спиртзавода посылали ключи чистить. Так они, заместо того чтоб ключи чистить, ягоды собирали, грибы, а потом на солнышке пузо грели. Так и запустили пруд. Я всю Европу прошел, каких только мест не видел красивых, но красивее нашей местности не встречал. Сейчас зима, не знаю, доживу ли до весны, хочется перед смертью вдоль пруда пройтись и по лесу тоже. Меня так туда тянет. Что за чудную природу Бог создал в Падуне».

Летом 1885 года во время путешествия по Восточной Сибири

² Бардянка — речка длиной не более километра, по которой текут отходы спиртзавода.

в Падуне останавливался Д. Кеннан³. В его книге «Сибирь и ссылка» о Падуне есть такая страница: «Приблизительно в ста верстах от Тюмени, за деревней Заводо-Уковкой, мы провели два часа в имении богатого сибирского фабриканта Колмакова, к которому один из моих русских друзей дал мне письмо. Я был немало поражен, встретив в этом уголке, в стороне от цивилизованного мира, так много комфорта, вкуса и роскоши. Дом представлял собою двухэтажную виллу, обширную и удобно расположенную и обставленную. Из окон открывался вид на пруд и тенистый сад с извилистыми дорожками, тенистыми беседками, длинными рядами земляничных и смородиновых кустов и душистыми клумбами. На одном конце сада находилась оранжерея, полная гераней, вервен, гортензий, кактусов, лимонных и померанцевых деревьев, ананасов и других видов тропических и полутропических растений, а сейчас же подле нее теплица, полная огурцов и мускатных дынь. В середине возвышался зимний сад. Этот маленький хрустальный дворец представлял собою рощицу из бананов и молодых пальм, между которыми извивались тропинки, окаймленные куртинами цветов; там и сям среди этого волшебного сада стояла садовая скамейка или удобное кресло. Деревья, цветы и кустарники росли не в горшках, а прямо на земле. Нам казалось, что мы были перенесены в тропические края. «Кто бы мог подумать,— сказал г. Фрост, опускаясь на скамейку,— что мы будем отдыхать в Сибири под сенью бананов и пальм». Сделав прогулку в прелестный парк, примыкавший к саду, мы вернулись назад в дом, где нас ожидал уже холодный ужин, состоящий из икры, маринованных грибов, дичи, белого хлеба, пирожных, земляники, водки, двух или трех сортов вина и чаю».

В двадцати километрах от Падуна находится село Новая Заимка, в котором родилась и выросла мать Коли, Аксинья Александровна Мареева. Новая Заимка была основана позже Падуна, и прадед Аксиньи Александровны в числе первых переселенцев построил большой пятистенник.

Самыми богатыми в Новой Заимке были Чанцовы. Перед революцией они начали строить мыловарню, которую закончить не успели. А на большие осиротевшие котлы, в которых должно было вариться мыло, бегали смотреть местные ребятишки, среди которых была и маленькая Ксюша.

Весной 1918 года Чанцовы из Новой Заимки сбежали, оставив революции все движимое и недвижимое, которым тут же воспользовались работные люди Чанцовых. Были они из соседней деревни Федосовой, куда и свезли движимое и пустили с молотка. Мареевы купили у чанцовских работников красивую шаль и овчинный полушубок.

Летом 1918 года белая гвардия торжественно вступила в Новую Заимку. Впереди отряда шел высокий, черный, с закрученными усами офицер, попыхивая длинной трубкой. Напротив дома Мареевых усатый офицер окликнул молодую женщину, которая несла воду.

Это была Ненила Попова, соседка Мареевах. Их дом стоял напротив. Сразу после революции, когда свергли царя, Ненила решила свергнуть и нелюбимого мужа. Она подпалила амбар, в котором спал муж. Амбар сгорел, но муж из огня сумел выскочить, и Ненилу аре-

³ Кеннан Джордж (16.2.1845, Норфолк, штат Огайо,— 10.5.1924, Элбертон, штат Нью-Джерси) — американский журналист. Несколько раз бывал в России и прожил в ней в общей сложности более пяти лет. После поездки в 1865 году в Сибирь по заданию американской телеграфной компании написал книгу «Кочевая жизнь в Сибири». В 1885—1886 годах совершил путешествие в Восточную Сибирь, целью которого было изучение пересыльной системы и жизни политических преступников в забайкальских рудниках. Собрал богатый материал, он написал и в 1889—1890 годах опубликовал книгу «Сибирь и ссылка», которую тут же перевели на русский и другие языки. В 1906 году книга «Сибирь и ссылка» была напечатана в Санкт-Петербурге в издании В. Врублевского. В 1902 году он издал книгу «Народные рассказы о Наполеоне» — перевод русских легенд и фольклорных материалов о французском нашествии 1812 года. (Из справочников.)

ставали, беременную ее погнали этапом в Тюмень. Этап сопровождали крестьяне с винтовками от деревни до деревни. Когда миновали Ялуторовск и подошли к деревне Чукреевой, где родился и вырос отец Коли, Алексей Яковлевич, этапников стали сопровождать чукреевские крестьяне. В конвоиры попал и только что вернувшийся из германского плена Яков Сергеевич, дед Коли. Он-то и рассказал потом, что Ненила Попова на этапе разродилась. Пока она корчилась в муках, этапники сидели на обочине дороги и, покуривая, ждали пополнения.

Но в Тюмени Ненилу Попову, так как на руках у нее был грудной ребенок, только что родившаяся советская власть привлечь к уголовной ответственности за попытку сожжения мужа не стала, а с миром отпустила домой.

И вот теперь Ненила, услышав оклик, поставила ведра на пыльную дорогу и повернулась к офицеру.

— Скажите,— начал офицер,— где у вас здесь дорога на Старую Заимку?

— На Старую Заимку? — переспросила Ненила и, улыбнувшись, подняла юбку.левой рукой она придерживала поднятый до подбородка подол, а правой, хлопая себя по женской прелести и поворачиваясь на все четыре стороны, говорила: — Там, мои родные, там...

— Дура, видно,— сказал офицер и приказал отряду расквартироваться, решив у умного спросить дорогу на Старую Заимку.

Усатый офицер выбрал для себя мареевский дом и с несколькими офицерами поселился в нем, заняв комнату и горенку. Хозяйева стали ютиться в кухне.

Маленькой Ксюше страшным казался черный усатый офицер, но она тем не менее частенько подглядывала в щелочку двери. Офицер с боевыми друзьями часто пил вино и сидел на кровати, развалившись и попыхивая длинной и черной, как и сам, трубкой.

Через год Красная Армия перешла в наступление на восточном фронте, и колчаковцы с боями стали отступать. Черный усатый офицер отдал распоряжение забрать у Мареевых пуховые подушки. Солдаты утащили их в повозку, но Авдотье Герасимовне, матери Ксюши, дети сказали об этом. Она подбежала к повозке, забрала подушки и унесла их в дом. Отчаянная была Авдотья, а муж ее, лучший стрелок полка, погинул в германскую.

Офицер разозлился на Авдотью и пошел за ней следом.

Она уже стояла на кухне без подушек около печки. Не говоря ни слова, черный усатый офицер наступил ей шпорой на босую ногу и, развернувшись, вышел, раздавив Авдотье большой палец ноги.

В конце двадцатых годов в Новой Заимке образовали колхоз. Обобществили скот, инвентарь и даже птицу. Некоторые бедняки говорили, что лучше умрут, но в колхоз не вступят. Зажиточных мужиков, да и не зажиточных тоже, раскулачили.

В Новой Заимке жили побогаче, чем в окрестных деревнях, и мужики из бедных деревень, приезжая в Новую Заимку, стали исподтишка заменять старый инвентарь на более добротный. Хоть вожжи или уздечку, да заменят. Но колхоз просуществовал недолго: распался. Скот развели по домам, а птицу растащили, прихватывая и чужую. Мареевы всех кур домой принесли, лишь петух попал в чужие руки.

У Ксюши был старший брат, Иван. В детстве неродная бабка хлестнула его мокрой тряпкой по лицу, чтоб он первый блин не брал. И с тех пор он помешался. Раз прибегает Ванька домой — ему уж лет шестнадцать было — и говорит:

— Мама, а наш петух у Мишки Харитонова поет.

— А ты откуда знаешь, что наш? — спросила Авдотья Герасимовна.

— А я по голосу узнал.

— Ну, если наш, иди забери.

И Ванька принес домой своего петуха.
В Новой Заимке сразу же появилась частушка:

Кто за гриву, кто за хвост,
Растащили весь колхоз.

Но вскоре колхоз организовали во второй раз, и по улице затахтел американский трактор «фордзон». Ребятишки бежали за ним радостные, а старики, стоя у дороги, дивились стальному чуду.

В Новой Заимке жил бедняк по кличке Бог Помощь. Свою поговорку «Бог помощь» он лепил к месту и не к месту. Семья у него была большая, но он, хоть и последний хрен без соли доедал, в колхоз не вступал. Нухники в селе чистил.

Зимой у Бог Помощь умерла жена, и он зарыл ее на кладбище в сугроб. Весной его вызвали в милицию, и он, выслушав мораль, сказал:

— Зимой-то я ее Бог помощь, а весной она милости просим.

В милиции Бог Помощь приказали купить гроб и похоронить жену в могилу.

Аксинья Александровна, выйдя замуж за Алексея Яковлевича, объездила половину Омской области — Алексей Яковлевич работал в милиции, его часто переводили из района в район, и через двадцать лет, в начале пятидесятых, они вернулись в Новую Заимку. Коле год всего был.

У Авдотьи Герасимовны было большое семейство, и она рядом с дедовским пятистенником построила еще один. Но в тридцатые годы ее братья и дети поразъехались, и дедовский дом пустовал. Его занял колхоз под контрольно-семенную лабораторию. Вернувшись в Новую Заимку, Алексей Яковлевич стал хлопотать, чтоб колхоз отдал его жене законный дом. Авдотья Герасимовна к этому времени умерла, и Петровы жили вместе с Иваном в новом доме, который, по недостатку лесоматериала, был плохо покрыт и потому начал гнить.

Дом Петровым решили вернуть, но за перекатку сказали уплатить небольшую сумму. А денег в это время не оказалось, и дом так и остался у колхоза. Алексея Яковлевича, который к этому времени вышел на пенсию, вскоре назначили директором маслозавода, и вся семья уехала в деревню Боровинку.

Иван все жаловался колхозникам, что он живет в доме, который протекает, а ядерный дом, прадедовский, которому лет сто пятьдесят, стоит как ни в чем не бывало, да вот только колхоз за него деньги просит, а где он по трудодням столько заработает.

Старики-колхозники относились сочувственно к помещанному Ивану и успокаивали его, говоря: «Вот падет советская власть, и ты перейдешь в свой старый дом».

Хотя после Отечественной войны прошло около десяти лет, но некоторые старики в Сибири не верили, что советская власть долго продержится. Да и в Падуне кое-кто из дедов, обиженных советской властью, запрещал своим детям и внукам дружить с Колей, потому что его отец был бывший начальник милиции и коммунист. Коля видел, как бородачи, особенно когда подвыпьют, ругали Советы и в ярости готовы были всем коммунистам глотки перегрызть.

Коле не было пяти лет, когда он впервые до беспамятства напился. Жили они тогда в Новой Заимке, и к ним нагрянули гости. Отец, гордясь шустрым сыном, посадил его на колени и, разговаривая с гостями и не обращая на Колю внимания, пил водку, все больше оставляя ее на дне стопки. А маленький Коля допивал остатки, кричал, как взрослые, и, нюхая хлеб, закусывал. Ему стало плохо, он залез под кровать и блевал там.

После того первого похмелья Коля не переносил запаха спиртного лет до двенадцати. А потом старшие пацаны приучили его к вину и бражке. Сядут играть в карты и потягивают.

Падун называли в округе пьяной деревней. Если кто не работал на спиртзаводе, а выпить хотелось, он перелезал через забор и приходил в бродильный цех. Просящему протягивали черпак, и он пил некрепкую бражку не отрываясь: обычай был такой.

Все детские воспоминания Коли были связаны с воровством. Он не помнил, чтобы маленьким играл в какие-нибудь игрушки, но зато отлично помнил, как он, шестилетний, наученный пацанами, лазил по крышам и воровал вяленое мясо.

Из всех деревенских детей Коля был самый шустрый. Летом он ходил в одних трусах и был загорелый, как жиган. Так его и прозвали — Жиган. В пять лет у него появилась первая кличка.

Коле было шесть лет, когда он со своим соседом-тезкой, Колькой Смирдиным, зашел к Ваське Жукову — тот верховодил местной пацанвой — в небольшой домишко на краю Боровинки. Васька был самый старший из всей компании, и шел ему семнадцатый год.

Коля сел на голбчик у печки, напротив обеденного стола, а Васька, пошептавшись с Колькой Смирдиным, сходил в комнату, взял одноствольный дробовик и, показав Коле патрон, заряженный только порохом, сказал:

— Поцелуй у котенка под хвостом.

А Колька Смирдин, взяв котенка, крутившегося около ног, протянул Коле.

— Не буду, — сказал Коля.

— Если не поцелуешь, я стрелю тебе в глаз. Считаю до трех: рас-с-с... — начал считать Васька.

Что такое ружье, Коля знал. Но никак не думал, что Васька в него может стрельнуть.

Васька с Колькой часто издевались над Жиганом: то сажали его на лошадь и пускали ее в галоп, то, когда ватага пацанов бродила по лесу, давили на его голове мухоморы.

Васька зарядил ружье, сел у окна на табурет и, сказав: «Два...» — стал целиться Коле в левый глаз. От конца ствола до лица Коли было два шага. Коля не моргая смотрел в отверстие ствола. Васька, сказав «три», нажал на курок. Но он промазал: целясь в упор, попал ниже глаза, в скуловую кость. Коля сознание не потерял и, посмотрев в испуганные глаза Васьки, сказал:

— Ох, Васька, тебе и будет.

Пацаны подскочили к нему, взяли под руки и вытащили на улицу. Там они стали плескать воду на рану, из которой хлестала кровь, как бы надеясь смыть следы преступления. Коля потерял сознание.

Мать повезла сына в новозаимковскую районную больницу. Ему сделали рентген, но рентген не показал бумажного пыжа, и хирург зашил рану вместе с пыжом. Коля в сознание не приходил, и мать повезла его в областную больницу. В Омск.

На пятые сутки Коля пришел в сознание. Все это время мать не отходила от него и дремала на стуле. Коля спросил:

— Мама, почему я живой — а не вижу?

Медленно, очень медленно зрение возвращалось к Коле. Но только одного, правого, глаза. А рана на левом не заживала. Бумажный пыж подпер глаз снизу, и он стал вытекать. Тогда врачи сняли швы, вытащили часть пыжа и раздробленную кость. Но глаз так и вытек.

Мать выковыривала порох, который усеял все его лицо.

Когда Колю выписали из больницы, бумажный пыж — клочок газеты — еще долго выходил из незаживающей раны.

После этого случая у матери стали отказывать ноги и она забыва-

лась. Если она шла в магазин, то проходила мимо него, а потом, остановившись, вспоминала, куда ей надо.

Вскоре над пацанами состоялся суд. Колька Смирдин отделался легким испугом, а Васке Жукову дали три года. Но он, отсидев год, досрочно вышел на свободу.

Прикрытое веко левого, незрячего глаза и воронкообразный шрам чуть не на полщеки обезображивали Колино лицо. Иногда он закрывал ладонью левый глаз — из зеркала смотрел настоящий Коля. Мать не раз ему говорила, что когда она на него с правой стороны смотрит, то видит сына, а когда с левой — чужого парня. К шраму на лице сына мать привыкнуть не могла.

Со старшими пацанами Коля лазил по чужим огородам — «козла загонял» — и на спиртзавод за голубями. Но вскоре он превзошел своих учителей и приноровился красть покрупнее: в школу не раз залезал, приборы из кабинетов умыкивал, а потом и вещи из школьной раздевалки потягивать стал и загонять цыганам по дешевке.

К пятнадцати годам он совершил с десятков краж, но милиция поймать его не могла.

Много раз милиция хватала его по подозрению, но он ни в чем не признавался, и отец, бывший начальник милиции, забирал его из КПЗ. Дома он всякий раз расспрашивал сына, за что забирали и какие показания он дал. И подучивал. Однажды Коле предъявили заключение дактилоскопической экспертизы, показавшей, что отпечаток указательного пальца левой руки сходится с отпечатком, оставленным им на столе директора школы, и Коля сознался. Отец тогда отругал его и сказал, что матерые преступники, если у них совпадает отпечаток только одного пальца, никогда следователю в преступлении не признаются. Бывали случаи, когда они отрубали себе пальцы и заводили следствие в тупик.

К пятнадцати годам отец перестал драть сына ремнем, поняв, что этим его не воспитаешь. Алексею Яковлевичу было стыдно, что сын ворует и он ничего не может поделать с ним. Пусть тогда хоть не создается в кражах, думал Алексей Яковлевич, подрастет, перебесится и не будет воровать. И он натаскивал сына, как вести себя в милиции.

Многое схватил Коля и от рецидивистов, с которыми сидел в камерах КПЗ.

Очень любил Коля охоту и с десяти лет бродил по лесу с ружьем. Дичи он мало убивал, но наблюдал за повадками птиц, которые пригодились ему в воровстве. Когда Коля охотился на уток и подходил к старице — если неподалеку на верхушке березы сидела сорока, то она начинала трещать, и утки заплывали в камыши. Сорока уткам помогала. Но сороки и другие птицы помогали и Коле: когда ему среди бела дня надо было залезть в школу, он вначале прислушивался к птицам; если птицы вели себя спокойно и сорока не трещала, Коля незаметно проникал в школьный сад — там сейчас точно никого не было. Из сада через форточку он залезал в школу.

А когда Коля шел на дело ночью, он наблюдал за кошками. Если кошки собрались и чинно сидят, он был уверен: поблизости живой души нет. А если кот стремглав неся Коле навстречу, он тут же прятался: с той стороны, откуда кот рванул, человек шел.

У Коли была кличка Ян, которую ему дали еще в третьем классе. Как-то Колю с его дружкой старшекласники пригласили в свой класс. Когда начался урок, пацаны спрятались под парты. Как только учительница истории объявила, что сегодня расскажет о чешском национальном герое полководце Яне Жижке, который в бою потерял один глаз, парень, под партией которого сидел Коля, достал его за шиворот и сказал:

— А у нас есть свой Ян Жижка.

Светлана Хрисогоновна разрешила Коле и его другу сесть за парты и прослушать урок. С того времени в Падуне Колю все и стали звать Ян Жижка, но через год-другой фамилия полководца отпала и его кликали просто Ян.

Многие в селе, особенно приезжие и цыгане, жившие оседло, не думали, что у парня есть имя. Для них он был Ян, Янка, и только. Да и сам он привык к своей кличке, и по имени его только дома называли.

Сегодня, когда солнце стояло в зените, у Яна начался зуд в воровской душе. Ему захотелось чего-то украсть. И продать. Чтоб были деньги. Но что он может стибрить днем в своем селе?

Он вспоминал, где что плохо лежит, но ничего припомнить не мог. Его воровская мысль работала лихорадочно, и наконец его осенило: надо поехать в Заводоуковск и угнать там велосипед. Его-то цыгане с ходу купят. И дадут за него половину или хотя бы третью часть. «Значит,— подумал он,— рублей около двадцати будет в кармане».

С утра Ян ничего не брал в рот и почувствовал томление голода. «Вначале надо пойти домой и пожрать». Но жажда угона завладела им полностью и переборола голод. «Вначале стяну, продам, а потом порубаю».

В город на автобусе он не поехал. На всякий случай. Зачем лишний раз рисоваться перед людьми, идя на дело.

Ян сунул руки в карманы серых потрепанных брюк, поддернул их повыше, сплюнул через верхнюю губу и затопал по большаку, оставляя сзади шлейф пыли.

Перед концом села он свернул влево, закурил и пошел через Красную горку. Он жадно затягивался сигаретой и ускорял шаги. Ему хотелось побыстрее прийти в Заводоуковск и свистнуть велик. Душа его трепетала. Он жаждал кражи. Он готов был бежать, но надо экономить силы: вдруг получится неудачно и придется удирать. Он был весь обращен в предприятие и не замечал благоухающей природы. Природа ничто по сравнению с делом. Вперед! Вперед! Вперед!

Он бродил по улицам Заводоуковска, высматривая, не стоит ли где велосипед. Но велосипеда нигде не было.

Дойдя до хлебного магазина, напротив которого находилась милиция, он с волнением остановился. Около магазина, прислоненный к забору, стоял новенький, сверкающий черной краской велик. Янкино сердце сжалось от радости и страха. От радости — потому что стоял велосипед, от страха — потому что рядом милиция. «Что делать? Сесть и уехать. А вдруг выйдет хозяин?»

Из магазина никто не выходил. «Черт, как будто специально. Вот я только возьму, он выйдет, схватит меня и поведет в милицию. Пока будет вести, я так жалобно скажу: «Дяденька, я только хотел прокатнуться». А он мне в ответ: «В милиции объяснишь, куда хотел прокатнуться». Перед самой дверью он подумал, что все, привел, и ослабит руку. Я будто в дверь, а сам как рвану в сторону. Попробуй-ка догони. Ян стоял между милицией и хлебным магазином. «Стоп! Да ведь меня видно из окон ментовки. Вот дурак, что же я стал? Или угонять, или уходить, или стоять, но не угонять».

Ян трусил.

Но тут вышел хозяин велосипеда с хлебом в сетке, повесил ее на руль и уехал. Ян глубоко вздохнул. Выдыхал медленно, и так часто и сильно стучало его сердечко, что ему показалось, будто кто-то за ним наблюдает и знает, что угнать ему велик не удалось. «Вот сука», — выругался он неизвестно в чей адрес.

Он опять рыскал по городу, но все без пользы. Ротозеев было мало, а кто и оставлял велосипед без присмотра, то ненадолго. Смелости Яну не хватало.

День клонился к концу. Чертовски хотелось жрать. По мере того как усиливался аппетит, возрастало и желание угнать велик.

Страсть угона дошла до того, что он с ненавистью теперь смотрел на весело катающихся пацанов, которые будто дразнили его.

Ян брел, притомленный от бесплодного рыскания. На пустой желудок и курить не хотелось. Вдруг, не дойдя до рынка, он увидел около большого пятистенного дома с резными ставнями прислоненный к забору желтый велосипед. Усталость исчезла, вмиг притупился голод, и, дойдя до угла рынка, он пошел вдоль забора.

Забор был высокий, и что делается во дворе — не было видно. «А вдруг выйдут?.. Не бздеть. Щас или никогда!»

Ян медленно подошел к велику. На случай, если кто выйдет, у него был приготовлен разговор. Он шагнет навстречу и спросит:

«Толя дома?»

«Какой Толя?»

«Он говорил прийти за голубьями».

«Не живет здесь Толя».

«В каком он доме живет? У него голубей много».

«Не знаю».

Ох этот страх — Ян никак не решится. Секунды кажутся минутами. Сердце вырывается из груди. Взгляд застыл на никелированном руле, за который он должен взяться. «Ну...» Он шагнул, расслабился, и стало не так страшно — первый преступный шаг сделан.

Велосипед в руках. Он ведет его не торопясь. Не поворачивая головы, смотрит по сторонам. Немного отойдя, он спокойно, как будто это его велосипед, садится на него и тихо крутит педали. Ехать тяжело. Дорога песчаная. Но вот он пересек улицу, и песок кончился. Прибавил скорость. Ему хотелось оглянуться, не вышел ли кто из ограды. Но не стал. Скорее за угол — в другую улицу. Вот и поворот. Никелированные педали замелькали, и его полосатая рубашка сзади надулась пузырем. «Надо свернуть в другую улицу. Так... Еще в другую...»

Мимо мелькали дома и люди. Он мчался к переезду. «Надо ехать тише».

Вбегав в лес, он с облегчением вздохнул. Ноги ломило. Вдруг он услышал сзади рокот мотора. «Мотоцикл!» И Ян, спрыгнув с велосипеда, схватил его за раму и, перепрыгнув канаву и отбежав немного, упал на молодую прохладную траву. За канавой, деревьями и кустами его не было видно. Мотоцикл поравнялся с ним. Ян по звуку определил: «Иж-56» или «Планета», — и прикинул к траве. Ему не было видно, кто едет и с коляской ли мотоцикл. Его щека плотно прижалась к траве, ему хотелось раствориться, слиться с зеленью и стать невидимым. «Если ищут меня, то смотрят по сторонам, — подумал он и стал молить Бога: — Господи, помоги, пронеси, пусть проедут». Он живо себе представил, как на мотике едут двое. Второй, что сзади, привстал на седле и, вертя головой, разглядывает кусты. «Боже, пусть не заметят, помоги хоть раз...» Ян, не зная о христианстве, немного верил в Бога и, когда ему надо было украсть, просил у Господа помощи.

Мотоцикл протарахтел. Ян все так же лежал. Он понял, что ехали они быстро. «Значит, за мной. А может, нет. Если б за мной, ехали бы еще быстрее. Но быстрее здесь не проехать. Что же делать? Встать и уйти дальше в лес? Нет, нельзя. Вдруг они развернутся и поедут назад. Надо лежать. Ждать. Доедут до Падуна и вернуться. Может, все же в лес уйти? А вдруг уже едут». Он прислушался. «Нет, тихо». Ян лежал, не поднимая головы. Можно было оставить велосипед и убежать в лес. Но страх приковывал к земле. Да и жалко бросить велик.

В глазах одна зелень: трава, ветки, кусты. Голубого неба не видно. Рядом никого нет, но все равно боязно поднять голову.

Но вот раздалось со стороны Падуна гудение мотоцикла. Ян вцепился в траву, будто это притягивало его к ней еще плотнее. И опять, как прежде, мольба: «Господи, помоги!»

Звук мотора удалился. Прошла минута, другая...

Выждав немного, Ян встал. Воровски озираясь, поднял велосипед. Перенес через канаву. Прислушался. Тихо. Поехал.

Когда он въезжал в Падуна, смеркалось. Проехав все село, он с радостью и надеждой завел велик к цыганам. К нему в расстегнутой красной клетчатой рубашке вышел Федор, за ним в длинных ярких платьях — его сестра и жена.

— Федор! Новый велосипед. Купи.

— Откуда он?

— Не из Падуна, конечно.

— Ну а все же, откуда он?

— Из Заводоуковска.

— На него уже есть заявка?

— Да нет еще. Я только сегодня.

— Так будет.

Сестра и жена Федора молча слушали.

— Прекрасите.

— Нет, Янка, не нужен.

Ян подумал, что Федор хочет купить за бесценок, и продолжал расхваливать велосипед. В разговор вступили женщины, они тоже говорили, что на велосипед будет заявка и потому они не возьмут.

— Да дешево я. Сколько дашь?— спросил Ян.

— Нет, нет, Янка, нет.

— Ну десятку...

— И трояк не дадим. Куда он нам? Попробуй другим продать.

Но и в другом месте велосипед брать не стали, хотя Ян просил за него всего пятерку.

Он съездил еще к двоим, но и они отказали, боясь связываться с Яном. Никто не хотел рисковать.

Яну надоело ездить на велосипеде, он взял его за руль и повел по улице. Встретились знакомые, им предложил, но они и слушать не стали.

Душа его разрывалась. Велосипед в руках, и никто его не покупает. «Чем выбрасывать, лучше оставлю у кого-нибудь, а потом, может, продам»,— решил Ян.

Навстречу шел Веня Гладков, возле его дома на лавочке всегда собирались пацаны.

— Здорово,— начал Ян.

— Привет.

— Ты куда направился?

— Домой. Сейчас парни придут. А велик у тебя откуда?

— Да... по пьянке достался. Новый. Нравится? Купи.

— На кой он мне? У меня же есть.

— Да недорого.

— Все равно.

«Понял, конечно, что ворованный»,— подумал Ян.

— Слушай. Мне сейчас в одно место надо. Велик мешает. Пусть он у тебя постоит. Можешь загнать. За пятерку. Пойдет?

Веня соображал. Потом спросил:

— А откуда он?

— Не из Падуна.

— Ну оставь.

Они подошли к Вениному дому. Ян завел велосипед в ограду, а сам с разбитыми, взъерошенными чувствами поплелся домой.

Дня через два Ян встретил Веню. Веня рассказал, что в тот вечер, когда пацаны собрались на лавочке, он за пятерку предлагал велосипед. Никто не взял. А утром велосипеда в ограде не оказалось. Кто-то увел, понимаю, что он ворованный.

«А может,— подумал Ян,— Веня велик себе оставил. На запчасти. Ну и Бог с ним».

3

К пятому классу его два раза исключали из школы, но по ходатайству отца принимали вновь. А из восьмого выгнали окончательно.

Восьмой класс он окончил в вечерней школе, но экзамены сдать не сумел: завалили на геометрии. Коля понимал, что учительница Серова это сделала по указанию директора школы, который ненавидел Колю и желал ему только одного — тюрьмы.

Всем восьмиклассникам Серова ставила по геометрии тройки, хотя среди них были такие, что не знали таблицы умножения. Только Коле она поставила двойку. Поэтому когда пацаны пригласили его угнать мотоцикл у Серовых и покататься на нем, зная, что Серовы в отпуске, он согласился. Мотоцикла в амбаре не оказалось, и тогда Коля предложил обворовать дом ненавистной учительки. Подобрал ключ, он открыл замок, и пацаны зашли в дом. Коля взял пиджак мужа учительницы, черные кожаные перчатки и грампластинки. И еще он вытащил из радиолы лампы и предохранитель для своих друзей, Танеева и Павленко, которые с неделю назад спрашивали у него, не сможет ли он достать им эти детали.

Уходя, Коля чиркнул последней спичку, и она высветила в сенках накрытый брезентом «ижак». Но угонять ребята его не стали, так как дом был обворован, и Коля, попрощавшись с пацанами, которые ничего себе не взяли, с добычей пошел к цыганам. Пластинки и перчатки цыганам были не нужны, зато им понравился пиджак, и Коля сменял его на светло-серый свитер.

От цыган Коля пошел — краденое домой нельзя было нести — к другу Петьке Клычкову. Петьке шел двадцать первый год, и в армии он еще не служил. Работал в совхозе трактористом и с Колей иногда ходил воровать.

С десяток пластинок, самых лучших, Петька отобрал для себя, свитер взял и перчатки тоже, пообещав завтра бутылку поставить. Коля согласился: дороже у него никто не купит.

Оставшиеся пластинки Коля отнес знакомым и подарил. Там его частенько угощали водкой.

Лампы и предохранитель от радиолы он на другой день отдал друзьям, Саньке Танееву и Мишке Павленко. Мишке рассказал, что обтащил дом Серовых. И еще Ян обворовал дом сторожа складов спиртзавода Трунова. Забрал у него бутылку браги, мешок ворованного кубинского сахара, облигации, Хрущевым замороженные, и, уже выходя из комнаты, надел, потехи ради, старую фетровую шляпу и перепоясался офицерским ремнем.

Ян решил уехать в Волгоград и поступить в ПТУ. В Волгограде жила старшая сестра Татьяна с семьей. Но свидетельства за восьмой класс нет. С такими же неудачниками, как и он, с Робкой Майером и Геной Медведевым, он договорился выкрасть из школы чистые бланки свидетельств, поставить печать, заполнить и предъявить в ПТУ.

Разбив окно, они залезли в директорский кабинет, перевернули все вверх дном, но чистых бланков не нашли. Тогда они взяли в канцелярии свидетельства прошлогодних восьмиклассников.

Соскоблив лезвием бритвы фамилию и дату, Ян попросил знакомую девчонку, отличницу, которая заполняла в прошлом году эти бланки, своей рукой вписать его фамилию. Девчонка вписала, потому что Яна поддержал ее брат, а брат был в долгу перед Яном — Ян помог ему совершить одну кражу. Девчонке в благодарность Ян подарил ее украденное в школе свидетельство.

Родители Роберта Майера были немцы Поволжья, во время Великой Отечественной высланные в Сибирь.

Немцев в Падуне и отделениях совхоза жило много. Они имели должности, и никто из них уезжать на родину, в Поволжье, не хотел.

Трудолюбивые, они построили себе великолепные хоромы и жили припеваючи. Усадьбы немцев отличались от всех остальных чистотой и порядком. Немцы между собой были очень дружны.

В Падуне и отделениях совхоза жило еще много сибирских татар.

Роберт и Гена рванули учиться в Новосибирск. А Ян на другой день дернул в Волгоград. Долго он выбирал училище, но наконец выбрал: шестое строительное. Взял документы и пошел поступать.

Войдя в училище, он хорошо запомнил, где выход, чтоб не перепутать двери, если заметят поделку и придется, выхватив у секретаря документы, удирать. Но все обошлось хорошо. Свидетельство внимательно не рассматривали и зачислили Яна в девятнадцатую группу на каменщика.

До начала занятий оставался месяц, и Ян на поезде поехал в Падуно. За свои пятнадцать лет он всего несколько раз ездил по билету, а так всегда катил на крыше поезда или в общем вагоне на третьей полке, прячась от ревизоров. У него был ключ, который он когда-то спер у проводника, и Ян на полном ходу мог проникнуть в вагон или вернуться на крышу.

К железнодорожному транспорту Ян привык: он три раза сбегал из дому и курсировал по стране. Бывал в детских приемниках-распределителях. Как-то зимой он поехал из Падуна к тетке в Ялуторовск. Билет стоил сорок копеек, но он решил сэкономить. На крыше — холодища, и у него озябли руки. Он стал дышать на них сквозь варежки, и варежки обледенели. Когда поезд въехал в Ялуторовск, Ян взялся за скобу, но поезд в этот момент затормозил, и Ян полетел на землю. Он упал на колени и, вскочив, побежал от поезда в сторону, на бегу соображая, живой ли он. «Живой, раз думаю. А целы ли ноги? Целы, раз бегу», — подумал он и для достоверности потрогал ноги.

Яну радостно было жить в Волгограде. Такой большой город, и он — его житель! А завтра, в воскресенье, — Ян услышал по телевизору — будут открывать памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Из Москвы выехала правительственная делегация во главе с Генеральным секретарем Леонидом Ильичом Брежневым. У Яна забило сердце: завтра он поедет встречать правительственный поезд и увидит Брежнева наяву, а не на фотографиях или по телевизору. Об этом он всем друзьям в Падуне расскажет.

В воскресенье Ян проснулся рано. Позавтракал, поправил перед зеркалом галстук, на котором была нарисована обнаженная девушка, и заспешил на электричку.

От станции Шпалопропитка, рядом с которой он жил, до центра города ехать целый час. Он сошел на станции Волгоград-1 и пошел по перекидному мосту, сверху оглядывая перрон. Перрон был чисто подметен, и по нему расхаживали всего несколько человек. Где же люди? Почему на перроне никого нет? На привокзальной площади людей тоже было немного. А ведь здесь всегда полно народу. Ян хотел пойти на вокзал, но, увидев трех милиционеров на углу, понял: людей туда не пускают.

Ян обошел привокзальную площадь и подошел к вокзалу с другой стороны. Но и там стоял наряд милиции. Теперь до Яна дошло, что на перрон ему не попасть и правительственный поезд не встретить. Всеходы и выходы перекрыты. «Неужели мне не посмотреть Брежнева и всю правительственную делегацию? Ладно, — решил Ян, — чтоб не прозевать поезд, я буду по мосту ходить». Покурив, он поднялся по обшарпанным ступенькам на мост и стал расхаживать, давя косяка на перрон, на котором стояли два генерала.

Но тут к Яну подошел средних лет мужчина в штатском и сказал: — Парень, хватит гулять. Давай отсюда.

Ян спустился с моста и больше на него не поднимался. Бродя око-

ло вокзала и шмаляя сигареты, Ян прислушивался к разговорам празднично одетых людей и вскоре узнал, что не один он хотел бы встретить правительственный поезд. Желающих, особенно приезжих, было много. Всем хотелось посмотреть Брежнева, Гречко и других военачальников.

Миловидная женщина объяснила Яну, что правительственная делегация вначале остановится на часок-другой в гостинице «Интурист» или «Волгоград» и, подкрепившись, поедет на Мамаев курган по улице Мира, а потом свернет на проспект Ленина.

Ян ушел с привокзальной площади на улицу Мира и стал ждать. Там кишмя кишело радостных людей. Жители города-героя, возбужденные, ждали правительственную делегацию. Все движение городского транспорта в центре приостановлено. Усиленные наряды милиции и солдат прохаживались по улицам.

Но вот со стороны главной площади показался бронетранспортер. В нем стоял генерал-полковник Ефремов и в правой вытянутой руке держал горящий факел. От него на Мамаевом кургане в зале воинской славы зажгут Вечный огонь.

Бронетранспортер, а за ним и правительственные машины приблизились к месту, где стоял Ян. Народ ликовал, повсюду слышались возгласы приветствия. Ян стоял в толпе и, так как был невысокий, Брежнева не видел.

Он потопал на вокзал, сел в отходящую электричку и поехал на Мамаев курган. Но электропоезд шел только до второго километра, одну остановку не доезжая.

Ян вышел из вагона и пошел по шпалам. Подойдя к мосту, под которым проходила автотрасса, Ян увидел, как по ней медленно едет бронетранспортер с генерал-полковником Ефремовым, а следом за ним — «Чайка». В передней машине с открытым верхом стоят четыре человека и машут ликующему народу руками. Вот «Чайка» подъехала ближе, и Ян отчетливо видит Брежнева. Он поднял перед собой сомкнутые руки и машет ими, благодаря жителей Волгограда за теплый прием. Еще двоих Ян не знал: А сзади всех, немного сгорбившись, стоит министр обороны Советского Союза маршал Гречко.

Машины проехали, и Ян тронулся дальше.

К главному входу на Мамаев курган Ян решил не идти, а свернул за мужчиной, который стал подниматься на курган, как только достигли подножья.

Сбоку маячила игла городской телевизионной вышки, и Ян сквозь пожелтевшие листья деревьев, посаженных на кургане после войны, поглядывал на нее. Пиджак он давно снял — день выдался по-летнему солнечный, и Ян готов был сбросить рубашку и брать вершину Мамаева кургана в одной майке.

На полдороге к памятнику-ансамблю Яна и других людей, поднимающихся на курган, остановили солдаты. Они цепочкой отсекали им путь к вершине, где стояла пятидесятиметровая скульптура Матери-Родины.

Прямо перед собой Ян увидел бетонную площадку. Это был дот или взлет — он не знал, что это. На площадке стояли человек десять, в основном мужчины. Они курили и уговаривали солдат, чтоб их пропустили на открытие памятника-ансамбля. Солдаты были непреклонны и готовы были лечь костями, но не пропустить людей.

Народу у бетонной площадки собралось человек пятьдесят. Кто-то включил транзисторный приемник — передача об открытии мемориала уже началась. Голос из приемника подхлестнул Яна, и он прыгнул с бетонной площадки. Дальше шел крутой спуск, возле которого стояли солдаты. Ян подумал, что если всем разом кинутся с этого спуска, то солдат можно смять и прорваться на торжество. Пусть многих и поймают, но за себя-то он был уверен: солдаты, обу-тые в сапоги, его не догонят.

Все больше людей, мужчин и женщин, подходили к спуску и уговаривали солдат. Но солдаты выполняли приказ и пропустить никого не могли. Тогда Ян решился: оттолкнув солдата, он с криком «за мной!», будто в атаку, ринулся с крутизны. А за ним и многие ломались.

Ян несся стремительно. Бежать вниз было легко. Он выставил перед собой локти и сшиб несколько солдат. Его прыжки достигали пяти и более метров. Он едва касался земли, отталкивался и, чудом минуя деревья, летел вниз. Но вот спуск кончился. Ян думал — все, убежал. Но только он вышел из кустарника, как увидел впереди себя шеренги солдат. Они опоясывали весь Мамаев курган, и пробраться на торжество ни с какой стороны было невозможно. Ян оглянулся: за ним шли около десяти мужчин. Он остановился и подождал их. Из кустарника еще выходили люди. Всего стало человек пятнадцать. Ян затесался в середину толпы, и толпа пошла к шеренгам солдат. Подойдя к ним, мужчина, что шел впереди, спросил:

— Кто тут у вас старший?

— Сейчас он придет, — ответил один из солдат.

Вскоре появился майор. Он был молодой, среднего роста, не строгий на вид.

— Так, товарищи, — обратился он к прорвавшимся, — давайте спускайтесь за железную дорогу. Здесь находиться нельзя.

— Товарищ майор, нас здесь немного, пропустите. Хотим открытие посмотреть, — сказал мужчина, что старшего спрашивал, и Ян, чтоб лучше слышать разговор, подошел к ним.

— Я не могу вас пропустить, — ответил майор. — Вход по приглашительным билетам.

— Мне очень туда надо. Я даже обязан там быть. Мой отец погиб здесь, на Мамаевом кургане.

— Где вы работаете?

— Я работаю в школе, директором.

Ян посмотрел на директора. На лацкане его черного пиджака красовался поплавок с открытой книгой.

— Что же вы не смогли достать приглашительный билет?

— Не смог. Конечно, директор тракторного завода присутствует, присутствуют, конечно, директора «Красного Октября» и «Баррикад» и их дети. Но нам-то, нам как туда попасть? Чем мы хуже других?

Майор молчал.

По громкоговорителям были слышны выступления участников торжественного открытия мемориала. Сейчас несся рыдающий голос Валентины Терешковой, и Ян очень жалел, что не увидел первую в мире женщину-космонавта.

Майор снова повторил приказание:

— Отойдите, товарищи, за железную дорогу. Нельзя здесь стоять.

Тогда из толпы вышел высокий, крепкий мужчина в сером костюме, со светлыми, свисающими в разные стороны волосами и, не называя майора по званию, начал говорить:

— Что вы нас за железную дорогу гоните, пропустили бы на открытие — и дело с концом. Я из Сибири специально приехал. а попасть не могу. В сорок втором здесь, на Мамаевом кургане. мне руку оторвало, а теперь бегаю и штурмую его, чтоб на открытие прорваться. Бежал, чуть протез не потерял.

Мужчина протянул майору руку-протез, чтоб тот убедился, что он правду говорит. Ян взглянул на защитника кургана и увидел у него на груди колодки отличия и орден Боевого Красного Знамени. Мужчина продолжал:

— Мы тогда от немцев Мамаев курган обороняли, а вы теперь от нас, чтоб мы туда не попали. Не смешно ли?

— Вы пройдите, товарищ, к главному входу. Вас там в виде исключения, может, и пропустят, — сожалея, сказал майор.

— Да был я там, — махнул здоровой рукой герой войны, — сказали, что по приглашениям, и только. Вот я и подался в обход.

Майору стыдно стало, что защитника Мамаева кургана на открытие не пропускают, и он куда-то исчез. Солдаты принялись уговаривать людей, чтоб они спустились ниже на одну шеренгу. Толпа, поколебавшись, спустилась ниже. Теперь другие солдаты принялись избавляться от нее. Понял Ян, что солдаты отвечают каждый за свой коридор.

Постепенно люди, теснимые солдатами, спустились к железной дороге и разбрелись кто куда.

Ян сел на землю и закурил.

Дождавшись, когда открытие Мамаева кургана закончилось, он устремился вверх. Возле зала воинской славы Ян увидел военный духовой оркестр. Музыканты складывали ноты и инструменты, собираясь уходить. Чуть поодаль ходили саперы, прослушивая миноискателями землю. «Боятся, чтоб взрывчатку не подложили».

Ян вернулся домой. Мужики сидели возле дома на скамейке и обсуждали открытие Мамаева кургана, которое они смотрели по телевизору. Ян услышал, что Брежнев с первого раза Вечный огонь в зале воинской славы зажечь не смог. Он потух. И лишь только со второго раза вспыхнул.

Год назад, когда Ян жил в Падуне и учился в восьмом классе, ему понравилась девочка из шестого. Звали ее Вера. Когда Яна выгоняли с уроков, он шел к дверям шестого класса и наблюдал за ней. Она сидела как раз напротив дверей на последней парте у окна и всегда, как казалось Яну, внимательно слушала объяснения учителей, не глядя по сторонам. У нее были коротко подстриженные черные волосы и задумчивые, тоже черные, глаза.

Директор школы, видя, что Ян слоняется по коридорам, иногда заставлял его дежурить в раздевалке вне очереди, отпуская дежурных на уроки. Все равно Ян болтается, уж пусть он лучше дежурит, а то в раздевалке часто вещи пропадают. Директор заметил: если в раздевалке дежурил Ян, вещи не пропадали. А это просто объяснялось: во время дежурства Ян не крал вещи и дружки его тоже воздерживались. Кроме того, он в раздевалку никого не пускал, а всем одежду подавал в руки, боясь, что и в его дежурство могут что-нибудь стащить.

Ученики вешали одежду по классам. У шестого класса была шестая вешалка, а у Веры — второе место, и оно для Яна было священным. Оставшись в раздевалке один, он подходил к Вериному пальто, прижимался щекою к воротнику, вдыхая его запах, а потом надевал ее серые трикотажные перчатки и ходил в них. Иногда он подходил к дверям шестого класса и ждал, когда Вера повернет голову в его сторону. Тогда он поднимал руки и показывал ей, что он надел ее перчатки. На перемене она шла в раздевалку и забирала их у него. Раз он как-то попробовал надеть ее бордовое, с черным воротником пальто, но оно было слишком мало, и он побоялся, что пальто разойдется по швам.

После занятий ученики бежали в раздевалку, стараясь первыми получить одежду. Яна знали все, как и он всех, и потому, столпившись у решетчатой двери, парни и девчата кричали: «Ян, подай мне пальто!» — и называли место. Ян в первую очередь подавал одежду тем, кого знал хорошо. Но если он сквозь решетку замечал Веру — а она стояла молча, — он сразу брал ее пальто и через головы столпившихся подавал ей.

Летом перед отъездом в Волгоград Ян два раза видел Веру в Падуне. Первый раз — на дневном сеансе в кино, а второй, и последний, — около магазина. Магазин был закрыт на обед, и она ждала открытия.

Вера была в легком платье, которое трепал ветер. Ян остановился не遠деке и любовался ею.

Жила Вера в нескольких километрах от Падуна, и Ян видел ее редко.

В Волгограде Ян затосковал по ней. Ему хотелось хоть изредка ее видеть. Но две тысячи километров отделяли его от любимой. И тогда он решил написать ей письмо, но не простое, а в стихах.

В начале восьмого класса Ян начал писать поэму о директоре падунской школы, но, зарифмовав несколько листов грязи об Иване Евгеньевиче, бросил. Иссякло вдохновение хулигана.

Теперь он писал письмо в стихах Вере. Он хотел тронуть душу тринадцатилетней девочки.

Здравствуй, Вера, здравствуй, дорогая,
Шлю тебе я пламенный привет.
Пишу письмо тебе из Волгограда,
Где не вижу без тебя я свет.

Как только первый раз тебя увидел,
Я сразу полюбил тебя навек.
Поверь, что тебя лучше я не видел,
Короткий без тебя мне будет век.

Хочу тебе задать один вопрос я,
Ответишь на него в своем письме.
Ты дружишь или нет с кем, Вера,
Фамилия его не нужна мне.

Разрешь тебя поздравить
С юбилейным Октябрем.
И желаю его встретить
Очень хорошо.

Ян не хотел подписывать письмо своим именем, так как был уверен, что Вера ему не ответит. Такому вору и хулигану разве может отвечать такая красивая девочка. После стихов он приписал, что сам он не из Падуна, а из Волгограда, в Падун приезжал к родственникам, видел ее около магазина, а местный парень сказал ему ее адрес и фамилию.

И Ян подписал письмо именем и фамилией соседа по коммунальной квартире, мальчишки Женьки.

Вскоре мать Женьки протянула Яну письмо.

— Что-то мой Женя в Сибирь никому не писал, а письмо пришло, — улынулась тетя Зина. — Но я поняла, что это тебе, и распечатывать не стала.

Ян взял письмо и с жадностью прочитал. Вера просила его фотографию. Как быть? Не посылать же свою. Тогда она больше ни на одно письмо не ответит. И Ян решил послать Вере фотографию какого-нибудь парня. «Женьки, соседа, нельзя. Он совсем пацан. Надо кого-то постарше. Какого-нибудь парня из училища. Может, Сергея Сычева? Ведь Серега, пожалуй, самый симпатичный из нашей группы».

На другой день Ян поговорил с Сергеем и попросил у него фотографию. Но тот был, как и Ян, приезжий, и фотографий у него не было

— Хорошо, — сказал Ян, — а если ты сходишь и сфотографируешься?

— Но у меня денег нет, — сказал Серега, — и приличной одежды — тоже.

Серега жил в общежитии.

— Деньги у меня есть, — подбодрил его Ян, — и рубашку с пиджаком мой оденешь.

Скоро у Яна было пять фотографий Сергея. Одну он оставил ему на память, другую вместе с письмом вложил в конверт и послал Вере. В письме — теперь он писал его не в стихах — он тоже просил у Веры фотографию.

Приближался Новый год, и Ян, не дождавшись от Веры письма, за несколько дней до наступления каникул поехал зайцем в Падуно. Дорога в один конец занимала двое суток.

Едва Ян объявился в Падуно, как его вызвал начальник уголовного розыска. Сходя в школу на новогодний вечер старших классов и блеснув на нем брюками, сшитыми по моде, Ян на другой день поехал в Заводоуковск в милицию.

Начальник уголовного розыска, Федор Исакович Бородин, предъявил ему с ходу два обвинения — две квартирные кражи.

— Бог с вами, Федор Исакович, никого я не обворовывал. Сейчас я честно живу и учусь в Волгограде. Да, раньше был за мной грех, но в эти дома я не лазил...

— Хватит! — прервал его Федор Исакович. — Посиди в КПЗ, подумай.

Четверо суток Ян просидел в КПЗ. Каждый день его вызывал Бородин. «Если сознаешься, — говорил он, — выпустим тебя, и ты поедешь учиться в Волгоград. Не сознаешься — посадим».

Но Ян стоял на своем, и его выпустили. Он решил рвануть в Волгоград. Каникулы кончались.

Вечером у клуба Ян столкнулся с участковым. Николай Васильевич сказал:

— Коля, мне Бородин сегодня звонил, ты у него в каком-то протоколе забыл расписаться. Завтра утром, к десяти часам, приходи в прокуратуру.

— Не ходи, — сказал дома отец. — Уезжай в Волгоград. Хватит, и так посидел.

— А че бояться? — возразил Ян. — Если хотели посадить, то и не выпускали бы. Распишусь в протоколе и вечером уеду.

На этом и порешили.

Утром Ян встал рано. Мать пельменей сварила. Отец достал бутылку столичной.

— Ладно уж, выпей стопку за счастливый исход.

В Заводоуковск, в прокуратуру, Ян поехал с сестрой Галей. Она была на два года старше Яна, училась в Тюмени и тоже приехала на каникулы. Ян не хотел с ней ехать, но настоял отец, чтобы зная, посадили его или нет, в случае если сын не вернется.

В прокуратуру — небольшой деревянный дом, стоявший за железной дорогой, неподалеку от вокзала, — Ян зашел смело. «Все, — думал он, — распишусь — и в Волгоград вечером дерну».

Открыв дверь приемной, Ян спросил:

— Можно?

— А-а-а, Петров, подожди, — сказал прокурор района, стоя на столе и держа в руках молоток. — Сейчас, вот приедем гардину...

«Ну, — подумал Ян, — прокурор делом занят. Конечно, садить не будут». Ян ждал молча. Сестра — тоже. Но вот распахнулась дверь, и Анатолий Петрович пригласил Яна:

— Заходи.

Ян вошел. Приемная была просторная. За столом сидела средних лет женщина, которая подавала прокурору гвоздь, когда он прибывал гардину.

— Вот сюда, — сказал Анатолий Петрович, и Ян последовал за ним.

Они вошли в маленький кабинет. Стол занимал треть комнаты. Прокурор сказал Яну: «Садись», — и Ян сел на стул, стоящий перед столом. Прокурор достал какой-то бланк, положил на стол и пододвинул к Яну.

— Распишись, — сказал Анатолий Петрович, — с сегодняшнего дня ты арестован.

— Что-что?— спросил Ян.

— Это санкция на арест. Распишись. Все. Хватит. Покуролесил,— сказал прокурор и, взяв черную, к концу утончающуюся ручку, вложил ее Яну в правую руку.— Распишись.

— Вы в своем уме, Анатолий Петрович? Что вы мне суετε?! Расписываться я не буду.

Ян бросил ручку, и она покатиалась по санкции, оставив на ней несколько чернильных капель синего цвета одна другой меньше. Чернильные капли остались на санкции примерно в том месте, где Яну надо было расписаться.

— Вот вам моя роспись,— зло сказал Ян, не глядя на прокурора.

— Хорошо. Расписываться ты не хочешь,— сказал прокурор, взяв ручку, которая, описав по столу полукруг, остановилась возле отрывного календаря.— Тогда напиши в санкции, что от подписи отказался.

— Анатолий Петрович!— Ян повысил голос.— Вы что, за дурака меня принимаете? Пишите сами, если это вам так надо, что я от подписи отказался.

Прокурор убрал санкцию в ящик стола и встал.

— Пошли.

Ян через приемную вышел в коридор, где сидела сестра. Там его ждали два милиционера. Ян сказал сестре: «До свидания»— и в сопровождении двух ментов пошел к машине. «ГАЗ-69» с водителем за рулем стоял у ворот прокуратуры.

Ян сел на заднее сиденье, менты — по бокам от него, и машина покатила. Водитель, парень лет тридцати, посмотрев на Яна, сказал:

— Здорово, старый знакомый.

Ян промолчал.

— Что, не узнаешь?

— Узнаю,— ответил Ян, слыша в голосе водителя не издевательство, а сочувствие.

Водитель летом поймал Яна около поезда, когда он хотел уехать на крыше вагона со своими друзьями в Омутинку, чтоб обворовать школу. Робка с Генкой разбежались в разные стороны, а водитель схватил Яна за шиворот — Ян не заметил тогда его ментовскую, без погон, рубашку. Ян попытался выскользнуть из пиджака, надеясь оставить его в цепкой ментовской руке, а самому убежать: в карманах пиджака у Яна ничего не было. Но водитель другой рукой сжал его локоть. Так он и провел Яна по перрону вокзала в ментовку. Дежурный по линейному отделу милиции отпустил Яна — зайцы ему не нужны.

«Если б ты меня тогда не поймал,— подумал Ян,— мы бы уехали в тот день в Омутинку. И тогда бы нам не попался в тамбуре тот мужик, которого мы грохнули».

— Ну вот, доездили,— сказал водитель,— такой молодой — и в тюрьме будешь сидеть.

Ян промолчал, и водитель больше с ним не заговаривал. Он понимал, что парню не до разговора.

Через неделю Яна с этапом отправили в тюрьму и вот теперь привезли в КПЗ для закрытия дела.

4

Дело Яну закрывал следователь прокуратуры Иконников. Иконников был пожилой, сухощавый, чуть выше среднего роста, седой и казался Яну старикашкой. Сын Иконникова — Ян знал это — за какое-то крупное преступление схлопотал около десяти лет.

После закрытия дела Яна отвезли в тюрьму.

Вскоре в камеру бросили новичка. Он был крепкого сложения, ростом выше всех, с наколками на руках. Поздоровавшись, он положил матрац на свободную шконку и встал посреди камеры, небольшими, глубоко посаженными, хитрыми глазами оглядывая ребят. В его взгляде не было испуга, и пацаны, особенно Миша, державший мазу в камере, задумались: а не по второй ли ходке этот парень? Надо начинать разговор, и Миша спросил:

— Откуда будешь, парень?

— Из Тюмени, — коротко ответил тот.

— А где жил?

Парень объяснил.

— По первой ходке?

— По первой.

— Какая у тебя кличка?

— Чомба.

Миша не стал называть свое имя и протягивать новичку руку. Узнав, за что попался Чомба — а посадили его за хулиганство, — Миша закурил и лег на шконку, поставив пятку одной ноги на носок другой.

Чомба сел на кровать рядом с Яном и сказал:

— Я рубль принес. Надо достать его.

— А где он у тебя? — поинтересовался Ян.

— В ухе.

Ян помог Чомбе вытащить из уха рубль, который он затолкал глубоко, а Миша, не вставая со шконки, сказал:

— На деньги в тюрьме ничего не достанешь. Если они на квитке, тогда отоваришься.

После ужина Миша сказал Чомбе:

— Сейчас мы тебе прописку будем делать. Слышал о такой?

— Слышал. Но прописку делать я не дам.

Камера молчала. Чомба бросал вызов. Медлить было нельзя, и Миша спросил:

— Это почему ты не дашь делать прописку, а?

— Не дам, и все.

— Прописку делают всем новичкам. Сделаем и тебе.

Парни сидели по шконкам и молчали.

— Я же сказал, что прописку вы мне делать не будете.

— Может, ты еще скажешь, что и игры с тобой не будем проводить?

— И игры тоже.

Будь на месте Чомбы Ян, его с ходу бы вырубил. Но Чомба сидел на шконке, держа на коленях огромные маховики. Миша стоял возле стола и близко к Чомбе не подходил. Он понимал, что, если он схватится с Чомбой, парни на помощь не придут.

Ян в душе был за Чомбу, но, как и все ребята, молчал.

— Чомба, не лезь в бутылку, прописку и игры делают всем.

— А я не лезу. Сказал, что ни прописки, ни игр со мной делать не будете. — Чомба встал со шконки. — Все мои кенты по несколько ходок имеют и рассказывали мне, что такое прописка, игры и так далее.

Миша медленно сбавлял обороты. Стыкаться с Чомбой ему явно не хотелось. Неизвестно, кто кого вырубит. Если его, то он потеряет авторитет.

Так сила и решительность одолели неписанные тюремные порядки.

Через некоторое время Яну вручили обвинительное заключение. Он расписался в бумагах, что числится теперь за прокурором, а потом — за судом.

Когда Яна забирали на этап, он получил от Миши увесистый пинок под зад. Это был тюремный ритуал — пинать под зад всех, кого забирали на суд, чтоб в тюрьму после суда не возвращаться.

В «стольшине», сдавленный заключенными, Ян ехал в приподнятом настроении. Он надеялся получить условное наказание и представлял, как, освободясь, поспешит в Волгоград, где его ждет письмо и фотография Веры. Он даже жалел, что не переписал тюремную инструкцию, которая в простенькой рамке висела под стеклом над парашей. Тюремную инструкцию ему хотелось показать друзьям и рассказать, какие строгие порядки в тюрьме.

В КПЗ, в камере, Ян встретил друга, Володю Ивлина, подельника Роберта. Роберт Майер еще осенью, приехав из Новосибирска, подрался в Падуне с незнакомым парнем. У парня упала шапка, и Робка, подняв ее, перепутал головы: вместо головы парня он надел шапку на свою. Парень заявил в милицию, и Робку за грабеж осудили на три года.

Эту сцену наблюдал Володя Ивлин, и он сразу свалил из Падуна. Заводоуковск объявил на него всесоюзный розыск, и его взяли в Душанбе, где он устроился на работу. Теперь он ждал суда. Вова, в общем-то, не унывал, он не по первой ходке шел, и большой срок ему не горел. Но на Роберта он в обиде был: Володю привлекали как соучастника и подстрекателя.

— Ян, в натуре, — тихонько говорил Вова, чтоб зеки не слышали, — я же о вас все знаю. Знаю, что вы мужика грохнули, кое-какие кражи знаю, но я не козел — ты знаешь меня, и хоть я и в обиде на Робку, но не вложу вас.

Через день Яна забрали на суд, и Вова дал ему пинка под зад. — Пошел, — сказал он, — чтоб с суда не возвращался.

Прокурор запросил Яну четыре года лишения свободы.

Судья предоставил последнее слово Яну. В КПЗ Ян несколько дней сидел в одной камере с местным малолеткой, который только что освобожден из бессрочки⁴, и малолетка научил Яна одиннадцати магическим словам, которые должны подействовать на судью, и после них, как думал Ян, ему точно дадут условный срок. Слова эти надо говорить в последнем слове, в самом конце. И еще Ян решил сказать про цыганку, которая якобы ему нагадала тюрьму, а суд — рассчитывал он — вопреки предсказаниям цыганки возьмет и не вынесет ему суровый приговор. И в какой-нибудь газете появится информация под заголовком «Предсказание цыганки не сбылось». В ней будет говориться, что пятнадцатилетнему парню цыганка нагадала тюрьму, но советский суд дал ему год условно. Не надо, мол, верить цыганкам...

Ян говорил сбивчиво. В одной краже признавался, другую отменял. Но закончил он четко.

— Граждане судьи, — громко сказал он, — незадолго до того, как меня посадили, цыганка в поезде нагадала мне, что меня ждет тюрьма.

Ян замолчал, судья и заседатели улыбнулись, а секретарь суда — молоденькая девчонка — оторвала взгляд от бумаг и посмотрела на Яна. В зале негромко засмеялись.

Одиннадцать магических слов надо было проговорить как можно плаксивей, и он их проговорил:

— Граждане судьи! Дайте мне любую меру наказания, только не лишайте свободы.

После перерыва судья взяла отпечатанный приговор, а Ян посмотрел на пустое место, где сидел прокурор. Не пришла на приговор и защитник. Судья стала читать:

⁴ Бессрочка — так назывались на жаргоне детские воспитательные колонии (сейчас — специализированные ПТУ). Туда сажают за нарушения и преступления детей, не достигших четырнадцати лет, так как уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста. Дети должны сидеть в этих колониях без срока, пока не исправятся. Бывает, что дети в бессрочках совершают новые преступления, и, если им исполнилось четырнадцать лет, их судят, дают срок и переводят в воспитательно-трудовые колонии.

— «Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики...»

Ян, слушая, многое пропускал мимо уха — «народный суд Тюменской области... разбирает в открытом судебном заседании дело по обвинению Петрова Николая Алексеевича... по статье сто сорок четвертой, части второй, Уголовного кодекса РСФСР, установил: подсудимый Петров, пользуясь тем, что в доме Серовых никого нет, так как Серовы выехали в отпуск, ночью подбором ключей открыл замок, проник в квартиру и совершил кражу костюма, разных пластинок в количестве около восьмидесяти штук, кожаных перчаток, лампы от радиолы и запасных частей к мотоциклу, всего на сумму двести двадцать рублей. На другой день краденые пластинки, перчатки, свитер серого цвета принес к гражданину Клычкову. Свитер и перчатки продал Клычкову за ноль целых пять десятых литра водки, отдал Клычковым девять пластинок, а остальное унес обратно. В июле месяце Петров, также зная, что гражданин Трунов выехал в отпуск и в квартире никого нет, ночью оторвал доску на фронтоне, проник на чердак дома, с чердака в квартиру и совершил кражу двух кителей, фетровой шляпы, офицерского ремня, двадцати штук патронов и облигаций разных займов на сумму три тысячи триста семьдесят пять рублей. Всего на сумму без облигаций на девяносто шесть рублей. Подсудимый Петров виновным признал себя частично и пояснил, что кражу в квартире Трунова совершил он, а в квартиру Серовых не лазил... Потерпевший Серов просит удовлетворить заявленный им гражданский иск в сумме двухсот двадцати рублей, потерпевший Трунов от поддержания иска отказался. На основании изложенного суд, руководствуясь... приговорил: Петрова Николая Алексеевича по статье сто сорок четвертой, части второй, Уголовного кодекса РСФСР признать виновным и определить меру наказания три года лишения свободы с отбыванием в колонии для несовершеннолетних...».

В тюрьме Ян попал в камеру осужденных на третьем этаже. Теперь он часто писал письма домой и в Волгоград. Мать написала ему, что через неделю из Волгограда приезжает сестра.

Дней через десять его повели на вахту на свиданку.

— Тебе, Коля, пришло письмо от Веры, — сказала Татьяна.

Письмо было адресовано соседу Жене. Вместе с письмом Ян достал из конверта фотографию и удивился. С фотографии на него смотрела не Вера, а ее старшая сестра Люда. Она была сфотографирована рядом с радиолой, пышногрудая, красивая, с аккуратно зачесанными назад волосами. «Почему Вера выслала фотографию сестры?» — с горечью подумал Ян.

Он развернул двойной тетрадный лист в клеточку и с жадностью стал читать:

«Здравствуй, Женя!

С приветом я. Ну, как ты провел Новый год? Я провела его весело. Ездил на лыжах и на коньках. Конечно, на коньках не ездил, а каталась. Елка у нас была 30, одних седьмых классов. Она кончилась в 11 часов. Потом шли по шоссе домой и пели песни. После этого маленько простудилась, ну ничего, все прошло. Вот уже два дня занимаемся в школе. Все идет нормально. Уроки пока не учишь, а так себе, только отсиживаешься. Не знаю, что писать еще. Пиши скорее, только побольше.

Извини, что написала всякую чушь, но я не виновата — в голову больше ничего не пришло.

До следующей встречи в письме.

Вера.

Да, еще позабыла, здесь одна девушка просила у меня чей-нибудь адрес. Ты не можешь дать?»

Письмо было с ошибками, но Ян в русском языке сам не был силен и потому не заметил их. Он прочитал письмо во второй раз. «Господи, ведь это Верочкины слова, и я прочитал их. Я все равно не буду сидеть три года. Батя поможет мне освободиться. И тогда я снова через письма буду с Верой встречаться. Скорей бы»,— подумал Ян и спросил женщину:

— А фотографию можно у себя оставить?

— Нет. Ни письма, ни фотографии на свиданке нельзя передавать. Пусть она тебе пошлет по почте.

— Таня,— сказал тогда Ян сестре,— меня скоро должны забрать на этап, в колонию. Вышлешь мне фотографию туда. Я сразу напишу письмо, как приеду.

Ян попрощался с сестрой, и его отвели в камеру.

Через несколько дней, после ужина, в камеру бросили двоих папанов. Они были с Севера, и один из них был боксер. Ребятам об этом сообщили по трубам.

После отбоя вся камера, когда новички уснули, решила спрятать у боксера коцы. Ян предложил подвесить их к решетке за раму, а утром боксер встанет и начнет их искать. Не найдя, попрет, наверное, на камеру. Ребята договорились в случае драки скопом кинуться на боксера. Распределили, кому хватать швабру, кому скамейки и табуреты. Ребята боксера конили: здоровый он был и по-мужицки крепок.

Утром после подъема все шустро вскочили. Боксер искал под своей шконкой коцы. Спрашивать у папанов не стал. Он шлепал по камере в одних носках и на оправку в туалет босой не пошел. Разутый, он смиренно сидел на шконке, стараясь не встречаться с ребятами взглядом. Хоть и бычьей силой обладал боксер, но коц требовать не стал, поняв, что стыкаться придется со всей камерой.

Ночью малолеток ошмонали, выдали сухой паек — буханка черного непропеченного хлеба и маленький кулечек кильки — и на «воронках» отвезли на вокзал.

Столыпинский вагон многие ребята видели впервые. Всех закрыли в одном купе, и поезд тронулся в сторону Свердловска. В вагоне стояла духотища. Ян зашел в купе первый и занял третью полку. Лежать было хорошо, большинство же папанов еле уместились внизу.

Ребята приутихли. Каждый думал о зоне. Куда их везут? Как они жить будут?

Через неделю шестерых папанов, в том числе и Яна, из свердловской тюрьмы забрали на этап в Челябинск.

В челябинской тюрьме Ян пробыл недолго — и снова «столыпин». Теперь парни знали, что везут их в одлянскую колонию.

Так как ребятам до станции Сыростан ехать было часа три, конвойный коленкой запижал последнего малолетку в купе и задернул решетчатую дверь. «Столыпин» был переполнен.

Стояла весна. Окна в «столыпине» еще не открыли, солнце накалило вагон, да и зеки надыхали. Парни, прижавшись друг к другу, истекали потом. Все они были в зимней одежде. Хотелось пить, но конвой воды не давал, так как из Челябинска только что выехали.

Взросляки материли конвой, называя солдат эсэсовцами. Солдаты, как овчарки, огрызались и советовали придержать языки, обещая кой-кому посчитать ребра.

Через час зеки запросились в туалет, так как конвой все же напоил их водой. Но солдаты попались лентяи и водить в туалет не хотели. Тогда зеки стали кричать и требовать начальника конвоя. Он пришел и дал солдатам указание водить на оправку, а то самые отчаянные пообещали ему оправляться через решетку в коридор.

Один парень от духоты и жарыщи потерял сознание, и малолетки стали требовать начальника конвоя. Он пришел и приказал солдатам

занести парня к себе в купе. Там парень пришел в себя и до самого Сыростана, как король, просидел в служебном купе.

Но вот поезд остановился, и малолетки, щурясь от солнца, выпрыгнули на землю. Здесь их ждал лагерный конвой.

Часть вторая

1

Около полотна железной дороги стояло два «воронка». Ребята, в окружении конвоя, направились к ним. Ян, медленно шагая, смотрел на сосновый лес, который за впадиной, невдалеке, открылся его взору. Вот бы туда! Страшные мысли о зоне захлестнули его сознание. Как не хочется идти к «воронкам». Убежать бы в лес. Но конвою вон сколько. Ян жадно смотрел на лес. За четыре месяца, проведенных в тюрьме, он соскучился по вольному воздуху. Лес казался сказочным, а воздух в лесу — необычным. Ведь это — воздух свободы. В лесу ни зеков, ни конвоя. Растет трава, и поют птицы. Нет колючей проволоки и нет тюремных законов. Сейчас у него не было слез, а в лесу, в одиночестве, они бы хлынули. «Я не хочу ехать в Одян. Помогите, Господи!»

Но вот парни залезли в «воронки». Неизвестность давила души. Царило молчание. За весь путь от Сыростана до Одяна парни не обмолвились ни словом.

И вот — Одян. В сопровождении конвоя ребята потопали в штрафной изолятор. Для новичков это был карантин. Здесь они должны просидеть несколько дней.

Парней разделили на несколько групп и закрыли в карцеры. Они сняли с себя одежду и постелили на нары. Махорка у них была, и они часто курили. Разговаривали тихо, будто им запретили громко говорить.

На другой день, перед обедом, через забор, отделяющий штрафной изолятор от жилой зоны, перелез воспитанник. Окна от земли были высоко, и он, подтянувшись на руках, заглянул в окно карцера и тихо, но властно сказал:

— Кйшки, кишки путевые, шустро, ну...

Парни смотрели на него через разбитое окно и молчали. Хорошая одежда мало у кого была.

— Ну, — выкрикнул парень, — плавки, брюки, лепни подавайте мне, быстро!

С той стороны неудобно было держаться, и он от натуги кривил лицо. Ему подали пиджак, он спрыгнул на землю и поднялся к окну соседнего карцера. Слышно было, как он и там просил одежду. Ему тоже что-то просунули в окно, и он теперь требовал одежду у третьего карцера.

Насобирав вольной одежды, он перелез через забор в жилую зону.

На третий день ребят вывели из штрафного изолятора, и они сдали на склад вольную одежду. Здесь же им выдали новую, колонийскую. Черные хлопчатобумажные брюки и такую же сатиновую рубашку. Обули их, как и в тюрьме, в ботинки. Головной убор — черная беретка.

Со склада пацанов повели в штаб. Он находился в зоне. В кабинете начальника собралась комиссия. Она распределила ребят по отрядам, и дежурный помощник начальника колонии (дпнк) повел их строем в столовую на ужин.

Парни шли по подмосточной бетонке. Вся колония утопала в зелени. Коля поднял взгляд и увидел Уральские горы. Они полукольцом опоясывали местность. Колония находилась в долине, и красиво было смотреть на горы снизу.

Подходя к столовой, они встретили воспитанника, медленно шествовавшего в сторону от них. Он был высокого роста, чернявый, и на нем были лишь одни плавки. Несмотря на то, что весна только началась, он был хорошо загорелый. Заметив новичков, он остановился, повернулся к ним вполборота и крикнул:

— Если есть кто с Магнитогорска, в седьмой отряд, будет моим кентом!

Он пошел дальше по бетонке медленно, важно, а Ян подумал: «Вор или рог, наверное. Вот было бы здорово, если б я был с Магнитогорска, ведь я иду в седьмой отряд. Он бы дал поддержку».

Зал в столовой был большой, человек на двести. После ужина ребят развели по отрядам.

Около седьмого отряда мельтешило несколько десятков воспитанников. Они выколачивали матрацы. Кто руками, а кто палкой. Еще трое стояли возле входа в отряд.

— Эй, Амеба,— крикнул один из них,— бей сильнее, что ты гладишь его, как бабу по ...! А то я начну тебя вместо матраца колотить, пыль из тебя, наверное, сильнее полетит.

Ян не понял, кого назвали Амебой. Он столько слышал о зонах и так боялся этого Одяна... Но многие из ребят улыбались, и он подумал, что в этой колонии, наверное, несильный кулак. Зона в первую минуту показалась ему пионерским лагерем. «Матрацы трясти заставляют, видно, не все хотят их колотить». И на душе у Яна стало веселее.

Новичков завели в воспитательскую. Она находилась на первом этаже двухэтажного барака, сразу у входа. За столом сидел капитан лет тридцати пяти и писал. Это был начальник отряда, Виктор Кириллович Хомутов. Ему кто-то позвонил по телефону, и он вышел. Воспитательская сразу наполнилась ребятами. Они пришли посмотреть новичков. Все внимание было сосредоточено на Яне. Парень с одним глазом и со шрамом на полщеки.

— Откуда ты? — спросил его воспитанник невысокого роста, но плотный сложением.

— Из Тюмени.

— Срок?

— Три года.

— По какой статье?

— По сто сорок четвертой.

— Кем жить хочешь? Вором или рогом?

Ян помнил, что на этот вопрос прямо отвечать нельзя, и, прищурив правый глаз, повторил:

— Вором или рогом?.. Ей-богу, я еще не надумал, кем бы хотел жить,— сказал он.— Я еще не огляделся.

Парни громко засмеялись. Ответ «поживем — увидим» всем надоед. А новичок сказал по-другому и развеселил всех. И смотрит он без боязни.

— Молодец,— сказал коренастый,— а ты хитрый...— И чуть помедлив, добавил: — Глаз. Вот и будет у тебя кличка Хитрый Глаз. В спальне к Хитрому Глазу подошел парень и спросил:

— Ты с Волгограда?

— Да. Вообще-то я с Тюмени, но последнее время жил в Волгограде.

— В каком районе?

— В Красноармейском.

— А где там?

— В Заканалье.

— Ну, значит, земляк. В одном районе жили. Во всей зоне я один из Волгограда. Теперь, значит, двое. Пошли на улицу, там поговорим.

У входа в отряд на лавочках сидели несколько человек и курили. Сели на свободную.

— Малик меня зовут,— сказал земляк Хитрого Глаза.— Я уже

скоро откидываюсь. Сорок дней остается. Три года отсидел. Что тебе сказать о зоне? — Малик задумался. — Пока я тебе многого говорить не буду. Надо тебе вначале осмотреться. Новичков у нас около месяца не прижимают. Если нарушений не будет. Так что за это время ты сам многое поймешь. Ну а так, для начала, знай: в нашей зоне есть актив и воры. Одно из худших нарушений — двойка в школе. За нее тебе будут почки опускать. Старайся учиться лучше. Работать тоже можно — обойка, диваны обиваем. Грузим их и так далее. Но я на расконвойке. Видеться будем только вечерами. С чухами и марехами не разговаривай. Да и вообще больше молчи — наблюдай. Полы у нас моют по очереди. Но не все. Актив и воры не моют. Мы с тобой в одном отделении. У нас больше половины полы не моют. Я тоже как старичок и расконвойник не мою. Ты же начнешь мыть через месяц. В общем, пока присматривайся. Ни в коем случае ничего никому не помогай, если попросят что. Присматривайся, и все. — Малик встал. — Пошли, в толчок ходим.

Они свернули за угол барака. Подойдя к туалету, Малик сказал: — Вот это толчок. Смотри, когда один пойдешь — но постарайся пока в толчок один не ходить, — беретку снимай и прячь в карман. А то у тебя ее с головы стащат и убегут. Потом будет делов.

Толчок был длинный. Справа и слева проходили бетонные лотки, а посередине, разделенные низенькой перегородкой, с двух сторон находились отхожие места.

До отбоя Хитрый Глаз с Маликом просидели на лавочке. Около десяти часов отряд построился в коридоре. Дежурный надзиратель сосчитал воспитанников, и когда на улице проиграла труба, начальник отряда Виктор Кириллович пожелал спокойной ночи, и ребята разошлись по спальням.

Утром труба проиграла «подъем», и парни строем пошли на плац на физзарядку. Плац находился посреди зоны, и под команду рога зоны по физмассовой работе — он возвышался на трибуне — повторили все упражнения, которые он показывал, и опять строем разошлись по отрядам. Дневальные мыли полы, а ребята ждали построения на завтрак:

— Отряд! Строиться на завтрак!

И опять строем в столовую. В столовой за столы садились по отделениям. Места воров были за крайними столами. Хитрого Глаза посадили посередине.

С керзухой ребята расправились быстро, выпили чай, и дежурный скомандовал выйти на улицу.

Строем воспитанники пришли в отряд, перекурили и потопали в школу.

Занятия в школе шли до обеда. После занятий парни переоделись в рабочую одежду, пообедали и с песней пошли на работу.

Хитрый Глаз, как и говорил Малик, попал в обойку. В колонии, в производственной зоне, была мебельная фабрика, основная продукция которой была диваны. Хитрого Глаза поставили на упаковку. Надо было таскать диваны, обертывать их бумагой, упаковывать и грузить на машины. Работа хоть и была тяжелой, но Хитрому Глазу понравилась.

Перед ужином ребята потопали в жилую зону. В воротах их ошмонали.

В колонии было восемь отрядов, в каждом — более ста пятидесяти человек. Нечетные отряды работали во вторую смену, а в первую учились. Четные — наоборот.

В зоне было две власти: актив и воры. Актив — это помощники администрации. Во главе актива — рог зоны, или председатель совета

воспитанников колонии. У рога — два заместителя: помрог зоны по четным отрядам и помрог зоны по нечетным. В каждом отряде были рог отряда и его помощник. Во всех отрядах было по четыре отделения, и главным в отделении был бугор. У бугра тоже был заместитель и звали его — помогальник.

Вторая элита в колонии — воры. Их было меньше. Один вор зоны и в каждом отряде по вору отряда. Редко — по два. На производстве они тоже не работали. Еще в каждом отряде было по несколько шустряков, которые подворовывали. Кандидаты на вора отряда.

Актив с ворами жили дружно. Между собой кентовались, так как почти все были земляки. Актив и воры были в основном местные, из Челябинской области. Неместному без поддержки трудно было пробиться наверх.

Начальство колонии на воров смотрело сквозь пальцы. Прижать оно их не могло, так как авторитет у воров был повыше рогов, и потому начальство, боясь массовых беспорядков, или, как говорили, анархии, заигрывало с ними. Стоит ворам подать клич: бей актив! — и устремиться самим на рогов, как больше половины колонии пойдет за ними, и даже многие активисты примкнут к ворам. Актив будет смят, и в зоне начнется анархия. Но и воры помогали наводить в колонии порядок. Своим авторитетом. Чтобы им легче жилось. А сами старались грубых нарушений не совершать. Если вор напивался водки или обкайфовывался ацетоном, ему это сходило. Ведь он вор. Начальство это может скрыть. Главное, чтоб в зоне не было преступлений, которые скрыть невозможно. Порой воры с активом устраивали совместные кутежи. Вор зоны свободно проходил через вахту и гулял по поселку

2

Три дня Хитрый Глаз прожил в колонии, и его никто не трогал. На четвертый день к нему подошел бугор и сказал:

— Сегодня ты моешь пол.

— Но ведь я новичок, а новички месяц полы не моют.

— Не моют, а ты будешь. Быстро хватай тряпку, тазик и пошел. Ну...

— Не буду. Месяц не прошел еще.

— Пошли, — сказал бугор и завел Хитрого Глаза в ленинскую комнату.

Бугру скоро исполнялось восемнадцать лет, и он ждал досрочного освобождения. Он был высокого роста, крепкого сложения, из Челябинска.

— Не будешь, говоришь, — промычал бугор и, сжав пальцы правой руки, ударил Хитрого Глаза по щеке.

В колонии кулаками не били. чтоб на лице не было синяков, а ставили так называемые моргушки. Сила удара была та же, что и кулаком, но на лице никакого следа не оставалось.

Удар был сильный. Хитрый Глаз получил в зоне первую моргушку. У него помутилось в голове.

— Будешь? — спросил бугор.

— Нет.

Бугор поставил Хитрому Глазу вторую моргушку.

— Будешь?

— Нет!

Тогда бугор поставил Хитрому Глазу две моргушки подряд. Но бил уже не по щеке, а по вискам. Хитрый Глаз на секунду-другую потерял сознание, но не упал. В зоне знали, как бить, и били с перерывом, чтоб пацан не потерял сознание.

— Зашибу, падла, — сквозь зубы процедил бугор. — Будешь?

— Нет.

Бугор поставил Хитрому Глазу еще две моргушки по вискам, и он опять крепко кайфанул. Но бугор его бить больше не стал, а вышел из комнаты, бросив на прощанье:

— Ушибать будут до тех пор, пока не начнешь мыть.

На следующий день не бугор, а помощальник сказал Хитрому Глазу, чтоб мыл полы. Хитрый Глаз ответил, что мыть полы не будет. Месяц еще не прошел.

— Не будешь,— протянул помощальник, искривив лицо.— Будешь!

Он похлопал его по щеке. Потом с силой ударил. Удар помощальника был слабее, чем у бугра, ставить моргушки он еще не научился, да и силы было меньше. Помощальник был чуть крепче Хитрого Глаза и немного выше.

Хитрый Глаз после удара ничего не ответил. Помощальник тогда стал часто ставить моргушки. Увидев, что Хитрый Глаз теряет сознание, а по-колонийски — кайфует, он перестал его бить и спросил:

— Будешь мыть?

— Нет,— ответил Хитрый Глаз. Голова у него гудела. «Как мне быть?— думал он.— Начинать мыть полы или не начинать?» И Хитрый Глаз решил пока держаться на своем.

Вечером, после школы, к Хитрому Глазу подошел Малик.

— Я слышал,— начал он,— тебя заставляют мыть полы. Но ты не мой. Крепись. Если ты их начнешь мыть, тебя с ходу сгноят. Будешь марехой. Я тебе посоветую сходить к помрогу зоны Валеку. Иди к нему на отряд и скажи: не успел, мол, прийти на зону, как меня заставляют мыть полы. Только не кони, сходи, а то они тебя будут бить до тех пор, пока ты не согласишься.

Идти к помрогу зоны не хотелось. Жаловаться он не любил. Да и что толку, если б Хитрый Глаз пошел и пожаловался. После этого его бы сильнее избили и он вдобавок потерял бы уважение ребят.

Вечером помощальник завел Хитрого Глаза в туалетную комнату.

— Будешь мыть полы? — спросил он.

— Не буду,— ответил Хитрый Глаз.

В туалетной комнате никого не было, и помощальник, размахнувшись, кулаком ударил Хитрого Глаза в грудь.

— Будешь? — повторил он и, услышав «нет», нанес серию крепких ударов в грудь.

Опытный рог или вор со второго или третьего удара по груди вырубали парня. Но у помощальника удары еще не были отработаны, и он тренировался на Хитром Глазе.

— Нагнись,— приказал помощальник.

Хитрый Глаз нагнулся.

— Да ниже.

Хитрый Глаз еще нагнулся, и теперь его грудь была параллельно полу. Сильный удар коцем в грудь заставил его выпрямиться.

— Снова нагнись,— приказал помощальник.

Хитрый Глаз нагнулся. Помощальник снова пнул его в грудь, и на этот раз Хитрому Глазу стало тяжело дышать.

— Еще нагнись! — закричал помощальник, видя, что Хитрый Глаз выпрямился.

Третий раз помощальник пнул Хитрого Глаза в область сердца. У него помутилось в глазах, и он сделал шаг назад.

— Сюда, сука, сюда! — заорал помощальник. Он ударил его кулаком в грудь.— Будешь мыть?

— Нет,— ответил Хитрый Глаз, и помощальник прогнал его из туалетной комнаты.

День был прожит.

— Но что толку,— сказал парень, что спал рядом,— все равно рано или поздно мыть полы ты будешь. Я не знаю, что тебе посоветовать, смотри сам.

Пять дней дуплил помогальник Хитрого Глаза. Иногда ему помогал бугор, иногда рог отряда санитаров. Дуплили его не жалея. Ставили моргушки, били по груди, а тут как-то вечером помогальник позвал его в туалет и решил поупражняться по-другому.

— Подними руки,— сказал он Хитрому Глазу,— и повернись ко мне спиной.

Хитрый Глаз поднял руки, повернулся. Помогальник ребром ладони ударил его по почкам. От резкой боли Хитрый Глаз нагнулся. Дождавшись, пока прошла боль, помогальник повторил удар. На этот раз боль была сильнее. Хитрый Глаз присел на корточки, отдышался.

— Хорош косить,— сказал помогальник и пнул его по спине.— Вставай.

Хитрый Глаз поднялся. Теперь помогальник ударил его по печени, и он застонал.

— Косишь, падла,— буркнул помогальник и поставил Хитрому Глазу две моргушки с обеих рук по вискам.

У Хитрого Глаза зашумело в голове, и он схватился за нее руками.

— Убрал руки, быстро! — снова был приказ.

И помогальник продолжал бить Хитрого Глаза, отдавая ему команды. Удары следовали то в печень, то по почкам, и моргушки он ставил то по вискам, то по щекам.

После отбоя, когда Хитрый Глаз залез под одеяло, его начало тошнить. «Хоть бы в кровати не вырвало,— думал он,— а то неудобно будет». Но тошнота вскоре прошла, и ему стало легче. Лежа он не ощущал своего избитого тела. Он был как бы невесом. «Господи, как мне жить? То ли начать мыть полы? Ведь и правда, сколько бы я ни сопротивлялся — ну пусть я выдержу месяц,— все равно через месяц буду мыть полы. Лучше сейчас начать. А может, все же держаться? Ведь Малик говорит, что мыть не надо...»

Хитрый Глаз слышал от ребят, что Малика избивали еще сильнее. Он тоже поначалу был упорный и не хотел выполнять команды. У Малика, говорят, отбита грудь. Волгоградских в зоне не было, и ему не могли дать поддержку. У Хитрого Глаза есть тюменские земляки — их в зоне более десяти человек,— но ни один из них не имеет авторитета и защитить Хитрого Глаза не может. «Наверное,— думал Хитрый Глаз,— надо начать мыть полы».

«Ладно,— решил Хитрый Глаз, засыпая,— если завтра с утра скажут мыть полы — вымою. Ведь мыть их раз в восемь дней. Бог с ними».

Утром, когда помогальник сказал Хитрому Глазу помыть пол, он не стал отнекиваться и вымыл.

В этот же день в школе Хитрый Глаз получил двойку по химии. Он и так не любил этот предмет, а тут, когда его каждый день избивали, он не мог сосредоточиться и выучить урок. Вместо химических формул стоял вопрос: мыть или не мыть полы? Девятого класса — понял он — ему не осилить.

После занятий троих ребят, которые получили двойки, бугры вызвали в туалетную комнату. И одуплили. Хитрого Глаза бил помогальник. Но колотил он его сегодня несильно. Злой на него не был: Хитрый Глаз ведь помыл полы.

Дня через два Хитрый Глаз получил двойку по физике. И его снова дуплили, отбивая грудянку.

На учителей Хитрый Глаз стал злой. Учителя, улыбаясь, равнодушно подписывали воспитанникам приговор, ставя им двойки. Многие учителя были женами сотрудников колонии.

В школе он получил еще несколько двоек, и его опять дуплили. «Нет,— думал Хитрый Глаз,— на следующий учебный год пойду учиться в восьмой класс. Скажу, на свободе учился плохо и меня просто переводили из класса в класс. В восьмом все же будет легче. Но до конца учебы остается около двух недель. Можно еще наполучать ку-

чу двоек. А не закосить ли мне на плохое зрение? Скажу, что я плохо вижу и день ото дня зрение все хуже становится».

На самоподготовке в спальне, читая учебник, он приставлял его чуть не к самому носу. На второй день помощальник сказал:

— Что, Хитрый Глаз, над книжкой склонился? Видишь плохо?

— Аха,— ответил он,— вот если чуть дальше от глаза, то уже и читать не могу.

— Косишь, падла.

3

В спальне, в левом углу, спали воры. Вор отряда, Белый, в прошлом был рогом отряда. Он ждал досрочного освобождения, и после Нового года его хотели освободить. Белый обещал Хомутову, что за декабрь отряд займет первое место в общеколонийском соревновании. А тут в один день произошло сразу три нарушения. Не видать седьмого места:

После школы Белый построил воспитанников в коридоре, сорвал с кровати дужку и начал всех подряд, невзирая на авторитет, колотить. Несколько человек сумели смыться. Кое-кто из ребят успел надеть шапку, и удар дужкой по голове смягчился. Белый от ударов сильно вспотел. Дужка разогнулась и теперь на место не заходила. Белый швырнул ее в угол.

Одни остались лежать в коридоре, а другие, кому полегче попало, разбежались. Одному пацану Белый раскроил череп, и у него хлестала кровь. Двое не смогли идти, и их унесли на руках.

Белого за это лишили досрочного освобождения и выпнали из председателей совета отряда. Он стал вором. В отряде его все боялись, зная, каков он в гневе, и ему никто не перечил.

Вторым по авторитету в воровском углу был Котя. Он пулял из себя вора. Его авторитет далеко не равнялся авторитету Белого, и начальник отряда гнал его на работу. Но Котя не шел. «Радикулит, Виктор Кириллович, радикулит у меня,— говорил Котя начальнику отряда Хомутову, или, как все называли, Кирке,— видите, еле хожу». И он хватался за поясницу и ковылял, согнувшись, в воровской угол. Ходил он всегда медленно, волоча ноги, и не делал резких движений — здорово косил на радикулит. Кирка отстал от Коти. Коте через месяц исполнилось восемнадцать, и Кирка решил не вступать с ним в конфликт, а дотянуть его до совершеннолетия и отправить на взросляк.

Любимое занятие было у Коти — мучить пацанов.

— Ну как, Хитрый Глаз, дела?— подсел к нему однажды Котя.

— А-а-а,— протянул Хитрый Глаз.

— Плохие, значит. Ах эти бугры, чтоб они все сдохли, на пола тебя, новичка, бросили. Но ты не падай духом. Не падаешь?

— Да нет.

Котя похлопал Хитрого Глаза по шее.

— Кайфануть хочешь?

— Чем?

— Я тебе сейчас покажу.

Котя накинул Хитрому Глазу на шею полотенце и стал душить. Хитрый Глаз потерял сознание. Когда очнулся, по лицу бежали мурашки и кто-то будто колот лицо иголками, но несильно.

— Ну как кайф?

Хитрый Глаз промолчал.

— Еще хочешь?

Хитрый Глаз не ответил. Тогда Котя снова стал его душить. Хитрый Глаз вновь отключился — Котя ослабил полотенце.

— Сейчас я тебе кислород перекрывать буду руками. Кайф от этого не хуже.

Котя цепко схватил Хитрого Глаза за кадык. Хитрый Глаз закаш-

лялся — он отпустил. Хитрый Глаз отдышался — Котя сжал ему, но теперь не кадык, а шею. Хитрый Глаз опять потерял сознание. Когда Хитрый Глаз пришел в себя, Котя стал время от времени перекрывать ему кислород.

Целый месяц, пока Котю не отправили на взросляк, он издевался над Хитрым Глазом.

Белый, Котя и два шустряка кровати не заправляли. В зоне воров, рогам, буграм было западно заправлять свои кровати, и заправляли за них парни.

Когда Хитрый Глаз согласился мыть полы, через несколько дней к нему утром подошел бугор и сказал:

— Хитрый Глаз, иди заправь кровати.

Хитрый Глаз отказался.

— Что-о-о,— протянул бугор и затащил Хитрого Глаза к себе в угол,— не будешь?

Он взялся руками за дужки кроватей и, готовясь подтянуться, чтоб пнуть каблуками Хитрого Глаза в грудь, спросил:

— Будешь, а то зашибу?

— Нет,— ответил Хитрый Глаз.

Бугор подтянулся и ударил Хитрого Глаза каблуками в грудь. Хитрый Глаз отлетел к противоположной кровати, ударился о нее головой, но не упал.

— Будешь?

— Нет,— ответил Хитрый Глаз и получил два сильнейших удара в грудь здоровенными кулаками бугра.

Хитрый Глаз кайфанул.

— Я с тобой вечером поговорю,— пообещал бугор.

Хитрый Глаз, заправив свою кровать, вышел на улицу. А кровати в углу стал заправлять другой парень.

Вечером в туалетной комнате Хитрого Глаза дуплил помощник. Он бил его с удовольствием, смакуя удары. Если Хитрому Глазу становилось плохо, помощник давал ему передышку.

— Будешь заправлять кровати?

Хитрый Глаз, чуть пошатываясь, ответил: «Нет» — и помощник, поставив ему ядреную моргушку, выгнал его.

Боли в теле Хитрый Глаз не чувствовал. Он опять находился в невесомости. Слегка кружилась голова, и со стороны можно было подумать, что он немного выпил.

Десятилетиями на пацанах отрабатывались удары. Этот опыт передавался от бугра к бугру, от рога к рогу, от вора к вору. Все самые уязвимые места в человеческом теле были известны. Главное, когда бьешь, надо точно попасть. Вот потому такие начинающие активисты, как помощник, отрабатывая удары, радовались, когда пацан после молниеносно проведенного удара падал, как сноп, или, оставаясь на месте, на две-три секунды терял сознание. Все, кто избивал пацанов, знали: доведенные до совершенства удары пригодятся на свободе. Там, в случае чего, они в мгновение вырубят человека.

В спальню Хитрый Глаз заходить не стал. Он вышел на улицу и побрел в толчок. Курить ему сейчас не хотелось. Да и в толчок идти желания не было. Но ведь надо что-то делать до отбоя. Он с удовольствием бухнулся бы сейчас на землю и лежал недвижимый. Чтоб никого не видеть. Роги, бугры, воры, как вы надоели Хитрому Глазу! Ему не хочется на вас смотреть.

Солнце стояло еще высоко, и вид на горы открывался великолепный. Но Хитрый Глаз не замечал красоты, и мысли его сейчас путались. Злости на помощника не было. И вообще не было ни на кого. Одному, одному ему побыть хотелось.

На следующий день после физзарядки помощник опять сказал Хитрому Глазу:

— Заправь кровати!
Хитрый Глаз промолчал.

— Не понял, что ли?

В ответ — молчание:

— Пошли,— сказал помощальник и повел Хитрого Глаза в ленинскую комнату.

И снова удары, удары, удары.

— На работе продолжим,— сказал помощальник, когда они выходили из комнаты.

На работе помощальник кулаками бить Хитрого Глаза не стал — зачем? Здесь же есть палки. Любые. Сломается одна, можно взять другую.

Богонельки⁵, богонельки отбивал помощальник Хитрому Глазу. Только боль проходила, наносился следующий удар, за которым следовал вопрос: «Будешь заправлять?»

Хитрый Глаз извивался от ударов, но не кричал, не просил прекратить.

— Так, до вечера,— сказал помощальник, сломав о Хитрого Глаза вторую палку;

Сегодня обойка закончила работу раньше. Ребята — кто остался в цехе, кто вышел на улицу. Хитрый Глаз в цехе сидеть не стал. Хочется побывать на воздухе.

К парням подбежал Мотя, он был тоже на седьмом отряде, но учился в ученичке, овладевая новой профессией. Остановившись, он бросил в ребят палец. Парни отскочили.

— Что, коните?— спросил он их.— Это ведь палец, а не бугор, и вас не ударит. В станочном цехе один отпилил. Р-р-раз — и нет пальца.

Мотя жил в колонии около двух лет, и ему в свое время перепало от актива, но теперь его, старичка, трогали реже.

— В натуре, пальца испугались,— говорил Мотя, играя отпиленным пальцем.— В прошлом году один пацан кисть себе отпилил, Санек надел ее на палку и пугал всех. Пострашнее было. А вот раньше, кому невмоготу было, не то что руки или пальцы — голову под пилу подставляли. Нажал педаль, подставил голову, отпустил педаль — и покатилась голова. А сейчас головы под пилу не суют — руку там или пальцы.

Мотя привязал к пальцу нитку и пошел от ребят, играя им. Мотя знал много колонийских преданий.

— Зону нашу в тридцать седьмом году построили,— рассказывал он,— не зону, собственно, а бараки одни. Заборов тогда не было, не было колючки и паутины. Воры летом в бараках не жили. Они в горы по весне уходили и там все лето бадели. Еду им туда таскали. Они костры жгли, водяру глушили, картошку пекли. А потом новый хозяин пришел и решил зажать воров. Актив набирать стал. Рога зоны назначил. А воры в хер никого не ставили. И тогда рог зоны предлжил вору зоны стыкнуться. Если рог победит, быть активу в зоне, зона станет, значит, сучьей. Победит вор — актив повязки скидывает. Рог с вором в уединенном месте часа два дрались, никто не мог победить. Оба выдохлись. Вор ударил рога, и рог упал. Вор подошел к нему, а рог, лежа, сбил его с ног и сам вскочил. Начал его дубасить. И одолел. Вот с тех пор на нашей зоне и стали роги и бугры. Ну а воры так и остались.

Рассказ Моти был правдивый, не совсем точный. Может быть, и стыкался рог зоны с вором зоны и победил его. Но не так появился актив в зоне.

⁵ Богонелька — часть руки от предплечья до локтя.

Когда началась война, в Одян пригнали этап активистов из одной южной колонии. Хозяин, обговорив с ними, как навести порядок, чтоб не воры командовали парнями, а он и активисты, вечером приказал работникам колонии домой не уходить.

Когда зона уснула, вновь прибывшие активисты вместе с работниками колонии зашли в один из отрядов. Разбудив воров и позвав их в туалетную комнату, они предложили им отказаться от воровских идей и работать. Воры ответили отказом, и тогда активисты стали их душить. Избив до полусмерти, актив взял с воров слово, что они им мешать не будут.

Так переходили они из отряда в отряд, избивая воров. К утру дело было сделано. Избитые воры валялись трупами. От воровских идей они не отказались, но все дали слово, что против актива ничего не имеют.

Так с тех пор в Одяне наряду с ворами появились активисты.

На другой день под усиленной охраной работников колонии и активистов воспитанники принялись огораживать зону забором. А еще через несколько дней пацаны вместо блатных песен стали петь строевые, советские.

Вечером помощальник в туалетной комнате опять отрабатывал удары на Хитром Глазе.

— Что ты, Хитрый Глаз, так упорно сопротивляешься? Ты ведь и полы вначале мыть не хотел, но ведь моешь же сейчас. И кровати заправлять будешь, куда ты денешься? И не с таких спесь сбивали. Еще ни один пацан, запомни, ни один, кого заставляют что-то делать, не смог продержаться и взять свое. Хочешь, и за щеку заставим взять, и на четыре кости поставим, ведь нет у тебя ни одного авторитетного земляка. Поддержку же тебе никто не даст. А Малика ты не слушай. Он тоже все делал, когда его заставляли. Но сейчас он старичок.— Так говорил помощальник, размеренно дубася Хитрого Глаза.

И в этот вечер Хитрый Глаз не дал слово заправлять кровати.

«Долго мне не продержаться,— соображал Хитрый Глаз.— Вот взять, к примеру, коммунистов. Их немцы избивали сильнее. Но они на допросах держались и тайн не выдавали, хотя знали, что из лап гестапо им живыми не вырваться. Но ради чего сопротивляюсь я? Ради того, чтобы получше жить. Но через два с половиной года меня отпустят. А если я буду сопротивляться и меня каждый день будут душить, дотяну ли я до освобождения? Хорошо, дотяну, но калекой. Уж лучше заправлять, когда скажут, кровати и останяся здоровым. Но в зоне мне жить больше двух лет — и кем же я за это время стану? Амебой? Нет, я не хочу быть Амебой».

В седьмом отряде был воспитанник, тюменский земляк Хитрого Глаза по кличке Амеба. Эту кличку он услышал в первый день, когда воспитанники вытрясали матрацы.

Амеба был забитый парень, который исполнял команды почти любого парня. За два года, которые он прожил в Одяне, из него сделали не то что раба — робота. Амеба шагом никогда не ходил, а всегда, даже если его куда не посылали, трусил на носках, чуть-чуть наклоня тело вперед. Его обогнал бы любой, даже небыстрым шагом. Лицо у Амебы было бледное пухлое и всегда неумытое. Ему просто не было времени умываться. Он не слезал с полов. Только и можно было увидеть Амебу, как он сновал с тазиком по коридору. Он мыл полы то в спальне, то в коридоре, то в ленинской комнате. Руки у него были грязные, за два года грязь так въелась, что и за месяц ему бы не отпарить рук. Его лицо не выражало ни боли, ни страдания, а глаза — бесцветные, на мир смотрели без надежды, без злобы, без тоски — они ничего не выражали. Одно ухо у Амебы было отбито и походило на большой неуклюжий вареник. Грудная клетка у него давно была отбита, и любой, даже слабый удар в грудь доставлял ему адскую боль.

Но его давно уже не били ни роги, ни воры, ни бугры. Теперь они его жалели, потому что после любого удара, не важно куда — в висок, грудянку или печень, — он с ходу отрубался. Бить Амебу вору или рогу было запаadlo. И его теперь долбили парни, кто стоял чуть повыше его. Они, чтоб показать, что они еще не Амебы, клевали его на каждом шагу, и он, бедный, не знал, куда деться. Когда бугры замечали, что почти такая же мареха долбит Амебу, они кшикали на такого парня, и он тут же испарялся. У Амебы были отбиты почки и печень, и ночью он мочился под себя.

Амебу не однажды обманывали. Подойдет какой-нибудь парень и скажет, что он его земляк. Разговорятся. А потом парень стукнет Амебу в грудянку и захохочет: «Таких земляков запаadlo иметь».

Хитрый Глаз, узнав, что Амеба его земляк, пытался с ним заговорить, но Амеба разговаривать не стал — подумал, что его разыгрывают.

В другой раз Хитрый Глаз догнал Амебу на улице.

— Амеба, что же ты не хошь со мной поговорить, ведь я твой земляк.

— А ты правда из Тюмени? — остановился Амеба.

И хотя Хитрый Глаз в Тюмени никогда не жил, он сказал:

— Правда, Амеба. А ты где в Тюмени жил?

Амеба объяснил. Хитрый Глаз такого места в Тюмени не знал, но с уверенностью сказал:

— Да-да, я бывал там.

— Бывал? — тихонько повторил Амеба и краешком губ улыбнулся. — Наш дом стоит по той стороне, где магазин, третий с краю. У него зеленая крыша.

— Зеленая крыша. — теперь повторил Хитрый Глаз, — говоришь. Стоп. Да я помню зеленую крышу. Так это ваш дом?!

— Да, наш, — все так же тихонько, но уже веселее сказал Амеба. — А ты братьев моих знал?

— Братьев? А какие у них кликухи?

— У одного была кликуха, у старшего — Стриж. А у других нет.

— Стриж, Амеба, да я же знал Стрижа, так это твой брат?!

— Ну да, мой!

Амеба опять чуть улыбнулся и стал спрашивать Хитрого Глаза, где он жил в Тюмени. Хитрый Глаз сказал, что он жил в центре.

Амеба стоял так же, как и ходил, — на носках. Казалось, он остановился всего на несколько секунд и снова сорвется с места и потрусит дальше.

4

Хитрый Глаз решил назавтра заправить кровати. Бессмысленно подставлять грудянку под кулаки помощника. Ну а до уровня Амебы он не опустится: все равно из Одяна он вырвется.

Кровати по приказу он заправил, но прошло несколько дней, и бугор сунул ему носки:

— Постирай.

Хитрый Глаз отказался. И опять его стали дулить, и он сдался: носки постирал. А на другой день носки стирать дал ему помощник.

С каждым днем Хитрый Глаз опускался все ниже и ниже. Занятия в школе кончились, бить за двойки перестали. Теперь, поскольку он выполнял команды актива, его трогали реже.

Малик, узнав, что Хитрый Глаз постирал носки, стал с ним меньше разговаривать. А как было не постирать. И другие пацаны, не хуже его, стирали. «Что толку, — думал он, — лучше я постираю, чем будут отнимать здоровье».

Постепенно Хитрого Глаза стали звать Глазом. Слово «Хитрый» отпало.

Глаз решил закосить на желтуху. Чтоб поваляться в больничке. Он слышал от ребят, что если два дня не принимать пищу, а потом проглотить полпачки соли — желтуха обеспечена. Но как можно не есть, когда в столовой за столами сидят все вместе. Сразу заметят. Он все же решил попробовать — так опостылела зона.

Утром, когда все ели кашу и хлеб с маслом, Глаз к еде не притронулся.

— Что-то не хочется. Заболел я, — сказал он.

Никто и слова не сказал. В обед тоже — ни крошки.

Помогальник, когда пришли в отряд, спросил:

— Глаз, что ты не жрешь?

— Да не хочу. Заболел.

— Врешь, падла. Закосить хочешь. Не выйдет. Попробуй только в ужин не поешь — отоварю.

Но и в ужин Глаз не ел. Помогальник завел его в туалетную комнату и молотил по грудянке.

На другой день Глаз не съел завтрак. На работе помогальник взял палку, завел его в подсобку и долго бил по богонелькам, грудянке, приказывал поднять руки, стучая по бокам.

— Знаю я, — кричал помогальник, — на желтуху закосить хочешь! Попробуй только! Когда из больнички выйдешь, сразу полжизни отниму.

Раз все помогальнику известно про такое кошение, Глаз обед съел. «А что, — думал он, — если земли нажраться, должен же живот у меня заболеть? Болезнь какую-нибудь да признают. Но где лучше землю жрать? Весь день на виду. Можно после отбоя, когда все уснут. А-а, лучше всего в кино, все смотрят, и до меня никому нет дела».

В колонии два раза в неделю — в субботу и в воскресенье — показывали кинофильмы. Набрав полкармана земли, Глаз ждал построения в клуб.

И вот Глаз сидит в зале. Многие ребята увлечены фильмом, другие кемарят. Он запустил руку в карман. Достал полгорсти земли и, хотя никто на него не смотрел, поднес руку к подбородку, будто он чешется, провел по нему и незаметно взял землю в рот. Попытался проглотить, но она в глотку не лезла. Он стал ее жевать, чтоб выделялась слюна, но земля с трудом пролезала в горло. Давясь, он проглотил ее и снова взял в рот. Жевал, но сухая земля комом стояла в глотке. Глаз чуть не плакал. Может, разболтать с водой и выпить? Но где? Где он возьмет кружку, чтоб не выдали ребята, где намешает землю с водой и выпьет?

Утром ему пришла мысль: выпить на работе клей, которым он приклеивал на диваны товарный ярлык. Когда все вышли из цеха на первый перекур, Глаз взял баночку с клеем и приложился к ней. Клей был сладковатый, противный. Вытерев губы рукавом сатинки, пошел в курилку.

Вскоре после перекура Глаза начало тошнить. Он вышел на улицу, и его вырвало. И снова во рту он ощутил клей. И его второй раз вырвало.

«Ничего, ничего и с клеем не вышло. Что же мне над собой сделать, чтобы попасть в больничку? Ведь ребята лежат в ней, неужели мне не попасть?»

Здание больнички стояло посредине колонии. Глаз смотрел на больничку будто на рай.

В последние два дня у Глаза начался нервный тик. Дергалась, даже трепетала левая бровь. Он в этот момент прикладывал пальцы к брови, и она переставала. Но стоило ее отпустить, и она начинала снова. Несколько раз Глаз подбегал к зеркалу — оно висело в спальне на стене, — стараясь посмотреть, как дергается бровь. Но когда он подбегал, бровь трепетать переставала. И все же раз он успел подбежать к

зеркалу, пока бровь дергалась. Ему казалось, что она ходуном ходит. Но бровь дергалась не вся, а только средняя ее часть, но зато так быстро-быстро, будто живчик сидел под бровью и, атакуя ее изнутри, старался вырваться на свет божий.

Освобождался Малик, земляк Глаза. Он отсидел три года. Ему шел девятнадцатый. Он обегал колонию с обходным листом и теперь, после обеда, должен через узкие вахтенные двери выйти на свободу.

Был выходной. Малик со всеми попрощался. Ему надо идти на вахту, но он, грустный, слонялся по отряду. Глаз ходил за ним, надеясь поговорить и дать адрес сестры, чтобы в Волгограде Малик зашел к ней и передал привет. Но Малик Глаза не замечал, как не замечал и вообще никого.

Он вышел в тамбур. «На вахту, наверное»,— подумал Глаз. Но Малик в тамбуре сказал: «Глаз, не ходи за мной». Он поднялся по лестнице на площадку второго этажа. Здесь был запасной выход из шестого отряда, которым никто не пользовался.

В глазах Малика были слезы. Если в отряде он еще сдерживал их, то в тамбуре он им дал волю.

Глаз стоял и слушал, как на второй площадке плачет Малик. Глаз вышел на улицу, сел на лавочку и закурил.

За три года, проведенных в Одяне, Малику порядком отбили грудянку. И вот теперь ему надо освобождаться, а он не идет. Ему тяжело покидать Одян, ему хочется побыть в Одяне еще с часок и поплакать. Надо еще немного побыть здесь— просит душа Малика, и он остается на площадке второго этажа.

Дежурный помощник начальника колонии приказал активу найти Малика и послать на вахту. Его же выпускать надо.

Только один Глаз знал, где Малик, но молчал.

Прошло около часа. Кто-то из воспитанников нашел Малика. Дпнк поднялся на площадку и сказал:

— Маликов, ну хватит, пошли.

Малик вытер рукавом слезы и медленно стал спускаться.

5

Сегодня после перекура, когда ребята приступили к работе, мастер обойки Михаил Иванович Кирпичев позвал к себе в кабинет Маха, шустряка, который, когда на взросляк уйдет Белый, непременно должен стать вором отряда. В обойке он был бригадиром.

— Станислав,— сказал мастер,— я двадцать лет работаю в зоне, и всегда, если рог не может порядка навести, к ворам обращались. Скажет вор одно слово— и порядок наведен. А чтобы работали плохо— да такого просто не знали. Вору стоит только зайти в цех, как все во сто раз шустрее завертятся. А теперь нам и заготовки часто не поставляют, и малярка сдерживает. Да не бывало такого. А сейчас— мне даже неудобно говорить— обед у меня свистнули. Я всего только минут на двадцать отлучился.

Ничего мастеру не ответив, Мах быстро вышел из кабинета.

— Обойка!— гаркнул он, и ребята побросали работу.— Собраться! Ребята медленно побрели в подсобку и построились. Вошел Мах, в руках у него были три палки. Он бросил их под ноги и закричал:

— Шушары! У Кирпичева обед увели! Кто?!

Ребята молчали. Среди обоечников был помощник букварей, Томилец, шустряки из других отрядов да из седьмого тоже.

— Так,— продолжал Мах,— даю две минуты на размышление, а потом, если не сознаетесь, начну палки ломать.

Парни молчали. Кто же свистнул обед у Кирпичева?

Прошло несколько длинных минут. Мах поднял палку. Из строя вышел Томилец, взял вторую. Шустряки — а их было несколько человек — покинули подсобку. Мах знал, что эти ребята обед не стащат. Он посмотрел на первую шеренгу и сказал:

— Три шага вперед!

И замелькали палки. Мах с Томильцем стали обхаживать пацанов. Били, как всегда, по богонелькам, по грудянке, если кто нерасторопный ее подставлял, и по бокам.

Обе шеренги корчились от боли, и палки были сломаны, когда Мах и Томилец остановились. Мах взял третью палку и сказал:

— Эта палка не последняя. Бить будем, пока не сознаетесь.

Томилец принес еще две палки.

— Даем вам время подумать, — сказал Мах, и они с Томильцем вышли из подсобки.

Минуты тянулись медленно. Все теперь знали, за что их били, и твердо были уверены, что бить будут еще.

Минут через десять в подсобку вошли Мах, Томилец и еще два вора из других отрядов.

— Ну что, — спросил Мах, — нашли обед?

Парни молчали.

— Начнем по новой, — сказал он, беря из угла палку.

Палки были сломаны, обед — не нашелся.

— Идите работать. А в перекур зайдете сюда, — сказал наконец Мах.

Руки у ребят были отбиты, но все приступили к работе.

Мах зашел к Кирпичеву.

— Михаил Иванович! Четыре палки сломали, никто не сознается. Может, кто не из наших взял?

— Сломайте хоть десять, но шушару найдите.

Мах двинул в цех. Мах работал. Сшивал диваны. Он шустрее и качественнее других справлялся со своим заданием. Вором, вором он скоро станет и тогда будет слоняться по зоне.

И кто бы мог подумать, что обед у Кирпичева свистнули два вора — Ворон и Светлый. Шофер передал им бутылку водки, срочно была нужна закусь, и они, проходя через обойку, зашли в кабинет к Кирпичеву. Там никого не было, и они хотели уходить, как Светлый заметил на столе сверток.

— Давай, — сказал Светлый, — у Кирпичева на закуску обед прихватим.

Он взял обед и, не пряча его, вышел.

На чердаке они распили бутылку, закусили и веселые пошли по промзоне.

Навстречу летел шустряк Кыхля.

— Куда несешься? — спросил Ворон.

— В ученичку.

— Что нового?

— Да ничего. В обойке, правда, у Кирпичева обед стащили. Обойка трупом лежит. Никто не сознался. Мах будет обед из них вышибать еще.

— Та-ак, — протянул Ворон, — иди.

Кыхля двинул, а Ворон сказал:

— Светлый, в натуре, из-за тебя ребят дуплят. Пошли.

Они отправились в малярку. Отозвали шустряков и велели быстро принести несколько банок сгущенки, консервов или другого гужона, какой будет.

Отоварка прошла не так давно, и курков в промзоне еще много.

Не прошло и двадцати минут, как шустряки положили на скамейку две банки сгущенки, банку консервов, полбулки свежего хлеба и пол-литровую банку малинового варенья.

Светлый с Вороном закурили и послали пацана в обойку за Махом.

Мах пришел быстро.

— Садись,— сказал ему Светлый.

Мах сел напротив.

— Что, у вас в обойке обед у Кирпичева взяли?

— Ну,— сказал Мах и пульнул матом.

— Обед взяли мы,— сказал Светлый.

Мах с недоверием посмотрел на воров.

— Мы достали пузырь водяры. Закуски не было. Зашли к Кирпичеву, базар к нему был. Его не было. В общем, Мах, так: отнеси это ему.— Светлый кивнул на жратву.— Но не говори, что обед мы взяли, понял? Не дай бог скажешь. Гони что хочешь, дело твое.

Они ушли, а Мах остался сидеть в курилке. Не бывало такого в зоне, чтоб воры у мастера обед забирали. Прав Кирпичев — воры сейчас измельчали.

Мах остановил проходившего мимо курилки пацана. Он был в халате.

— Сними халат,— сказал Мах.

Парень снял. Мах завернул в него банки, хлеб и сказал:

— За халатом придешь в обойку.

Кирпичев сидел в кабинете. Мах развернул халат и выложил еду.

— Ваш обед, Михаил Иванович, съеден. Я и парни просим у вас извинения. Вместо вашего обеда мы принесли вам это.

Кирпичев курил и смотрел на банки.

— Кто?

Мах промолчал.

— Кто съел?

— Михаил Иванович, ваш обед взяли не наши ребята. Это точно.

Но кто, я сказать не могу.

— Воры, значит?

Мах молчал.

— Что, закусить нечем было?

Мах кивнул.

— Попросить надо было.

6

Учебный год был окончен, но восьмые и десятые классы еще долго сдавали экзамены. Вот экзамены сданы, и около пятидесяти человек освободили досрочно. Освободились досрочно помрог отряда Коваль и рог отряда Майло. Неплохой был рог. Хоть он и сильный был, но пацанов не трогал, иногда их защищал. Воры и актив, может, поэтому его не любили.

Рогом отряда поставили бугра отделения букварей Мехлю, а бугром у букварей — помощальника Томильца.

Мехля был татарин. Из Челябинской области. Невысокого роста, коренастый. У него была очень развита грудная клетка. Ему уже подошло досрочное освобождение, и начальник отряда пообещал: если в отряде будет порядок, его к концу лета освободят.

Мехля, став рогом отряда, всюду ходил с палкой. Многие роги и воры с палками не расставались. Печатает шаг какой-нибудь отряд по зоне, а в первой четверке канает вор и играет палкой. В строй-то он встал просто так: пройтись, размяться. В строю воры, как и роги, не ходили.

Как и актив, воры в зоне ходили всегда в выглаженных сатинках и брюках. Ранты у ботинок — обрезаны, каблук — рюмочкой. Беретки — синего цвета, хотя у всех — черные. Но и здесь воры выделялись: часто, даже в строю, ходили без береток.

Вором четвертого отряда был Славик — высокий, стройный, кра-

сивый. Шел ему восемнадцатый год. Он чаще других воров становился в строй и ходил, как и все воры, в первой четверке. И неизменным спутником его была палка. Но пацанов он не бил, а если и опускал ее иногда, то лишь на спины оборзевших бугров.

Славик, в отличие от других воров, на шее носил газовую сиреневую косынку. Он так искусно ее завязывал, что она напоминала мужской галстук. Когда он шел впереди отряда, улыбаясь и играя, как жонглер, палкой, концы косынки развевались, задевая его румяные щеки и касаясь плеч. Эту косынку ему подарила учительница. Роман у них начался прошлой осенью, и до сих пор начальство не могло их засечь.

И вот учительница уходила в отпуск. И Славик захотел устроить ей проводы. С Мехлей у Славика были хорошие отношения, и они решили провести танцы. Из школы в ленинскую комнату принесли проигрыватель и пластинки. Вместе с Любовью Викторовой в седьмой отряд пришли еще три молоденькие учительницы. Мехля загнал в ленинскую комнату первых попавшихся пацанов и объявил:

— Внимание, ребята! Сегодня учителя нашей школы проводят в нашем отряде вечер танцев. Для этого принесена музыка. Сейчас будем веселиться. Будем танцевать.

Он поставил пластинку, и зазвучало танго. Славик танцевал с Любовью Викторовой, Мехля пригласил вторую учительницу, а двух оставшихся — бугры. Танцевали четыре пары. Глаз и остальные парни, кто был в ленинской комнате, молча смотрели на милостливых учительниц, которых за талии обнимали четверо счастливых парней.

— Что же они не танцуют? — спросила Мехлю светловолосая учительница, которую он прижимал к груди. — Какой же вечер танцев, если только мы и танцуем? Я хочу, Рома, чтоб танцевали и веселились все.

— Татьяна Владимировна, я даю вам слово, что танцевать будут все. И веселиться тоже.

После танго Мехля сказал ребятам:

— Следующий танец чтоб все танцевали.

Но парню с парнем танцевать не хотелось. Да и не до танцев было. Вечером седьмой отряд идет в наряд убирать столовую. А это значит: дуплить там будут.

После второго танца Мехля приказал ребятам выйти из ленинской комнаты.

— Всем в туалетную, — распорядился он.

— Почему не танцуете? — закричал Мехля, входя в туалетную комнату с дужкой от кровати. И начал отоваривать всех без разбору.

Здесь не было ни одного шустрика. Никелированная дужка мелькала, отражая свет, и опускалась на богонельки, спины, груди ребят. Мехля не смаковал удары, а просто бил. Многие стонали, но никто не вскрикнул: в зоне, когда бьют, кричать нельзя. Кто кричит, того бьют сильнее.

Парни, вернувшись в комнату, разбились на пары и стали танцевать танго. Они топтались на месте, еле двигая ногами.

Мехля, танцуя с учительницей, стриг за ребятами. Когда он встречался с чьим-нибудь взглядом, парень улыбался.

Глаз решил ударить себя ножом на производстве, а сказать, что ударил парень. «Я скажу, что плохо его запомнил. Как увидел перед собой нож — напугался. Так что виновного не будет, а меня положат в больничку. С месяц хоть поваляюсь», — думал он.

Сегодня Глаз из станочного цеха таскал в обойку бруски для упаковки и там, в чужом цехе, он решил полоснуть себя ножом.

Перед перекуром он взял нож, которым обрезали материал у диванов, и спустился вниз, в станочный цех. У выхода из цеха людей не было, а работа станков глушила любой разговор. «Надо резануть

себя быстрее, пока никого нет. А то кто-нибудь тоже может спуститься или, наоборот, станет выходить из цеха». Глаз с трапа отошел в сторону и стал за штабелем досок. Вытащив из кармана нож, похожий на сапожный, ручка которого была обмотана черной изоляционной лентой, он взял его в правую руку и крепко сжал. Лезвие ножа было небольшое. Подняв левой рукой сатинку и майку, Глаз посмотрел на смуглый живот. «В какое место лучше ударить? Понизе пупка или повыше? В левую сторону или в правую? Куда же лучше? А-а, ударю вот сюда, выше пупка, в светлое пятнышко. Это будет как бы цель. Буду в нее метить. Так...»

Глаз отвел руку для удара. Он глядел на живот и не мог решиться. Страшно ему стало. А вдруг он себя здорово поранит. «Да ну, ничего страшного не будет. Нож такой короткий. А бывает ведь — пырнут кого-нибудь длинным ножом, и ему хоть бы хны. Через месяц здоровый. Нет, все же я ударю себя. Нечего конить. Да, чтоб быть смелее, лучше на живот не смотреть. Куда попаду. Ну... Стоп! Что же это я поднял сатинку? Ведь сразу догадаются. Рана есть, а дырки ни на сатинке, ни на майке нет. Что ж, скажут, на тебя наставили нож, а ты сатинку с майкой поднял и брюхо для удара подставил?»

Глаз заправил сатинку в брюки и крепче сжал ручку ножа. «Ну», — торопил он себя.

В этот момент по трапу раздались шаги. С улицы в цех кто-то спускался. Глаз спрятал нож в карман и, выйдя из-за досок, стал подниматься навстречу парню. Обождав с минуту на улице, Глаз вернулся в цех, набрал брусков и отнес их в обойку. Ребята в это время шли на перекур. Глаз незаметно сунул на место нож — его никто не хватился — и пошел курить.

«Не удалось у меня. Ну и не буду тогда. Хер с ним. Второй раз пытаться не стоит, раз в первый не вышло».

Глаз не подумал, что нож, которым он хотел себя пырнуть, в обойке не нашли бы и всем стало ясно, что резанул он себя сам.

Идя на сьем, Глаз думал, как ему попасть в больничку.

Около вахты отряд построился. Сейчас откроют ворота и охрана начнет их шмонать. Но охрана медлила. Строй нарушился, и Глаз подошел к деревянным воротам. Они вели в жилую зону. На одной из досок на уровне головы чуть наискосок было выцарапано гвоздем: «Самара Вор 8 лет концом».

Самара был вор необыкновенный: никто не видел, чтоб он пацана ударил. Он был до того веселый, что, казалось, он родился с улыбкой. Некоторым ребятам, и не землякам даже, давал поддержку.

Попал Самара в бессрочку в десять лет. Просидев четыре года — раскрутился. Дали четыре.

Несколько дней назад Самара освободился. Всю ночь рыдала гитара: воры устроили ему чудные проводы.

Колонийскую столовую по очереди мыли все отряды. Вечером, после ужина, бугры и помощники седьмого отряда собрали около тридцати воспитанников, таких, кто никогда с полов не слазил, и строем повели в столовую.

Ответственным за уборку столовой был назначен бывший помощник, а теперь бугор отделения, где жил Глаз, — Пепел.

— Начинайте мыть, — крикнул Пепел, — хватит со стульями возиться!

Пацаны схватили тряпки и подошли к окну раздачи.

— Стали в ряд! — командовал Пепел.

Ребята встали, бросили перед собой тряпки, и Пепел сказал: «Пошли», — и парни, нагнувшись и соединив тряпки, погнали грязную воду к выходу. Пепел шел сзади.

— Так, останьтесь трое собирать воду.— И Пепел назвал клочки.

Трое ребят тряпками стали собирать воду в ведра, а остальные — гнать к ним грязную.

Пепел иногда брал ведра и выплескивал воду, где он больше видел грязи.

Вместе с Глазом помыл мыл и Амеба. Глаз заметил, как он подобрал с пола кусок хлеба и сунул его в карман. Потом стал отщипывать хлеб и отправлять в рот. Но делал это назаметно. Хлеб он даже не жевал, так как он был размокший, а проглатывал.

Время шло, а помыл, хотя ребята и торопились, мылись медленно. Уж больно большая столовая была. Тогда Пепел построил ребят, принес палку и стал охаживать ею. Бил он не изо всей силы и недолго.

После этого ребята стали бегать с тряпками — так приказал Пепел — и быстро устали. Теперь они в ряд не становились, а протирали пол в разных местах. Чтоб парни шевелились быстрее, Пепел ходил от одного моющего к другому и бил палкой по согнутой спине.

— Шустрее! — кричал он и ругался матом. — Быстрее закончите — быстрее в отряд.

7

В баню Глаз ходить не любил. Не столько он мылся, сколько подносил вора, рога, буграм чистые простыни. Противно ему это было. И, чтоб не прислуживать, он перестал ходить в баню. Два раза подряд не ходил. Майка потом воняла. А пот напоминал убийство. То, нераскрытое. А совершили они его так.

Рыская по району в поисках свидетельств о восьмилетнем образовании, Ян с Робкой Майером и Генкой Медведевым поставили на уши омутинковскую школу. Не найдя свидетельств, они прихватили в качестве сувенира спортивный кубок. Гена бросил его в свою спортивную сумку.

Возвращались зайцами. Ехать на крыше было холодно. Ян на ходу — ему это было не впервой — спустился по скобам к двери вагона. Нажал на ручку — дверь отворилась.

Он позвал ребят. Они спустились с крыши и залезли в вагон.

— Надо уйти в другой тамбур, где есть люди, — сказал Ян. Он боялся, как бы проводница не высадила их, безбилетников, в Вагае.

В соседнем тамбуре курили несколько мужиков. Парни тоже закурили, прислушиваясь к разговору. Оказывается, двое ехали с заработков. С деньгами. Оба — в Ялуторовск. Третий — услышали они — старозаимковский.

Ребята решили ограбить мужиков. Но кого легче?

— Грабанем ялуторовских, — предложил Робка. — Втроем мы с ними справимся.

Гена согласился, но Ян сказал:

— Двоих нам не потянуть. В Ялуторовске рядом с вокзалом автобусная станция. Последние автобусы еще, наверное, ходят. Сядут и уедут. Ну поедем и мы вместе с ними. Они нас запомнят. Да может, они и рядом с вокзалом живут. Я предлагаю грабануть вот этого, который сойдет в Новой Заимке. Идти ему в Старую Заимку — это километров семь. Дорогу я знаю. Мы за ним можем даже сразу и не пойти, чтоб не спугнуть. Ну, как?

Ребята согласились.

В Новой Заимке на платформе они тормознулись, дав возможность мужчине уйти. Он от станции пошел в сторону старозаимковской дороги.

— Отлично, — сказал Ян, — а теперь — двинули.

— Надо найти какую-нибудь палку, — сказал Роберт.

— Давайте у палисадника штaketину оторвем,— предложил Ян, и Роберт, подбежав к ближайшему дому, оторвал штaketину.

Теперь надо было решить, кто будет бить мужчину. Раз Роберт самый сильный, то и бить, решили они, ему. Он согласился.

Ночь выдалась темная. Ян шел впереди. Дома кончились, а мужчины не видно. Ян нагнулся и на фоне неба увидел его. Мужчина переходил тракт.

— Выходит на дорогу,— сказал Ян,— давай догоняй его,— обратился он к Робке,— а мы следом пойдем.

Роберт быстрым шагом догнал мужчину и с размаху ударил его штaketиной по голове. Тот, вскрикнув, упал. Ян с Генкой подбежали.

— За что, за что, ребята?..

Из головы у него струилась кровь. Хорошо, что было темно, а то бы Яна вырвало. Он не переносил крови. Мужчина продолжал бормотать, но парни оттащили его с дороги, и Роберт ударил его еще по голове. Мужчина захрипел, будто ему горло перехватили, и отключился.

Парни обыскали его, нашли паспорт и в нем шесть рублей. Они думали, что он едет с заработков и у него — тыщи. В рюкзаке у мужчины лежала грязная рубашка, электробритва, бутылка шампанского и книги.

Когда Ян и Гена переходили тракт, Гена на обочине оставил спортивную сумку с кубком. Чтоб не мешала. И сейчас, увидев свет машины, приближающейся со стороны Падуна, Ян и Гена разом вспомнили: сумка.

Ребята упали на мягкую землю. Здесь, в поле, росла не то рожь, не то пшеница, но она была невысокая и ребят не скрывала.

Машина осветила сумку, и шофер затормозил. Он выпрыгнул из кабины и взял ее. Машина тронулась, и ребята облегченно вздохнули.

Ребята встали, и Робка сказал:

— А ведь я, кажется, второй раз, когда его ударил, гвоздем попал в голову.— Он помолчал.— Я палку с трудом вытащил.

На станции ребята разглядели паспорт мужчины. «Герасимов,— читал про себя Ян,— Петр Герасимович, 1935 год рождения».

Фамилия врезалась Яну в память.

— Надо паспорт подбросить,— сказал Гена,— зачем он нам?

Роберт с Яном согласились. Гена взял паспорт и пошел к вокзалу. Через минуту-другую он вернулся.

— Ну что? — спросил Робка.

— Народу — полно. Я подошел к кассе и уронил под ноги. Найдут.

Дождавшись поезда, парни залезли на крышу. Когда поезд набрал полный ход, Ян откупорил шампанское, и ребята из горлышка под стук колес тянули его, отфыркиваясь. Затем разделили вещи. Робка взял часы, раз он их снимал, и оставил себе шесть рублей. Парни решили их пропить. У Гены была бритва, и он взял ее себе. Яну досталась шерстяная рубашка, и он надел ее. Так будет незаметно. Никто не будет проверять, одна у него рубашка или две. Она была великовата, и Ян закатал рукава. От рубашки пахло потом.

Рубашку Ян вечером отдал одному из своих друзей.

Через несколько дней Ян от падунских парней услышал, что около Новой Заимки ограбили и убили мужика. Ян долго переживал убийство, но никому о нем не сказал, хотя его подмывало с кем-нибудь поделиться.

И с того дня Ян не мог носить потные майку и рубашку. Пот напоминал того мужчину. Потную рубаху он всегда скидывал и надевал чистую.

Теперь, в колонии, когда Глаз не мылся по две недели, от майки несло потом, и мысли возвращались к убитому. В Падуне он спрашивал участников войны, как они себя чувствовали после того, как убили первого немца. Многие говорили, что не знают, когда убили первого, так как стреляешь не один и не знаешь, от чьей пули падает противник.

Но сосед Яна, Павел Поликарпович Быков, сказал: «Я в рукопашной схватился с одним здоровенным немцем. Он одолел меня, и я оказался под ним. Но я сумел выхватить у него из ножен кинжал и всадил ему в бок. Скинул немца с себя. Он хрипел. Но еще долго я не мог забыть его. Да и сейчас помню. Рыжие волосы, симпатичный такой. Меня тошнило первые дни, но потом я пристрелил еще одного в упор и постепенно привык».

Дядя Паша привык убивать. Была война. Если не ты убьешь, тебя убьют. Но ведь Глаз никого больше не убивал, и то первое убийство сейчас, когда от самого пахло потом, переворачивало его душу. Ходить потному было невыносимо.

В следующее воскресенье Глаз пошел в баню. По-быстрому обмылся под душем и, надев чистое белье, пулей выскочил на улицу. Никому он в этот раз не прислуживал.

«Господи, как вырваться из зоны? Что, если воспользоваться убийством? В милиции это преступление висит нераскрытым. Пойти к Куму и рассказать, что я знаю нераскрытое убийство, свидетелем которого был. Пусть он возьмет у меня показания и отошлет их в заводоуковскую милицию. Там убийство подтвердится. Они мной заинтересуются и вызовут к себе. Я прокачусь по этапу, потуманю им мозги, а потом они поймут, вернее, я сделаю так, чтоб они поняли, что я их обманываю и не знаю убийц того человека, и меня отправят назад. Я могу получить от зоны передышку, может быть, в полгода. Вот это да! Я ведь ничего не теряю. Человек убит, свидетелей нет. Меня обвинить в убийстве они никак не смогут, да я в нем и не сознаюсь. Так что была не была. Ведь после убийства год прошел».

И Глаз пошел к Куму. Его кабинет находился в штабе.

Глаз придумал нехитрую историю: он случайно стал свидетелем убийства. А преступники новозаймковские, потом их встречал и за просто бы узнал. А мужчина в больнице умер.

— Твои показания я запишу и отправлю в милицию,— сказал Кум, давая понять Глазу, что он свободен.

— Так я же вам не сказал, в какой области совершено преступление. Как же вы в милицию пошлете, вы ведь адреса не знаете.

— Ах да, я забыл.— Кум взял ручку.

Глаз назвал область и район. Кум записал.

— А когда ответ придет?

— Когда придет, я вызову.

Кум попервости отправлял в отделения милиции явки с повинной и показания, подобные тем, которые дал Глаз: ребята хотят помочь правосудию и искренне рассказывают о том, что знают. Но со всех концов страны к Куму стекались ответы, что многие преступления не зарегистрированы вообще, а известные совершены не так. За некоторые преступления преступники были осуждены и отбывали наказания, а теперь добровольно находились малолетние преступники, которые брали на себя раскрытие преступления. Наговором на себя ребята старались вырваться из Одяна. Теперь Кум выслушивал ребят, но показания не записывал и, конечно, никуда не отправлял. За пятилетнюю работу Кума ни один из парней не рассказал о собственном нераскрытом преступлении. Все говорили о чужих или выдуманных, а свои упорно скрывали.

Кум сразу понял, что Глаз его обманывает, и записывать наказания не стал.

После обеда, в выходной день, Глазу сказали, чтобы шел на свидание. Свиданки проходили на вахте. За столами с одной стороны сидели родители, с другой — дети. К Глазу, когда он шел на свиданку, подканал рог отряда Мехля и сказал:

— Глаз, к тебе кто должен приехать?

— Отец.

— Возьми у него денег, понял?

— Я спрошу, но обещать не могу.

— Если не принесешь, вообще на полах сгноят. Что хочешь там говори, но принеси. И попробуй мне только спались. Короче — делай!

Прежде чем пустить родителей на вахту, их предупредили, чтоб денег они сыновьям не давали.

— Здравствуй, папа.— Глаз посмотрел на отца.

Отец достал из кармана скомканный носовой платок и вытер слезы.

— Как живешь, сынок?

— Хорошо,— не задумываясь ответил Глаз.

Отец стал рассказывать новости, а Глаз жадно слушал, ловя каждое слово. Новости с воли были радостные.

Родители между тем выкладывали на стол еду. Чего только не появилось на столах для любимых сыновей: мясо, шоколадные конфеты, торты...

Отец Глаза достал из сумки сушки.

— Я не знал, что вам такое сюда привозят. Ну ничего, на следующий раз привезу.

Глаз взял сушку, погрыз немного, а отец тихонько, чтоб никто не слышал, спросил:

— Бьют вас здесь?

Глаз ближе подвинулся к отцу.

— Да.

— Кто?

— Актив: роги, бугры и воры тоже.

— За что?

— За все. Они никто не работают. Если что не так — получай.

— Начальство об этом знает?

— Знает.

Отец снова достал платок. Тяжело было ему, бывшему начальнику милиции, слышать от сына, что его в колонии бьют.

Рядом с Глазом сидел вор. К нему на свиданку приехали и отец и мать. Навалили ему на стол всякой еды, а он к ней даже и не притрагивается. Съел несколько шоколадных конфет, чтоб не обидеть родителей, и разговаривает.

— Здесь есть роги или воры? — спросил отец.

— Рогов нет, а вор рядом сидит. Ты не смотри сейчас на него. Видишь, он в выглаженной сатинке. Они всегда в новой одежде ходят.

Родители вора предложили Глазу поесть.

— Наготовили для Саши, а он и не притрагивается. Тебе отец что-то одних сушек привез,— сказала мать вора.

— Да не знал я, что сюда все можно,— ответил за сына Алексей Яковлевич.— Первый раз на свидании.

— Ешь, мальчик,— ласково сказала мать вора,— ешь, не стесняйся.

Глаз посмотрел на вора. Тот, понимая, что Глаз к еде не притронется, тихо, беззлобно сказал:

— Ешь.

И Глаз стал есть.

Поев, он сказал: «Спасибо».

— Папа,— тихонько проговорил Глаз,— ты не можешь встретиться с начальником колонии? Объясни ему, что ты бывший начальник милиции, пусть поможет освободиться досрочно.

— Нет,— подумав, сказал отец,— не буду я с ним встречаться. Не буду его об этом просить.

— Ну хорошо, не хочешь просить, чтоб меня досрочно освободили, попроси, чтоб меня не прижимали. Он бросит запрет, и меня никто пальцем не тронет.

Отец опять подумал.

— Не хочу я встречаться и говорить с начальником. Не найду я с ним общего языка.

И отец с сыном заговорили о другом.

Два часа пролетело быстро, и свиданка закончилась.

Когда родители ушли, воспитанников тщательно обыскали и запустили в зону.

Не успел Глаз появиться в отряде, как к нему подошел Мехля.

— Принес?

— У отца нет денег. Он мало получает. Он мне из еды одни сушки привез. Спроси у Ветерка, мы с ним рядом сидели.

— Ладно, хорош мне гнать — «мало получает». Начну щас дуплить, так на следующий раз будет много получать. Пошел вон.

Многие воспитанники после свиданки активу деньги приносили. За такую услугу их меньше били, не брали в наряд в столовую. А кто регулярно таскал деньги и помногу, таким вообще жилось легче. Им давали поддержку. Но стоило хоть один раз не принести, их начинали морить: бросать в наряды, чаще ушибать.

Роги и воры хранили деньги на освобождение. У рога или вора зоны сумма доходила до тысячи.

О сушках Глаз и в отделении рассказал. Пусть на следующее свидание денег у него никто не просит.

8

Вечером, после работы, объявили общеколонийскую линейку. Несколько часов назад на работе было совершено преступление. Три новичка, прибывшие две недели назад, не могли смириться с порядками в колонии и решили во что бы то ни стало вырваться из нее. Они договорились между собой, что двое из них иглами, которыми спивают диваны, нанесут несколько ран третьему. За это их раскрутят. Добавят срок и увезут в другую колонию. А потерпевшего отправят в больничку. Он будет отдыхать на больничной койке, а они баддеть в тюрьме.

Спрятав под робу иглы, парни направились в туалет. Дождавшись, когда воспитанники вышли, Толя шмыгнул в туалет. Следом — Игорь и Михаил.

— Ну что, ребята,— сказал Толя,— не коните. Время дорого. Сюда могут прийти. Колите меня.

Игорь и Миша достали иглы. Такими иглами можно проткнуть человека насквозь. Оба парня за свою жизнь никого ножом не ударили. Сидели они за воровство. Но вот теперь им надо было колоть друга. Они подружились на этапе.

Игорь, худощавый, высокий, стоял с иглой в руках и смотрел то на конец иглы, остро заточенный, то на Толю, которого ему сейчас надо ширнуть иглой. И он не мог решиться. Не хватало духу и у Миши. Он был коренастый, на целую голову ниже Игоря, и стоял на полшага дальше. Конец иглы он опустил вниз, как пику, и глядел себе под ноги. Колоть Толю ему не хотелось. Но они договорились, и надо исполнить. Иначе с Одяна не вырваться. Жить им тог-

да до восемнадцати два года. А парням не хочется, чтоб им отбивали грудь, опускали почки...

Толя, щупленький, с родинкой на щеке, казался совсем ребенком. Ему недавно исполнилось пятнадцать. За две недели Одлян ему опостылел. Он согласен, он хочет этого, он сильно хочет, чтоб его искололи иглами. Да посильнее. Чтoб в больничке подольше поваляться. А в больничке ведь можно совершить какое-нибудь преступление, чтоб добавили срок и отправили в другую зону. А можно и себя порезать. Самому. Тогда в больничке оставят.

— Ну что вы стоите, Игорь, Миха,— колите.— Толя закрыл глаза, ожидая ударов.

Но парни не могли решиться. Тогда Толя, открыв глаза, заорал на них:

— Да колите же вы, колите, чего ждете? Придет сейчас кто-нибудь!

Толя готов был заплакать. Его не кололи. Не видать ему больнички. Его снова будут ушибать, заставляя шестерить, уговаривать, чтоб взял за щеку. А потом бить.

В этот момент к туалету приблизились, громко разговаривая, воспитанники. Колоть надо сейчас, или все сорвется. Всех троих бросило в жар. Игорь, занеся руку для удара назад, какое-то мгновение задержал ее, слушая приближающиеся голоса, и с силой ударил иглой Толю в плечо. Толя даже не застонал. Лишь покачнулся от удара. Следующий удар нанес Миша. В бок. Толя не закричал. Он рад, он был до ужаса рад, что его наконец покололи. Игорь и Миша сделали еще по одному удару. Один пришелся в бок, второй чуть еаискось, в живот. Толя так и не издал стона.

В туалет зашли ребята. Толя уже начал терять сознание, и Игорь поддержал его за руку. Ребята были не воры и не роги и поэтому, не сказав ни слова, вышли из туалета и побежали в цех сообщить активу, что они увидели в туалете.

Игорь и Миша, держа окровавленные иглы, подхватили под руки Толю и потащили его, потерявшего сознание и истекающего кровью, на вахту.

Дежурный по вахте сразу отправил Толю на машине в больницу в Миасс, а Игоря и Мишу дпнк отвел в штрафной изолятор.

Когда к ним пришел Кум, они не скрыли от него, что Толю искололи специально, лишь бы вырваться из зоны.

И вот теперь отряды строились. Хозяин будет толкать речь и объявит парням, исколовшим друга, свой приговор.

Колония буквой П построилась на плацу. В отрядах не осталось ни одного человека. Даже дневальных выгнали на построение. Хозяин приказал собрать всех. Не присутствовали только несколько воспитанников, лежащих в колонийской больничке.

Из штаба в окружении офицеров вышел хозяин. Он шел не торопясь, выпятив живот. Рядом с ним шли Кум и начальник режима.

Из штрафного изолятора привели Игоря и Мишу. Они уже стояли в строю. Они понимали, что им сейчас будет. Но изменить ничего нельзя. Дело сделано, и раскаиваться поздно.

Но вот в центр вышел хозяин. Его жирное лицо лоснилось.

— Вы знаете, что сегодня на работе произошло чэпэ,— начал он говорить.— И какое чэпэ! Такие у нас бывают редко. Совершено преступление. Двое негодяев иглами искололи парня. Это не люди, это...— хозяин чуть задумался, подбирая нужное слово,— это изверги. Это пропащие люди. Их за преступления изолировали от общества, а они здесь, находясь в колонии, совершили новое дерзкое преступление. Мы отдаем их под суд. Еще неизвестно, выживет или нет подколотый ими парень. Но чтоб другим неповадно было, чтоб в колонии не совершались преступления, мы должны их наказать. Я

объявляю им наряд вне очереди, пусть они напоследок помогут туалету.

Сказав это, хозяин важно, с достоинством в окружении офицеров направился в штаб. Дпнк скомандовал: «Раз-з-зойтись!» Несколько сот воспитанников устремились к толчку занять передние места, чтоб видеть, как Игоря с Мишей будут приглаживать. Глаз тоже пошел к толчку.

От бани до туалета стеной стояли пацаны. Избиением командовал дежурный помощник начальника колонии (дпнк) старший лейтенант Кобин. В узком проходе, с одной стороны огражденные за преткой, а с другой воспитанниками, стояли несколько рогов и бугров с палками. Для такого случая с производства были принесены березовые, толщиной с руку, чтоб не ломались, палки. Для Миши и Игоря были приготовлены два ведра.

Глаз сумел все же найти брешь в толпе и протиснулся вперед. Ему хорошо было видно и активистов с палками, и старшего лейтенанта с красной повязкой на рукаве, и Игоря с Мишей. Пацаны взяли ведра и подошли к крану. Набрав воды, сделали несколько шагов — и тут на них посыпались удары палок. Били их по рукам, спине, бокам. Ведро тут же упало, и дпнк, подняв руку, сказал:

— Хватит. Пусть воду набирают.

Парни подняли с земли ведра и снова набрали воды.

— Живее, живее! — кричали на них из толпы.

На этот раз они прошли половину пути от крана до толчка. На них опять обрушились удары березовых палок. Били их куда попало, минуя лишь голову, а то таким дрыном и до мозгов череп можно раскроить. После нескольких ударов они опять выронили ведра, обрызгав себя и активистов водой. Удары сыпались с разных сторон, и уклоняться было некуда.

— За водой! — крикнул вновь дпнк.

Бугры и роги опустили палки, парни подняли ведра и пошли к крану. Из толпы кричали:

— Быстрее, пацаны, быстрее!

Толпа неистовствовала. Задние напирала. В первом ряду стояли роги и бугры и сдерживали напор.

И снова мелькали палки, парни корчились от боли, роняли ведра.

— Сильнее, так их! — орала толпа.

Толпа зверела. Она жаждала крови. Многим, стоящим в первом и втором рядах, хотелось ворваться в коридор и ударить парней. Некоторые, подскочив к ним, когда они бежали за водой, били их кулаками в грудь, спину и пинали ногами. Потом снова становились в толпу.

Глаз не мог понять, почему из толпы выбегают ребята и пинают Игоря и Мишу. Он ведь этого сделать не может. Лица тех, кто выбегал и пинал, кривились от злобы. Наверное, они могли бы и задушить, если б разрешили.

Ведро парни так ни разу и не дотащили до туалета. Следовал мощный удар по руке, и кисть разжималась.

Несколько раз Игорь и Миша падали на землю. Тогда из толпы выбегали ребята и пинали их. Дпнк, как секундант, подходил и, подняв руку, говорил одно и то же: «Хватит. За водой». Его команду слушали. Эти тридцать — сорок секунд, пока парни бегали за водой, были для них передышкой.

Теперь Игорь и Миша за водой бегали медленней. Им отбили ноги, и каждый шаг доставлял боль. Почки, печень были, конечно, отбиты. «Сколько же это будет продолжаться?» — подумал Глаз, когда парни, в который раз, тащили воду.

Роги и бугры, кто избивал парней, сменились. Они устали бить. Да ведь и другим надо поработать. Свежие принялись обхаживать парней. Но у ребят уже не было сил. Они часто падали. Вставали мед-

ленно. Новый сильный удар палкой валил их обратно на землю. Парни были в грязи.

Но вот коренастый Миша не смог подняться. В толпе спорили, кто же первый из них не выдержит. Все думали, что долговязый Игорь должен упасть первый. Но он оказался выносливее. Теперь били его одного. А Миша, бездыханный, лежал навзничь. Глаза у него были закрыты. Его не трогали. Дпнк поднял руку и сказал:

— Все, хватит.

Бугры и роги перестали бить Игоря. Но толпа яро орала:

— Еще, еще! Пусть тоже упадет!

Но дпнк властно крикнул:

— Разойтись!

Толпа нехотя стала разбредаться.

— Поднимай его,— сказал Кобин, обращаясь к Игорю.

Игорь стал тормошить Мишу. Но тот не подавал признаков жизни. Тогда Игорь стал поднимать его, но Миша был тяжелый. Избитый Игорь зря мучился, стараясь поднять с земли кента.

— Помогите ему,— обратился дпнк к стоящим рядом активистам.

Те подняли Мишу и, держа его за руки, ладонями стали хлопать по лицу. Он начал приходить в себя.

Игорь взвалил Мишу на плечи и, шатаясь, потащил по опустевшей бетонке.

Глаз ушел в отряд и сел на кровать. Теперь он узнал, что такое одлянский толчок. «Господи,— молила его душа,— неужели и мне за какое-нибудь нарушение придется испытать это же? Я не хочу толчка, не хочу жить в этой зоне, я ничего сейчас не хочу. Может, повеситься? Но где? А если не выйдет и меня вытащат из петли, то тоже толчок? Вот, падлы, даже задавиться нельзя. А может, и не надо думать об этом. Конечно, не надо. Зачем мне давиться? На свободе ведь есть Вера. Верочка. Кому же она достанется? Другому. Нет, не бывать этому. Давиться я не буду. Я буду жить. Но если я буду жить в этой колонии до восемнадцати лет, это значит еще два с лишним года. Из меня сделают уroda. Мне отобьют грудянку и все внутренности. Зачем же я большой буду нужен Вере? Она меня и такого, возможно, никогда не полюбит. Нет, падлы, я не хочу этого. Я не хочу быть 'Амебой. Ведь у него фанера вон как шатается. Неужели и у меня будет такая же грудянка? Скоро родительская конференция. Писать или не писать, чтоб приезжал отец? Нет, надо написать, пусть придет. Хочется повидаться».

9

С очередным этапом из челябинской больницы для заключенных прибыл парень, который до этого прожил в Одяне несколько месяцев. Парня звали Антоном, и Глаз спросил его:

— Антон, а ты чем болел, что тебя в больничку возили?

— Да ничем. Я в тюрьме еще окурками выжег на ноге и руке «Раб КПСС». Вот меня начальство и отправило в больничку эти слова вырезать.

— Покажи,— попросил Глаз.

Антон поднял рукав сатинки, и на левой руке Глаз увидел шов. Слова были вырезаны не полностью, верхние и нижние края букв были видны, но прочитать было невозможно. Свежий, красный шов тянулся от кисти до самого локтя. На ноге от ступни до колена тоже тянулся свежий рубец. И на ноге и на руке были видны следы от игл. На голени тоже остались нижние и верхние края букв, полностью хирург вырезать, видно, боялся: а вдруг кожу не сможет стянуть.

— Больно было, когда выжигал?

— На ноге мне парни выжигали. Больно, конечно. Но я терпел. А на руке я сам выжег. К боли я привык. Я себе на лбу хотел вы-

жечь, но меня на этап забрали. Я бы и здесь выжег, но здесь за это, чего доброго, на толчок пошлют.

Антон был высокого роста, худой; на узком продолговатом лице улыбка была видна редко. Ходил он волоча ногу — нога еще не зажила. Глаз с Антоном скентовались.

Антон был букварь — из отделения начальных классов. Бугор букварей, Томилец, возненавидел Антона и за любое мелкое нарушение дуплил его.

Общее, что было у Глаза и Антона, — это желание любимыми средствами вырваться из Одяна. Глаз был скрытный и Антона в свои планы не посвящал, а тот ему, веря и надеясь, рассказывал все.

Антон хотел бежать из колонии и спросил Глаза, согласен ли он рвануть вместе с ним.

— Бежать я согласен, — ответил Глаз, — но как убежишь? Днем через запретку не перелезть — сразу схватят. Да и ночью тоже. Ведь на вышках сидят. Если бы за зону вывели. Убежать надо надежно, чтоб не спалили, а то — толчок. Осенью, говорят, будут водить на картошку. Может, оттуда и рванем...

— У меня к тому времени нога заживет. Да и в лесу можно жить, картошку печь. А вообще-то надо бы на юг смыться. Там тепло. В общем, давай, Глаз, решим так: если осенью выведут на картошку и будет случай — рванем.

— Договорились.

Глаз на побег мало надеялся. Но все же, чем черт не шутит, может, и подвернется случай. И тогда — свобода. Хотя ненадолго. А когда поймают — пусть через неделю, пусть через две, — в Одян возвращать не будут, а добавят срок и отправят в другую колонию.

А пока хотя бы в колонийскую больничку попасть. Они перебрали все способы, от которых можно закосить, но многие мастырки колонийским врачам были известны, и Антон предложил новый способ:

— Давай, Глаз, поймаем пчел и посадим на себя. Будет опухоль. В санчасти скажем, что на работе зашибли.

Глаз согласился, но тут же уточнил: сперва в санчасть пойдет один, а то у двоих будет одинаково. Могут догадаться.

— Ты куда думаешь пчел посадить?

— Да на руку.

Перед седьмым отрядом была разбита клумба. Антон и Глаз поймали по пчеле и, держа их за крылышки, приложили к руке. Пчела ужалила, оставив шевелящееся жало. У Антона рука чуть опухла, а у Глаза — нет.

— Может, Глаз, это потому слабо, что мы жало быстро вытаскивали.

Они поймали еще по пчеле. Теперь жало долго не вытаскивали. У Глаза опять не вздулось, а у Антона прибавилось немного.

— Нет, — сказал Глаз, — тебя, Антон, с такой опухолью от работы не освободят. Надо на какое-то другое место садить.

— Я придумал! Знаешь куда? Я посажу сразу несколько пчел на яйца. Они-то с ходу опухнут. В санчасти скажу, что меня пнули.

Поймали по пчеле. Огляделись, не наблюдает ли кто за ними. Антон сел на траву и расстегнул ширинку. Посадив двух пчел и, не дожидаясь, сильно ли у него опухнет, поймал еще одну. И опять не получилось.

— Все равно, Глаз, я их обману. Мне на этапе один парень интересную мастырку рассказал. Закошу на триппер.

— Да ты давно на свободе не был. Скажут: где ты мог подцепить?

— А я же только с этапа. Скажу: может, в бане.

— Что за мастырка?

— Спичку надо вставить серой в канал. С другого конца поджечь и терпеть, пока будет гореть. Когда догорит до серы, вспыхнет и обожжет. Понял?

— Понял. Но терпеть надо. Вытерпишь?

— Конечно. Когда окурками выжигал, больнее было. А здесь больно будет секунду. Пошли.

Антон и Глаз сели на траву. Антон сказал:

— Закрой от ветра.

Огонь медленно полз к Антошкиному концу. Стало больно. Антон терпел. Огонь приблизился к каналу, и сера вспыхнула. Но сера была чуть-чуть влажная и вспыхнула вдругорядь. Стиснув зубы, Антон даже не ойкнул. Вытащил сожженную спичку, застегнулся и закурил.

— Когда загноится,— сказал он,— пойду в санчасть.

Дня через два Антон покотил в санчасть. Загноения, правда, не получилось. «Но ничего,— думал Антон,— все равно должны тришпер признать».

— Так, что у тебя? — спросила медсестра.

Антон помолчал, глядя на медсестру, женщину средних лет. Неудобно было начинать говорить, но он все же выдавил:

— Член у меня болит.

Кроме медсестры, в медкабинете находилась женщина в гражданской одежде. Она сидела в стороне. Антон на нее покосился.

— Ну,— сказала медсестра,— показывай.

Антон расстегнул брюки.

— Это у тебя от онанизма,— засмеялась сестра, поглядев на свою подругу,— посмотреть бы на твое лицо, когда ты кончаешь.— И засмеялась опять.

Она смазала его какой-то мазью.

— Бинтовать не будем. Все равно бинт спадет. Ходи, каждый вечер смазывать будем, и быстро заживет.

Антон, вернувшись из санчасти, рассказал Глазу, что тришпер у него не признали.

Теперь по утрам он с трудом оправлялся. За ночь образовывалась короста и струя с трудом ее прорывала.

В санчасть Антон ходил недолго. Стеснялся медсестры. Недели через две все зажило.

Приближалась родительская конференция. Ребята писали письма домой, звали родителей приехать. Во время родительской конференции — она проходила раз в год — родителям разрешали ходить по зоне.

Глаз еще не писал, все откладывал, а писать было пора. Оставался месяц. Глаз сказал Антону, что к нему, наверное, приедет отец.

— А ко мне мать не приедет. В отпуске она была. Да и денег у нее нет. Работает техничкой и брат маленький. С кем его оставить? С мужем мать Антона разошлась.

— Глаз, а я все же думаю из колонии вырваться,— говорил Антон.— Я первому секретарю нашего райкома написал несколько писем и отправил через шоферов. Одно письмо — еще из больнички. Ругаю его матом, стращаю, что как освобожусь — замочу. Каким матом я его крою, ты почитал бы!

— А зачем?

— Как зачем? Надоест ему письма мои получать — он отнесет их в милицию. Они меня за хулиганство и угрозы — к уголовной ответственности. Вызовут. Раскрутят. За мелкое хулиганство добавят год. Зато я из Одяна вырвусь. Прокачусь по этапу. В тюрьме посижу. А там и на взросляк.

— А не боишься, что первый секретарь райкома может письма в колонию переслать, и тогда с тобой здесь будут разбираться? Прикажет хозяин на толчок сводить. И отнимут полжизни. Я тебе не советую такие письма писать.

— Да не пошлет он их сюда. Откуда он знает, что меня за это могут избить? Нет, я рассчитываю — он письма в милицию отнесет.

10

В седьмом отряде перед родительской конференцией решили разучить новую песню. Воспитатель Карухин предложил марш «Порядок в танковых войсках». Ребята выучили песню за один день. На репетицию их собрали в ленинской комнате.

Роги, бугры, шустряки разбежались по зоне. Остальные — чуть больше пол-отряда — встали, как в строю, по четыре человека. Разучиванием песни руководили воспитатель Карухин и рог отряда Мехля.

— Ну,— сказал Мехля,— приготовились — запевай!
Ребята недружно затанули:

Страна доверила солдату
Стоять на страже в стальных рядах...

— Отставить! — приказал Карухин.— Вы что, строевую разучиваете или покойника отпеваете? Приготовились. Начали!

Получилось чуть живее. Спели первый куплет.

— Отставить! — резанул воздух рукой Карухин.— Вы что, в самом деле на похоронах? Веселее, говорю, а не мычать... Передохнули. Расслабились. Три-четыре!

Опять пропели первый куплет.

— Издеваетесь надо мной! — заорал Карухин.— Мы что, спрашиваю, поем панихиду или советскую строевую?

Сегодня в цехе обойку дурили. Кирпичев пожаловался Мехле, что все квелье, работают из рук вон плохо, и Мехля, собрав воспитанников в подсобке, прошелся палкой по богонелькам. С отбитыми руками заработали шустрее.

— Рома,— сказал Карухин, поглядев на Мехлю,— я выйду ненадолго, а ты пока поразучивай с ними один.

— Первая шеренга три шага вперед, марш!
Воспитанники шагнули.

— А теперь станьте свободнее. Вот так.

И Мехля начал охаживать ребят палкой, не разбирая, куда она попадала. Лишь по голове не бил. Отоварив первую шеренгу, принялся за вторую. Удары приходились по печени или почкам, ребята падали. Он перешагивал и дулил следующую шеренгу. Глаза он отоварил два раза: один удар пришелся по богонельке, другой по грудянке. Мехля метил ударить его еще раз, но Глаз отскочил, и удар, предназначавшийся ему, пришелся другому пацану. Пацан рухнул на пол.

Мехля построил всех опять в четыре шеренги.

— Теперь будете петь.— И он отправился за воспитателем.

Глазу показалось, что ребята затанули не строевую, а «Гимн малолеток»:

Что творится по тюрьмам советским,
Трудно, граждане, вам рассказать,
Как приходится нам, малолеткам,
Со слезами свой срок отбывать.

Но песня только чудилась ему. Глаз стоял в строю обкайфванный. Он поймал неплохой кайф, когда удар березовой палкой пришелся ему по груди.

Мехля вернулся с Карухиным.

— Рома сказал, что теперь будете петь, — добродушно сообщил воспитатель, — давайте попробуем. Приготовились — начали!

Отряд громко, быстро запел строевую. Глаз еле шевелил губами. Сознание провалилось. В ушах теперь звучали две песни сразу: одна — которую пел отряд, вторая — «Гимн малолеток».

Когда строевая была спета, воспитатель похвалил ребят и сказал:

— Давайте еще раз. Только теперь будем маршировать.

Отряд затопал на месте и затянул песню. А Глаз не шевельнулся. Сзади его толкнули, он пришел в себя и, сообразив, что надо маршировать, зашагал на месте и подхватил строевую.

— Вот, — сказал Карухин, когда кончили петь, — сразу бы так — давно бы гуляли. — Он помолчал и громко скомандовал: — Разойтись!

Все повалили на улицу. Кто закурил, кто отправился на толчок, кто лег на траву. Глаз сел на лавочку. Закурил. Мысли путались. Сознание работало нечетко. Ему хотелось одного — одиночества. Провалиться бы под землю и побыть одному. Но земля не разверзнется и не поглотит его. Куда деться? Где побыть одному? Если бы его толкнули сейчас с лавочки, он свалился б на землю. Сил сопротивляться у Глаза не оставалось.

Такое состояние у него стало появляться все чаще и чаще, особенно после избиений. Он начинал думать о Вере, и появлялся ее образ, но вскоре расплывался, и на ее место всплывали отец или мать, но и они пропадали, и появлялись другие близкие лица. Потом появлялся кто-нибудь незнакомый, и Глаз часто моргал, стараясь прогнать его из воображения. Иногда с ним кто-то разговаривал. То утешал его, то ругал, снова успокаивал и говорил: «Терпи, терпи, Глаз, это ничего, это так надо. Ты должен все вынести. Ведь ты выдюжишь. Я тебя знаю, что же ты скис? Подними голову. Одяня долго продолжаться не будет. Ты все равно из него вырвешься».

На этот раз Глаз мысленно спросил говорившего: «Как же я вырвусь? Отсюда многие хотят вырваться, но пока я знаю только двоих, тех, что подкололи своего кента, и их, пропустив через толчок, отправили в тюрьму. Но им полжизни отняли. Неужели и мне заработать вначале толчок, а потом раскрутку? Я не могу убить человека, ведь я же никого не убивал. А если бы и убил, все равно — толчок. Единственное, что я могу сделать, — убежать. Но как я убегу? И не такие пытались — их ловили, пропускали через толчок и снова бросали в зону. Ну скажи, ну придумай, как вырваться из Одяня?»

Голос ответил Глазу: «Ты должен побыть здесь подольше. Тебе надо пройти Одяня. Но преступлением из зоны не вырваться. Не выйдет у тебя ничего. Да, не убить тебе ни вора, ни рога. Ведь и мужчину того ты не убивал. Из тебя в Одяне хотят зверя сделать. Иначе станешь Амебой. Чтоб постоять за себя — других надо бить. Роги и воры на свободе такими зверями не были. Зверьями их сделала зона. Чтоб не били их, они дуплили других и поднимались все выше и выше. Одни стали рогами, другие ворами. Они тоже ни в чем не виноваты. Тебе до них не подняться. Ты еще не приспособился к зоне. Ты волей еще живешь. Придет время, и будет легче. А сейчас — крепись. Помочь я тебе не могу. Ты должен пройти через одлянские муки, да твои муки и не самые страшные, есть пострашней, но с тебя и этих достаточно. Ведь многие живут в тыщу раз хуже тебя! Амеба — твой земляк — на свободе был неплохим шустряком, а здесь — сломался. Не опустишься до Амебы. Иначе будешь рабом. Из вас здесь изготавливают рабов. Чтобы работали, работали, работали... А воры и роги живут за ваш счет. Начальство их зажать не может. Если их зажать — в зоне произойдет анархия. Во-

ры поднимут вас, и от актива останутся перья. Воров не так много, но их авторитет выше, чем у рогов. Крепись. Вырваться из Одляна ты должен сам. Сам додумаешься — как. Всех обманешь. Ты это можешь. Духом, я говорю тебе — духом не падай. Встань!»

Глаз соскочил с лавочки.

«Погуляй около отряда. Сходи в толчок. Беретку можешь в карман не прятать. Никто с тебя ее сегодня не сорвет. Понял?»

— Понял,— сказал Глаз вслух и тут же посмотрел на другую лавочку.

На ней сидели ребята. Он подумал, не они ли ему сказали «встань», а потом сказали «понял?». Нет, ребята разговаривали между собой и даже не смотрели в его сторону. «Господи,— взмолился Глаз,— кто же мне все это говорил? Не рехнулся ли я? Как сегодня день прошел? Днем работали. Мехля еще дуплил. Потом на обед. На второе плов был, то есть рис без масла и мяса. Потом разучивали строевую. Потом Мехля нас опять дуплил. По грудянке он мне сильно врезал. Потом я вышел на улицу и сел на лавочку. А потом? Потом я с кем-то разговаривал. Но лица я не видел. Может, пока я сидел на лавочке, то уснул и мне приснилось? Наверное, так и было. Но почему же я тогда не упал с лавочки, если уснул? Почему же я не упал? А-а-а, в детстве мне говорили, что я лунатик. Сонный в Падуне я несколько раз на улицу выходил. Сам, значит, спал, а ногами ходил, и не падал, и даже по лестнице спускался. Да, еще я помню, как я встал сонный и пил из кадки квас. Мать с сестрой тогда не спали, и, когда я напился, они стали со мной разговаривать. Я отвечал им. А сам в это время спал. Они поняли, что я сплю, и продолжали со мной разговаривать. Когда я проснулся, то никак не мог понять, как же я очутился в кухне. Неужели я опять стал лунатиком? Говорят, лунатики могут пройти по гребню крыши и не упасть. Если бы я, сонный, встал, перелез через запретку и ушел из зоны — вот было б здорово! Говорят, лунатиков нельзя окликать, а то они могут проснуться и упасть».

Глаз пошел в толчок. Оправился. Когда шел назад, вспомнил, что голос ему сказал походить около отряда, а потом сходить в толчок и не прятать в карман беретку. Теперь ведь так и вышло. Он, не думая об этом, погулял возле отряда, потом ноги его сами понесли в толчок, и, главное, он даже не думал, что надо спрятать беретку в карман, чтоб ее с головы не стащили.

«Неужели я начал от этого Одляна сходить с ума? Неужели сойду? Нет, с ума сходить нельзя. Ведь если и правда сойду, мне все равно не поверят, скажут, что я кошу. Нет, Господи, нет, с ума нельзя сходить. Что угодно, только остаться в своем уме. Буду считать, что я пока в своем уме. И это мне все приснилось. Интересно, а я узнаю, что я сошел с ума? Если сошел, то я же не пойму, что я дураком стал. Вот у нас в Падуне Петя Багай. То ли он дураком родился, то ли потом стал, а если стал, то он же не понял, что теперь он дурак. Нет, если я так рассуждаю, то я, слава Богу, еще не дурак».

11

Долгожданная родительская конференция настала. Несколько сот родителей вошли в зону. В течение целого дня им можно находиться с сыновьями. Родители собрались на стадионе. С песнями, печатая шаг, отряды прошли вокруг футбольного поля.

Когда смотр закончился, родителей пригласили в отряды.

Глаз с отцом гулял по зоне. На этот раз отец не плакал. Смирился ли он с тем, что его сын сидит в зоне, или сдерживал себя?

— А тебе что,— спросил отец,— досрочно не освободиться?

— Нет,— ответил Глаз,— придется сидеть все три года.

Кум так и не вызвал Глаза. Надежда, что из заводоуковской милиции придет ответ и его заберут на этап, рухнула.

— Бородин так и работает начальником уголовного розыска?

— Работает.

— Ты его часто видишь?

— Да нет.

— Если увидишь, скажи, что был у меня на свидании. Дела, мол, идут хорошо. А главное, скажи ему, что я знаю одно нераскрытое преступление — убийство — и я бы мог им кое в чем помочь. Скажешь?

— Скажу.

— Скажи обязательно.

Родители принесли в зону много еды. Еду разрешали приносить в неограниченном количестве. Воры и актив набили свои тумбочки банками. Завтра они прихватят их на работу и курканут. На черный день.

На другой день в толчке все места были заняты. Пацаны месяцами недоедали, а тут нажрались вволю.

Мест в Доме колхозника всем родителям не хватало. Алексей Яковлевич снимал угол у работницы производственной зоны. По совету сына он договорился с ней, чтоб она приносила Глазу на работу сгущенного молока. Отец оставил ей пять банок сгущенки и денег, чтоб, когда кончится молоко, она бы еще купила.

Воры и актив гужевали целую неделю. У пацанов еда давно кончилась, а у них запасы были неистощимы. Денег они тоже насшибали и теперь выпивали чаще. Водяру в зону протаскивали в основном расконвойники, да и вольнонаемные их не забывали. Когда вогам или рогам к водке хотелось мяска, для них кололи кролика и жарили в кочегарке. В зоне было подсобное хозяйство — разводили кроликов и другую живность, но на стол в столовую не попадало ни крошки: съедали роги и воры. За кроликами ухаживал земляк Глаза. Он держался высокомерно и с земляками не со всякими разговаривал, потому что ему от воров и рогов поддержка была.

У какого-то бугра в курке копченая колбаса испортилась, и он выбросил ее в кусты недалеко от отряда. К Глазу подошел Антон, к нему мать так на родительскую и не приехала.

— Глаз, колбасы хочешь?

— Хочу, — ответил Глаз.

Антон подвел Глаза к подстриженному кустарнику.

— Вот, бери, ешь.

В колбасе шевелились черви. Оценив шутку кента, Глаз рассмеялся. Они сели на лавочку. Но тут Антона позвал Томилец. Глаз закурил и заметил Амебу, который медленно, совсем не глядя в ту сторону, где лежала колбаса, приближался к кустарнику. «Неужели Амеба к ней?» И точно. Подойдя к кустарнику, Амеба сунул колбасу за пазуху и, не оглядываясь, пошел в толчок.

На следующий день у Амебы болел живот и он часто бегал в туалет.

По зоне прошел слух, что кто-то ковырнул посылочную и забрал часть продуктов. В седьмом отряде многие пацаны стали грешить на Амебу: раз он из толчка не выходит — в посылочную залез он. Его дуплили, а он плакал и говорил: «Не лазил, не лазил я в посылочную». Истинного шушару так и не нашли. Да и не искали особо, так как продуктов мало пропало.

После обеда зону построили на плацу, и хозяин в сопровождении офицеров вышел на середину.

— Ребята! — обратился он к воспитанникам.— С первого августа в колониях несовершеннолетних вводятся режимы. Будет два режима: общий и усиленный. Наша колония будет общего режима. Изменений в режиме содержания не будет. Льготами, так как у нас режим общий, будете пользоваться теми же.

12

Дни, нанизанные на кулак, тянулись для Глаза и сотен воспитанников мучительно медленно. Отбой, скорее бы отбой наступал — они ждали этого слова и звука трубы с нетерпением. Расправляя постель, чтобы лечь спать, они знали одно: ночь, целую ночь к ним никто не подойдет, ничего не потребует и целую ночь их пальцем никто не тронет.

После отбоя Глаз накрылся с головой одеялом и плакал. В Падун его потянуло. Он представлял, как идет по Революционной, главной улице села, и навстречу ему попадаются знакомые. Он здоровается, но ни с кем не останавливается. Глаз подумал: куда же ему идти дальше? С кем выпить бутылку водки, ведь он только что освободился. Отсидел три года. «А пойду-ка я лучше к Проворову и выпью водку с ним». В Падуне жил старик Проворов, сапожник без одной ноги. У него, кроме сапожного инструмента и кровати, на которой он спал, в доме ничего не было. Курил он махорку и был всегда навеселе. Жизнь свою тяжкую он заливал горькой. И Глазу сейчас, на одянской кровати, захотелось с этим стариком выпить. Угостить его. Проворов обязательно заплачет, тогда и Глазу можно будет уронить слезу. Старик поймет его.

А ночью Глазу снился сон. Будто он в наряде в столовой. И моют они полы. Но там, где он пробежит, прижимая тряпку к полу, остаются грязные следы его ног. У других ребят нет, а у него остаются. Бугор сделал замечание, чтоб он протер подошвы, но и после этого следы оставались. Тогда его стали дуплить. По голове. По грудянке. По почкам. Надеясь этим очистить его подошвы. Но нет, следы оставались. Тогда ему приказали сбросить коцы. И вот он может босиком. Но теперь вместо грязных следов остаются кровавые. Актив взбесился. Его снова бьют и приказывают слизать кровавые следы. Глаз отказывается. Мелькают палки, и он падает на пол. Встает, и его снова бьют. Друг активисты, взглянув на пол, увидели, что и от других пацанов на полу остаются кровавые следы. Тогда они начинают избивать ребят, заставляя их слизывать кровавые следы. Но ребята упорно отказываются. И вот один парень после удара падает на пол и расшибает голову. У него струей бьет из головы кровь, и в одно мгновение пол становится красным. Активисты в ярости выбегают из столовой. Возвращаются с дужками от кроватей и начинают зашибать ребят.

Глаз часто просыпался. Но когда засыпал, то снова видел этот кровавый сон. Он снова проснулся, в поту, и подумал — хорошо, что это не наяву. И ему не захотелось засыпать, чтоб не видеть этот ужасный сон. Он лежал с открытыми глазами и наслаждался ночью, наслаждался блаженной тишиной, когда его не только не бьют, но и не кричат на него даже. Но сон все же его одолел, и он опять попал в столовую под дужки актива.

На банке сгущенки, которую оставил отец, было написано, что сгущенное молоко выработано на Ситниковском молочноконсервном комбинате. А Ситниково не так далеко от Падуна. Эта банка так стала для Глаза дорога, будто он встретил земляка.

В июне, когда у выпускников шли экзамены, Глаз написал заявление, что учиться он в десятом классе, в который его перевели, не

сможет. Что не сможет учиться и в девятом, так как на свободе он школу только посещал, и потому просил перевести его в восьмой класс. В конце августа его перевели в третий отряд, так как в седьмом отряде восьмого класса не было.

В третьем отряде он прожил месяц. За это время его никто и пальцем не тронул, но от этого ему было не легче. Все так же дергалась левая бровь, все так же он каждый день ждал ударов. Но странное дело, его не били. Не заставляли шестерить.

В третьем отряде порядок был лучше. Массовых избивений не было. Воспитанников дуплили реже. В основном — за нарушения. Начальник отряда Канторович был более требовательный. Воспитательная работа велась только с активистами. И Канторович во всем полагался на актив. Да и не мог он иначе, хотя и стремился. Порядки в зоне были заведены до него, и Канторович кулак отменить не мог. Тем более что начальник колонии только на кулак и надеялся.

Но Глаз и в восьмом классе учиться не смог. Другим голова была забита. И ничего в нее не лезло. Самое страшное для него было ждать. Ждать, когда он получит двойку и его отдупят. А он двойки не получал. Ждать, когда за какое-нибудь нарушение побьют, но он нарушений не приносил. В третьем отряде ему жилось лучше, но тягостнее. Ребята были новые, и он мало с кем разговаривал.

Нервы Глаза были на пределе. Он видел, как бьют других, и лучше бы и его отторцевали за компанию, чем так томительно ждать, когда и до тебя дойдет очередь.

Бугор их отделения придумал новый способ дупляжа. Парень, который получал двойку, клал себе на голову стопку учебников и приседал с ними. А бугор дужкой от кровати бил по стопке. Получался тупой удар. В голове мутилось, на секунду-другую парень терял сознание. Некоторые после такого удара падали и роняли учебники.

Глаз решил перейти в седьмой класс. В зоне, слава богу, ниже классом переводили, если кому учеба тяжело давалась. Он написал заявление, и его снова перевели в седьмой отряд.

Теперь он попал в другое отделение. То, в котором он жил раньше, училось в десятом классе.

После того как Мехля досрочно освободился, рогом отряда поставили Птицу. Вскоре на взросляк ушел Белый, и вором отряда стал Мах. Глаз теперь жил в одной спальне с ними.

Птица и Мах скентовались. Вдвоем им было легче. Одному — досрочно освободиться, другому — ничего не делать и жить как хочут. Мах был авторитетнее Птицы, и Птица во многом на вора полагался.

Сегодня опять двоих парней вели на толчок. Месяца не проходило, чтоб кого-нибудь не сводили. Наряд на толчок выписывал начальник отряда. Лишь за преступления начальник колонии давал наряд, и такое избиеение смотрела вся зона.

На этот раз парней вели за то, что они хотели замочить рога, а потом, чтоб их не повели на толчок, порезать себя. «Бездыханных, истекающих кровью, нас на толчок не поведут, — думали парни. — Нас отвезут в больничку, в Миасс или в Челябинск, вылечат, а потом будут вести следствие и осудят». Их не страшило, что за убийство рога им дадут по десять лет, они больше боялись толчка: вдруг рога порежут, а себя не успеют. Тогда — толчок.

Одного парня звали Витя, срок у него был три года, второго — Саша, он был приговорен к двум годам. На толчок их вели три бугра и рог, которого они хотели замочить.

Все шестеро зашли в толчок. На улице осталось несколько человек, чтоб никого в толчок не пускать. Березовые палки были при-

готовлены заранее, и теперь бугры и рог, пройдя к противоположной от дверей стене, остановились.

— Ну,— сказал рог негромко,— хотели, значит, замочить.— Он помолчал, размахнулся и сплеча ударил палкой ближнего, Витю, по богонельке. От адской боли Витя прижался к стене.— А ты,— сказал рог и обрушил второй удар на Сашу.— Кто из вас затеял это? Кто первый предложил меня замочить? Ну?

Один из бугров крикнул пацанам:

— Отойти от стены, быстро!

Бугор хотел потешиться палкой.

— Подожди,— сказал рог бугру, и бугор отступил, давая рогу простор для размаха.

Рог сделал по нескольку ударов, спрашивая парней, кто из них является организатором. Ребята молчали. Тогда рог, расчихавшись, начал их бить по туловищу не останавливаясь. Парни оба признались, что являются организаторами.

— Не может быть,— вскричал рог,— чтоб оба задумали враз! Первый, кто первый из вас это предложил?

Парни наперебой говорили: «Я»,— и рог, ударив несколько раз по богонелькам, отошел в сторону. Он уступал место буграм.

— Не будем, не будем, больше никогда не будем,— говорили ребята, изворачиваясь от ударов, которые обрушивали на них бугры.

— Стойте,— сказал рог, покурив,— хотите, чтоб вас не били?

— Хотим,— в один голос ответили парни.

— Знаете, сколько в толчке дырок? — И рог палкой показал на отверстия, в которые оправлялись.

— Нет,— ответили ребята.

— Быстро залазьте в дыры, пройдите под толчком и сосчитайте, сколько дыр всего.

Парни стояли, не решаясь лезть. Рог занес над головой палку.

— Или будем продолжать.

— Нам не залезть в дырку,— сказал Витя.

— Залезете, и не такие залазили,— ответил рог.

Парни смотрели на отверстия и не двигались с места.

— Считаю до пяти. Раз... два...

Пацаны ступили к отверстиям, рог перестал считать. Оба были щуплые и, просунув ноги в отверстия, а руками держась за мочой пропитанные доски, без особого труда проскользнули вниз. Здесь, внизу, по колено было испражнений, и резкий запах человеческих нечистот ударил парням в нос. Но что запах! Избитые, павшие духом, они не обратили на это внимания и, с трудом вытаскивая из нечистот ноги, стали продвигаться по направлению к выходу, считая при этом отверстия. Толчок был глубокий, его чистили несколько раз в год, и парни двигались, чуть согнувшись. Впереди шел Витя. Перед ним была темнота, лишь косые лучи света проникали в отверстия. «...пять, шесть...» — считал он отверстия, очень медленно двигаясь вперед. Яма толчка была вырыта с уклоном в одну сторону, чтоб его легче было чистить, и потому правая нога парней утонула в нечистотах глубже, чем левая. Резкий запах испражнений больше действовал на глаза, чем на обоняние, и потому глаза слезились. Если б сейчас рог спросил их, согласны ли они жить в нечистотах до совершеннолетия — и вас никто пальцем не тронет, ребята, наверное, согласились бы. Парни понимали, что отверстия они считают, но истязания не прекратятся. Их еще будут бить. А сейчас, ступая по испражнениям, они получили передышку. Как здорово, что их сейчас никто не бьет. После толчка жить им станет еще хуже. Они заминируются, и ребята не будут с ними общаться. Хоть вешайся. Чуть что, любая мареха на них может кышкнуть, а захочет — ударить. А жить им, жить им в колонии почти что два года. «...семнадцать, восемнадцать,— считал Витя, стараясь не сбиться

со счета.— Уж лучше бы мне вообще отсюда не вылезать, а захлебнуться здесь... Девятнадцать, двадцать, двадцать один».

Все, отверстия кончились. Витя и Саша еле вылезли. Бутры и рог стояли у выхода и курили. Толчок был наполнен запахом испражнений. Для парней была принесена их школьная роба. Она висела на раме без стекол, наполовину свешиваясь на улицу.

Бутры и рог оглядели ребят. Испражнения с их ног сваливались на пол. Рог, сделав несколько быстрых шагов, остановился возле парней. Ткнув палкой в ногу Вите и испачкав конец в испражнениях, он приблизил ее к Витиному лицу.

— Ешь! — зло сквозь зубы сказал он.

Витя смотрел на конец палки, на нечистоты и молчал.

— Жри, пада,— повторил рог.

Витя опустил глаза. Сейчас ему хотелось умереть. Мир ему опустылел. Лучше бы он захлебнулся в испражнениях.

— Глотай, сука, а не то все начнется по новой.

Подошел бугор и размахнулся палкой.

— Жри! — И палка опустилась на отбитую богонельку. Рог приблизил палку с нечистотами почти к самым губам парня.

Витя, давясь, проглотил.

— Мало! — закричал рог.— Еще!

И Витя проглотил еще.

Теперь рог приблизил конец палки к Саше.

— Ну...

Саша, чуть поколебавшись, тоже съел испражнения.

— Еще! — приказал рог.

Саша проглотил во второй раз.

Рог кинул палку в отверстие, отряхнул руки, будто они были в пыли, и закурил.

— Мойтесь и переодевайтесь.— И рог вышел.

Парни сняли робу, помылись холодной водой, которую для них принесли, и, надев школьную одежду, пошли в отряд.

13

За последнюю неделю в колонии было совершено несколько крупных нарушений. Трое пацанов подготавливали побег, но он у них не удался. Еще двое хотели замочить на работе бугра и ломануться через запретку. Особенно много пацанов стало курковать в промзоне. Отряды снимаются, а воспитанников не хватает. Ищут спрятавшегося.

Начальнику колонии инженер-майору Челидзе это надоело. Распорядок колонии срывается. Надо принимать срочные меры. И он вызвал к себе в кабинет рога зоны Паука. Паук был высокого роста, сухощавый, с угреватым лицом. У него был самый большой срок на зоне — шесть лет.

— Садись,— сказал он Пауку.

Паук сел. Он всегда садился на этот стул, стоящий наискосок от стола.

Хозяин был невысокого роста и толстый. Ноги под столом расставил широко.

— У тебя, Толя, срок шесть лет. Как же мы тебя будем досрочно освобождать, если порядок в колонии за последнее время ухудшился? Ты должен к своему досрочному освобождению привести порядок... Воры, я слышал, наглеют. Когда их прижмешь? Они на голову тебе скоро сядут.— Челидзе замолчал и затянулся папиросой.— В общем, так: к Новому году чтоб порядок навел. После Нового года будем тебя досрочно освобождать. И чтоб на работе никто не прятался. Такого быть не должно. Все, иди. Сегодня мне некогда. Через два дня из управления приезжает комиссия.

Паук, вернувшись в отряд, послал гонцов за помрогами зоны и за рогами отрядов и комиссий. Первыми пришли помроги.

— Сегодня вся зона будет трупами лежать,— говорил Паук, шагая по спальне.— Я сейчас от хозяина. Дал он мне втыку. Еще насчет воров нам надо побазарить. Но это после. А сейчас по моргушке.

И Паук по-отечески поставил им по одной.

— Зовите,— сказал он помрогам.

В спальню зашли роги. Коротко рассказав, о чем ему говорил Челидзе, Паук и его помощники поставили им по моргушке. Били они крепко.

— Чтоб порядок был! — кричал на рогов Паук.— Не дай бог, если кто спрячется в промзоне или в побег соберется,— вас зашибать буду. Чтоб все сегодня трупами лежали.

Разъяренные роги пошли по отрядам. Собрав актив, они отдулили его и, дав указания, выгнали.

Теперь очередь дошла до ребят. Бутры, помогальники и другие активисты, пользующиеся авторитетом, начали дуплить их. Замелькали дужки. «Чтоб не курковались, чтоб мочить не собирались, чтоб в башке мыслей о побеге не было»,— приговаривал актив, обещая отнять полжизни, если будут нарушения.

Не прошло и часу как Паук вышел от хозяина — а вся зона была избита. Воров, конечно, никто не трогал. Да и попробуй их тронь. С ними будет особый разговор. И говорить будет Паук. Но вору на него плевали.

На другой день Паук пошел по отрядам.

С каждым вором он будет говорить с глазу на глаз.

С вором зоны разговора не получилось. Он не стал слушать и вышел из отряда. И другие вору слушать не хотели. «А что тебе, Паук, от нас надо?» — только и слышал он.

— Ты, в натуре, глушишь водяру не меньше,— сказал Пауку вор пятого отряда Каманя.— Досрочно хочешь освободиться — освобождайся. Мы тебе не мешаем. А что вы прижать нас хотите, так это старая песня. Забудь об этом.

— Смотри, Каманя, не борзей.

— Что ты мне сделаешь? На х. соли насыплешь?

— Увидишь.

Паук ушел. Каманя остался сидеть на кровати. Они никогда не могли добром поговорить. «Ладно,— думал Каманя,— в печенки залез мне этот актив. Надо анархию поднимать. В ... их всех».

И он пошел к вору зоны. Надо собирать сходку.

— Надо,— поддержал его вор зоны.

Воры собрались в спортзале. Все были недовольны Пауком. Было ясно: хозяин требует их зажать. Вор зоны Факел, высказав недовольство Пауком, лег на маты и закурил. Остальные вору тоже полужалялись на матах. Слово взял Каманя:

— Еще летом было ясно, что после родительской Челидзе попытается нас зажать. Факела перед родительской даже на десять минут не выпускали за зону. Кто приказал? Челидзе. Он, падла, и только он копает яму под нас. Паука он держит в руках крепко. Срок у него шесть лет, вот он им и играет. Паук из-за досрочки и сраку порвать готов. Не пора ли анархию поднять?

Вору молчали. Каманя знал, что многие его не поддержат. И, тоже закулив, развалился на мате.

— Тебе до конца два года, Каманя,— сказал Мах,— а мне во-семьдесят один день остается. Игорю еще меньше. Как хотите, но я против анархии.

И вору в мнениях разделились: одни были за Каманю, другие за Маха. Если поднять анархию — кого-то надо мочить. И мочить не

одного. Конечно, сами воры убивать никого не будут, но ведь они организаторы, и многим после дадут на всю катушку. По десять лет. А кому хочется сидеть столько?

— Ладно, — поднялся с мата Факел, — до Нового года никакой анархии не поднимать. А там — посмотрим. И еще насчет фуганков. Каманя, говори.

— В зоне фуганков много развелось. Мне известно, что на Канторовича работает несколько шустряков. Кто — еще пока неизвестно. Но узнаем. На начальника режима работает еще больше. Наша задача найти несколько фуганков, и пусть они фуговать продолжают. Но они будут наши. Пусть они им лапшу на уши вешают. В каждом отряде надо взять по несколько человек предполагаемых и попробовать выжать из них признание. Любым путем. Дуплить их надо подольше. Все равно кто-нибудь да сознается. А то и анархию не поднять — сразу спалимся.

После Камани заговорил Кот. Кота летом освободили досрочно, он был рогом отряда. На свободе он и месяца не погулял, как получил пятнадцать суток. В КПЗ, в камере, он раздел пацанов, и пацаны пожаловались на него. Решением суда Кота отправили назад в Одялян досиживать неотбытый срок.

Челидзе, когда Кота привезли в колонию, собрал воспитанников на плац и долго читал мораль, что вот, дескать, на него надеялись, досрочно освободили, а он подвел коллектив колонии. Досрочка Коту второй раз не светила, и он стал вором. Осенью его с четвертого отряда за нарушения перевели в седьмой. Просто начальник отряда избавился от него. И вот Кот говорит:

— В нашем отряде есть Глаз. Он приметный. Его все, наверное, знают. Он пришел на зону весной. Учился вначале в девятом классе. Потом перешел в восьмой, и его перевели на третий отряд. Теперь он из восьмого класса перешел в седьмой. И его снова бросили в седьмой отряд. Я лично думаю, что Глаз на Канторовича работает. Никто так из отряда в отряд не бегаёт.

— Воры, — взяв слово Каманя, — я Глаза знаю. Когда я летом играл на гитаре, он часто около нас вертелся. Песни слушал. А может, он не только песни слушал? Хорошо, Кот, не троньте его пока. Завтра я им займусь.

После Камани заговорил Игорь, друг Маха, тоже с седьмого отряда:

— Глаз рыба та еще. Поначалу, когда он пришел на зону, ему кличку дали Хитрый Глаз. Но сейчас его здорово заморили. Если его подуплить, я думаю, он колонется.

Каманя пришел в обойку и отозвал Глаза в дальний угол.

— Как дела? — улыбнулся он.

— Нормально, — ответил Глаз, а сам подумал: «Что это ему надо?»

— Ну а как твои успехи? — все так же улыбаясь, спросил Каманя.

— Успехи? — переспросил Глаз. — Я сказал — все нормально.

— Я понимаю, что у тебя все нормально, ну а насколько это нормально?

Глаз молчал. Он думал.

— Ну-ну, думай, думай, я подожду.

— Каманя, не понимаю я, что ты спрашиваешь.

— Я спрашиваю тебя, а ты не понимаешь. Не может быть такого. Ты, Глаз, хитрый, не так ли?

— Хитрым Глазом звали вначале, а теперь просто — Глаз.

— Раз тебя хитрым называли, значит, ты — хитрый.

Каманя перестал улыбаться, окинул взглядом обойку и, убедившись, что в цехе никого лишнего нет, кивнул на тиски.

— Для начала скажи,— он опять улыбнулся,— как вот эта штука называется?

— Тиски.

— Тиски. Правильно. А ты знаешь, для чего они нужны?

— Ну, чтоб в них чего-нибудь зажимать.

— Молодец. А знаешь ли ты, что в них и руку можно зажать? Глаз не ответил.

— Погляди на мою.— И Каманя показал левую кисть.

Рука была изуродована.

— Видишь? Я тебе скажу — чтоб это было между нами — мне ее в тиски зажимали. И твою руку я сейчас зажму. Не веришь?

Глаз смотрел на Каманю.

— Подойди ближе.— Каманя крутнул рычаг, и стальные челюсти тисков раздвинулись.— Суй руку.

Глаз подумал, какую руку сунуть, и сунул левую. Правая-то нужнее. Каманя, продолжая улыбаться, оглядел обойку. Парни работали. Сжимая тиски, он теперь смотрел одновременно на руку Глаза и на выход из обойки: вдруг кто зайдет.

Ребята старались в их сторону не глядеть. Раз вор базарит, надо делать вид, что его не замечаешь. За любопытство можно поплатиться.

— Каманя, больно,— тихо сказал Глаз.

— Я думаю, Хитрый Глаз, ты не дурак. Если я крутну еще немного, то у тебя кости захрустят. Согласен?

— Согласен.

Каманя ослабил тиски.

— Вытаскивай руку,

Глаз вытащил.

— Вот так, Глаз, если не ответишь мне на один вопрос, то я тогда зажму твою руку по-настоящему. Понял?

— Понял.

— Давно работаешь на Канторовича?

— Ни на кого я не работаю,— ответил Глаз не раздумывая.

— Я тебя спрашиваю: давно работаешь на Канторовича?

— Каманя, я ни на кого не работаю. и на Канторовича не работаю.

— Ладно, запирайтесь не надо. На Канторовича ты работаешь. Я отопру твой язык, можешь не сомневаться. Так, даю две минуты на размышление. Подумай. прежде чем сказать «нет».

Каманя весело оглядывал цех, весело смотрел на Глаза, и никто из ребят, кто видел, что Каманя с Глазом разговаривает. не мог подумать, что через две минуты Глаз будет корчиться от боли.

— Глаз, две минуты прошло. Давай руку.

Глаз протянул опять левую.

— Почему левую подаешь? Правую бережешь... А я вот нарочно правую зажму. Конечно, тебе жалко правую. Ты ведь на гитаре хочешь научиться. Хочешь?

— Нет. Я пробовал. Не получается. И пальцы короткие.

— Ничего, сейчас будут еще короче. Значит, говоришь, на гитаре учиться не хочешь?

— Не хочу.

— Сожми руку в кулак. Вот так.

Каманя раскрутил тиски шире.

— Всовывай.

Глаз сунул кулак в тиски, и Каманя стал их медленно закручивать.

— Значит, на гитаре учиться не хочешь. А песни любишь?

— Люблю.

— Много знаешь?

— Много.

Сейчас Каманя следил за рукой Глаза. Кулак разжался, и ладонь медленно стала сворачиваться. Больно. Но Глаз молчал. «Нет, надо сказать, хоть и не сильно больно»,— подумал он.

— Каманя, больно.

— Ерунда это. Все впереди.

Каманя медленно поворачивал рычаг.

— Значит, ты любишь песни, много их знаешь. Молодец. Поэтому ты часто и слушал их, когда я пел, так?

— Так.

— А кроме песен ты ни к чему не прислушивался?

— Нет.

— Верю. Мы никогда там ничего не базарили. По крайней мере...— Каманя подумал, — лишнего. Но все же почему ты вертелся около нас?

— Я песни слушал.

— Песни, — протянул Каманя и чуть сильнее придавил рычаг. — Это хорошо, если песни.

Глазу становилось невмоготу. Тиски так сдавили кисть, что она перегнулась пополам: мизинец касался указательного пальца. Казалось, рука переломится, но гибкие косточки выдерживали.

— Глаз, а ну улыбайся. И знай: медленно буду сжимать, пока кости не хрустнут или пока не сознаешься.

«Неужели еще и рука будет изуродована?» — подумал Глаз.

— Нет мочи, Каманя, ни на кого я не работаю.

Каманя посмотрел на Глаза.

— Нет мочи, говоришь. Хорошо, я верю. Ты вот любишь песни, так спой сейчас свою любимую.

К ребятам, которые работали в цехе, Глаз стоял спиной. Терпеть было невыносимо, и он тихонько запел «Журавлей», а Каманя медленно, миллиметр за миллиметром, придавливал рычаг. Всю боль Глаз вкладывал в песню, пел негромко, и по его лицу текли слезы.

— Глаз, — сказал Каманя, когда песня была спета, — а теперь скажи, давно ли работаешь на Канторовича.

— Не работаю я на него, невмоготу терпеть, Каманя!

— Ну а на кого тогда, сознайся, и на этом кончим. Если будешь и дальше в несознанку, я дальше закручиваю тиски.

— Да ни на кого я не работаю, Каманя! Невмоготу, Каманя...

— Колись давай, или я сейчас крутану изо всей силы, ну!

— Да зачем мне работать? Если б я на него работал, что — мне бы легче жилось?

— Ладно, Глаз, пока хватит. Вечером пойдем с тобой в кочегарку. Суну твою руку, правую руку, в топку, и подождем, пока не сознаешься.

Каманя ослабил тиски. Глаз вытащил руку. Махнул ею и сунул в карман.

— Иди, — тихо сказал Каманя.

Вечером к Глазу подошел Игорь, кент Маха:

— Пошли.

Глаз подумал, что поведут в кочегарку, но они пришли в туалетную комнату. В туалете стояли два вора: Кот и вор шестого отряда Монгол.

— В кочегарку тебя завтра поведем, — сообщил Игорь, — если сейчас не сознаешься. Но я о тебе лучшего мнения. Расскажи с самого начала, как ты стал работать на Канторовича, бить не будем — слово даю. Ну!

— Не работаю я на Канторовича, ни на кого не работаю. С третьего отряда меня перевели — там седьмого класса нет. А работай я на Канторовича, зачем бы он меня отпустил? И как бы я к нему ходил незамеченный? Ведь меня сразу увидят на третьем отряде.

— Не говоришь — расколем. Встань сюда.

Глаз встал, чтоб Игорю было хорошо размахнуться, и получил моргушку. Крепкую. Голова закружилась. Игорь не дал ему окле-

маться и дважды ударил еще. Глаз забалдел, но быстро пришел в себя.

— Колись!

— Ни на кого не работаю. Правда!

— Что ты его спрашиваешь — бить надо, пока не колонется. Дай-ка я, — сказал Кот и начал Глазу ставить моргушки одну за другой. Видя, что он отключается, Кот дал ему отдышаться и начал опять.

— О-о-о, — застонал Глаз, — зуб, подожди, зуб больно.

Глаз схватился за левую щеку.

— Иди, — сказал Игорь, — завтра в кочегарку пойдем.

В спальне Глаз подошел к зеркалу. Открыл рот и потрогал пальцами коренные зубы слева. Ни один зуб не шатался. «Все зубы целые, а боль адская. Ладно, пройдет».

14

И к Глазу пришло отчаяние — надо с собою кончать. Но как? Нож, которым он в цехе обрезает материал с локотников, короток. До сердца не достанет. Удаться? Но где? Вытащат из петли и бросят на толчок.

В немецких концлагерях — Глаз видел в кино — заключенные легко уходили из жизни. Кинься на запретку — и охранник с вышки прошьет тебя из пулемета. Но здесь, в Одяне, в малолеток не стреляют и карабины у охраны больше для запугивания, чем для дела. Мгновенной смерти не жди. Тебя умертвляют медленно, день за днем. Но как быть тем, кому жизнь опротивела? «Неужели я не волен покончить с собой? Если не волен, тогда сами меня умертвите... Отмените этот дурацкий указ, что в малолеток не стреляют. Сделайте новый: при побеге в малолеток стреляют. Я, минуты не думая, кинусь на запретку. Какая великая пацанам помощь: кто не хочет жить — уходи из жизни легко, без всяких толчков. Неужели я не волен распоряжаться своей жизнью? Выходит, не волен. А что же я волен делать в этой зоне, если даже умереть вы мне не даете? Молчите, падлы?!»

У Глаза закололо в груди, он обхватил грудь руками и услышал: «Жизнь и так коротка, а ты хочешь покончить с собой. Это у тебя пройдет. И ты будешь жив. И указ этот, чтоб в малолеток не стреляли, хороший указ. Ведь если в вас стрелять, ползоны бы кинулось на запретку в минуты отчаяния. И не ругай ты лагерное начальство — хорошо, что в зоне нет смерти. Пройдет всего несколько дней — и ты забудешь о ней. Тебе опять захочется жить. Тебе только шестнадцать. Ты любишь Веру. Не думай о смерти, а стремись к Вере. Ты меня слышишь?»

— Слышу, — тихо ответил Глаз.

«Ну и хорошо. Сосчитай-ка до десяти. Только медленно считай. Ну, начинай».

Глаз, еле шевеля губами, начал считать:

— Раз, два, три... девять, десять.

«Ну, тебе стало легче?»

— Немного.

«Ты сосчитал до десяти, и тебе стало легче. Усни, а утром о запретке не вспомнишь. Я знаю, ни на кого ты не работаешь, и боятся тебе нечего. Только не наговори на себя, что работаешь на Канторовича. Понял?»

— Понял.

Утром Глаз вспомнил ночной разговор. «Может, я ни с кем и не разговаривал, а просто видел сон?»

Весь день Глаз ждал, что подойдут воры и будут пытаться. Но никто не подошел. Вечером снова ждал: сейчас поведут в кочегарку.

Но не повели, а позвали в туалетную комнату. Там опять были трое: Игорь, Кот и Монгол.

— Ну что — за сутки надумал? — Это Игорь спросил.

— Я вчера все сказал. Ни на кого не работаю.

Игорь поставил ему моргушку, вторую и третью. Удары пришлись по вискам. Глаз чуть не упал.

— Не могу, не могу я его бить! — прокричал Игорь и, хлопнув дверью, вышел.

— Кот, не бейте меня по лицу. После вчерашнего больно зуб.

Кот и Монгол били Глаза по груди, почкам, печени.

На следующий день Глаз написал письмо начальнику уголовного розыска заводоуковской милиции капитану Бородину. В нем он писал, что случайно оказался свидетелем убийства, совершенного на перекрестке ново- и старозаимковской дорог. «Если вы это преступление не раскрыли, то я мог бы дать ценные показания» — этими словами закончил Глаз письмо.

Письмо Глаз попросил бросить в почтовый ящик тетю Шуру, которая носила ему сгущенку.

Человек убит. Свидетелей нет. Глаза они раскрутить не смогут. А он месяца два отдохнет от Одяна. А может, в тюремной больнице закосит на какую-нибудь болезнь и затянет возвращение в колонию.

Воры оставили Глаза в покое. Поверили, что на Канторовича он не работает.

Зуб у Глаза продолжал болеть, и он пошел в санчасть.

— Да, седьмой у тебя треснут, — сказала врач. — Ты что, железо грыз?

— Да, — сказал Глаз, и врач выдернула у него четвертушку зуба.

15

Отряд проходил в промзону, когда дежурный по вахте сказал:

— Петров, выйти из строя.

Глаз пошел за дежурным.

— К тебе следователь приехал, — сказал он.

Глаза завели на вахту. В комнате для свиданий за столом у окна сидел Бородин. Он был в гражданской одежде.

— Здравствуй, Коля, — сказал начальник уголовного розыска.

— Здравствуйте, Федор Исакович.

— Ты в письме толком ничего не написал. Мы думали-думали, и вот меня в командировку послали. Я перед поездкой отца видел, он просил чего-нибудь из еды тебе привезти. Дал денег.

Бородин достал из портфеля три пачки сахару-рафинаду и батон. — Поешь вначале.

Неудобно Глазу было перед Бородиным, но он съел полбатона, хрустя сахаром и запивая водой.

— Закурить можно?

— Кури, — ответил Бородин.

Помолчали.

— Рассказывай, как же это ты невольным свидетелем оказался.

— Летом, значит, прошлым я в Заимку поехал. Вечером. На попутной машине. А она, не доезжая до Заимки километров пять-шесть, сломалась. Шофер ремонтировать стал, ну а я пешком надумал пройтись. Иду я, значит, иду. Дохожу до перекрестка старозаимковской дороги и вижу: стоит на обочине грузовик. «ГАЗ — пятьдесят один». Номер я не разглядел. Темно было. Смотрю, в кабине — никого. Ну я, грешным делом, хотел в кабину залезть, в бардачке покопаться. Слышу, невдалеке разговаривают. Дергать, думаю, надо, а то по шлям схлопочешь. Сразу не побежал, думаю, они ведь меня не видят,

как я их. Ну и присел возле машины. На фоне неба вижу три силуэта. Стоят у дороги и разговаривают. Потом смотрю, перешли через канаву. В это время по дороге от станции шаги слышу. Смотрю — человек идет. Мужик. Не успел он перейти дорогу, как его один из тех троих догнал и по голове — палкой. Мужик свалился. Тут же и те двое подбежали. Еще ударили, раз или два. Потом обыскали его, забрали, что у него было, — и к машине. Я отполз за канаву и притаился. Они завели машину и тихонько тронули. А мне то ли моча в голову ударила, то ли что, по сей день не пойму, но я выскочил из-за канавы, догнал машину и за задний борт уцепился. В кузов-то залазить не стал, через заднее стекло, боялся, заметить могут. Ну и ехал так, руками за борт держусь, а одну ногу поставил на эту штуку, ну за что трос цепляют. Думаю, если тормозить начнут, спрыгну. И точно. По Заимке немного проехали и тормозить стали. Я спрыгнул, перебежал на другую сторону дороги и спрятался за палисадник. Из машины вышел мужик, зашел в калитку, открыл ворота, и машина заехала. Вот и все, Федор Исакович, что я знаю об этом убийстве. Я многое осознал, сидя в Одяне, вот почему и хочу помочь следствию.

И тут Бородин задал Глазу с десятков вопросов и, помолчав, спросил:

— А ты откуда взял, что мужчину убили?

— Как откуда? Потом в Падуне все говорили, что мужчина в больнице умер.

— Да не умер он, Колька, он выжил. Так что это не убийство, а разбойное нападение. Но преступников мы так и не нашли. Второй год уже идет. Я приеду, доложу, что ты рассказал.

— Меня могут в Заводоуковск вызвать?

— Не могу ничего сказать. Будем искать этот дом. — Бородин помолчал. — Сахар-то тебе пропустят?

— Не знаю. А зачем спрашивать? Я просто суну его за пазуху.

Бородин сказал дежурному по вахте, что он допрос снял, и Глаз, сказав Федору Исаковичу «до свидания», вошел в зону.

Уже смеркалось. Глаз спрятал сахар около отряда, за ночь его никто не найдет, а завтра он возьмет его на работу и съест. Одну пачку можно отдать Антону.

В отряде был дежурный и двое освобожденных от работы по болезни. Глаз болтал с ними, слоняясь по отряду. До съема оставалось мало времени. Скоро придут ребята. Но как сейчас Глазу было легко на душе: убийство, за которое он так переживал, они не совершили. Просто грабеж. Вернее — разбой. Но человек-то жив остался. Отлично! Бородин снял камень с души Глаза.

Глаз не подготовился к разговору с Бородиным. Он думал, что его вызовут в Заводоуковск, но начальник уголовного розыска сам приехал в Одян.

Теперь, вспоминая разговор с ним, Глаз жалел, что на листе бумаги показал не то место, куда они оттащили рухнувшего от удара мужчину. «Конечно, они мне не поверят, что я был свидетелем нападения. Тем более если в Заимке перед первым мостом нет дома с большими воротами. Бородин будет искать еще и палисадник, за которым я прятался. Да, такого совпадения быть не может. Значит, я не могу помочь следствию, а потому зачем меня вызывать в Заводоуковск? А если вызовут, дадут очную ставку с потерпевшим. И он меня опознает. Он вспомнит, что я ехал с ним в одном поезде. Ведь в одном тамбуре стояли и курили. Надо мне Бородину написать, что я ехал с ним в одном тамбуре. Как они докажут, что я участник преступления? Хорошо, я ехал в поезде. Я видел, как трое мужчин совершили это преступление. Но я ведь не участник. Нет, меня они расколоть не смогут. Робка сидит, Генка в Новосибирске.

Еще Мишка знает об этом преступлении. Но его могут в армию забрать. Да если и не заберут, он ничего им не скажет. Значит, после второго письма я точно прокачусь по этапу, поканифолю им мозги и отдохну от Одяна».

Несколько дней Глаз писал длинное письмо начальнику уголовного розыска. Обрисовав троих мужчин, с которыми он случайно познакомился на речке и у которых был с собой пистолет «макаров», Глаз дошел до того, что эта преступная группа связана с границей и выполняет задания иностранных разведок. Одним из главных сверхпреступлений, которое хотят сотворить эти трое, является взрыв падунского спиртзавода. Глазу спиртзавод казался стратегическим объектом, которым обязательно должны интересоваться иностранные разведки. А раз так, то граница заинтересована взорвать завод. Этим Стране Советов, думал Глаз, будет нанесен непоправимый урон.

Глаз написал, что трое неизвестных, с которыми он познакомился, пригласили его прокатиться по району. Просто так, не говоря, что будут совершать какие-то преступления. Преступникам Глаз выдумал имена и описал цвет волос, рост и другие приметы, какими обладали Роберт, Гена и он сам, чтоб потом не запутаться в показаниях. Возраст всем троим он дал примерно одинаковый: лет тридцать, тридцать с небольшим.

Глаз написал, что они ехали в тамбуре пассажирского поезда Томск—Москва, вот только он вагон забыл, так как билет они не покупали, а на ходу спустились в тамбур с крыши. Помня фамилию потерпевшего, Глаз и ее написал, только отчество перепутал. Паспорт потерпевшего один из преступников подбросил на станции, не забыв упомянуть он.

Письмо вышло длинным, и чтоб оно не было толстым, Глаз писал его на тетрадных листах в каждой клеточке мелким почерком.

Глаза окликнул Игорь и позвал в воровской угол. Там сидели рог отряда и вор отряда.

— Ты молодец, что не наговорил на себя. Кололи не тебя одного,— сказал Игорь,—многих. И почти все на себя наговорили. Лишь бы их не трогали. Ты и еще один пацан выдержали. Даже твой земляк, Ставский, и тот на себя наклепал. Потом, правда, сказал, что ни на кого не работает. В общем, ты—молодец! Знаешь, Глаз, нам жалко тебя. Ты здорово опустился, но не совсем еще. А ведь с твоим упорством можно неплохо жить. Мы тебе вот что предлагаем: быть у нас агентом. Будешь только для нас чистую работу выполнять. Сходить куда-нибудь, чего-то принести. Мы тебе даем поддержку. Тебя никто пальцем не тронет. В столовой за стол сядешь рядом с нами. А носки стирать для нас ты марех будешь заставлять. Сам ты ни в коем случае стирать не должен. Если кто не согласится поначалу, скажи нам. В общем, ты понимаешь.

— Понимаю.

— Будешь думать или сразу дашь слово?

Глаз молчал.

— Ну, ты согласен?

— Согласен.

— С сегодняшней ночи будешь спать рядом с нами. Вот это будет твоя кровать,— Игорь кивнул на первую от воровского угла,— а помощальника мы сейчас с этого места нагоним.

Мах и Птица смотрели на Глаза.

— Глаз,— сказал Мах,— мы разрешаем тебе шустрить. Можешь любого бугра или кого угодно на х. послать. А если силы хватит, можешь любого отоварить. Только не кони. Если что, говори мне. Не сможешь ты, отдуплю я. Понял?

— Понял.

Глаз позвал помогальника, и Мах сказал ему:

— Забирай свой матрац. Здесь спать теперь будет Глаз.

С этого дня для Глаза началась другая жизнь. Теперь его никто не мог ударить или заставить что-то сделать. Пола он тоже перестал мыть. Воры одели его в новую робу, и он для них выполнял нетрудную работу. Грязные шляпки он теперь со столов не таскал. В наряды не ходил. И начал понемногу борзеть. Маху это нравилось, и он сказал как-то Глазу, чтоб он на виду у всего отделения прикинул помогальника Мозыря.

— Сейчас сможешь? — спросил Мах.

— Смогу, — не задумываясь ответил Глаз.

Показался Мозырь. Глаз пошел навстречу. Мозырь думал, что Глаз уступит ему дорогу, но Глаз от него не отвернул. Мозырь хотел прикинуть Глаза, но Глаз оттолкнул его.

— Куда прешь, в натуре?

Ребята в спальне смотрели на них. Мах с Игорем сидели в воровском углу.

Мозырь хотел схватить Глаза за грудки, но Глаз оттолкнул его второй раз и обругал матом. Силой они были примерно равны, и Глаз не конил, что сейчас ему придется стыкнуться.

Мозырь драться не стал, а тоже понес Глаза матом. Он боялся, как бы Глаз на виду у всех не одолел его. Что Глаз борзанул, бог с ним, ведь все знают, что он на Маха надеется. «Что ж, — думал Мозырь, — борзей, Глаз, борзей. Маху до конца срока немного остается. Погляжу я, как ты потом закрутишься».

А Глазу легче жилось. И каялся он, что отправил письмо начальнику уголовного розыска. Он молил теперь Бога, чтоб письмо не дошло, чтоб в пути потерялось. Ведь бывает же так, что письма — теряются.

16

На зоне перед отоваркой всегда подсосы были. Курево кончалось. Но у воров и рогов в курках оно всегда оставалось. И если они закуривали, то даже бугры у них докуривать спрашивали. Глаз теперь окурки не сшибал: воры ему курево давали. Когда начался очередной подсос, ребята у Глаза просили окурки. И есть он лучше стал. И варганить у него никто не смел, наоборот, теперь, когда шла отоварка, Глаз с наволочками стоял у ларька и забирал у пацанов банки со сгущенным молоком и другую еду. Мах находился рядом, и попробуй не отдай только — в отряде корчиться будешь. Пацаны за это злились на Глаза. Но многие ему завидовали.

Теперь и бугры, не только помогальники, стали обходительнее с Глазом. Здоровались и улыбались. Ведь он протаскивал с промзоны палки, чтобы дуплить отряд, когда приказывал Птица. Рог ведь вначале актив обхаживает палками. Как-то Птица решил отряд отдубасить — уж слишком много стало за последнее время мелких нарушений, а ему надо досрочно освобождаться. Он подошел к Глазу в промзоне перед съемом и подал две палки.

— Глаз, чтоб обязательно пронес.

Глаз спрятал палки под бушлат. Но бугры прознали, и Томилец, бугор букварей, подошел к Глазу.

— Глаз, а Глаз, сделай дело, спались на вахте с палками.

— Серега, не могу. Птица сказал, чтоб сегодня точно пронес.

— Ну хрен с ним, а ты спались. Поставит он тебе пару моргущек, а то весь отряд дуплить будет.

Глаз молчал. Если он пронесет палки, то бить будут всех, а его не тронут. Но если он спалится, то Птица только его отдуплит. Да и то, конечно, несильно.

— Ладно,— согласился Глаз,— спалюсь.

Но Птица видел, как с ним бугры разговаривали.

— Глаз, в натуре,— он улыбнулся,— смотри мне, если спалишься — отдуплю.

— Да нет, Птица, должен пронести,— ответил Глаз.

Но все же он с палками спалился, и рог поставил ему несколько моргушек, зато бугры его благодарили.

И Мах, бывало, дуллил Глаза, если он что-нибудь не мог исполнить, даже если это зависело не от него. Мах психованный был и объяснений не любил слушать.

В седьмом отряде жил цыган по кличке Мамона. Был он букварь и учился еле-еле. Часто получал двойки, и его Томилец дуллил. Но Мамона был борзый. Кроме воров и актива, он не признавал никого. Мамона был ложкарь. Он отвечал за ложки. Ложкари в зоне пользовались привилегией: не мыли полы, в столовую строем не ходили, а с алюминиевым ящиком, в котором хранились ложки, шли сзади отряда. Обязанность их была раздавать воспитанникам ложки, а потом собирать их и мыть на кухне. Ложкарей старались подобрать пошустрее, так как у забитого парня другие ложкари могли ложки воровать. А это значит, что несколько человек обедать не смогут: нет ложек,— и им придется ждать, пока ложки освободятся. Но тогда отряду подадут команду «встать», а те, кто сидел без ложек, только за еду примутся. А в отряд надо строем идти. И еще ложкари должны воров и активу класть на стол ложки не погнутые, а новенькие. За гнутую ложку вор ложкаря отдуллит. Но Мамона борзый ложкарь был, и ложки у него не терялись. Наоборот, у ложкарей с других отрядов он незаметно ложки уводил. И курковал их. На черный день. Вдруг и у него кто-нибудь ложку свистнет. Но Мамона не только ложки с других отрядов воровал, но и старые старался поменять на новые. Подсунет гнутую, а урвет у зазевавшегося ложкаря сверкающую. Из ложкарей на зоне он был самый борзый.

В каждом отряде были воспитанники с мастью. Кого-то на тюрьме опетушили, кого-то здесь, в зоне, сводили на толчок, и он заминировался. Для таких воспитанников ложки были с отверстиями на конце. Чтобы — приметные. Такие ложки ложкари хранили отдельно и клали на стол мастёвым ребятам.

Мамона был высокого роста, худой, вертлявый. Одежда его всегда была просаленная, потому что он подолгу торчал на кухне, даже когда ложки помытые были. Повара, тоже воспитанники, Мамону не забывали, лишний черпачок баланды ему всегда был обеспечен.

Как-то вечером Глаз пошел в толчок и увидел толпу пацанов около кочегарки. Глаз спросил парня со своего отряда:

— Что тут такое?

— Да Мамона две двойки сегодня в школе получил, и его дуллить начали. А он сюда прибежал. Помогальник за ним. Мамона в кочегарку — и никого не пускает.

У Глаза с Мамоной отношения были хорошие. Протиснувшись между ребятами, Глаз вошел в полуосвещенный тамбур и замер. Мамона стоял у топки, держа над головой раскаленный добела стержень. Его черные узкие глаза яро сверкали. Сейчас Мамона был бешеный.

— Давай-давай, заходи сюда, заходи! — кричал он помогальнику. — Я раскрою тебе череп! Я в отряд ночевать не пойду, здесь останусь. И никто сюда не спускайтесь. Кто зайдет, железа получит. Ну, кто первый?

В толпе, кроме помогальника, уже и бугры появились. Они стояли впереди и смотрели на расвирепевшего Мамону. Ни у кого из присутствующих не возникало сомнения, что Мамона решил рас-

кроить череп любому, кто посмеет к нему приблизиться. Глаз в жизни не видал человека, доведенного до отчаяния, который в такую минуту и пятерых убить может. Он с благодарностью смотрел на Мамону. «Молодец, Мамона,— думал Глаз,— ты хоть за себя постоять можешь».

Но тут Глаза кто-то толкнул и стал впереди него. Это был вор третьего отряда Голубь.

— Мамона, брат, здорово! — закричал Голубь. — За двойки тебя ушибать собрались, вот падлы! Бей их, козлов, раскаленным железом! Правильно делаешь! Мамона, железка-то у тебя остывает. Там, в углу, еще две такие есть, ты их сунь в топку. Накалятся — возьмешь.

Голубь — вор — выделялся среди всех воров. Он обладал авторитетом, которому и вор зоны мог позавидовать. Он никогда не бил пацанов и часто их защищал. Он с любым марехой, лишь бы у того не было масти, мог поздороваться за руку. Мамоне он решил помочь.

Когда заговорил Голубь, Мамона замолчал, но стержень не опускал. Голубь повернулся к парням. Ему нужен помощальник, который бил Мамону. Но вору неудобно спрашивать. Голубь определил его по лычке:

— Ну а ты что стоишь? Мамона двойку получил, а ты терпишь? Спустишь и отдупи его. Что, конишь?

Помогальник молчал.

— Мамона, если он даст слово, что не тронет тебя, выйдешь из кочегарки?

— Выйду,— ответил Мамона и ниже опустил стержень.

— Ну а ты,— Голубь повернулся к помощальнику,— даешь слово, что не тронешь Мамону?

Помогальнику тоже нужна была какая-то развязка.

— Даю.

Голубь спустился к Мамоне, и тот бросил стержень в угол.

Вскоре ушел на взросляк Кот, по концу срока освобожденный Игорь и следом за ним — Мах. Птица в воровской угол пригласил спать активистов. И в отряде не стало воров. Шустряков было в отряде несколько человек, но ни один из них на вора отряда и даже просто на вора не тянул. Потом, чуть позже, обшустрятся и станут ворами.

На второй день после освобождения Маха бугор сказал Глазу, чтоб он из воровского угла перебрался в середину спальни.

Кончилась легкая жизнь у Глаза. Его сразу бросили на полы. И душить стали, как и других, и даже сильнее. Мозырь борзость Глазу просить не мог. А потом Глаза хозяйкой, без всякого согласия, назначили. В активисты произвели. Он сопротивлялся как мог, отказывался от хозяйки, но бугор сказал:

— Нам нужен борзый хозяйка, а не такой, как Пирамида. Ты, Глаз, потянешь.

И вот Глаз стал членом хозяйственной комиссии отделения. Это самая низшая и самая ответственная должность у активиста колонии. Хозяйка отвечает за постельные принадлежности. В банный день надо собрать простыни, наволочки, полотенца и отнести в баню. Там по счету дать и получить новые. Принести и раздать ребятам. Но рогу, бугру и шустрякам надо выбрать поновее. Не лягут они спать на простыни с дырками. И всегда в запасе надо чистые полотенца иметь. Загрязнится полотенце у рога — он бросит его хозяйке и чистое потребует. Если его нет — дулеж. Но и не это главное даже. Самое страшное — это когда пропадет из спальни конверт. Конверт —

это одеяло, заправленное вместе с простыней. Конечно, если в отряде что-то теряется, то и с дежурного не меньше спрашивают. Но хозяйка отвечает за все.

17

Вечером, придя с работы, ребята увидели, что на кровати нет одного конверта. Бугор подошел к Глазу и тихо сказал:

— Глаз, конверт свистнули. Спокойно, не надо шума поднимать. Давай пораскинь мозгой и достань. Ты сможешь. Ты не Пирамида.

— Хорошо, постараюсь.

— Делай.

На улице стояла холодина. Прошедшей ночью ребята спали, кутаясь в бушлаты. А теперь один пацан на ночь без простыни и одеяла останется. Ответственность за пропажу нес дневальный по отряду. Но бугор — председатель совета воспитанников отделения — был больше всех заинтересован найти одеяло. А Глаз — хозяйка — крайний оказался. Конечно, бугор мог пойти к начальнику отряда и доложить о пропаже. Но чем поможет начальник? Да ничем. Он просто скажет: как потеряли, так и ищите. Да и где ему взять? Не принесет же он его из дому.

Теперь Глаз лихорадочно соображал, где бы стянуть конверт. Пойти к другому отряду и понаблюдать в окна, и если в какой-нибудь спальне окажется мало людей, то можно через форточку с ближайшего второго яруса стянуть конверт. А вдруг — заметят? Если догонят, отдупят за милую душу. Тем более — будут бить чужака. «А что, — подумал Глаз, — если стянуть конверт со своего отряда? С отделения букварей. Если меня даже и заметят, то дуплится будет Томилец. На первый раз он меня простит. В тот раз палки по его просьбе проносить не стал. Если что, я ему про это напомню». И Глаз пошел в спальню букварей. Томильца не было. Многие ребята в ленинской комнате смотрели телевизор.

Глаз вышел на улицу. Обошел отряд и встал около окна спальни букварей.

На кроватях рядом с окном никого не было. Он залез на подоконник и надавил форточку. Она поддалась. Кончиками пальцев дотянулся до второй форточки и надавил. Она распахнулась. Глаз наполовину пролез в форточку, со второго яруса за конец схватил конверт и потянул. Форточки он оставил открытыми и, спрыгнув на землю, побежал вокруг отряда к окнам своей спальни. Перед тем как выйти на улицу, форточки первого от угла окна Глаз оставил открытыми на случай удачи. И теперь он кинул в них свернутый конверт, который упал на второй ярус кровати.

Зайдя в спальню, он разостлал конверт на кровати и рассказал бугру, где его тяпнул.

— Правильно, Глаз, — сказал бугор, — пусть буквари не спят.

Глаз написал домой, чтоб мать сходила к Сеточке и попросила ее погадать на картах. Сеточка — это кличка старухи, отменной гадалки. Карты ей только правду говорили. Про Сеточку рассказывали, что она поповская дочка и у нее на огороде запрятаны несметные богатства. В коллективизацию в колхоз не вступила и всю жизнь девой прожила, выращивая скот.

Чего только про Сеточку в Падуне не говорили! И что курицам она кладет на подкладку золотые яйца, и что сундуки у нее ломятся от мехов. Кур она давно не держала, и стайка стояла разваленная. Ян однажды проверил стайку в надежде найти золотое яйцо. Но там даже и куриного не оказалось.

Сеточка жила в одном переулке с Проворовым, безногим сапожником, и Ян как-то любопытства ради решил зайти к ней в убогий

домишко. Домишко у нее был настолько маленький, что не хватало одних курьих ножек — и было б как в сказке. Он постучал в обитую фуфайкой дверь и услышал:

— Кто там?

— Я,— ответил Ян и распахнул дверь.

Дверь изнутри была занавешена ветхим одеялом, чтоб не выпускать тепло, и Ян когда откинул его рукой, то лбом уперся в зад коровы. Ян протиснулся и стал рядом с коровой, рога которой смотрели в окно.

— Чего тебе надо? — спросила Сеточка, вставая с кровати. Кровать стояла около небольшой печки.

— Меня мать послала, просила тебя зайти,— соврал Ян.

Мать с Сеточкой дружила и в лютые морозы пускала ее ночевать. Матери она часто гадала на картах.

— Ладно, скажи, зайду.

В домишке была такая темнота, что Ян, кроме коровы, кровати и печки, ничего не смог разглядеть. Электричества она себе не проводила, а пользовалась керосиновой лампой.

Ян знал от людей, что Сеточка в холода заводит корову в домишко. Отремонтировать стайку она почему-то не хотела.

Хоть Сеточка и старая и высохшая была, но на себе волочила из лесу на дрова стволы берез, обрубленные от сучков.

И вот Глаз получил из дому письмо. Мать писала, что Сеточка на него сгадала. Выпало ему «скорое возвращение домой через больную постель и казенный дом». Глаз задумался. «Как же это так, что вернуться из домишка через больную постель? Чтоб меня по болезни отпустили я Одляна, надо заболеть так сильно, чтобы лежать при смерти. Да если я и умирать буду, мне не поверят. Скажут — косишь. Врут, наверное, Сеточкины карты. Так. Дальше. После того как я приеду домой, мне падает казенный дом. Опять, значит, тюрьма. Меня что, больного опять посадят? Нет, это что-то не то. Неправду нагадала Сеточка».

И не принял Глаз близко к сердцу слова Сеточки, а через несколько дней и совсем забыл про «скорое возвращение домой через больную постель и казенный дом».

Лютые морозы злобствовали по всей стране. В бараках спать было холодно, и бушлаты не помогали. А у Глаза, как назло, украли шерстяные варежки. У марех-то и никогда не было ни шерстяных носков, ни варежек, но у Глаза при ворах было все. Вначале у него носки украли, а сейчас вот и варежки. Бушлат его новый, который он при Махе с вешалки снял, даже не спрашивая, чей он, теперь у него тоже сшушарили. И хилял он теперь в потрепанном.

А тут зону облетела печальная весть: в четвертом отряде пацан задавился. Отрядам на работе скомандовали съем, а в четвертом человека не хватает. Куда же он в такой лютый мороз куркануться мог? Долго его искали, и никому в голову не пришло в подсобку заглянуть, где заготовки хранились. Там каркасы от диванов стояли один на другом. И парень на верхний каркас положил крепкую палку, привязал к ней веревку, спустился внутрь и удавился. Из-за каркасов его не видно было. Никому и в голову не пришло туда заглянуть, уж слишком приметное место.

Срок у парня был полтора года, почти половину — отсидел, а вот удавился. Многие удивлялись — не мог десять месяцев дотерпеть. А парня этого в отряде сильно зашибали. Бугор все его фаловал за щеку взять, за это житуху дать обещал. А парень решил умереть лучше, чем сосать.

Похоронили его на одлянском кладбище, где много было могил

воспитанников. Говорят, кого хоронили, даже креста не ставили. Воткнул в рыхлую землю кол, а на нем номерок, и привет.

В этот день, когда задавился пацан, Глаз около обойки увидел vareжки шерстяные. Глаз знал, что тело пацана вынесли совсем недавно и vareжки кто-то выбросил — носить их теперь было запахло: vareжки к покойнику прикасались. На зоне много всяких подлянок было. С вафлером никто не разговаривал. На толчок с конфеткой во рту никто зайти не мог — это была первая подлость в Одляне. Или проглоти конфетку перед толчком, или выплюнь ее. В подсос, бывало, у пацанов курева нет, а мина какой-нибудь сигареты шмалает. Ни отобрать, ни попросить у него никто не посмеет: парень заминирован. Если спрашивал докурить воспитанник, который не знал, что он мина, тот говорил: «Нельзя». Это означало, что он не может дать окуроч, потому что он мастёвый. Но некоторые ребята втихаря брали у минетов окурки.

И вот Глаз стоял перед vareжками. Они были новые, вязанные с цветной ниткой. Взять или не взять? «Возьму-ка я их, — решил Глаз и, сунув в карман, пошел в станочный цех за заготовками. — На нашем-то отряде никто ведь не знает, что в этих vareжках покойника выносили. Их, наверное, никто и не видел. А что здесь поганого, ну вынесли в них парня, и почему их надо теперь выбрасывать, если на улице такой холодище?»

Шел третий месяц как Глаз послал письмо Бородину, а его на этап не забирали. Дублили его в последнее время часто. Не будь он хозяйкой, легче бы жилось. А то полотенце в спальне пропадет — доставай, а то и простынь на мыло сядет. Не достанешь — помогальник грудянку отшибает. «Одлян, проклятый Одлян! Вот когда освобожусь, возьму и целую посылку полотенец, наволочек и простынь в зону на седьмой отряд вышлю. Пусть их хозяйкам раздадут. Хоть месяц горя знать не будут».

Раз на этап не забирали, Глаз решил простыть и попасть в колонийскую больничку. Стужа на улице лютая. Ночью он встал и пошел в толчок. А в толчок ночью только в одном нижнем белье выпускали. Возвращаясь обратно, он перед отрядом лег на обледенелую дорожку грудью. Минут пять пролежал, замерз. «Воспаление легких я должен получить», — подумал Глаз и пошел в отряд. Но он не простыл. Даже кашля не было. На следующую ночь он опять лег грудью на обледенелую дорожку, но простуда его не брала.

18

Сегодня обойка чуть раньше закончила работу, и парни грелись у труб отопления.

— С письмами у меня ничего не получается, — сказал Антон, приложив руки к горячей трубе. — Я уже штук пять послал первому секретарю райкома партии, уж как я его ни матерю, а толку нет. Не отдаст он их в милицию. Значит, не привлекут и на этап не заберут.

Антон достал из кармана две длинные иголки, которыми гобелен шивали на диванах. Иголки были связаны нитками, и острые концы торчали в разные стороны. Длина иголки была чуть ли не с ладонь.

— Как думаешь, Глаз, смогу я их проглотить?

— Да нет, Антон, больно уж длинные. Иголка сразу в горло воткнется.

— А если так? — Антон достал из кармана маленький шарик вара и нанизал его на иголочку. — Так ведь проглочу. Иголка никуда не воткнется.

Антон широко открыл рот, затолкнул в глоточку иголочку и проглотил.

— Ну вот, а ты говорил — не проглотить.

Он сделал это так быстро, что Глаз и опомниться не успел.

— Теперь-то меня точно в больничку заберут. В Челябинск. Пусть делают операцию и достают.

Глаз молчал. На душе у него так муторно стало, и он отошел от Антона.

Скоро съем прокричали, и парни двинули на улицу. К Глазу подошел бугор букварей Томилец.

— У меня к тебе базар есть.— Томилец посмотрел по сторонам.— Манякин говорит, что он две иголки проглотил на твоих глазах. Правда это?

— Правда, Томилец.

— А не врешь?

— Зачем мне врать? Я даже моргнуть не успел, как он глотнул их.

Из-за дверей вышел начальник отряда.

— Петров,— сказал начальник отряда,— почему ты не помешал Манякину проглотить иголки?

— Виктор Кириллович, я даже и не поверил ему, что он такие длинные глотанет. Все было так быстро, что я и помешать бы не смог.

Перед ужином начальник отряда вызвал Глаза в воспитательскую.

— Петров, объявляю тебе наряд вне очереди. Завтра на туалете отработашь,— сказал Виктор Кириллович.

«Толчок, толчок»,— пронзило все внутренности Глаза.

— Виктор Кириллович, за что? Что я сделал?

— Наряд вне очереди.

— Виктор Кириллович, он проглотил, а мне наряд!

— Должен был помешать...

— Да не думал я, что он проглотит.

— Все. Иди.

Глаз вышел из воспитательской. Все, толчок.

Умри, поселок Одлян! Провались в тартарары весь Миасс с его красивейшими окрестностями, но только не допусти избиения Глаза. «О, нет-нет,— обливаясь кровью, кричала его душа,— я не хочу этого! Я не хочу идти на толчок. Не хочу жрать застывшее говно. Я ничего не хочу. Как ты поступил, Антон? Да он мной подстраховался на случай, если ему не поверят. И ему не поверили. И призвали меня, чтоб я подтвердил. Но что я мог сделать, Господи, что? Теперь мне — толчок, ему — больничка. Меня — ушибать, а он будет балдеть на белых простынях и радоваться, что обхитрил все начальство».

Спал Глаз плохо. Часто просыпался. И снился ему кровавый сон. Кровавые отблески кровавого бытия кровавыми сполохами кроваво высвечивали кровавую эпоху. Кровавый цвет везде. Он залил всю долину Одляна. Кровавыми стоят две вершины, между которыми, как говорит предание, проезжал Емельян Пугачев. Течет кровавая вода в реке Миасс. Начальник колонии — кровавый майор,— мерно ступая по обледенелой бетонке, припорошенной снегом, подходит к толчку, где его ждет начальник седьмого отряда. Хозяин выпятил пузо, сунул папиросу в рот и ждет не дожидается, когда Глаза поведут на толчок. Но вот его привели. Из толчка — крики, и вот она — кровь Глаза, кровь тысяч малолеток устремляется в двери, сносит их и вырывается на простор. Начальник колонии бросает папиросу, пригоршнями зачерпывает кровь, пьет и обмывает ею лицо, словно родниковой водой, и блаженствует. Криков из туалета не слышно. Майор и капитан медленно удаляются в сторону вахты. На обледенелой бетонке остаются их кровавые следы.

«Это хорошо, что ты попал в Одлян, это хорошо, что тебя поведут на толчок»,— услышал Глаз голос.

«Сильно избыют?»

«Этого я не скажу. Ждать осталось немного. Утром тебя поведут. Но я тебя помню».

«Неужели не заберут на этап?»

«Из Одяна ты вырвешься...»

Был выходной день. Около толчка — никого. Глаз шел впереди Мозыря, помогальника, по пяточку, на котором всегда дубасили пацанов.

— Ну, Глаз,— сказал Мозырь и ударил его палкой по богонельке. В этот момент со стороны третьего отряда раздался окрик:

— Мозырь, подожди!

К толчку спешили два вора: Голубь и Компот.

— За что Глаза на толчок? — спросил на ходу Компот.

— Да этот, Антон, иголки проглотил, а Глаз видел и не помешал. Компот встал рядом с Мозырем и, глядя ему в глаза, произнес:

— Ну, Раб проглотил, а Глазу — толчок? Раба и ведите.

— Раба еще вчера в больничку отправили, а Кирка Глазу наряд выписал.

— И ты будешь его дуплить?

— Кирка приказал.

— Мозырь, хочешь, я сейчас возьму у тебя палку и расщеплю ее о твой шарабан? — спросил Компот.

Мозырь посмотрел на Компота, потом на Голубя, который все молча стоял и курил.

— Пусть Глаз подметет толчок, а ты, Мозырь, его не тронь. Усек?

— Ладно,— ответил Мозырь.

Глаз пошел подметать толчок, Голубь не спеша тронул в отряд, а Компот остался с Мозырем.

Все воры хорошо знали Глаза, он не раз к ним ходил с поручениями от Маха.

Зону облетела новость: бугор букварей с седьмого отряда, Томилец, опетушил новичка. Недолго думая новичок пошел и заложил Томильца начальнику отряда.

Кирка доложил начальнику колонии, и Томильца, а следом и новичка, вызвал хозяин. Новичок рассказал, как Томилец пригласил его в каптерку, избил и изнасиловал.

— Если вы не привлечете его,— сказал новичок хозяину,— то ко мне через несколько дней приезжают родители. Я им пожалеюсь. Мой папа — профессор медицинского института, мама — второй секретарь райкома партии.

Челидзе не захотел усложнять дело и дал команду, чтоб председателя совета воспитанников двадцать пятого отделения привлечь за мужеложство к уголовной ответственности, а новичка чтоб никто и пальцем не трогал.

Томильца увели в дисциплинарный изолятор и с первым этапом отправили в златоустовскую тюрьму.

Новичка за то, что он заложил Томильца, невзлюбил весь отряд. Невиданное дело на зоне — идти и заложить активиста. Новичок, взлелеянный папой и мамой, воровских законов принимать не хотел и, поняв, что на зоне жить ему придется тяжело, при первом же случае фуганул на бугра, надеясь, что после этого его никто бить не будет. И он не просчитался. Ударить его после запрета хозяина никто не мог. Над ним лишь зло смеялись.

Глаз был хозяйкой, но лычки пока не носил. Но скоро ему вручат остроконечный четырехугольный ромб с красной полоской у нижнего конца, и он должен его надеть на грудь. По телу Глаза проходит дрожь. Он, которого каждый день долбят, должен носить знак

с кровавой полоской. Эту красную лычку ненавидят большинство воспитанников, и лишь актив, добиваясь досрочки, носит ее на груди. Красный цвет приносит одни страдания пацанам. Их бьют активисты, нанося удары рукой, на которой красная повязка. Начальники отрядов с красными околышами на фуражках подписывают им чуть ли не смертные приговоры на толчок.

Во многих тюрьмах на малолетке, если одежда у пацана красная, ее выбрасывают в парашу. Если родители принесли сигареты в красных пачках, все сигареты летят в парашу, даже когда подсос. Копченую колбасу, хоть она и не совсем красная, пацаны тоже бросают в парашу.

Глаз на этапе слышал — ему взросляк рассказывал, — что в одной из колоний красный цвет был запахло и малолетки колбасу выбрасывали в толчок. Рядом с колонией несовершеннолетних, через забор, стояла колония взросляков. Мужики прослышали, что пацаны колбасу бросают в толчок, и сказали, чтоб они ее через забор им пуляли. И полетела колбаса к взрослякам.

В седьмом классе Глазу легче было учиться. На работе дела шли неплохо: не много ума надо диваны таскать да локотники по текстуре подбирать. А вот простыни и полотенца часто терялись, и его за это здорово дурили. И в нарядах на столовой зашибали. А тут Кирка сказал, чтоб к Новому году все были с лычками. Кровавую лычку надеть придется. Но ведь на взросляке ему в лицо бросят: «Падла, активистом был, красную лычку носил», — и что он в оправдание ответит?

Вспомнилось Глазу — он читал в какой-то книге, — если проглотить мыла, то обязательно будет понос. Вечером бугор неплохо отделал Глаза, и он пошел в туалет. Левая бровь опять дергалась. Глаз стал умываться и незаметно, отломив от мыла кусочек, проглотил его и запил водой. Целый день он ждал, что живот заболит, а живот не болел и в туалет не тянуло.

После ужина в отряд пришел дпнк и сказал Петрову собираться на этап. Наконец-то его вызывали в заводоуковскую милицию. Глаз попрощался с земляками, с ребятами, с которыми был в хороших отношениях, и на их вопрос, для чего его забирают, ведь ему нет восемнадцати, ответил, что на переследствие. Ему завидовали.

На взросляк с седьмого отряда уходил всего один парень, Чернов, и Глаз с ним потопал на вахту.

(Окончание следует)

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ
(1894—1958)



СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ



Черная кровь из открытых жил,
И ангел, как птица, крылья сложил...

Это было на слабом, весеннем льду
В девятьсот двадцатом году.

Дай мне руку, иначе я упаду —
Так скользко на этом льду.

Над широкой Невой догорал закат,
Цепенели дворцы, чернели мосты —

Это было тысячу лет назад,
Так давно, что забыла ты.

1931.



Я люблю эти снежные горы
На краю мировой пустоты.
Я люблю эти синие взоры,
Где, как свет, отражаешься ты.
Но в бессмысленной этой отчизне
Я понять ничего не могу.
Только призраки молят о жизни,
Только розы цветут на снегу,
Только линия вьется кривая,
Торжествуя над снежно-прямой,
И шумит чепуха мировая,
Ударяясь в гранит мировой.

1931.



Ни светлым именем богов,
Ни темным именем природы!
...Еще у этих берегов
Шумят деревья, плещут воды...

Мир оплывает, как свеча,
И пламя пальцы обжигает.
Бессмертной музыкой звуча,
Он ширится и погибает.
И тьма — уже не тьма, а свет.
И да — уже не да, а нет.

...И не восстанут из гробов
И не вернут былой свободы —
Ни светлым именем богов,
Ни темным именем природы!

Она прекрасна, эта мгла.
Она похожа на сиянье.
Добра и зла, добра и зла
В ней неразрывное слиянье.
Добра и зла, добра и зла
Смысл, раскаленный добела.

1937.

* * *

Лунатик в пустоту глядит,
Сиянье им руководит,
Чернеет гибель снизу.
И даже угадать нельзя,
Куда он движется, скользя,
По лунному карнизу.

Расстреливают палачи
Невинных в мировой ночи —
Не обращай вниманья!
Гляди в холодное ничто,
В сиянье постигая то,
Что выше пониманья.

1950.

* * *

Листья падали, падали, падали,
И никто им не мог помешать...
От гниющих цветов, как от падали,
Тяжело становилось дышать.

И неслось светозарное пение
Над плескавшей в тумане рекой,
Обещая в блаженном успении
Отвратительный вечный покой.

1958.

* * *

Стоят сады в сиянье бело-снежном,
И ветер шелестит дыханьем влажным.

— Поговори со мной о самом важном,
И самом страшном, и о самом нежном,
Поговорим с тобой о неизбежном:

Ты прожил жизнь, ее не замечая,
Бессмысленно мечтая и скучая,—
Вот наконец кончается и это...

Я слушаю его, не отвечая,
Да он, конечно, и не ждет ответа.

1958.

* * *

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...

1950.

* * *

Упал крестоносец средь копий и дыма,
Упал, не увидев Иерусалима.

У сердца прижата стальная перчатка,
И на ухо шепчет ему лихорадка:

— Зароют, зароют в глубокую яму,
Забудешь, забудешь Прекрасную Даму,

Глаза голубые, жемчужные плечи... —
И львиное сердце дрожит, как овечье.

А шепот слышнее: — Ответ на вопросец:
Не ты ли о славе мечтал, крестоносец,
О подвиге бранном, о битве кровавой?
Так вот умирай же, увенчанный славой!

{1935 — 1958}

* * *

Но черемуха услышит
И на дне морском простит...
О. Мангельштам.

Это было утром рано
Или было поздно вечером
(Может быть, и вовсе не было).

Фиолетовое небо
И, за просиявшим глетчером,
Черный рокот океана.

...Без прицела и без промаха,
А потом домой шажком...

И оглохшая черемуха
Не простит на дне морском!

(ок. 1953—1954)

Публикация Е. ВИТКОВСКОГО.

В. НЕПОМНЯЩИЙ

★

ДАР

Заметки о гуховной биографии Пушкина

И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился...

И Бога глас ко мне воззвал...
Пушкин, «Пророк».

И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.

Второе послание к Коринфянам св. ап. Павла, 12, 7.

Еще недавно одним из популярнейших пушкинских стихотворений была «Вакхическая песня»:

Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Это была своего рода эмблема времени.

В последние годы я почти не слышал этих стихов — ни по радио и телевидению, ни на пушкинских концертах, вечерах и конкурсах. У каждого времени свои песни — и свой Пушкин. Сейчас в моде другое: «Пир во время чумы». Эмблема сменилась.

Это хочется осмыслить. Не только в контексте нашей эпохи — тут-то все более или менее ясно, — но и в контексте Пушкина, творчество которого — единый мир.

Для этого придется вспомнить одну из главных лирических тем Пушкина, к которой не раз обращались исследователи, в том числе и я. Первые слова поэта, когда он узнал, что рана его смертельна, были: «Мне надо привести в порядок мой дом».

Дом для Пушкина ценность важнейшая, коренная, бытийственная. Дом — жилище, убежище, область покоя и воли, независимость, неприкосновенность. Дом — очаг, семья, женщина, любовь, продолжение рода, постоянство и ритм упорядоченной жизни, «медленные труды». Дом — традиция, преемственность, отечество, нация, народ, история. Дом, «родное пепелище» — основа «самостоянья», человечности человека, «залог величия его», осмыс-

ленности и неодинокства существования. Понятие сакральное (священное), онтологическое, величественное и спокойное; символ единого, целостного, большого бытия.

На протяжении лет Дом предстал у него в разных обликах и масштабах. В лице — шутивно стилизованное под «келью» жилище молодого и беззаботного «мудреца»-вольнодумца. В стихотворении 1819 года «Домовому» впервые появляется «семья моей обитель». В «Узнике» — «темница сырая», откуда хочется улететь. Во второй главе «Онегина» (1823) с юмором и даже иронией, но и со скрытой завистью рисуется устойчивость домашнего деревенского быта.

Вскоре после приезда в Михайловское, в двойном изгнании и огромном одиночестве, возникает новый образ:

Земля недвижна; неба своды,
Творец, поддержаны Тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.

Авторское примечание: «Плохая физика; но зато какая смелая поэзия!» — сегодня можно прочесть решительнее: плохая физика — но зато какая верная метафизика. В «Подражаниях Корану» эта метафизика Дома развита и разработана: «Зажег Ты солнце во вселенной, Да светит небу и земле, Как лен, елеем напоенный, В лампадном светит хрустале». Солнце — «святая лампада» Дома, которая горит всегда. В качестве Дома предстает все

Творение — Мир, или, по-древнегречески, ойкос (дом); тема впервые обнаруживает свой сакральный характер.

Однако после этого, словно спрыгнув с неба на землю, автор резко сужает масштабы. 1825 год: «Наша ветхая лачужка И печальна и темна. Что же ты, моя старушка, Приумолкла у окна?» Маленькое убежище двух одиноких людей, окруженное извне бурей, мглой, вихрями, — почти «экзистенциалистское» ощущение сиротства; единственное утешение — «Спой мне песню... Выпьем, добрая подружка...». Наш классический вариант: грустно, одиноко, безвыходно? — выпьем и споем. Лучший выход, когда от тебя ничего не зависит.

«Зимнему вечеру» предшествует как раз «Вакхическая песня». Вот тут открывается нечто совсем неожиданное.

«Что смолкнул веселия глас?» — «Что же ты, моя старушка, Приумолкла у окна?»; «Раздайтесь, вакхальны припевы!» — «Спой мне песню...»; «Да здравствуют... юные жены...» — «Выпьем, добрая подружка Бедной юности моей...»; «Полнее стакан наливайте!» — «где же кружка?»; «веселия глас — «Сердцу будет веселей»; «да скроется тьма!» — «Буря мглою небо кроет», «И печальна и темна»...

«Зимний вечер», выходит, своего рода вариация «Вакхической песни». И там и там — некое ограниченное пространство: в «Зимнем вечере» материальное, в «Вакхической песне» идейное — замкнутый круг единомышленников, друзей «муз» и «разума», за пределами его — «тьма» («Буря мглою...»). От участников пирса ничего не зависит, они лишь ожидают «ясного восхода зари» с полными стаканами и вакхальными припевами.

В «Вакхической песне» мне всегда чудилась какая-то тайна; или секрет; или странность. Лучезарное, сверкающее, словно отлитое из золота, стихотворение светит как бы отраженным светом, изнутри же излучает темную ауру одиночества. В нем, вполне годном быть гордым гимном просветительства, есть свойственная этой идеологии эйфорическая безопорность и абстрактность. Неудивительно, что, проецируясь в «Зимнем вечере» на обыкновенную человеческую жизнь, эта «модель» даже тему Дома заставляет горчить и отдавать заброшенностью.

Тут просматривается, вероятно, процесс роста, в котором дар то и дело опережает своего обладателя, видя и зная больше, чем он. В «Подражаниях Корану» поэт был выведен на уровень темы Дома как метафизической, сакральной темы Творе-

ния, где «святая лампада» Солнца, зажженная Творцом для человека, никогда не гаснет и где человек никогда не одинок. Но, воплотив то, что знает дар, сам поэт словно бы забывает об этом: «Вакхическая песня», похоже, — попытка силовым приемом преодолеть момент уныния, обернувшись на тот просветительский оптимизм, с которым в ходе кризиса начала 1820-х годов произведен расчет, хотя, по-видимому, и не полный.

Дар, однако, и тут оказывается мудрее и сильнее «идеологии». Пирующие пируют во «тьме», которую освещает «лампада», но не «святая», а обыкновенная и к тому же символизирующая «ложную мудрость»; при ее-то свете они и воспевают просветительский кумир «разума»; однако в конце откуда-то возникают совершенно не своиственные Просвещению ноты: истинное Солнце, которого ждет автор и свет которого затмит лампаду «ложной мудрости», — оно, оказывается, «святое» и «бессмертное» солнце «ума» («ум», греческий «нус», есть категория не рациональная, а духовная, от неоплатоников перешедшая в христианское учение). Интуиция дара чуть ли не контрабандой, помимо намерений автора наводит свой порядок: одухотворенность одерживает верх над «идеологией» (как в «Зимнем вечере» тоска и грусть одухотворяются простой человеческой нежностью к живому и близкому человеку).

Проходит год, и то, что было обретено в «Подражаниях Корану», не только возвращается, но и осмысливается по-новому.

В статье «Пророк»¹ говорилось о том, что в последней строке одноименного стихотворения — «Глаголом жги сердца людей» — речь идет о пробуждении в людях совести. В произведениях Пушкина художественно уловлена онтология совести. Совесть есть способность человека сознавать себя человеком — венцом, центром и целью Творения. Это чувство богосыновства, сознание себя «образом и подобием Божиим», притом сознание не спесиво-дурацкое, а глубокое, трепетное, налагающее сыновнюю ответственность за свое поведение и помыслы и потому связанное с понятием греха. Такое сыновство включает чувство Отчего Дома как космическое — в древнем и буквальном смысле слова «космос»: устроенность, по-

¹ В. Непомнящий, «Пророк. Художественный мир Пушкина и современность» («Новый мир», 1987, № 1; то же — в моей книге «Поэзия и судьба». Изд. 2-е. М. 1987).

рядок, осмысленность и красота. Грех есть нарушение порядка, разрушение Дома.

Человек, влачившийся в «пустыне мрачной», существовал в плоском эмпирическом мире, совершал путь по горизонтали жизни наличной, текущей, преходящей — «утомительной» и «однозвучной». Встреча с шестикрылым серафимом дала ему Дом — большое бытие: на горизонтали восстановилась вертикаль — не только физическая («неба содроганье» — «гад морских подводный ход»), но и метафизическая («горный ангелов полет» — «дольней лозы прозябанье»). Человек оказался на пересечении, в центре открывшейся вселенской сферы, ойкоса, — и увидел, что все это — для него, что Дом этот — Отчий. Иначе — зачем посылать ангела к ничтожной твари, звать к ней: «Исполнишь волею Моей» — и велеть глаголом жечь сердца... других ничтожных тварей?

Творение осмысливается теперь в связи с человеком — единственным во вселенной существом, обладающим совестью — чувством Дома.

«Ойкос» в новогреческом произносится «экос». То, что скрыто в недрах «Пророка», с очевидностью содержится в том чувстве, которое сегодня заставляет нас постоянно поминать совесть, говоря о проблеме планетарных судеб Земли, формулируемой как «проблема экологии».

Сделав от «Пророка» скачок на три года вперед, мы встретимся со стихотворением, заставляющим вспомнить и лицейскую «келью» и «темницу» «Узника», — «Монастырь на Казбеке» (1829).

Лицейская «келья» сменилась заоблачной, «темница» — «ущельем»; «Высоко над семью гор... за облаками» есть «вожде ленный брег», и там, «как в небе реючий ковчег», — «монастырь». «Морские края» стали небом, а гора — символом спасения: к горе, как к «вожде ленному берегу», пристал ковчег Ноя, спасшийся от всемирного потопа.

Еще через год появляется «Пир во время чумы».

Многозначительна исходная ситуация. Посреди бушевания грозных внечеловеческих сил, сродни потопу (раньше это была «тьма», потом «буря... вихри снежные»), — небольшая группа людей пирует, отгородившись от остального мира каким-то отдельным, особым убеждением, которое они, по-видимому, считают единственно верным, — но которое никуда не ведет. Они пассивно ждут — но не «восхода зари» и не конца бури, а конца жизни и

приветствуют смерть поднятыми стаканами: «...спой Нам песню, вольную, живую песню, Не грустию шотландской вдохновенну, А буйную, вакхическую песнь, Рожденную за чашею кипящей»².

«Такой не знаю...» — отвечает Председатель и поет гимн.

Он не знает, а автор знает. В трагедии и гимне чуме причудливо переплетаются мотивы «Вакхической песни», тоже своего рода гимна, и «Зимнего вечера». Начальный монолог Молодого человека, призывающего выпить в память Джаксона «С веселым звоном рюмок, с восклицаньем», отсылает к призыву: «Что смолкнул веселия глас?» Дважды звучащие в трагедии обращения: «Спой, Мери, нам уныло и протяжно...» и «спой Нам песню, вольную, живую...» — к дважды повторенной просьбе: «Спой мне песню, как синица...», «Спой мне песню, как девица...» Гимн чуме начинается с «могущей Зимы», в «Зимнем вечере» — «Вихри снежные». В гимне чума «к нам в окошко... Стучит могильного лопатой» — в «Зимнем вечере» буря, «как путник запоздалый, К нам в окошко застучит». В гимне чуме «Зажжем огни...» — демонстративное предпочтение «лампады» «солнцу... ума», — ни «солнца», ни «ума» здесь нет: вместо «В густое вино Заветные кольца бросайте» — «Утопим весело умы»; вместо «Да здравствует солнце, да скроется тьма» — «Итак, — хвала тебе, Чума; Нам не страшна могилы тьма»; а дыханье «девы-розы», завершающее гимн, — эхо «миаых дев» и «юных жен»...

Гимн чуме и «глубокая задумчивость» Председателя в финале — мрачно-романтический апофеоз и крушение просветительской утопии, попытавшейся изъять из жизни людей ее священные основания, обойтись без них.

Первые слова трагедии — «Улица. Накрытый стол...».

Стол всегда стоял в доме и был принадлежностью дома, сакральной, как и сам дом. В «Пире во время чумы» действует бездомное человечество, уличное человечество. Дом утрачен не из-за эпидемии, а из-за того, что утрачено чувство священности дара жизни и тайнства смерти; бездомное человечество — это человечество, потерявшее святости. Все, что делается, делается наоборот: мертвые предлагают поминать весельем, смерть прославляют в гимне, на призыв не лишать себя надежды «встретить в небесах Утраченных воз-

² Разрядна в цитатах — моя; курсивы — цитируемых авторов.

любленные души» откликаются насмешками; перед лицом грозящего конца люди не становятся лучше, не думают друг о друге и о душе: Луиза так же суетна, завистлива и злобна, как была, и, может быть, еще хуже: «...ненавижу Волос шотландских этих желтину». Все продолжается так, как будто ничего в мире не изменилось. О Председателе, очнувшись от наваждения и увидевшем свою Матильду «там, куда мой падший дух Не досягнет уже», говорят: «Он сумасшедший,— Он бредит о жене похороненной»,— для этих людей ничего реального кроме смерти не существует, это поистине мертвецы, которым остается лишь хоронить своих мертвецов. Эти люди больны — и не чумой; чума лишь обнажила их внутреннюю, духовную болезнь, она сама вызвана этим состоянием; она у Пушкина так же не случайна, как не случаен всемирный потоп, подразумеваемый в «Монастыре на Казбеке»; случай, писал Пушкин в рецензии на исторический труд, есть «мощное, мгновенное оружие Провидения». Люди «Пира во время чумы» забыли свое божественное происхождение, назначение и достоинство, иначе говоря — потеряли совесть и живут без нее, думая, что так тоже можно. Это и есть их бездомность. От этого и чума.

«Пир; его картина», писал Достоевский, картина «общества, под которым уже давно пошатнулись его основания. Уже утрачена всякая вера; надежда кажется одним бесполезным обманом; мысль тускнеет и исчезает: божественный огонь оставил ее; общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего; надо требовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело, все бросается в телесный разврат и, чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает».

Странно даже, что тут имеются в виду только «Египетские ночи», а не «Пир во время чумы»,— настолько каждое слово соответствует смыслу и тексту трагедии-предостережения. Но здесь мы, кажется, уже перешагнули границу веков.

В январе в газетах промелькнуло сообщение: в одной из разрушенных армян-

ских деревень оставшиеся в живых люди решили, что наступил конец света и они — последние жители Земли.

У них были основания так думать. Не потому, что о деревнях вспомнили лишь спустя несколько дней. И не потому, что еще неизвестно было мнение главы армянской церкви: «Мы прежде всего сознаем, что это лишь проявление слепых сил природы»³.

Чаадаеву нравилась мысль Паскаля о том, что история человечества есть жизнь одного человека, существующего вечно. Сегодня и академику и крестьянину ясно, что вечность земного существования не есть неотъемлемое Достояние человечества. «Неба своды» могут пасть «на сушь и воды». Бессмертие человечества, заменившее нам бессмертие души, может прекратиться. И вовсе не только от запланированной или случайной ядерной катастрофы: озонные дыры, «парниковый эффект», агония природы, СПИД — вариантов более чем достаточно. То, что армянские крестьяне, вслед за нашими непросвещенными предками, назвали концом света, может произойти или начаться завтра — если уже не началось. Это ставит все человечество перед выбором: либо судьба души — либо снова живем.

Остается удивляться, до чего совершенны наши механизмы психологической защиты. Никто ничего не осознал. Никто не слышит тех, кто стремится осознать. Все идет своим чередом, «пир продолжается». Продолжает насильствоваться природа, продолжают расстреливаться небеса. Продолжается распространение орудий убийства людей, социальная злоба и семейная вражда. Продолжается похоть тела, похоть престижа, комфорта и власти. Продолжается развращение людей прагматической моралью, продолжают аборт и отказы от детей, опыты по генной инженерии и искусственному изготовлению людей. Уже земля встает на дыбы то там, то здесь, уже звезда Полярная пала на источники вод, и воды стали горьки, но Луиза продолжает ненавидеть Мери и желтину ее шотландских волос; продолжают драки за места и посты, за идейное владычество, за личное первенство; продолжают кровавые или грозящие кровью свары национальных самолюбый и инстинктов; продолжают называние черного белым и наоборот, взаимные обвинения и сваливание собственной вины на других. Продолжается «борьба» со СПИДом, в которой обращение к сове-

³ «Огонек», 1989, № 3, стр. 2.

сти и нравственному чувству заменено пропагандой противозачаточных средств. Продолжается зависть и ненависть, продолжают издевательства над подчиненными, беззащитными, больными, стариками, детьми и бессловесными тварями; продолжается все, что не требует труда души, все, что помогает убедить себя и других, что души не существует, — «как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех» (Матфей. 24, 38—39). Никто не думает, что сегодняшние слова могут стать последними словами.

Озонная дыра — это, может, еще и не конец, может, обойдется и с кнопкой; но если изживается понятие о совести — это конец. А как он будет — перегрызем ли мы друг другу глотки или сойдем на нет, выйдем, словно какие-нибудь ящеры, от неведомой чумы или деградируем до биологической приставки к компьютеру, — в любом случае это будет позорная гибель: люди исчезнут не от того или другого, а оттого, что перестали быть людьми, — от смерти. И прекрасно устроенный для нас Дом будет разорен и поруган.

«...Разврат последних упований... и — даже не щадя последних мгновений сознания! — содрогается Достоевский в рассказе «Бобок». — Им даны, подарены эти мгновения и... Нет, этого я не могу допустить...»

И впрямь — не хочется верить. Ведь это удивительное существо, «человек, существующий вечно», он так прекрасен в замысле своем, так может быть разумен, добр, отважен и мудр, так способен на любовь беззаветную, на самопожертвование даже до смерти; невозможно же допустить...

Такой получается комментарий к последним словам «Пира во время чумы»: Священник «Уходит. Пир продолжается. Председатель остается погружен в глубокую задумчивость».

У Пушкина последние слова значат страшно много. «Мне что-то тяжело; пойду, засну. Прощай же!» — эти простые слова говорят о Моцарте, о его внутренних отношениях с Сальери, обо всей огромной коллизии не меньше, чем «Где ключи? Ключи, ключи мои!..» — о Бароне и коллизии «Скупого рыцаря». В тройственном и словно колоколом озвученном вопле: «Я гибну — кончено — о Дона Анна!» — быть может, заключена вся «формула» Дон Гуана, а может — и всей трагедии...

Сократ перед смертью напоминает ученику о петухе, обещанном в жертву богу

врачевания; Вольтер, у которого кюре надеется хоть перед смертью вырвать признание божественности Иисуса Христа, отворачивается к стенке с требованием никогда не говорить ему «об этом человеке»; Пушкин, вспоминает А. Тургенев, «умирал тихо, тихо». Все слова, сказанные им за эти сорок пять часов, символичны — и просьба: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, — ну, пойдем!» — и ответ Данзасу, обещающему отомстить убийце: «Нет, нет, мир, мир» — вплоть до самых последних: «Тяжело дышать, давит». Блок истолковал эти слова в общественно-историческом смысле: «Его убило отсутствие воздуха». А другой смысл — внутренний, личный, он ведь тоже был? Что, помимо надвигающейся телесной смерти, могло давить его — ведь даже врага своего он простил?

Зимой позапрошлого года мне позвонила незнакомая женщина. Сначала робко извинилась, потом сказала, что она не москвичка, из Псковской области, и очень просит, если нетрудно, о встрече на несколько минут: ей необходимо задать мне очень важный вопрос — о Пушкине. Хорошо, сказал я, приходите, и подумал, что это студентка или учительница.

Она пришла и, размотав с головы толстый серый платок, повязанный поверх черной шубейки, оказалась молодой, круглолицей, светло-русой, голубоглазой и необыкновенно привлекательной; на мгновение в моем воображении возник портрет Авдотьи Панаевой, но тут же исчез: здесь не было этой гордости, этого сознания неотразимости, а взгляд — такой чистый, светлый взгляд сегодня редко встретишь.

Она села на диван, положив руки на колени, как девочка. Я спросил, откуда она. Оказалось, из села в Опочечком районе. Нет, она не учительница и не студентка, к филологии и литературе отношения не имеет. Ко мне обратилась потому, что прочла в «Новом мире» «Пророка», держала в руках мою книгу.

Я видел, что она волнуется; дело заключалось вот в чем: она хотела спросить, существуют ли точные, документальные, неопровержимые доказательства того, что именно Пушкину принадлежит (тут меня словно в сердце стукнуло: я как-то сразу догадался, что она имеет в виду) «Гаврииллада».

Я зачем-то сообщил ей о своей проницательности. Это не очень задержало ее внимание, она ждала ответа.

Как ей хотелось услышать, что доказательств нет!

Я рассказал, что они есть. Что даже если бы не существовало письменного признания Пушкина царю и не известна была фраза Николая, содержащая косвенное подтверждение (ибо не содержащая отрицания), — мы могли бы уверенно утверждать то, чего ей так не хочется слышать. Да что там — язык, фразеология, стилистика, поэтические ходы, немислимое ни для кого иного совершенство — все говорит: да, он.

Я рассказывал и чувствовал себя человеком — есть такие, — в котором самое противное то, что он всем всегда говорит правду. Я стал утешать ее — объяснять, что он тогда был просто мальчишкой в «этой теме», что «это» для него было вроде как греческий миф, с которым делай что хочешь, говорил о воспитании, о среде, о состоянии умов, — все это она слушала внимательно, но как-то понуро, и тень не сбегала с лица. Я рассказал, что раскаяние его было искренним и, по всему судя, началось задолго до разбирательства «дела» об анонимной богохульной поэме; что, быть может, не в последнюю очередь стыд мешал ему признаться перед чиновниками (другое дело — царь); что он потом всю жизнь не мог забыть своего проступка, раздражался и краснел, когда упоминали, а тем более хвалили поэму; что след этих переживаний идет через многие его произведения, свидетельствуя о свободном, никем не вынужденном покаянии.

В конце концов мне, кажется, удалось немного заглядеть перед ней его вину; она посветлела — и так горячо и трогательно благодарила, словно я помог ей в жизни. Стесняясь отнимать у меня время, она начала собирать и заматывать свой платок. Уезжать ей нужно было завтра утром; у нее были увесистые сумки — наверное, с продуктами, она ведь приехала в Москву из деревни. Сколько времени она потратила на то, чтобы разыскать мой телефон, дозвониться, добраться со своими сумками? Мне неловко рассказывать об этом, как будто я залезаю в чужую душу, — но и оставить эту встречу при себе тоже не могу. Когда она, еще раз поблагодарив, с легкими поклонами и пожеланиями всякого добра, ушла, мне в сердце словно ударила волна праздничной радости, надежды, благодарности и веры — и вместе с тем тонкой и смутной тревоги, что в дальнейшем не раз заставляла оглянуться на этот разговор и в конце концов прямо на середине писания вот этой работы, сла-

бый проблеск замысла которой мелькнула еще двадцать пять лет назад, неожиданно изменила ее, казалось бы, прочно сложившийся план.

«Как скучны статьи Катенина!» — сказал умирающий Василий Львович Пушкин, когда увидел у своей постели племянника. После чего племянник «вышел из комнаты, чтобы (так передает Вяземский. — В. Н.) дать дяде умереть исторически».

Живо представляю, как потрясенного Пушкина тихо, на цыпочках прямо-таки выносит за дверь, у него лицо человека, не знакомого, смеяться или плакать.

Однако что-то коробит. Человек умирает, а тут...

Ведь не наплыв противоречивых чувств заставляет племянника покинуть комнату. Тут кое-что посильнее любых эмоций человечности, инстинкт, нагло топчущий все на своем пути, бес художества, это чудовище, заставляющее известную породу людей обливаться слезами над вымыслом и цепким взглядом наблюдать особенно выразительные черты живой, невымысленной агонии. Слова, сказанные литератором, оказываются важнее жалости к больному, умирающему человеку, важнее даже приличий. Тут ни до чего, сотворается образ: умирающий литератор; все прочее немедленно тушует, иссякает.

«Пушкин был, однако же, — тактично застывает Вяземский (тоже, значит, чувствует!), — очень тронут всем этим зрелищем и во все время вел себя как нельзя приличнее». Ну, и то хорошо.

Менее чем через месяц, уже из Болдино, в веселую минуту Пушкин пишет Плетневу: «Около меня колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди, что забегит он и в Болдино, да всех нас перекусает — того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию. Бедный дядя Василий! знаешь ли его последние слова? (Рассказывает. — В. Н.) ...Как-ково? вот что значит умереть честным воином, на щите, *le cri de guerre à la bouchel*!»

Итак, «Нестор Арзамаса, в боях воспитанный поэт... Защитник вкуса, грозный Вот» («арзамасское» прозвище Василия Львовича; стихи — лицейские) запечатлен в привычном со времен лицей и «Арзамаса» (ставших уже историей) ореоле проикомической доблести, оваянной славой древних («на щите»). И что бы еще ни говорила «бедный дядя» на смертном одре, «послед-

⁴ С боевым кличем на устах (франц.).

ними словами» его отныне будут вот эти, декретированные Пушкиным, про Катенина и его скучные статьи, все прочее никому не интересно. Образ сотворен, и притом самого излюбленного Пушкиным сорта: образ-анекдот, образ-слух, образ-миф — и условный, и опирающийся на абсолютно безусловную реальность, ибо выражающий основную пафос жизни В. А. Пушкина — литературного бойца и вообще литератора по преимуществу. Встань на минуту из гроба автор «Опасного соседа», сам не последний шутник в литературе, он первым делом расцеловал бы нашего поэта за остроумие, за оказанные воинские почести, за верность словесности — а легкомыслие простил бы.

Что бы тот ответил? Наверное, отшутился бы.

Отношение его к смерти выглядит странным по сравнению со многими современниками. Чаще всего это отношение спокойное или равнодушно (в юности — легкомысленное, вообще свойственное возрасту). «Когда дело дошло до барьера, — вспоминал Липранди, — к нему он являлся холодным как лед... подобной натуры, как у Пушкина в таких случаях, я встречал очень немного».

О казни декабристов: «...повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна». Каково? «Повешенные повешены», и — мимо, к более важному «но...», хотя и среди повешенных не чужие, с Рылевым он был на «ты»...

О недавнем кумире: «...тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти...», потому-то и потому-то; речь идет о творческой эволюции Байрона; так что же — коли развивался не так, то... туда ему и дорога, что ли?..

Кто-то назвал Грузию врагом нашей литературы — она лишила нас Грибоедова; так что же, без запинки отвечает Пушкин, ведь Грибоедов сделал свое дело, он уже написал «Горе от ума»...

«Ох, тетенька! ох, Анна Львовна, Василья Львовича сестра!» — милая шутка, сочинена на досуге вместе с Дельвигом, название — «Элегия на смерть Анны Львовны».

Все это нельзя списать на молодость — она уже позади; к тому же молодость глядит мимо смерти, скользит по ней взглядом, а он смотрит ей прямо в лицо.

Главное же вот что. Ему и живого человека нетрудно представить умершим: «Придет ужасный час... твои небесны очи Покроются, мой друг, туманом вечной ночи...» Что же он будет делать, если это

случится? Вот что: «В обитель скорбную сойду я за тобой И сяду близ тебя, печальный и немой, У милых ног твоих — себе их на колена Сложу — и буду ждать печально... но чего? Чтоб силою мечтанья моего...» — перо его спотыкается, останавливается, наконец немеет; набросок — 1823 года, того периода, когда он отчаянно мечется между «ничтожеством» (небытием) и бессмертием души. Тут и обнаруживается впервые какая-то детская вера в «силу мечтанья» и жажда воззвать к умершему.

В 1830 году в Болдине, когда он шутит о дяде, эта жажда доходит чуть ли не до визионерства: «Я тень зову, я жду... Ко мне, мой друг, сюда, сюда! Явись... Приди... сюда, сюда!» Ткань «Заκлинания» трепещет от этих ударов, кажется, слова прорвут дыры и там что-то проглянет и что-то случится, ибо она у него и в самом деле не совсем мертва, — так сильна связь их душ.

Тогда же обращение к другой женщине — «Прощанье». «В последний раз» дерзая «мысленно ласкать» ее образ, он тут же произносит: «Уж ты для своего поэта Могильным сумраком одета, И для тебя твой друг угас». И дальше: «Как овдовевшая супруга», — уславиваясь, что отныне они друг для друга — мертвые. То есть сам нежно, но твердо рвет сердечные, духовные связи, расстается глубоко, до конца, до смерти. Стало быть, смерть для него бывает и в жизни. Запомним.

Теперь назад — к знаменитой элегии 1826 года.

Под небом голубым страны своей
 Она томилась, увядала... родной
 Увяла наконец, и верно надо мной
 Младая тень уже летала;
 Но недоступная черта меж нами есть.
 Напрасно чувство возбуждал я:
 Из равнодушных уст я слышал
 смерти весть,
 И равнодушно ей внимал я.
 Так вот кого любил я пламенной
 душой
 С таким тяжелым напряженьем,
 С такою нежною, томительной тоской,
 С таким безумством и мученьем!
 Где муки, где любовь? Увы, в душе
 моей
 Для бедной, легковерной тени,
 Для сладкой памяти невозвратимых
 дней
 Не нахожу ни слез, ни пени.

Не правда ли, она так же, если не более, жива, чем та, из «Заκлинания»? «...и верно... уже летала» — это повергает в трепет категорической достоверностью факта (только задним числом достигнутого: я еще не знал, а она верно уже лета-

ла) — факта присутствия живой «младой», «бедной» и не условно поэтической «легкокрылой», нет — легковерной тени⁵ — легковерной потому, что она уже побывала, уже веяла над ним, а он, даже узнав об этом, не только не воззвал, нет, даже и не почувствовал ничего кроме равнодушия.

Объясняли: он, мол, тогда же узнал о казни декабристов — до возлюбленной ли тут? Здесь помимо морального безразличия любопытный принцип методологии: все в произведении выводить из окружающих текст обстоятельств, а от самого текста держаться подальше.

А если заглянуть в текст? Тогда мы увидим: сначала он говорит, что она уже была тут, «уже летала», то есть жива. Но после слов о «недоступной черте» — загадочное и жуткое: «Так вот кого любил я...» Настоящий взгляд на труп. Слова, неопределенно плавающие в необозримом пространстве между «плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижу во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, и бесславу, не имущу вида...» (стихира из заупокойной службы) и — «гляжу, упившись наслаждением, С неодолимым отвращеньем» («Сцена из Фауста»; ср.: «...С таким тяжелым напряженьем»).

Тут, видимо, и объяснение парадокса: любил с такой страстью, а о смерти узнал с равнодушием. Какой уж тут парадокс: ведь все характеристики, данные тут же этой страсти, начиная с «тяжелого напряженья» (что это: Толстой? Достоевский? Чехов?), есть каталог известных всем черт самодовлеющей чувственности, так часто самозванно присваивающей имя любви. Дело, стало быть, в самом характере любви — она вспоминается ему сейчас как исключительно плотская, исчерпывающе чувственная, лишенная духовной связи. И когда умерла ее плоть — умерло все. Стихотворение, собственно, о том, в какое недоумение, растерянность, содрогание привело его это открытие. Ведь он равнодушен не к камню или, в самом деле, к трупу — к живой душе, которая «уже летала» над ним... Это и есть «недоступная черта» — которой не будет в «Заклинаниях» (как и мотива чувственности); там, наоборот, свобода и уверенность взывания, открытость финала — как распахнутость объятий: вот-вот явится.

Пастернак мечтал написать «восемь строк о свойствах страсти»; Пушкин написал шестнадцать об одном лишь свойстве одной лишь страсти — чисто плотской: свойстве превращать живое в мертвое (или — на философском языке — субъекта в объект).

О «продолжении» элегии «Под небом голубым...» — стихотворении «Для берегов отчизны дальней...», — написанном тогда же, когда и «Заклинание», пока говорить рано; сейчас надо отметить главное: при всей разности отношений с «героинями» элегии и «Заклинания» они обе для него — живые, хоть и умерли.

Собрав теперь вместе разнообразные равнодушия к смерти — своей ли, чужой, поэтического кумира, повешенных, возлюбленной, — легкомысленные шуточки, граничащие с кощунством, надежды на оживляющую «сиау мечтанья», страстные призывы, обращенные туда, можно найти всему этому общий знаменатель. Он, конечно, есть. Это не идея или убеждение, а чувство, во всей суверенности и специфике этого понятия, — чувство, могущее быть выражено им только художественно, что и происходит, — чувство, говорящее, что смерти, в сущности, нет. То есть она, конечно, существует, но — лишь в горизонтальном, физическом мире и имеет, стало быть, частичное, условное бытие; это лишь «ночлег» («Телега жизни»); это — граница, или черта, которая непреодолима физически, но может быть пронизана духовно. Чувство это намекает: человек, полагающийся в физической смерти абсолютный конец, сам уже не совсем жив; оно говорит: предавать мертвым погребать своих мертвецов.

Тут мне обязательно скажут (если уже не сказали): нельзя же так буквально толковать поэтическое чувство и то, что является всего лишь художественным образом... Подобное снизводительное мнение о «художественности», о том, что она не столько выражает, сколько замещает правду, встречается особенно часто, по моим наблюдениям, у людей, как раз изучение «художественности» сделавших своей профессией. В ответ им повторю сказанное В. С. Соловьевым о том «раздвоении между мыслью и чувством, которым с прошлого века и до последнего времени страдает большинство художников и поэтов. Простодушно принимая механическое мировоззрение за всеаучное и единственно научное, а потому несомненное, веря ему на слово, эти служители красоты не верят в

⁵ На неожиданность сдвига из «поэтичности» в реальность давно указала Л. Я. Гинзбург. (См. в ее книге «О лирике». Изд 2-е. Л. 1974, стр. 203).

свое дело. Как художники они передают нам жизнь и душу природы, но при этом в уме своем убеждены, что она безжизненна и бездушна, что их чувство и вдохновение их обманывают,— что красота есть субъективная иллюзия. А на самом деле иллюзия только в том, что отражение ходячих мнений на поверхности их сознания принимается ими за нечто более достоверное, чем та истина, которая открывается в глубине их собственного поэтического чувства.

Художественный образ — не Евклидова реальность, он сверхдостоверен и именно потому кажется «условным» с точки зрения Евклидовой логики; отсюда и «раздвоение между мыслью и чувством». «Поэт, как и всякий человек, живущий сердцем и умом, всю жизнь колеблется между «да» и «нет», между верой и неверием. Но поэт, может быть, чаще других ощущает себя орудием высших сил: он и сам пишет, и кто-то как будто подсказывает ему, водит его рукой. Как писал Баратынский, «дарование есть поручение»⁶. Что касается Пушкина, то существует прямое, без всякого «художества» и очень горькое собственное его свидетельство такого «раздвоения». Это знаменитый отрывок письма об «уроках чистого афеизма» (от апреля — первой половины мая 1824 года). Обычно этот отрывок привлекают у нас как раз для доказательства «чистого афеизма» (хотя в таком случае зачем «уроки»?). В другой своей работе⁷ я уже пытался прочесть его, обращая внимание на моменты, всеми обойденные, кроме (как я узнал позже) С. Л. Франка, проделавшего сходный анализ полвека назад, поэтому сошлю на него: «Своего наставника в атеизме «англичанина, глухого философа» он (Пушкин.—В. Н.) называет «единственным умным афеем, которого я еще встретил», а о своем мировоззрении он отзывается: «Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная. Сердце Пушкина вялело, очевидно, уже в то время к совсем иному мировоззрению»⁸. «Несчастье», о котором пишет Пушкин, в том, что «неутешительную» систему приходится принимать — она доказана англичанином, исписавшим «листов 1000» (или, как сказал бы Соловьев, отвечает

«механическому» мировоззрению как «всенаучному и единственно научному, а потому несомненному»). Видно, как Пушкин, явно считающий свой «афеизм» не очень «чистым», отчаянно ищет истину, пусть хоть «неутешительную», но чтобы это была доказанная истина.

О том, что такая потребность в истине, жажда избавиться от «раздвоения» существовала издавна, говорит написанное еще восемнадцатилетним лицеистом стихотворение «Безверие», где, рисуя душевные муки «отпадного» от веры, «собою страждущего» человека, он все эти переживания вмещает в формулу: «Ум ищет Божества, а сердце не находит» — и требует «снисхождения», а не порицания.

Герой стихотворения нигде не исходит из того, что отсутствует сам предмет веры, что «Божества», которого «ум ищет», не существует объективно,— все время говорится о том, что его «сердце не находит». А близко к финалу — прямая речь, посвященная вождельной, но недостижимой мечте: «С одной лишь верою повернуться пред Богом!» Таким образом, название концептуально точно: стихи не о безбожии, а о безверии⁹.

Все это у нас привычно списывают на «заданную тему» (выпускной экзамен 1817 года), тем самым видя в стихах акт лицемерия (что, впрочем, никого не беспокоит); внешние обстоятельства снова впереди текста. Но что в таком случае мешало изобразить законченного безбожника и осудить его? — лицемерить так лицемерить. Однако Пушкин выбирает более лирический и, видимо, отвечающий требованиям совести ракурс; объемность и драматизм стихов связаны с этичностью позиции. Но еще важнее другое: созданная в юношеском стихотворении духовная ситуация будет в точности повторена зрелым поэтом в элегии «Под небом голубым...». Разница лишь в предметах: в «Безверии» это «Божество», в элегии — «младая тень»; но отношения совпадают совершенно. «Божество» в «Безверии» явно существует в действительности — его как бы нет только для «несчастливого», который «Безумно погасил отрадный сердцу свет»; «младая тень» в элегии тоже несомненно существует, но ее как бы нет для автора, который воздвиг в своей душе «недоступную черту» равнодушия. «Недоступная черта», собственно, и есть причина терзаний героя «Безверия»,

⁶ Александр Кушнер, «Иные, лучшие мне дороги права...» («Новый мир», 1987, № 1, стр. 234).

⁷ В. Непомнящий, «...На перепутье...» («Вопросы литературы», 1987, № 2)

⁸ С. Л. Франк. Этюды о Пушкине. Изд. 3-е. Париж. 1987, стр. 37.

⁹ «Бабушка, а Бог знает, что мы в него не верим?» — вопрос внука писательницы Л. Б. Либединской.

к которому «мощная рука... с дарами мира Не простирается и з-за пределов мира...». Отсюда — если автор элегии равнодушен, то и герой «Безверия» — «Холодный ко всему и чуждый к умиленью». Наконец, «толстовская» по своему аналитизму деталь элегии — «Напрасно чувство возбуждал я» — есть не что иное, как свернутое, сплющенное, но адекватное воспроизведение центральной формулы «Безверия»: «Ум ищет... а сердце не находит».

Можно уверенно утверждать, что перед нами вырисовалась одна из главных коллизий духовной жизни Пушкина — притом то и дело сознательно объективируемая и остро переживаемая. Она состоит в том, что — пользуясь определениями В. С. Соловьева — «поэтическое чувство», достигая известной «глубины», неизменно обнаруживает в этой глубине таинственное свойство, постоянно атакуемое с «поверхности... сознания», но неистребимое, хоть и не находящее никаких «доказательств», кроме как в себе же самом.

Исходя из определения апостола Павла (Послание к Евреям, 11,1), вера есть удостоверение в уповаемом¹⁰ и уверенность в невидимом. Свойство, обнаруживаемое в душе поэта его «поэтическим чувством», в точности соответствует второй части определения: «уверенность в невидимом» (в «Безверии» это — «Божество», в элегии «Под небом голубым...» и в «Заклинании» — бессмертная душа). Тут можно дерзнуть и на утверждение, что формула «Ум ищет Божества, а сердце не находит» не есть целиком пушкинская мысль (в дневнике под 9 апреля 1821 года почти такая же мысль отмечается как убеждение Пестеля), а скорее максима в духе западного XVIII века (не случайно в дневнике она дана на французском), выдержанная в рационалистически-просветительском духе и построенная на довольно грубых абстракциях «ума» и «сердца»; нетрудно видеть, что у Пушкина «ум» не только «ищет», но он же и «находит» того, что «сердце» («поэтическое чувство») давно знает. Духовная сущность «раздвоения» дается поэтому не максимумом об уме и сердце, а апостольским определением: автор «Безверия» и элегии «Под небом голубым...» «уверенностью в невидимом» обладает, а «удостоверения в ожидаемом» не имеет. Это и есть «раздвоение».

Иначе говоря, Пушкину, как, впрочем, почти всякому человеку, вера дана как

дар, в полном смысле слова ни за что, «даром»; она еще не распознана толком и не возделана собственным усилием. Так сплошь и рядом бывает с любым талантом: не распознанный и потому не применяемый по назначению, он порой ведет к непостижимым, а то и безобразным и разрушительным странностям поведения¹¹. Есть вера угнетаемая и деформируемая и потому сказывающаяся в сниженных, профанных формах, которые тем причудливей и даже предосудительнее, чем сильнее врожденный дар веры. Отсюда все «странности» поведения, житейского и поэтического, — от кощунства над смертью до кощунства над самим предметом веры, — оставившие обильные следы в поэзии лицейской и начала 1820-х годов; здесь мы и находим истоки «Гавриилиады».

«Россия, в лице Пушкина, создавшего «Гавриилиаду», пережила Ренессанс», — писал В. Ходасевич; «...из всех оттенков его атеизма тот, который проявился в «Гавриилиаде», — самый слабый и безопасный по существу, хотя, конечно, самый резкий по форме. Чтобы быть опасным, он слишком легок, весел и неприкровен. Он беззаботен — и недемоничен. Жало его неглубоко и недовито»; «...я бы сказал, что это есть подлинный дух Ренессанса».

Под «духом Ренессанса» Ходасевич разумет «нежное сияние любви к миру, к земле... умиление перед жизнью и красотой», проявившиеся в пушкинской поэме и побуждающие «спросить: разве не религиозна самая эта любовь?». Но ведь качества, тут перечисленные, свойственны — и именно религиозно свойственны — и Иоанну Дамаскину, и безмянному иконописцу (по преданию — апостолу Луке) Владимирской Божьей Матери, и Андрею Рублеву, а вовсе не только Ренессансу. Ходасевич под так понимаемым «подлинным духом» Ренессанса подразумевает скорее внешние формы — живописные, пышные, пиршественно-плотские, — в которых и выражались чувства «любви к миру, к земле». Но, скажем, Рафаэль совсем не пышен, скорее даже аскетичен по-своему, тем не менее он носитель подлинного ренессансного духа; более того, именно в Рафаэле (а до него в Леонардо) этот дух как верование нашел свое исчерпывающее воплощение,

¹¹ Вспоминается Достоевский с его «парадоксальным» убеждением, что именно в «Мертвом доме», полном преступников, обитает, быть может, самая талантливая и духовно мощная часть русского народа.

¹⁰ Ср. в Символе веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века».

притом концептуальное. От ранних флорентийских мадонн¹² до Сикстинской, этого несравненного апофеоза подвига (но не в духе беззаветной веры и высокого смирения, а в духе героического самопожертвования, предвещающем романтизм), искусство Рафаэля воплощает евангельскую тему в таких решениях, которые, в сущности, ставят под сомнение акт, являющийся с христианской точки зрения центральным событием истории и краеугольным камнем вероисповедания, а именно добровольную крестную смерть Сына Человеческого во искупление грехов людей. И представляет этот акт как жертву в лучшем случае вынужденную или как гордое противостояние безликой силе, родственной античному Рокку. Из художественного мира картины вытеснялась идея богочеловеческой природы Христа и его божественного назначения, а образующую пустоту заполнял ужас физической смерти, преодолеваемый не столько верой, сколько героикой долга. Воскресение и бессмертие души, по существу, отменялись; Сын Божий превращался в обыкновенного смертного мальчика; образ, который должен был говорить о вечной жизни, напоминал о власти смерти; исподволь разваливалось все здание христианского вероучения, вся его система ценностей, иерархия горнего и дольного.

Нет сомнения, что Рафаэль считал себя убежденным христианином. Однако убеждение и верование — разные вещи; и если убеждения принадлежат лично художнику, то талант, дар его говорит от имени верования, в этом и разница между тем, что хочет сказать художник, и тем, что у него «сказывается». «Подлинный дух» Ренессанса, его мировоззренческое кредо состоит не в «любви к миру, к земле» и «умилении перед красотой» (это лишь качества, а не дух) — он состоит в веровании, что человеческое есть мера божественного. Не небо сходило на землю, а земля проецировала себя на небо. Икона, «окно в мир горний», стала картиной — не окном, а зеркалом, отражающим мир дольний, тленный, однако продолжающим счи-

таться окном. То, что не отражалось в зеркале, становилось лишним, вытеснялось в область абстрактно-спекулятивную у философов, в сферу мифа и аллегории у художников. Величавые движения, которыми ренессансные мадонны незаметно превращали божеское в человеческое, со временем преемственно сменились размахистым издевательством Эвариста Парни над самой идеей божественного, мифологически-карикатурно воплощенной в его «Войне богов».

Поставив «Гавриилиаду» рядом с этим яростным памфлетом против христианства — одним из непосредственных литературных образцов пушкинской поэмы, — нетрудно увидеть, какая пропасть отделяет кошунственную выходку Пушкина от просветительского манифеста Парни. Старательно наследуя пародийную форму «Войны богов», Пушкин «не дотягивает» до ее идеологичности: у него выходит комическая сказка. И как почти в каждой сказке, тут возможны подстановки, подмены персонажей. Перед нами «модель» (сказка, особенно фольклорная, всегда «модель») некоего соблазнительного события, героями которого могут быть кто угодно: хоть архангел, хоть «затянутый... адъютант». В дальнейшем Пушкин таким же образом «смоделирует» в «Графе Нулине» событие римской истории. Одним словом, то, что у Парни является содержанием — а именно сознательная дискредитация святых христианской веры, — Пушкиным берется как форма. Это, безусловно, кошунство, но такое, поверхность которого не просто неприкровенна, а прямо очевидна. Иначе говоря, это игра. И действуют в ней соответственно не лица (в «Войне богов» пародийное изображение лиц Троицы мыслится как разоблачение догматов с позиции «разума»), а маски или ряженые, разыгрывающие пародию на сюжет Благовещения — своего рода «мистерию-буфф», типологически связанную со средневековым карнавалом.

Конечно, автор «Гавриилиады» здесь совершенно ни при чем: он оглядывается не на средневековье, а на Вольтера и Парни, во многом обводя их прописи; но в отличие от них святых для него, в общем, безразлична и привлекается лишь как материал для фантазии или тема для вариации. (Неудивительно поэтому, что под именем «дьяра небес» выступает, в сущности, Зевс, а под маской Гавриила — Гермес.) Вопрос о святине, ее подлинности или ложности для него пока чисто внешний. Он не выдает зеркало за окно — он резвится, отвернувшись от окна. И это коренным образом отлича-

¹² См.: С. М. Стам. Флорентийские мадонны Рафаэля (Саратов. 1982). В этой работе проведен детальный анализ композиции, мизансцен, пластики фигур ряда рафаэлевских мадонн — в особенности с двумя младенцами: Иисусом и Иоанном Крестителем, — показывающий, что второй младенец всегда трактуется как крайне нежелательный для матери гость, от которого она оберегает сына. Ценность анализа не умаляется тем, что автор приписывает художнику собственные атеистические убеждения.

ет дух «Гавриилиады» от духа Ренессанса — духа секуляризации святыни изнутри самого о ней понятия.

Эта внутренняя отчужденность от святыни, принимаемой лишь как «тема» или «материал», дает ему безграничную свободу: он безобразничает вовсю, можно сказать, соп амоге (с увлечением); следуя за своими учителями атеизма и литературной эротики, он может сделать с образом героини все, что способно подсказать его «французское» воспитание, — но эффект получается довольно неожиданный. Соблазняемая у нас на глазах героиня удивительным образом оказывается вне сферы глумления и кощунства, вне иронии и пародии, вызывая скорее улыбку, с которой мы глядим на ребенка, не разумеющего ни иронии, ни прямой насмешки. Соблазнение касается лишь ее тела, но не души, по-прежнему наивной, — отсюда и юмор, окрашивающий ее образ и клонящий некоторые места поэмы к бытовому жанру «Графа Нулина» и «Домика в Коломне».

Ходасевич объясняет все это «богомольным благоговением Пушкина перед святыней красоты» — чувством, в котором С. Л. Франк видел прежде всего оттенок прирожденного религиозного преклонения перед божественным эросом, нисходящим на землю в облике красоты. А поскольку у Пушкина где «святыня красоты», там и святыня правды, то происходит самое, быть может, удивительное и непредвиденное. Посреди откровенно бутафорских фигур, пародийных масок, на фоне стилистики то условно литературной, то ренессансно-пышной, то гобеленой героиня глядится как живое яблоко, вставленное в натюрморт, — совершенно живая, исполненная очарования, женственности и простодушия. Перед нами не пародия на лицо евангельского рассказа, а просто совсем другое лицо, милая тезка.

Если это и похоже на Ренессанс, то на ранний: не случайно «Гавриилиаду» связывают со второй новеллой четвертого дня «Декамерона» Боккаччо (о прокаженнике, выдавшем себя за архангела Гавриила) — произведения хоть и фривольного, но еще не затронутого десакрализирующими мотивами.

Ренессансный художник, пища церковную картину, проходит сквозь святыню как через неощутимую воздушную среду; русский поэт, надевая бесовскую маску, натывается на нечто, кощунству не поддающееся. Дар, обнаруживающий связь с национальной духовной традицией и соприродность «тайному» верованию

автора, ограничивает бесчинство «убеждений».

Тем лучше для русского читателя; «Гавриилиада» «соблазнит» его, только если он к этому уже хорошо подготовлен¹⁸.

И тем хуже для автора. Все, что у него «не получилось» в его надругательстве над религиозной и народной святыней — образом Богоматери, — не получилось вопреки его стараниям. В отличие от Рафаэля он изрекает хулу вопреки глухому голосу совести, в итоге не позволившему ему осквернить героиню. Если как произведение «Гавриилиада» есть продукт исторических, культурных и иных внеличных факторов, то как поступок и намерение она целиком на совести автора. Тем более что поступок этот преследует определенную личную цель, которая кажется мне важнее указываемых исследователями внешних социальных и идейных побуждений.

Цель эта связана с главной темой поэмы, которая обнаруживает себя как раз при анализе центрального образа: она, эта тема, — единственное, что является реально общим для героини и ее окружения, единственное, что не дает «яблоку» выпасть из картины. Выше уже говорилось, что происходящая в сюжете вакханалия касается только тела героини, ее плоти, над которой и одерживается победа.

Могущество плоти — основная тема «Гавриилиады»: та сила, перед которой бессильно все и вся — от повелителя вселенной до самой чистой и невинной девушки. Это — то, про что написана кощунственная поэма и ради чего использован в ней священный сюжет. Здесь — личный интерес молодого автора с его «необузданными страстями» и, мягко говоря, беспорядочной жизнью. Профанация святыни совершается не только сознательно, но и небескорыстно.

Впрочем, корысть эта особого свойства. Пушкин никогда не был способен путать черное с белым, нарушать иерархию верха

¹⁸ Так случилось с Блоком. До него «Гавриилиада», несмотря на авторитет Пушкина и на притягательность запретного плода, не давала «традиции» (вспомним слова Ходасевича о «неглубоком жале» пушкинского кощунства). Единственное в большой русской литературе подлинное, «глубокое» кощунство, совершаемое Толстым в «Воскресении» над таинством евхаристии, осуществляется на совсем иных основаниях. Блок же — человек новой эпохи, и в «Благовещении» с его подлинно кощунственным эротизмом, несравнимым с «Гавриилиадой», он тем не менее именно на нее оглядывается.

и низа (отсюда отмечаемая Ходасевичем «недемоничность»¹⁴). У него есть чувство греха, иначе называемое совестью. И корысть состоит в том, что ему хочется оправдаться — хоть в шутку, хоть «для себя». Но именно совесть он и попирает, когда сочиняет и дает читать свою поэму. Думается, то чувство, которое впоследствии он испытывал, краснее при упоминании об этом — так и хочется сказать: «молодежном» — произведении, было чувство стыда.

О внутренних противоречиях автора поэмы внятно говорит она сама — ее завершение. Оно поразительно. Рядом с продолжающимися мальчишескими выходками («Аминь, аминь! Чем кончу я рассказы?») в нем появляются интонации серьезные, глубоко лирические и... чуть ли не заискивающие. Крупно набедакурился и еще не отдышавшись, он начинает просить прощения: «Раскаянье мое благослови!» (хотя тут же снова ерничает: «Не то пойду молиться сатане») — и вдруг, мгновенно сменив тон, заговаривает о том времени, когда «важный брак с любезною женою Пред алтарем меня соединит». Готовясь к будущему Дому, он не только то знает, что грешит, но и то, что как аукнется, так и откликнется. Тут-то и рождается самое невероятное в этой поэме — финал: «Даруй ты мне беспечность и смиренность, Даруй ты мне терпенье вновь и вновь Спокойный сон, в супруже уверенье, В семействе мир и к ближнему любовь!»

Но ведь это вот что напоминает: «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему... Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего...» — ту самую молитву святого Ефрема Сирина, которую он переложит через пятнадцать лет, незадолго до смерти, в стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны...».

Конечно, он и здесь ерничает. Но принять этот финал только как шутку, как усмешку значило бы счесть автора поэмы безнадежно-толстокожим молодым человеком. Мне другое сдается: ему, верно, иногда очень хочется помолиться, но он стесняется. Поэтому паясничает и охальничает, как мальчишка, желающий показать, что ему все ничо чем,— и прежде всего пе-

ред тем, к кому втайне тянется. Почитать святых не принято, несовременно, его не учили этому, а у него есть смутная в этом потребность. Его натура, возраст, опыт повесы, художнический кураж и культурное чутье подсказывают путь завлекательный, древний до дикости, опасный и дразнящий: фамильяризацию святых (связанную в данном случае со смехом и темой «телесного низа»). Все это, конечно, совершенно стихийно: в верхних этажах сознания, то есть в «убеждениях», используемый им сюжет не более чем «предрассудок», входящий в официальную идеологию российского «самовластия».

Эта самая фамильяризация ему так не пройдет. В «Гаврииладе» он потерпел ошутительное поражение в борьбе со своим даром, не позволившим довести кощунство до уровня французских образцов, — и, как борющийся с Богом Иаков, стал несколько прихрамывать; в дальнейшем у него немало попыток как-то исправить, что натворил, «извиниться», отмыться, покаяться. А все его Марии, эти почти идеальные женщины, в которых главное — чистота и верность?

Что можно сказать уверенно — это что появление «Гавриилады» объясняется прежде всего и главным образом проблемой глубоко личной, в конечном счете духовной. Проблемой для него стала власть плоти, сила земного притяжения.

Но сила низа начинает быть проблемой и тяготить, когда пробуждается влечение кверху. Он может еще не отдавать себе в этом отчета — но идет 1821 год; скоро начнется знаменитый «кризис 20-х годов». Кризис убеждений. И, кажется, первые зарницы грозы блеснули в кощунственной поэме. Но об этом я уже писал и не хочу повторяться¹⁵.

Во второй половине 1820-х годов у него появляется странная тема — нелюбовь к весне: «Весна, весна, пора любви, Как тяжело мне твое явление». Еще не раз он будет говорить, что весной он «болен»; Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены — и это про обожаемую поэтами пору вдохновенья, роз и соловьев.

Еще раньше (1824), в третьей главе «Онегина», он самое любимое, самое возвышенное из своих созданий — Татьяну — подвергнет испытанию той страшной силой, перед которой не устояла наивная героиня «Гавриилады», — попытке «волшебным

¹⁴ «В нем был...— писал С. Л. Франк о нравственном облике Пушкина, — какой-то чисто русский задор цинизма, типично русская форма целомудрия и духовной стыдливости, скрывающая чистейшие и глубочайшие переживания... Бартевев метко называет это состояние души „*лордством поэта*“» («Этюды о Пушкине», стр. 12).

¹⁵ См. работы о первой главе «Онегина» и «Борисе Годунове» в моей книге «Поэзия и судьба».

ядом желаний», ожиданием «блаженства темного», сотрясающим все существо.

Через два года — пятая глава: кошмарный сон, происходящий «карнавально», на святки, в крещенский сочельник, чудища, собравшиеся на свой шабаш, кричат, указывая на чистую девушку: «мое! мое!» — невозможно думать, что при этом была забыта «Гавриилиада», где претенденты на невинную «добычу», ряженые, маскированные, оспаривали ее (до драки) друг у друга; а если так, то богохульная поэма отзывается тут как пережитое автором бесовское наваждение¹⁶.

В том же 1826 году появляется элегия «Под небом голубым...», где власть плоти над духом будет осмыслена — точнее восчувствована — как власть смерти над жизнью.

В этих стихах он получает совсем новое понятие о смерти, не схожее с тем, что думал о ней раньше. Он открывает для себя смерть как реальность постороннюю, находящуюся здесь, в жизни, как явление жизни. Смерть, в ее качестве небытия, отрицания бытия, опознается им в собственном равнодушии к живой душе — равнодушии, тождественном отрицанию ее бытия. Это и есть собственно смерть, смерть в духе.

Пораженный, очевидно, открывшимся ему, он нарекает это новым именем: «недоступная черта». Имя ново, потому что ново его знание. Он постигает, что настоящая смерть может начинаться и существовать при жизни — существовать там, где властвует не бессмертный дух, а тленная плоть. И раз он, страстно любивший ее во плоти, равнодушен к ее живой душе, то выходит, что мертва не она, а он, что ее смерть — не в ней, умершей, а в нем, живом; что не она, а он — труп; что он — в числе мертвых, которые погребают своих мертвецов.

Все это, разумеется, происходит не в той области, где распоряжаются понятия, — в этой области такого не постигают, и понятиями такое выражается скудно и чуждо. Элегия «Под небом голубым...» — клубящаяся стихия мыслящего чувства, сумрачное облако, из которого поэту — как Моцарту, слышавшему во мно-

жение всю создаваемую симфонию, — вдруг прогремело открытие.

Открытие это поистине велико, потому что устремляет его взгляд к высотам, до сих пор недоступным; и оно страшно — ибо указывает ему, на какой низкой духовной ступени он находится.

Насколько благотворно такое сознание, говорит предание о том, как молодой послушник прибежал к старцу и с трепетом поведал, что такой-то видит ангелов; на это старец отвечал: что ж, это не большое диво, больше бы дивился я тому, кто видит свои грехи.

В элегии 1826 года поэт неожиданно оказывается весьма близок к «диву» подобного рода. Что же до «видения ангелов», то и этого он не минует — и очень скоро.

В элегии «Под небом голубым...» произошло художественное осмысление результатов огромного внутреннего процесса 1817—1826 годов — от «Безверия» через падение «Гавриилиады» и драматическое его переживание, через мятущуюся лирику начала 1820-х годов о смерти и бессмертии к онегинским главам и историко-религиозной концепции «Бориса Годунова», — процесса напряженного и глубоко личного. Элегия оказалась его итогом, моментом прозрения и очищения, плод которого явится в другом стихотворении, написанном всего месяц с небольшим спустя. В этом стихотворении и будет сформулировано содержание пройденного пути:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влячился...

«Пророк» явился поистине эманацией элегии «Под небом голубым...», где автор увидел себя живым трупом, осознал свое духовное несовершенство, открыл смерть как границу между дольным и горним. И воззвавший в конце стихотворения «глас» есть уже голос личного, «живого Бога», а не абстрактного «Бога философов и ученых» (Паскаль). Но для того чтобы услышать этот глас, оказалась нужна жертва — жертва своею смертной плотью, слепой, глухой, грешной, празднословной и лукавой, не годной ни на что иное, как превратиться в «труп» и только после этого преобразиться и восстать очищенной и одухотворенной.

Обычно соотносят «Пророка» с Ветхим заветом, прежде всего с книгой пророка Исая. Но приходит на ум и другое соотношение — с Новым заветом. «Деяния святых апостолов», глава 9: «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал

¹⁶ «Друг демона, повеса и предатель» называет он себя в финале «Гавриилиады». Любопытно, что «выпадение» образа героини из ряда масок словно нарочно подтверждает церковное учение о том, что бесы могут являться в любом облике — от ангела до самого Спасителя, — кроме облика Богоматери.

на землю и услышал голос; говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь; трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди... и повели его за руку... И три дня он не видел, и не ел, и не пил» (3—6, 8—9). «В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему», чтобы он пошел к Савлу. «Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим... Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами...» (10, 13, 15). Возложив на Савла руки, Анания сказал: «Брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился...» (17—18).

Тот, кто был гонителем Христа, преобразился и стал Павлом, «апостолом любви», «апостолом языков» (то есть «народов», а также «язычников») — человеком с пылающим сердцем и с глаголом, жгущим сердца людей. Но не с апостолом сопоставляет себя автор «Гавриилады», а теперь «Пророка»; он лишь дает масштаб духовного переворота, совершающегося в нем.

«Восстань, пророк...». Возникает холодящий вопрос: восстал ли? совершилось ли преобразование? и если да, то с кем — с автором или только с героем стихотворения?

Происходит невероятное: его, ссыльного, тесно связанного с заговорщиками, над которыми произведена расправа, взывает новый, недавно коронованный император, ведет с ним долгую беседу, заканчивающуюся триумфально, почти союзом царя с поэтом на благо отечества; в обществе его носят на руках и чуть ли тоже не коронуют; он как на крыльях, пишет стансы «В надежде славы и добра...», в которых на глазах у общества учит самодержца, как надо жить, посылает сосланным декабристам стихи, в которых через голову правительства обещает амнистию, намекая, что имеет на это все основания, — вообще находится в эйфории и соответственно ведет себя¹⁷.

¹⁷ О смысле «Послания в Сибирь» и о последекабрьском поведении Пушкина см. мою работу «Судьба одного стихотворения», («Поэзия и судьба», М. 1987).

Одновременно происходят странные вещи. Возвратившись ненадолго в Михайловское, он пишет бесконечно грустную «Зимнюю дорогу», где пейзаж уныл, как «пустыня мрачная», и «Колокольчик однозвучный Утомительно гремит». Позже — черновой набросок «Кто знает край...», где он уговаривает Рафаэля забыть «еврейку молодую» и писать «Марию нам другую» — какую-то Людмилу, воспеваемую им. Явная шутка — по привычке, что ли?

В августе 1827 — вообще небогатого лирикой — года появляется «Пока не требует поэта...». Считается, что это романтический манифест, но слышится в нем что-то двусмысленное, похожее на неуверенность, прикрываемую гордостью, на попытку оправдания того, что он не совсем пророк, не всегда пророк... Рядом «Ангел», демонстративно противоположенный «Демону» 1823 года и финалу «Гавриилады» («Друг демона...»). Дух отрицанья, дух сомнения «исправился»: «Не все я в небе ненавидел, Не все я в мире презирал». Бес, познающий «умиление!» Это искренне и красиво, но как-то не очень ловко (в дальнейшем он не раз еще будет путаться, приписывая, например, Евангелию «божественное красноречие» и «вечно новую прелесть», — прелесть в сакральном языке значит соблазн). Как будто ему хочется заговорить тем, новым языком, а он плохо его слушается. Кажется, что он растерян, словно попал в ловушку.

Через полгода появляется одно из самых совершенных и самых мрачных стихотворений Пушкина — «Три ключа», где утверждается желанность смерти. Последняя строка — о «ключе забвенья» — ужасна: «Он слаще всех жар сердца утолит». Не уголь ли, «пылающий огнем», хочет он «утолить» забвеньем?

Жизнь между тем идет своим чередом — и наносит ему удары. Из них самый страшный — не дело об «Андрее Шенье», не полицейские притеснения, а грандиозный скандал по поводу его «Стансов» («В надежде славы и добра...»), которые были замышлены как программа и поучение царю, а обществом, включая близких людей, сочтены лезть и лицемерием. От этого удара он оправится не скоро, может быть, никогда. Это был тяжкий урок: чем выше заносишься, тем больше падать. Его не поняли, и он сам был в этом виноват. Трезвая от удара, он почувствовал себя одиноким как никогда.

Это был новый кризис. Первый, начала 1820-х годов, был в большой степени поли-

тическим и идеологическим. Теперь же настал кризис в точном смысле духовный. Острота его была чудовищна и в полной мере выразилась в центральной вещи этого периода:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Стихи помечены днем рождения — 26 мая 1828 года — демонстративно и даже агрессивно. Ничего подобного Пушкин не писал ни до, ни после этого; не было и не будет у него стихов столь безысходных, а главное — однозначных.

И стихотворение и весь кризис принято объяснять «тягчайшим общественным кризисом, глубокой депрессией передовых кругов»¹⁸. Снова внешние обстоятельства на первом месте. Но ведь от «общественной депрессии» автор «Стансов» был как раз далек, он рвался к деятельности, а конфликт по поводу «Стансов» был у него именно с «передовыми крутами». Да как бы ни были тяжки внешние обстоятельства, общественные и личные, отвергнуть из-за них с в е щ е в н ы й д а р ж и з н и — такое, может, и бывает, да только это на Пушкина не похоже.

Нет, это был поистине духовный кризис — кризис веры в себя, в свое соот- ветствие. К уже названным причинам тут присоединяется еще одна.

«Пророк»

Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал...

И сердце трепетное вынул,
И угля, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул...

И вырвал грешный мой язык,
И празднословный...

И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей...

И их наполнил шум и звон...

Духовной жаждою томим...

Размышляя над устной повестью Пушкина «Уединенный домик на Васильевском» (1828), Анна Ахматова пишет, что этот год у него — период, когда происходит «некое осознание своей жизни как падения (карты, девки, гульба), которое, если не спасет какая-нибудь В е р а, кончится безумием»; в этом году «исследователю грозит опасность заблудиться в прелестном цветнике избранниц»; одновременно наносятся визиты в бордель («Сводня грустно за столом...»); все продолжается, как будто в его жизни ничего не произошло два года назад, как будто он не писал «Пророка». И это должно терзать его невыносимо. Душераздирающие строки «Воспоминания»: «с отвращением», «трепещу», «проклинаю», «вижу в праздности, в неистовых пирах, В безумстве гибельной свободы... Мои утраченные годы» — написаны за неделю до «Дара напрасного...»; и тема здесь — большая личная совесть: «...горят во мне Змеи сердечной угрызенья» — опять уголь, «пылающий огнем», — и не то же ли самое «жало... змеи» обратилось теперь против него самого?

Выходит, все, что произошло в «Пророке», правда, но — он не может, ему не по силам. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину: встань, иди в Ниневию — город великий и проповедай в нем... И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня...» (Иона, 1, 1—3).

В «Пророке» ему была дарована новая жизнь в ответ на его духовную жажду. В «Даре...» жизнь называется даром напрасным и случайным. В «Пророке» преображение произошло кровавым образом, напоминающим казнь. В «Даре напрасном...»: зачем жизнь «на казнь осуждена»? «Пророк» заканчивается указанием нового пути. В «Даре напрасном...» — снова дорога в «пустыне мрачной» с однозвучным колокольчиком «Зимней дороги».

«Дар напрасный...»

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал...

Сердце пусто...
Душу мне наполнил страстью...

Празден ум...

Цели нет передо мною:
Сердце пусто...

Однозвучный жизни шум...

И томит меня тоскою...

¹⁸ Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина (1826—1830). М. 1967, стр. 179.

Это невыносимо: перевернутый «Пророк»... Все поставлено на голову, отвергнуто, отринуто. Как невозможно постигнуть поднебесный взлет «Пророка», так недоступна черная глубина катастрофы, давшей эти погребальные строки.

Но ведь это уже было, было не раз, было часто, может быть, всегда было, только не в таких резких и жутких формах происходило и не так осознавалось, если вообще раньше осознавалось. Человек задыхается, не попевая за своим даром, идет, сбивая ноги и обливаясь потом, падает, поднимается, падает, но его все тащит и тащит, влачит и волочит: «...пойдем, да выше, выше, — ну, пойдем!» — как сам он будет просить в предсмертном забытии, а он все не попевает, встает, и снова падает, и снова влачится по камням, и хочется, чтобы это кончилось, чтобы остаться лежать и умереть.

Вот это с ним и было, и он это теперь понял, почувствовал и осознал — тем яснее, чем глубже сознавал беспримерность масштаба, несмысленность «божественного глагола», который слышать было дано лишь ему. Его творческий дар был сопряжен тому дару веры, который называется «уверенностью в невидимом»; даже больше — дар веры воплотился в его творческом гении — отсюда его абсолютный слух на правду бытия и правду идеала, его тысячелетний онтологизм, беспредельное совершенство, нерукотворная красота, гений благоволения ко всему живущему и воздушная невесомость. И от всего этого он то и дело отставал, да ведь с этим и невозможно сравняться никому из «детей ничтожных мира», и ему тоже.

Д. Баагой сопоставлял «Дар напрасный...» с книгой Иова; но в том смысле и тех масштабах сопоставления, которые он предлагает, его идея критики не выдерживает: ведь Иов был праведнейший из людей земли Уц и страдал неповинно, ибо Бог попустил сатане испытать крепость его веры. Автор «Дара напрасного...» Иовом себя не чувствовал — у него была совесть, он видел свои грехи, о чем и говорит «Воспоминание». Он больше похож на Иону, бегущего «от лица Господня».

И все же без книги Иова не обойтись: «...открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов, и сказал: погибни, день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек!.. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?.. На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком?..» (3, 1—3, 11, 23). Если вслушаться в мерное похоронное звучание сти-

хов не так, как слушали жалующегося Иова его правильные и бессердечные друзья, только и делавшие, что объяснявшие ему, как он не прав, — ведь мы услышим стон и плач: «дар — напрасный — дар — случайный — дана — тайной — осуждена — меня — властью — воззвал — стражда — взволновал — мною — пуство — ум — тоскою — однозвучный — шум...»

А-а-а-о-о-у-у-у...

«Суровый славянин, я слез не проливал, Но понимаю их...» («К Овидию», 1821). Понять, что это слезы, значит понять смысл — не стихотворения, а поступка, порыва. Это стон о помощи, обращенный... к кому? «Кто меня враждебной властью Из ничтожества воззвал?..»

«Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его?.. Зачем Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем Ты не простишь мне греха и не снят с меня беззакония моего? Ибо, вот, я лягу в прахе; завтра поищешь меня, и меня нет» (Иов, 7, 17—18, 20—21).

Друзья Иова стали обвинять его в богохульстве. Но Бог простил его — хотя со всею строгостью поставил на место: «Ты хочешь испровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя?» (40, 3), — простил, благословил и вернул все утраченное. Потому что все свои речи Иов обращал прямо к Всевышнему, говорил с живым Богом — так сильна была его вера. За веру Бог оправдал его.

Мятежность пушкинского «Дара напрасного...», этого анти-«Пророка», — может быть, подобие такого прямого обращения. Вера есть «удостоверение в уповаемом»; может быть, здесь впервые прорвалось то, что труднее прирожденной «уверенности в невидимом» и гребует духовного усилия, — упование? Почти подетски: как же так — ведь в «Пророке» Ты воззвал ко мне и поднял из праха — а теперь оставил?

И произошло то, на что он если и «уповал» в глубине души, то не так уж уверенно и не так скоро. Его услышали и ему ответили. И не «из бури» (Иов. 38, 1).

«Дар напрасный...» был напечатан в «Северных ветах» на 1830 год. В январе этого года Е. М. Хитрово известила Пушкина, что стихи прочел и на них ответил — тоже стихами — митрополит Московский Филарет; стихи находятся у нее.

Он ответил ей в записке, что не может сегодня быть у нее, хотя «одного любопытства было бы достаточно для того, чтобы привлечь меня. Стихи христианина, русско-го епископа, в ответ на скептические куплеты — это право большая удача». Из бравады с ее шутовским самоуничтожением («скептические куплеты») так и выгляды-вает растерянность: что он там написал?

Вот что: «Не напрасно, не случайно Жизнь от Бога мне дана. Не без воли Бога тайной И на казнь осуждена. Сам я свое-нравной властью Зло из темных бездн воз-звал, Сам наполнил душу страстью, Ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, заб-венный мною! Просияй сквозь сумрак дум,— И созиждется Тобою Сердце чисто, светел ум»¹⁹.

Написал эти стихи человек, бывший бла-годаря своему личному авторитету фактиче-ским главой русской православной церкви (со времен Петра лишенной, как известно, патриаршества). Ни один из писавших в наше время о Филарете Московском (В. М. Дроздове) не сказал ничего вразуми-тельного — вероятно, и по неведению. А это был один из крупнейших русских святите-лей, которого знаменитый философ В. Н. Лос-ский назвал отцом русского богословия; почитаемый народом пастырь и благотвори-тель, выдающийся церковный деятель — без его благословения синод (который Фи-ларет покинул) не принимал ни одного важ-ного решения; человек сложного характера, нелицеприятный к сильным мира сего, в том числе и к государю²⁰, глубокий рели-гиозный мыслитель и великий проповедник. При его участии начали переводить на рус-ский язык Священное писание, стало укреп-ляться старчество — явление чрезвычайного духовного значения, свято почитаемое в народе, стяжала свой огромный авторитет Оптина пустынь. Многие его решения по церковным делам, поучения и мысли полу-чили почти канонический статус; вообще церковь по сию пору высоко чтит его, хра-нит предание о нем как о провидце и одном из своих учителей, хоть и не канонизиро-ванном, но близком (об этом также говорил В. Н. Лосский) к чину святости. «...Дело идет не о человеке обыкновенном,— писал

биограф в конце прошлого века,— а о принадлежащем к числу тех немногих из-бранных, которые рождаются веками и состав-ляют истинную славу и драгоценное укра-шение родной земли своей»²¹. Масштабы этой фигуры в народном сознании видны из того, что когда в 1867 году тело скончав-шегося митрополита Московского переноси-лись из Троицкого подворья в Чудов мона-стырь, народ стоял толпой по обеим сторо-нам дороги на протяжении нескольких верст.

Ходили слухи, что он крут и чуть ли не жесток, причем распространены они были больше в светских кругах, чем в церков-ных, ибо Филарет был действительно строг и суров, но по-монастырски. С мн-рянами было иначе. Тот же биограф при-водит рассказ современника: «Как кротко выслушивал он мои мнимофилософские лжеубеждения! Как мирно возражал он на все нелепости, бережно прикасаясь к моло-дому самолюбию и осторожно умеряя во мне гордость безумия. Другие на его месте, изо ста 99, с гневом удалились бы от меня. Но он... вынес мой бред и терпеливо подла-мывал мало-помалу подпорки моего полу-деизма, полуматериализма, фатализма и т. д.»²².

Это было, добавляет автор, в конце 1820-х годов; примерно тогда же был напи-сан и ответ на стихи Пушкина. И именно такой же терпимый и мудрый характер носит этот ответ, в котором использована с максимальным старанием форма «Дара напрасного...».

Зачем так? Вовсе не для того, чтобы про-демонстрировать свое личное умение и спе-цифическую традицию древней церковной учености, в которую входила и версифика-ция. А для того, чтобы ответ Пушкину звуча-л как бы от имени самого самого Пуш-кина. Чтобы сказать ему: ты долж-ен был—и, наверное, хотел бы—вот как написать: «Не напрасно, не случайно...»; ты ошибся, забыл; подумай, загляни себе в душу, вспомни—и все станет на свои места.

Это должно было произвести глубочайшее действие на Пушкина — с его впечатлитель-ностью и горячей отзывчивостью на малей-шее участие, доброе слово или движение души. Его расслышали, поняли, ему протя-

¹⁹ Последние строки — искусное переложение слов 50-го (покаянного) псалма: «Сердце чисто созижди во мне, Боже...»

²⁰ А с другой стороны, способный публич-но признать свою неправоту и публично попросить прощения у человека, бесконеч-но ниже его по положению, — так окончилось его столкновение со знаменитым док-тором Гаазом на заседании Тюремного ко-митета.

²¹ Проф. И. Н. Корсунский. Гармони-ческое развитие и проявление сил и спо-собностей души в святителе Филарете, митрополите Московском. М. 1893, стр. 4.

²² И. Корсунский. Черты из жития св. праведного Филарета Милостивого, в жизни Филарета, митрополита Московского, Сергиев Посад, 1893, стр. 59.

нули руку — и откуда! Авторитетнейший иерарх русской церкви — который за богохульство (Булгарин уже успел где-то вякнуть об этом) мог испепелить его, а мог и пройти мимо, безнадежно махнув рукой, — услышал его вопль о помощи, увидел, что человек находится в крайвейшей нужде духовной, снял церковное облачение, оделся в цивильное платье второстепенного стихотворца и, умалившись таким образом, приблизился к нему с увещанием. И сделал так потому, что понял: здесь случай непростой и человек непростой — избранный человек, нужный Богу, людям и отечеству.

Стихи Филарета были прочитаны Пушкиным в первой половине января 1830 года — ответ митрополиту датирован 19 января:

В часы забав или праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты...

Ведь это не лучшие стихи, вот что важное. Не соблюден важнейший закон его работы: воплощать чувство не в вихре и буре его, а уже пережив и хотя бы на шаг отступя («Прошла любовь, явилась муза»). Это стихи, написанные врасплох. Отсюда сочетание очевидной спонтанности с некоторым... усилием. Конечно, это и потому, что надо было ответить, и притом тут же: по этикету и по необходимости. Но — и по чести и по совести. Отсюда — неотглаженность: покаяние дается усилием над собой и несовместимо с заботой о «совершенстве». Тут даже и неуклюжесть есть, и пускай; важнее всего смысл:

Твоим огнем душа пала
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

«Праздная скука», «лукавая струна» — «язык, И празднословный и лукавый»; «голос величавый» — «Бога глас»; «огнем душа пала» — «угль, пылающий огнем»; «мрак земных сует» — «В пустыне мрачной»; «И внемлет арфе серафима» — «И

внял я неба содроганье», «И шестикрылый серафим»...

Все стало на свои места; «Пророк» вернулся. Слово Филарета оказалось точкой опоры, которая помогла перевернуть ставший было на голову мир. Прозвучало эхо далекой уже юности. В «Безверии» говорилось об «отпадшем веры сыне»: «И мощная рука к нему с дарами мира Не простирается из-за пределов мира», — в ответе Филарету: «И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты...».

Он отвечает не только Филарету; через святителя лишь в очередной — и самый важный — раз прозвучал тот же «глас», «голос величавый», который и раньше его «поражал» — но который он, видно, не всегда слушал.

И вот об этих стихах старательно распространяли мнение, что они как раз «лукавые», вынужденные, неискренние. И никого не смущало, что поступок Пушкина выходит просто циничным. Что поделаешь — это, как говорится, уже факт нашей биографии.

С 1830 года одна из важных его лирических тем — эротическая (собственно эротическая, не тема любви) — стремительно и как бы даже демонстративно иссякает; последний ее всплеск, самый сильный, — «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...»; а потом — «Кляню коварные старанья Преступной юности моей...», «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу Волнениям любви безумно предаваться...». Тема терзающих его «страстей» уходит — и вот тогда возвращается к нему, снова слетает та «младая тень», к которой он остался холоден, как труп в элегии «Под небом голубым...», и в этих стихах («Для берегов отчизны дальней...»), где он словно просит прощения, нет ничего, кроме любви, скорби и надежды.

Осенью того же 1830 года написан «Пир во время чумы». Как на мрачную медитацию «Дара напрасного...» отвечал митрополит, так на вопль ужаса, облеченный в форму гимна чуме, горделивого глумления над священным даром жизни, отвечает Священник. Пушкин принимает руку, протянутую ему «с высоты духовной», Вальсингам отвергает ее, но потом, прозрев, говорит о высоте, куда «мой падший дух Не достигнет уже», а в финале остается в «глубокой задумчивости», вызванной диалогом со Священником²³.

²³ Автор трагедии «делит» себя между Вальсингамом, автором гимна чуме, и Мери с ее сетованием: «Мой голос... Был голосом

Человеческий смысл ответа Филарета на «Дар напрасный...» как сердечного поступка бросает новый свет на коллизию «Пира во время чумы». Среди пирующих все чужие друг другу. Нет любви между ними, нет дружбы, никто ни к кому не привязан и никому не нужен. Это своего рода «идейная» общность, претендующая соответственно на некую значительность, посвященность в истину,— подобно тому как это было на сияющей «идейной» поверхности «Вакхической песни». Вальсингама тоже просят спеть «вакхическую песню» — но у него другая, уже прямо выражающая безлюбивый, бессердечный характер общности.

Все общности вне веры и любви суть лишь компании людей, сидящих за одним столом, сгрудившихся перед лицом общей опасности, общего врага, общего объекта ненависти или страха. Это или «тьма», которая должна «скрыться», или чума, или виселица. «Идейные» общности чреваты распадом и предательством (пугачевцы), ненавистью и завистью (Луиза), они не могут быть основанием человеческого братства.

Пушкин и митрополит Московский стоят на разных, даже противоположных краях общества. Но возникает момент любви и

невинности» (ср. пушкинскую тоску по «виденьям» «первоначальных, чистых дней» — «Возрождение») — и с ее песней («А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах»), где поразительным образом сходятся мотивы элегии «Под небом голубым...» («младая тень») и написанного одновременно с «Пиром...» «Для берегов отчизны дальней...» («Но жду его; он за тобой...»).

сострадания — возникает в ответ на волю, на ожидание, на мольбу, на духовную жажду. Этого оказывается достаточно для крутого поворота в духовной судьбе поэта. История со стихотворением «Дар напрасный...» была счастливым случаем. Тем самым случаем, который, по Пушкину, есть «мощное, мгновенное орудие Провидения». Все стихотворение и было упованием на такой «случай»: «Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой» (Иона, 2, 3.). «Пророк» оказался не свидетельством уже испытанных мук и обретенного дара, а пророчеством того, что еще предстоит испытать и обрести. Этот путь будет тяжек и непрост, он продлится до конца дней, но он уже не мрачная пустыня — об этом будет сказано в стихотворении 1835 года «Странник»: «...держись сего ты света; Пусть будет он тебе единственная мета...»

Любовь может быть величайшим двигателем жизни и человеческой истории. Трагизм истории, воплощенный Пушкиным в «Борисе Годунове», «Пире во время чумы» и других произведениях, в том, что человеческая история совершается помимо любви, вне любви, что она делается людьми назло и наперекор собственной их потребности и жажде любви. Но так нельзя больше делать историю. Жажда любви — это духовная жажда, она делает человека человеком. Если она есть — есть и надежда, что

Земля недвижна; неба своды,
Творец, поддержаны Тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Андрей Василевский. Разорение. II.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Б. Равдин. За пределом человеческого.

Литература и искусство

РАЗОРЕНИЕ. II *

Арво Валтон. Отчаяние и надежда. Главы из романа. Перевод с эстонского Елены Каллонен. «Радуга», 1988, № 8—10.

Хейно Кийк. Мария в Сибири. Главы из романа. Перевод с эстонского Александра Томберга. «Таллинн», 1988, № 5, 6.

Вийви Луйк. Седьмая мирная весна. Роман. Перевод с эстонского Елены Каллонен. Таллинн. «Ээсти раамат», 1988. 222 стр.

«Про облаву говорили много, даже время исчисляли со дня облавы. Я родилась за два года до облавы. А бабушкину новую юбку соткали как раз в ту осень...» «Я» в данном случае — это шестилетняя деревенская девочка. Слушая в начале 50-х радио (что для нее само по себе редкое удовольствие), она искренне верит, что за пределами ее родных мест расстилается совсем иной и прекрасный мир, где колхозники действительно поют хором бодрые песни, выезжая на работу... Автобиографический (по всему — автобиографический) роман «Седьмая мирная весна» — первый опыт Вийви Луйк в жанре «большой» прозы (до этого она выпустила десять поэтических и несколько детских книг), и опыт этот принес ей успех.

Ну, что такого особенного в романе происходит? Приходит на хутор старьевщик, пытается украсть бабушкину юбку, его разоблачают и изгоняют; появляются колхозные учетчики скота, спрашивают у девочки, не резали ли родители свинью или тел-

ку; телку резали, и девочка подсматривала, как это делали; ездили с бабушкой в лес за дровами; под Новый год приезжал с заработков отец и привез радио — конечно, для девочки это все эмоционально насыщенные и даже бытийно-значимые события.

Все происходящее мы видим ее глазами. Она многое подмечает, но мало еще что умеет осмыслить. Вот идут слухи об очередном «перспективном» начинании: мол, все частные дома (то есть хутора — часть традиционного образа жизни и хозяйствования эстонцев) свезут в одно место — при социализме надо жить коллективом, преодолевая частнособственнические привычки¹. Один из колхозов поторопился осуществить «задумку» властей, но, к счастью, эта бредовая акция продолжения не имела. А то бабушка маленькой рассказчицы

¹ Как помним из Платонова, собиранием домов в одно место уже занимались идейно одержимые и бескорыстные разорители Чевенгура, что, впрочем, не делает их менее преступными. Да нечто подобное в русской деревне позднее и проделали — с людьми, а не с домами: пресловутое укрупнение колхозов, «неперспективные» деревни (заметим, уже после Сталина).

* Данная публикация продолжает разговор, начатый рецензией «Разорение» на книгу К. Воробьева «Друг мой Момич» («Новый мир», 1989, № 3).

поставила в сени острую косу: пусть попробуют мой дом увезти — голову снесу!.. Вряд ли бабушка способна на такое, но ярость ее и тревога вполне оправданны: крестьяне уже знают, что с ними действительно могут сделать все что угодно. А девочке весело, она ждет, когда же и каким образом будут увозить их дом и она сможет на нем прокатиться! Она искренне и вполне невинно мечтает, чтобы как можно больше хуторян было выселено, чтобы ей достались всякие красивые вещи из брошенных домов.

Ясно, что она не зла и не жестока сама по себе, это проникает в ее детскую душу «жестокий запах истории», которым пронизано все — лес, ветер, дождь — и который превосходно передан в романе Вийви Луйк. Как много скажет нам о духе времени и общества одна только игра девочки с куклой Маннь: «Сидение в карцере на нее ничуть не подействовало, только грязь на ее теле за то время, что я ела, успела подсохнуть. Я развязала ей ноги и отнесла обратно на картофельное поле. Разломала укрепление и заставила Маннь убирать картофель. Время от времени она пыталась устроить побег, и тогда я угрожала ей проволочным прутиком с шарикоподшипником...»

«Седьмая мирная весна» — книга о перемещении исторического времени. Роман размечтун в будущее — в годы 60-е, 70-е, начало 80-х. Критика уже обращала внимание (и я подчеркну), что Вийви Луйк не пытается из наших 80-х увидеть свое прошлое, а как бы из детства пытается увидеть свое будущее, то есть наше настоящее (и в этом тоже оригинальность романа). Колхозный бригадир грозитса пожаловаться на бабушку в инстанции за «саботаж», но он бессилен перед будущим, что светится в глазах девочки, показывающей ему язык из-за угла хлева, — «и гроб бригадира виднелся в них, ведь бригадир был уже немолод и отпущенных ему дней не хватало дожить до будущего. Его будущее уже пришло, в свое время оно также вызывающе глядело из его детских глаз на зажиточных хозяев и предвещало мальчикам в матросках и гольфах суровые годы ватников...».

«Ни один народ не ведает, какое будущее готовят ему дети...» И надо сказать, что насчет общего будущего Вийви Луйк не обольщается. Такой вот примечательный эпизод: девочке нестерпимо хочется сладкого, просто сахара, а в доме его нет, вернее, есть мешок сахара для пчел, и тогда она, влекомая скорее инстинктом,

чем расчетом, пытается выморозить (дело происходит зимой) улей, чтобы пчелы умерли, а сахар остался ей². Она с трудом сдвигает крышку улья, но задвинуть ее уже не может и убегает в ужасе от неминуемого наказания. «Сегодняшний мир все больше и больше напоминает улей, с которого по алчности и недомыслию сдвинута крыша, а на то, чтобы поставить ее на место, уже не хватает ни сил, ни умения, и холод смерти ежеминутно угрожает проникнуть внутрь», — размышляет Вийви Луйк, естественно, в своей нынешней, взростлой ипостаси.

Таких прямых выходов автора к читателю в романе немало. Честно говоря, это не самые увлекательные места книги, и не потому, что автор говорит что-то «не то», а просто потому, что такие суждения не нуждаются в романной форме, а роман (в данном случае я говорю именно о «Седьмой мирной весне») существует как целое и без подобных комментариев. Лучшие страницы романа те, где Вийви Луйк отпускает свою маленькую героиню на волю, предоставляя ей возможность действовать и размышлять только в соответствии с логикой ее характера.

«Детская память сохраняет больше, чем принято думать», — пишет Энн Ветемаа в эссе «Конспект ненаписанного» («Театр», 1988, № 9). Он старше Вийви Луйк и стал более ранние события, связанные с вхождением Эстонии в состав СССР. «Я помню, — делится Энн Ветемаа своими детскими впечатлениями, — как наши соседи букетами цветов приветствовали объявление Эстонии советской, и делали они это, по-моему, искренне. Но, к сожалению, и немецких оккупантов они потом встречали цветами, потому что один-единственный год настроил их на противоположный лад. Им пришлось выйти с цветами и в третий раз, при освобождении Эстонии — немцы, естественно, развеяли грезы моих соседей»; но тут (добавлю я) начались репрессии еще более многочисленные, чем до войны, и встречать цветами было больше некого.

Речь тут идет в первую очередь о двух массовых депортациях, о высылках из Эстонии «кулаков и прочих антисоветских элементов» 14 июня 1941 года и 25 марта 1949 года. Эстонский историк Эвальд Лааси в двух статьях — «Чтобы заполнить некоторые пробелы» и «Когда создавались колхозы...» («Радуга», 1988, № 5, 8) — рассказывает, что в июне 1941 года без суда

² Символический образ разоряемого зимой улья занимает немалое место и в повести К. Воробьева (см. «Разорение»).

и следствия из ЭССР выселили 10 157 человек, среди которых почти четыре пятых были женщины, старики и дети. Это был чисто административный акт — «людям зачитывалось постановление о высылке, приказывали собрать в дорогу разрешенные вещи и препроводили на станцию, где размещали в товарных вагонах. Мужчины разлучались с женами и детьми...». Э. Лааси считает (вероятно, справедливо), что эту акцию и следует считать толчком к «началу вооруженного терроризма летом военного 1941 года и после войны».

Среди так называемых лесных братьев (они незримо присутствуют и в романе Вийви Луйк), по мнению Э. Лааси, должны были быть и «кулаки» и бывшие эсэсовцы, но все-таки их было слишком много, чтобы всех считать кулаками». Он пишет, что до ноября 1947 года удалось обезвредить 8468 «лесных братьев», и еще свыше 6600 человек к этому времени сложили оружие, но вооруженная борьба продолжалась еще по крайней мере до 1953 года.

О «борьбе с бандитизмом» в Прибалтике написаны книги, поставлены фильмы, как водится, и поверхностные, и серьезные (например, знаменитая литовская лента «Никто не хотел умирать»), но только сейчас начинается художественное освоение тех страниц истории, когда (словами из романа Хейно Куйка) «употребляли мощь и мудрость большой державы, чтобы частичку маленького народа выслать со своей родины».

В начале 80-х годов эстонский прозаик Арво Валтон написал (по его признанию, без надежды на опубликование) большой роман об эстонцах, высланных в Сибирь (время действия книги — 1949—1958 годы). Книга отчасти автобиографична, юный Валтон разделял в то время судьбу депортированных соотечественников. В романе около сорока действующих лиц, каждая глава посвящена истории одной эстонской семьи, и отдельные главы, опубликованные «Радугой», читаются как автономные новеллы, поскольку эпизоды в книге связаны не сквозным сюжетом, а общей народной трагедией.

Карл Канден, герой одной из глав романа, человек «крепкой породы», во время первой высылки и в годы войны спасал книги и картины, делал тайники. Когда после войны начали открываться публичные библиотеки, он стал поначалу передавать им спасенные ценности, но, узнав о начавшемся в библиотеках уничтожении книг, оборвал с ними всякие связи. А когда в дом Канденен ворвались солдаты, отец

с сыном только переглянулись и сделали вид, что собирают вещи. Они прошли в заднюю комнату, и оттуда раздались два выстрела — Карл застрелил отца и застрелился сам.

Каждая (теперь бывшая) хозяйка хутора вспоминала потом «о своей скотине, оставшейся в хлеву без присмотра, о погромщиках, которые приходят и переворачивают все вверх дном, растаскивают по белу свету то, что было собрано воедино в одном месте, сосредоточено вокруг одного человека, одной семьи», но перед женой Карла Ютой вставала иная мучительная картина: лежащие в задней комнате Карл с отцом, которых она так и оставила там, ведь задерживать ее высылку никто и не собирался.

«Несгибаемые Канденены» никогда не жили под чьим-нибудь гнетом, размышляет Юта. «Возможно, именно поэтому они так ненавидели насилие. Ненависть эта была болезненной, коль скоро привела к самоубийству, самому явному насилию над собой и природой. Нельзя сказать, что приспособляемость к насилию является признаком особого душевного здоровья, но, очевидно, нормальный человек найдет возможность существовать и под гнетом, без того, чтобы своим стремлением к свободе увеличивать всеобщее насилие» — это мысли героини, а не обязательно самого Валтона, о чем автор специально предупреждает в предисловии.

Валтона я знал как мастера интеллектуальной новеллы, лаконичной концентрированной прозы. И вдруг — огромный роман, «мемориал». Валтон любит фантазию, гротеск, иронию, но все это осыпалось с его письма при соприкосновении с «самоценной», по его выражению, темой депортации. В предисловии Валтон предполагает, что потребность выговориться снизила художественный уровень книги. Да, так часто бывает, но в данном случае я не думаю, что «Отчаяние и надежда» менее художественная книга, чем другие его сочинения; просто это иная художественность, адекватная новому для писателя материалу. Новый Валтон, на мой взгляд, не менее интересен, чем уже знакомый. Опубликованные «Радугой» главы только открывают нам многолюдный мир этого романа — из девятисот страниц в Эстонии пока напечатано только двести; будем надеяться, что роман выйдет целиком не только на эстонском, но и на русском (и не с многолетним опозданием).

Роман Валтона о народном разорении не одинок в эстонской литературе; Хейно

Кийк, по словам критика Н. Басселя, — «„первооткрыватель“ этой темы в эстонском советском романе (а в зарубежном эстонском романе? — А. В.), сам факт появления «Марии в Сибири» был воспринят как симптом преодоления прежних «табу»...». Мария, владелица хутора, выслана с сыном-подростком в Сибирь (мужа посадили еще в 1945-м) и живет с одной мыслью: «выжить!» — ради сына. «Я всегда государству верила, какое бы оно ни было. У государства свои дела, у меня свой хутор, а уж там я знала, как управиться. Да, было трудно, но я не жаловалась. В голове не вмещается, что все это значит. Своим умом не могу постигнуть (разрядка Х. Кийка.— А. В.). Марии пока и невдомек, что она живет совсем в ином государстве, у граждан которого не может быть никаких своих дел и тем более своего дела,— господство государственной собственности означает неизбежное всевластие государства. «...Мне уже никогда не испытать той благодати, какая овладевала мною в кухне собственного дома... Чего-то прекрасного человек навсегда лишился. Многим это может показаться сущим пустяком, для них гораздо важнее и прекраснее что-то иное, но мне-то какое дело до их понятий, если они рушат мои».

Меня несколько смущает сочетание явного простодушия Марии (как в сцене ее вербовки сотрудником НКВД) с ее способностью очень точно и рационально формулировать важные мысли, судя по всему, разделяемые автором. «Советская власть многим землю дала «в вечное пользование», только потом-то оказалось, что это обман. Государство должно честно поступать со своими гражданами, держать свое слово (разрядка Х. Кийка.— А. В.), раз оно дадено, тогда и ты, простой человек, будешь отвечать ему, как положено, будешь знать, как свою жизнь устроить... В Эстонии у любого батрака было больше видов на будущее. А какая у меня отныне цель? Нет ее... Разве попросить у господ крушения советской власти? Однако господь не имеет к ней отношения...» При всем моем сочувствии романисту трудно воспринимать эти суждения как голос Марии; многие ее (или, скорее, вложенные в ее уста) публицистические монологи легче представить себе опубликованными на страницах, ну, скажем, той же таллиннской «Радуги» (я несколько утрирую, но в общем-то впечатление именно таково).

Русского читателя, вероятно, может по-

коробить изображение сибиряков в романе, но будем считать, что это — восприятие Марии, которая еще только вступает с сыном в мир, где (поневоле приспособившись) живут местные жители, давно прошедшие «великий перелом». «У нас перед войной тоже кулаков выслали,— рассказывает Нина Федоровна (квартирная хозяйка.— А. В.).— Увезли за шестьдесят километров в болото и оставили там. Они соорудили себе хибарки и стали приспосабливаться. Некоторые вскоре отдали богу душу. Детишки почти все померли, не держали... Вам-то что, вас привезли на обжитое, а наших в глушь, в болото (разрядка Х. Кийка.— А. В.)»³.

Существенно, что эстонцев (в романе Х. Кийка) привозят работать туда, откуда раньше изгнали русских работников. «В тюрьму нас отправите?» — спрашивает Мария при высылке. «Нет, на работу», — отвечает начальник. И местное начальство, встречая эстонцев, восклицает: «Зачем сюда детей прислали, когда нам работники нужны?!» Депортации были в значительной мере именно перемещением рабочей силы, а не наказанием конкретных людей за конкретные проступки.

«Вообще-то начальник поторапливал не из вредности, видать, ему надо было в тот день свой план выполнить», — вспоминает Мария свою высылку. Это может показаться эмоциональным преувеличением, но вот что пишет по этому поводу Э. Лааси: «На высылку из Эстонской ССР было намечено 7500 семей — 22 326 человек, из них 3077 кулацких семей. Кроме этих, был еще и резерв — 1906 семей, который использовался в том случае, когда по первому списку людей найти не могли (сумели спрятаться или бежать.— А. В.). Это значит, что главным было выполнить план по количеству (разрядка моя.— А. В.)».

Насилие над массами людей в разных обществах и исторических ситуациях может иметь различные и многообразные корни. У нас насилие над массами далеко не в последнюю очередь было связано с утверждением и укреплением тотального господства государственно-плановой экономики (всевластие наших ведомств и бюрократии имеет те же корни). Мировоззренческой же предпосылкой этого господства является миф о принципиальной управляе-

³ В прошлом году Совет Министров Литовской ССР отменил свои постановления 1949 и 1951 годов о выселении «кулаков» и их семей; пострадавшим предусмотрена материальная компенсация. Придет ли время официальной реабилитации раскулаченных русских хозяев?

мости (планируемости) человеческого общества.

Это важнейший мировоззренческий вопрос: поддаются ли вообще управлению (планированию) такие сверхсложные системы, как Культура, Экономика, Общество? За утвердительным ответом на этот вопрос кроется не просто механистическое понимание бытия (мир как машина), но, вероятно, и деформированное, «обмирщенное» представление о божественном управителе мира, контролирующем его во всех частях и мелочах, только место «умершего» Бога занимают вождь, партия, Госплан... (Скажут: но ведь Сталин управлял общей жизнью, и сколько лет! Отвечу: не управлял, а правил, реальная же действительность никогда Сталину не поддавалась.)

«Управление» неуправляемыми в принципе системами не может быть на практике ничем иным, как насилием над жизнью и, значит, над людьми.

Утопия планируемого мира лежит в основе нашего общественного устройства с момента его зарождения (1918) и до се-

годняшнего дня. Но ведь мы перестраиваемся? Да, но, к сожалению, и в том, что можно обозначить как официальная философия перестройки, прослепывают черты все того же мифа. Признается относительная неудача прежней по-стройки, выдвигается задача ее удачной пере-стройки, а было ли «оно» вообще по-строе-но? «Оно» такое выросло.

«Даже самые благие указания «свыше» чаще всего только мешают процессам самоорганизации. Самое лучшее, что могут делать органы управления, это обеспечить общественным институтам необходимую свободу», — пишет эстонский автор Мээлик Каттаго в своем «Трактате об источнике самодвижения» («Радуга», 1988, № 1—5).

Вспомним еще раз слова Вийви Луйк: «...ни один народ не ведает, какое будущее готовят ему дети...» Самодвижущаяся реальность и сама по себе сурова, но это, так сказать, объективная, онтологическая жестокость бытия. Это жизнь, а где жизнь, там и надежда.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.



Политика и наука

ЗА ПРЕДЕЛОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

Я. Л. Рапопорт. На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года. М. «Книга». 1988. 271 стр. Издание на правах авторской книги.

Недавно лишь стало широко известно о «деле», но в публицистике основной прием его подачи уже сложился. Сперва цитируется хроника ТАСС от 13 января 1953 года об аресте группы врачей-вредителей, обвинявшихся в убийстве А. А. Жданова, А. С. Щербакова, покушавшихся аналогичным образом на жизнь и здоровье иных руководящих деятелей страны. Называются имена профессоров-вредителей, агентов разведок империалистических государств: Вовси М. С. (главарь), Виноградов В. Н., Гринштейн А. М., Егоров П. И., Фельдман А. И., другие лица. Затем обычно следует выдержка из указа о награждении Л. Ф. Тимашук (рядового врача электрокардиографического кабинета кремлевской больницы), разоблачившей «преступную банду убийц в белых халатах» и лишь после их ареста впервые за много месяцев уснувшей спокойно. Расширение кампании, «пятиминутки ненависти»...

Отдельной строкой — смерть Сталина (5 марта 1953 года).

Продолжение кампании. И наконец сообщение Министерства внутренних дел СССР

(4 апреля 1953 года), суть которого почти дословно передана в известном лирическом напеве тех лет: «Дорогой товарищ Вовси, за тебя я рад. Оказалось, что ты вовсе и не виноват. Слух давно ходил в народе: все это — мура. Пребывайте ж на свободе, наши доктора»...

Соответствует ли подобный тон сюжету, легшему в основу воспоминаний и размышлений Я. Л. Рапопорта? Быть может, он идет от развязки «дела»? Необходимо, впрочем, отметить, что сложившийся прием и подход отражают уровень источниковедения и историографии вопроса. Есть надежда, что благодаря книге Я. Л. Рапопорта, известного советского патологоанатома, привлеченного к следствию, обвиненного по роду своей деятельности в преступном сокрытии деяний своих коллег и в еврейском буржуазном национализме, канон будет отчасти преодолен.

Хотя Я. Л. Рапопорт и утверждает в своей книге, что претендует на роль не историка, но всего лишь свидетеля, летописца, — он рассматривает «дело» на фоне идеологических чисток эпохи, научных и

общественных нравов конца 40-х — начала 50-х (этой цели могут служить и приложения к основному разделу воспоминаний), припоминает некоторые эпизоды 20-х и 30-х годов, когда Сталин в рамках своей политической и личной стратегии прибегал к медицине с целью дискредитации или ликвидации объектов своего специального внимания, предлагает найти «делу» место в истории общества и биографии Сталина.

В качестве чисто рабочей гипотезы относительно хода «дела» автор использует фрагменты закрытого доклада Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС, некоторые другие материалы, доступные к моменту окончания работы над воспоминаниями (1975 год). В начале 1952 года Сталина навещил его лечащий врач В. Н. Виноградов, который обнаружил ухудшение здоровья пациента и предложил ему временно прекратить всякого рода активную деятельность. В этой рекомендации Сталин увидел симптом заговора и отреагировал известным вердиктом в адрес врача: «В кандалы его, в кандалы!» Позднее с подачи М. Д. Рюмина, старшего следователя, выросшего в начальника следственной части по особо важным делам, заместителя министра госбезопасности, произошла национальная перекраска «дела», а министр В. С. Абакумов, якобы пытавшийся скрыть заговор, был смещен с должности и арестован. На роль Жанны д'Арк была призвана Л. Тимашук¹. Появившаяся одновременно с арестами врачей статья Тимашук «Инфаркты миокарда по наблюдениям поликлиники за десять лет» («Клиническая медицина», 1952, № 11), видимо, должна была служить доказательством компетентности автора доноса в расшифровке кардиограмм, на чем и строилось «разоблачение» профессоров.

Действительный источник «дела» Я. Л. Рапопорт предлагает искать в личностных, конституциональных характеристиках Сталина, осложненных болезненной психикой и мозговым артериосклерозом и усиленных непомерной властью. «Понять целевой смысла этого «дела», с точки зрения человеческого разума, невозможно», — разводит руками мемуарист. А если попытаться понять с точки зрения нечеловеческого?

Вот одна из версий. На посту главы государства Сталин вполне мог задуматься над вопросом о месте «детей Сиона» в раскинувшейся на две части света державе. Быть может, отдаленный замысел «дела

врачей» восходит не только к борьбе с космополитизмом конца 40-х годов и последовавшей ликвидации большинства членов Еврейского антифашистского комитета, но и к более раннему периоду. Чуть слышно эта тема звучит в недавно опубликованных фрагментах материалов по «заговору военных» 1938 года. Возможно, полному ее звучанию помешал тогда фашизм в Германии. Идея могла окончательно созреть в конце 40-х — самом начале 50-х. Я. Я. Этингер (сын посмертно подверстанного к «делу» Я. Г. Этингера) свидетельствует, что тема заговора кремлевских врачей фигурировала на его допросах уже в начале осени 1951 года.

Еще вариант. Семидесятилетие Сталина должно было (и не в первый раз) напомнить ему о приближении естественного предела жизни, о необходимости завещания, о наследнике, законном или незаконном, возмнившем себя достойным власти или являющимся таковым в глазах партии. Смерть Н. А. Вознесенского, быть может, не более чем следствие изменения завещательного распоряжения, а все «ленинградское дело» в какой-то своей значительной доле не более чем операция прикрытия (этот тактический прием у Сталина — из любимых). Или в рамках того же завещания, но в той его части, где речь о научном наследстве: Сталину понадобились идеи Вознесенского, вокруг которых строились неоднократно их беседы; понадобился манускрипт председателя Госплана «Политическая экономия коммунизма» (найти бы рукопись и сравнить с «Экономическими проблемами социализма в СССР»).

О том, что проблема преемника была поставлена Сталиным, свидетельствует и его речь на Пленуме ЦК, состоявшемся по завершении XIX съезда КПСС, — речь, которая исключала В. М. Молотова и А. И. Микояна из числа кронпринцев, но оставляла за ними обязанность сохранившейся частью авторитета поддержать вступившего во власть и уберечь трон от посягательств возможного узурпатора (в создавшейся ситуации Молотов и Микоян могли не опасаться за свою жизнь). Отчасти этой же цели должна была способствовать организация Президиума ЦК, значительно расширенного в сравнении с как бы упрощенным Политбюро, и новые люди в ЦК (туда, например, вошел Г. К. Жуков и исполнил-таки чуть позднее отведенную ему Сталиным роль: арестовал Л. П. Берия).

В сталинской работе над завещанием можно найти и скрытый упрек Ленину,

¹ В книге, в отличие от журнального варианта («Дружба народов», 1988, № 4), описание фамилии дано через «о», что противоречит традиции.

ушедшему от необходимости прямого и правильного волеизъявления относительно своего преемника.

Но ввести наследника в наследство — половина дела. Следует еще создать для него условия, закрепляющие первоначальный успех операции. «Дело врачей», кажется, вполне удовлетворяло этим требованиям: его антиинтеллигентская и национальная окраска способна была на длительный срок вывести из гипотетически возможных кандидатов всех потенциальных и реальных космополитов и «буржуазных националистов». А в поддержку преемнику — движению снизу: ведь каждому угрожают «убийцы в белых халатах». Нельзя было оставлять без «задела» и лагерь социалистического содружества, где процессы и подготовка к ним тоже проходили под знаком борьбы с космополитизмом и буржуазным национализмом. Нужно было также подумать, не следует ли в современных условиях мирового революционного движения отдать предпочтение межнациональным противоречиям перед классовыми — развить марксизм.

Множественность задач, стоявших перед Сталиным в перспективе смерти, с трудом поддавалась систематизации. Когда и как завершать операцию «Берия»? Что делать с «мингрельским делом»? А что делать с собой, если передать власть или часть ее преемнику? Ввести должность регента? Кому власть — Маленкову? Ждать или не ждать прихода физической и умственной немощи? Ведь говорил же Ленин при известии о самоубийстве Лафаргов: «Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть так, как Лафарги». Говорил, говорил... Может быть, продемонстрировать Ленину, как и когда надо уходить? Много вопросов предстояло продумать и решить. Но времени уже не было отпущено.

Эпизоды воспоминаний Я. Л. Рапопорта, в которых рассказывается о дыхании Чейна — Стокса, о том, как раскручивалась в обратном направлении машина следствия (один и тот же эпизод возвратного хода датируется в книге двумя разными датами — 14 и 19 марта), читаются с романтическим ожиданием: умрет ли Сталин? вернется ли домой автор — он же герой этой книги — из своего путешествия? Относи-

тельно короткий этап «дела врачей» — его начало, течение, исход — одна из самых абсурдных, трагических и радостных страниц биографии автора и летописи страны.

В 1929—1930 годах от нас не требовали всеобщего соучастия в насилии над деревней. Достаточно было невмешательства. Трагедия крестьянства от этого не уменьшилась, но многим в городе удавалось сохранить, пусть умозрительно, ощущение человеческого достоинства. И когда приблизительно в это же время вырезали интеллигенцию, от рабочих и крестьян тоже не требовали аплодисментов. И церкви разрушали и закрывали, и духовенство ссылали и распинали как бы без нашего участия. Не сравнивая в полном объеме последствие насильственной коллективизации и чисток 1936—1938 годов, отказываясь считаться с потерями, предвидя возражения, не исключим, что открытые и закрытые процессы второй половины 30-х в определенном отношении не менее трагическая страница нашей истории, чем предыдущие. Потребовалось не только разделить с властью ее преступления, но и одобрить их в едином гневном порыве ненависти к «предателям, убийцам, диверсантам и шпионам», а затем (или параллельно) ощутить и усилить это единство в радостном порыве на летном празднике в Тушине или параде физкультурников. Многие вынесли такое испытание. В списках осудивших в 1937 году профессора Д. Д. Плетнева по публикации статьи «Профессор — насильник, садист»² находим имена подсудимых 1953 года: М. С. Вовси, Б. Б. Коган, Э. М. Гельштейн, В. Ф. Зеленин, экспертами на процессе 1938 года выступали Н. А. Шершевский (в книге — Шершевский), В. Н. Виноградов... Испытание было неоднократным, особенно массовый характер оно должно было приобрести в 1953 году. Апогей не состоялся, но и само движение к нему многозначительно. В какую игру играли с человеком, ставя его в дочеловеческие условия?

Впрочем, легко нам сегодня задавать вопросы. И с такой же легкостью самим отвечать на них, не дожидаясь реплики собеседника.

Б. РАВДИН.

² В книге неточно указаны год публикации и название статьи.

ИМЕЛА ЛИ МЕСТО «РАССЕЯННОСТЬ»?

В шестом номере «Нового мира» за прошлый год вышла с послесловием В. Н. Турбина моя статья «Шифрованные строфы „Евгения Онегина“», в которой высказывалось предположение, что шестнадцать строф романа, именуемые теперь «десятой главой», — вовсе не «десятая глава», а часть исключенных Пушкиным из всего романа «крамольных» (и потому отдельно зашифрованных) строф.

Александр Лацис назвал эту гипотезу «дикой уткой» («Вопросы литературы», 1988, № 12, стр. 256) и, ссылаясь на мою «рассеянность по части фактов», заметил не без укора: «Пушкину советуют держаться подальше от... «десятой главы» „Евгения Онегина“». Далее автор фельетона «пожурил» В. Н. Турбина за то, что он, известный литературовед, преподаватель университета, «увлеченно развивает мысль» какого-то «ночного сторожа», работавшего «на складе, кажется, металлолома»...

Удобно ли этого «сторожа» называть по имени?..

Александр Лацис по имени и не называет.

Но дело не в этом! Одно замечание Александра Лациса, пожалуй, заслуживает внимания, ибо на первый взгляд может показаться убедительным.

Предполагая, что в так называемой десятой главе «Евгения Онегина» собраны отдельные строфы из разных глав романа, я привел гипотетические (подчеркиваю: гипотетические!) варианты возможной подстановки «крамольных» строф на место «пропущенных», но обозначенных цифрами в каноническом тексте.

Возражая даже против возможности подобной подстановки, Александр Лацис приводит свой главный аргумент, указывая, что «злополучную» 36-ю строфу четвертой главы романа Пушкин «полностью напечатал... в 1828 году, когда выпустил отдельное издание четвертой и пятой глав „Онегина“».

Действительно напечатал...

Более того, «текст злополучной строфы,— указывает Александр Лацис,— воспроизведен, в частности, на стр. 648—649 шестого тома большого академического издания».

Действительно воспроизведен...

«Подумать только,— восклицает Александр Лацис,— достаточно было протянуть руку к книжной полке, и свыше миллиона читателей было бы избавлено от небольшой, но совершенно дикой «утки»...»

Нет, все не так просто, как кажется Александру Лацису...

О напечатанной 36-й строфе четвертой главы романа (как и о других, напечатанных, но позже исключенных самим Пушкиным строфах) я, разумеется, знал, но, рассчитывая на серьезного и внимательного читателя, не стал входить в пространные объяснения о вариативности строф «Евгения Онегина» и ограничился следующим свидетельством самого Пушкина, приведенным мною в статье: «Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию. Что есть строфы в Евг<ении> Онег<ине>, которые я не мог или не хотел напечатать, этому дивиться нечего. Но, будучи выпущены, они прерывают связь рассказа, и поэтому означает место, где быть им надлежало. Лучше было бы заменять эти строфы другими, или переправлять и сплавливать мною сохраненные. Но виноват, на это я слишком ленив» («Новый мир», 1988, № 6, стр. 263; разрядка моя.— В. К.).

Мне кажется, Пушкин достаточно ясно выразил свою мысль: «лучше было бы заменять» одни (написанные, но не удовлетворяющие в художественном или — что не менее важно! — в цензурном отношении) строфы другими, то есть другими вариантами этих написанных строф. Иначе что «заменять»?

Как показывают черновики романа, вариантов возможных замен было у Пушкина предостаточно. В некоторых случаях они существенно отличаются друг от друга по смыслу: сравнить хотя бы варианты 30-й строфы третьей главы «Онегина» да и многие другие.

Можно вспомнить или, открыв шестой том большого академического собрания сочинений Пушкина, убедиться, что, к примеру, 9-я строфа второй главы романа имеет четыре варианта, а 17-я — шесть!

По шесть вариантов имеют 4-я и 24-я строфы в четвертой главе... И примеры легко умножить.

Вариативность строф в романе — явление не исключительное, а вполне закономерное.

Пушкин, по сути, сам «оговорил» возможность замены одних строф другими. Почему же из вариантов возможных замен нужно исключить «крамольные» строфы? Возможность подстановки нескольких зашифрованных Пушкиным строф из так называемой десятой главы на место «пропущенных» в каноническом тексте я и рассматривал лишь как иллюстрацию основной идеи своей новомирской статьи. Суть ее в следующем.

Зашифрованные Пушкиным и дошедшие до нас в неполном виде строфы «Онегина» именуют теперь «десятой главой» романа. Под таким названием они печатаются практически во всех изданиях «Онегина». Это название — общее место сотен статей...

Но, настаивая на прежнем названии («десятая глава»), нужно, как мне кажется, знать по крайней мере ответы хотя бы на эти несколько вопросов:

1. Что именно сжег Пушкин, отметив в рукописи «Метели»: «19 окт<ября> сожж<ена> X песнь»?

2. На чем основана уверенность, что зашифрованные Пушкиным «крамольные» строфы — это единая, неделимая, последовательная запись отрывка какой-либо одной главы романа, в данном случае «десятой»?

3. Почему Пушкин, перечеркнув черновую строфу «Наскуча или слыть Мельмотом», написал на полях: «в X песнь», но именно этой строфы среди зашифрованных строф, именуемых «десятой главой», как раз и нет?

4. Почему А. И. Тургенев, современник и друг Пушкина, приведя в письме брату часть строфы «Друг Марса, Вакха и Венеры», относит ее к путешествию Онегина, а мы ее относим к «десятой главе»?

Эти (и не только эти) вопросы взаимосвязаны со множеством других. Конечно, можно от них отмахнуться, что и делает Александр Лацис...

Между тем проблема «шифрованных строф» «Евгения Онегина», на мой взгляд, достаточно серьезна и над многим заставляет задуматься...

Виктор КОЖЕВНИКОВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ. Сочинения в двух томах. М. «Мысль», 1988. Т. 1, 892 стр.; т. 2, 824 стр.

В августе 1920 года А. Блок выступил на заседании Вольной философской ассоциации с докладом «Владимир Соловьев и наши дни». В нем поэт говорил о том, что Соловьев был «духовным носителем и провозвестником тех событий, которым надлежало развернуться в мире», что он заключал в себе часть «третьей силы... идущего на нас нового мира». Слова эти многим показались далекими от действительности поэтическими мечтаниями. «Почти неуместным, неловким кажется сейчас вспоминать Вл. Соловьева...— признавался Блок.— Вспоминать тома, в которых немногие строки отвечают сегодняшнему дню...»

История как будто подтверждала такие сомнения: умер Блок, прекратились и все «вольные» философские ассоциации... Хотя в 1923 году появился последний том «Писем» Соловьева и его составитель Э. Л. Радлов все еще надеялся увидеть в печати подготовленный им же сборник статей философа, следующее издание Соловьева увидело свет лишь в 1974 году, когда в «Библиотеке поэта» вышла книжка его стихотворений (обычным в те годы для подобных имен тиражом в 15 тысяч экземпляров).

Непростым был и путь к читателю тех долгожданных объемистых томов, появлению которых мы сегодня радуемся. Трудности, которые пришлось преодолеть участникам этого издания, заключались не только в пробивании его через инстанции — ведь авторский коллектив подготовил, по сути, первое научное издание трудов философа, поскольку оба дореволюционных собрания сочинений не имели ни скольконибудь определенных принципов публикации текстов, ни необходимых комментариев.

Составлен двухтомник А. Ф. Лосевым и А. В. Гулыгой, ими же написаны предваряющие издания статьи. Как жаль, что награжденный еще в гимназии за успехи собранием сочинений Соловьева и пронесший любовь к его философии через всю жизнь, Алексей Федорович не успел подержать в руках книги, которым было отдано столько сил и знаний! И хочется назвать Лосева современником Соловьева: проживи Соловьев еще лет пятнадцать—двадцать (а умер он в сорок семь лет) — и мог бы Лосев стать его непосредственным учеником, как стал он учеником Л. М. Лопатина, друга Соловьева и близкого ему по духу философа.

Статья А. Ф. Лосева посвящена не столько философской системе Соловьева (об этом подробнее написал А. В. Гулыга), сколько личности ее создателя. «...Хотя

Вл. Соловьев и является для нас в первую очередь предметом академического изучения,— пишет Лосев,— тем не менее его жизнь и творчество волнуют современного читателя уже далеко не просто в академическом смысле». В этом автор следует давней доброй традиции: еще князь Е. Н. Трубецкой предварил свой обстоятельный труд о Соловьеве подробным и очень красноречивым очерком, рисующим духовный облик философа. К сожалению, творческая биография Соловьева, проводившего жизнь в непрестанных скитаниях, увлекательная сама по себе и открывающая дополнительные смыслы соловьевских идей, изучена еще очень слабо. Материалы к его биографии, собранные С. М. Лукьяновым (и к тому же охватывающие лишь молодые годы философа), давно стали библиографической редкостью, а книга С. М. Соловьева (племянника В. С. Соловьева), изданная в 1977 году в Брюсселе, до сих пор упрятана от отечественного читателя. В современных же учебных пособиях и большинстве монографий облик и идеи Соловьева и вовсе искажены до неузнаваемости. Отсюда — неизбежные ошибки и неточности.

И здесь автор этих строк должен повиниться перед читателями за ошибку, допущенную им в комментариях к письму Соловьева Л. Я. Гуревич (см. «Новый мир», 1988, № 1, стр. 228), где утверждал, что оно было послано в день смерти Фета. Если же вспомнить о разнице между старым и новым календарем, то окажется, что поэт умер ровно на двенадцать дней раньше (отсюда становится ясным и недовольство Соловьева: стихи давно лежат в редакции и автор так и не дождался их публикации). Признав свои ошибки, отметим и некоторые неточности во вступительной статье к рецензируемому двухтомнику. Так, Соловьев поступил не в 5-ю, а в 1-ю гимназию (находилась на Волхонке, современный дом № 16); позднее от нее отделилась 5-я, в которой он и окончил курс. И еще: Соловьев, не завершив обучения на физико-математическом факультете, подал прошение об отчислении его из университета и одновременно — о разрешении держать экзамены за курс факультета историко-филологического; соответственно на последнем он никогда не учился.

А теперь продолжим приведенную выше цитату из речи Блока: «...но это потому, что не исполнились писания, далеко не все черты новой эры определились. Нам предстоит много неожиданного; предстоят события, ставящие крест на жизнях и мирозерцаниях дальновиднейших людей...» Предсказания поэтов, поражающие современников своей несуществительностью, часто оказываются пророческими. Наше обращение к насле-

дию Вл. Соловьева — не признак ли приближения этой новой эры? Во всяком случае в свете идей Соловьева не только «идущий на нас новый мир», но и наши дни должны стать хоть немного добрее...

Александр Носов.

★

РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО. Выпуск первый. М. «Юридическая литература». 1988. 511 стр.

Такие книжки хороши хотя бы тем, что позволяют ощутить перемены в сознании и настроении общества. Сборник составлен из недавних публикаций в периодике (самая ранняя датирована 1987 годом, самая поздняя — июлем 1988-го), а листаешь его — и видишь, что это уже вчерашний, если не позавчерашний день.

«Народ назвал это время «ежовщиной». Как объяснить сегодняшнему читателю, что это такое?» — вопрошает из своего далека карикатурист Б. Ефимов в публикации примерно двухлетней давности. У сегодняшнего читателя при слове «ежовщина» голова просто пухнет от ассоциаций и знаковых символов, не на последнем месте среди которых — плакат «Ежовая рукавица» работы самого Б. Ефимова... Автор статьи вспоминает, как его брат М. Кольцов, замечая исчезновение ни в чем не повинных людей и предчувствуя недоброе в собственной судьбе, говорил: «...кто-то, может быть, Ежов, непрерывно разжигает его (Сталина.— С. Я.) подозрительность, подсовывая наскоро состряпанные заговоры и измены». Уже от себя Ефимов называет Ежова «маленьким бесцветным человеком, всемогущим капризом вознесенным на головокружительную высоту власти» и добавляет обреченно: «...Шел тридцать седьмой год». Этими словами словно прочерчена для Кольцова роковая черта. А сегодня мы знаем, что в марте 1938-го, когда судят «рыковско-бухаринско-ягодинскую банду», Кольцов еще на свободе. И даже печатает в «Правде» серию репортажей из зала суда («Свора кровавых собак» — название одного из них), где, в частности, пишет: «...яд начал действовать в то самое время, когда чудесный, нестигаемый большевик Николай Ежов, дни и ночи не вставая из-за стола, стремительно распутывал и резал нити фашистского заговора!»

Слова, прочитываемые в контексте судьбы, особенно весомы. Не в запоздалый упрек Кольцову это сказано и не затем, чтобы призвать нынешнее поколение журналистов чему-то научиться на его опыте (чужой опыт не идет впрок), а лишь ради констатации: теперь нас на этой мякине не проведешь.

Вчера кто-то еще мог вместе с журналистом А. Афанасьевым думать об Анастасе Микояне как о мужественном борце с пре-

ступной правящей кликой или, к примеру, воображать, что блокадный Ленинград в противовес официальной пропаганде «выдвигал из глубин иной идеал», а именно: «Киров с нами!!!» — словно не было для умирающих людей проблемы важнее, чем уточнить напоследок, нетленный образ которого из вождей унести с собой в могилу. Вчера еще можно было вместе с Л. Овруцким скорбеть об атрофии классового инстинкта у людей 30-х (по «своим» били!), о том, что люди исчезали прежде всего из «дома на набережной», а потом уже «из тысяч и тысяч других домов», о том, наконец, что недуг иррациональности — законное и естественное свойство буржуа — снисходит иногда по оплошности «и на рабоче-крестьянскую душу»...

«Испугавшись свободы выборов, как «прыжка в неизвестность», угрожавшего Вашей личной власти, Вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, а выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну-единственную кандидатуру», — читаем обращенные к Сталину из-за границы слова Федора Раскольниковова. А в ушах звенит его молодой голос в январе 1918 года: «Нынешнее контрреволюционное большинство Учредительного собрания... избранное по устаревшим партийным спискам, выражает вчерашний день революции... Не желая ни минуты прикрывать преступлений врагов народа, мы заявляем, что покидаем это Учредительное собрание, с тем чтобы передать Советской власти окончательное решение вопроса об отношении к контрреволюционной части Учредительного собрания».

«Завтра наступала очередь того, кто сегодня молчал в надежде спастись самому... — напоминает всем нам А. Ваксберг. — Правило давнее и непреложное: всем — по заслугам». С последним согласится, думаю, не каждый, но автор, заговорив о реабилитации, уже и сам себе противоречит: «Чтобы снять с убитых горы возведенной на них лжи, пришлось убеждать прокуроров в том, что Бабель — высоко ценимый Горьким писатель и патриот, что Кольцов всю жизнь верно служил революции...»

Да, нелегко выстраивать ряды и по душе распутывать наше прошлое, потому что в душах-то оно и свернулось червем, высасывает из нас последние соки и, кажется, вот-вот само умрет от истощения. Как жить будем с ссохшимся клубком на том месте, откуда правда должна на свет рождаться?

Книга позволяет отчетливо увидеть, что журналистика наша, часто помимо воли своей, в любую пору правдиво копирует общество с его закосневшими во лжи институтами. Составители и издатели сборника в этом, конечно, не виноваты. Разве что одного им можно пожелать на будущее — большей разборчивости.

Сергей Яковлев.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза. 28 июня — 1 июля 1988 г. Стенографический отчет. В 2-х тт. Т. 2. 399 стр. Цена 1 р.

А. Зеленцов. Наука — ускорению. Беседы и репортажи. 238 стр. Цена 50 к.

Мир не должен упустить исторического шанса. Летопись внешней политики СССР 1985—1988. 319 стр. Цена 80 к.

Л. Симеонова. Человек рядом. («Библиотечка семейного чтения») Перевод с болгарского. 159 стр. Цена 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Друцз. Белая Церковь. Время нашей доброты. Романы. 463 стр. Цена 2 р 30 к.

В. Набонов. Машенька. Защита Лужина. Приглашение на казнь. Другие берега (фрагменты). Романы. 511 стр. Цена 4 р.

Памятники литературы Древней Руси. Выпуск 10. XVII век. Кн. I. 704 стр., с илл. Цена 4 р. 50 к.

Ф. Сологуб. Мелкий бес. Научная подготовка текста, комментарий М. В. Козьменко. 303 стр. Цена 2 р. 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. Роман в двух книгах. 717 стр. Цена 3 р. 40 к.

Е. Попов. Жду любви не вероломной. Рассказы. 317 стр. Цена 90 к.

С. Рассадин. Предположения о поэзии. Из опыта читателя стихов. 335 стр. Цена 1 р. 10 к.

Г. Цурикова. Сто прапорщиков. К портрету одного поколения. Л. 416 стр. Цена 1 р. 80 к.

«РАДУГА»

К. Кизи. Над кукушкиным гнездом. Роман. Перевод с английского. 288 стр. Цена 1 р. 70 к.

Повести австрийских писателей. Перевод с немецкого. 639 стр. Цена 4 р. 10 к.

Стена плача. Повести и рассказы писателей Шри Ланки. Перевод с сингальского. 270 стр. Цена 1 р.

А. Стиль. Повести. Перевод с французского. 237 стр. Цена 1 р. 70 к.

ВОЕНИЗДАТ

С. Есенин. Златой посев. Лирика, поэмы. 286 стр. Цена 95 к.

За линией фронта. Повести. Перевод с венгерского. 480 стр. Цена 3 р. 20 к.

В. Карпов. Полководец. Повесть. 574 стр. Цена 2 р. 90 к.

О. Михайлов. Избранное. В 2-х тт. Т. 1. Суворов; Поручик Державин. 608 стр. Цена 2 р. 50 к.; т. 2. Генерал Ермолов. Перевал. 446 стр. Цена 1 р. 90 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Г. Бакланов. Карпухин. Друзья. Меньший среди братьев. Повести. Роман. 415 стр. Цена 1 р. 70 к.

А. Битов. Повести и рассказы. Избранное. 492 стр. Цена 2 р. 30 к.

Венюк Есенину. 304 стр. Цена 95 к.

А. Волков. Тайна заброшенного замка. 184 стр. Цена 90 к.

«ИСКУССТВО»

Л. Жуховицкий. Трубац на площади. Пьесы. 412 стр. Цена 1 р. 40 к.

Л. Рошаль. Пирамида. Соло трубы. Киносценарии («Библиотека кинодраматургии») 111 стр. Цена 50 к.

С. Юрский. Кто держит паузу. 320 стр. Цена 1 р. 40 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Возвращенные имена. Сборник публицистических статей. В 2-х кн. М. Издательство АПН. Кн. 1. 335 стр. Цена 2 р. 40 к. Кн. 2. 320 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Зайцев. Петр Иванович Бартенев. («История Москвы: портреты и судьбы») М. «Московский рабочий». 172 стр. Цена 45 к.

Записки императрицы Енатины Второй. Репринтное воспроизведение издания 1907 г. М. «Орбита», московский филиал. 749 стр. Цена 18 р.

Г. Канович. Козленок за два гроша. Роман. Вильнюс. «Вага». 320 стр. Цена 1 р. 10 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов**, **Д. А. Гранин**, **И. Я. Зиедонис**, **В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин**, **Д. С. Лихачев**, **П. А. Николаев**, **Б. И. Олейник**, **Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **И. Б. Роднянская**, **В. И. Селюнин**, **М. В. Тимофеева**, **О. Г. Чухонцев**, **В. А. Ярошенко**

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 28.03.89 г. Подписано к печати 28.04.89 г. А 11004.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л.
(23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл.-кр. отт.), 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 1.629 000 экз. (4-й завод 699,001—1.049.000 экз.). Зак. 479¹ Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5. Отпечатано в типографии ордена Ленина «Красный пролетарий». 103473. Москва, Краснопролетарская, 16.

Цена 1 р. 20 к.

70636

ISSN 0130-7673 Новый мир, 1989, № 6, 1—272.